

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

8



1993

3

НОВЫЙ
МИР

1993

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 8(820)

Август, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ “АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИВАН ОГАНОВ — Песнь виноградаря осенью, эпос. Главы из книги. Продолжение	3
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — В курганах бесхозного сора, стихи	92
В. БОГОМОЛОВ — В кригере, повесть	94
ДМИТРИЙ КОЧУРОВ — Летящий в небесах, стихотворение	115
ЕВГЕНИЙ НОСОВ — Темная вода, рассказ	116
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ — Из довоенного детства, стихотворение	128
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ — Ну, мама, ну. Сказки, рассказанные детям	130

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСЕЙ КИВА — <i>Intelligentsia</i> в час испытаний	160
--	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

С. М. СОЛОВЬЕВ — Детство. Главы из воспоминаний. Вступительная статья и публикация Н. С. Соловьевой Подготовка текста и примечания А. М. Кузнецова	178
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
В МИРЕ ИСКУССТВА	
<i>Предварительные итоги XX века</i>	
ОЛЕГ СЕМЕНОВ — Искусство ли — искусство нашего столетия?	206
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
АЛЕКСЕЙ ПУРИН — Опыты Константина Вагинова	221
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Виктор Камянов. Век XX как уходящая натура.	234
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
Л. АЙЗЕРМАН — Дети гласности	243
М. В. КНЯЗЕВ — Еще раз о «Северо-Востоке»	254
ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ	255
SUMMARY	256

Читайте в ближайших номерах
«НОВОГО МИРА»:

«НАША ЛЮБОВЬ НУЖНА РОССИИ...»

*Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой
1909—1911*

Публикация, подготовка текста, вступительная статья и комментарии А. А. Носова.

ИВАН ОГАНОВ

*

ПЕСНЬ ВИНОГРАДАРЯ ОСЕНЬЮ

Эпос

Главы из книги

აი, კახეთო, კახეთო,
გამოქცეული გნახეთო;
თქვენნი ხარი და კაქესი
გატეხილ ხიდზე ვნახეთო.

Эй, Кахетия, Кахетия,
Видал: бежала от меня спотыкаясь.
И вдруг застыла, быком или буйволом,
У разбитого моста.

Часть вторая

БИТВА С КАМНЕМ

БРАДОБРЕЙ БНЕЛО-ТЕМНЫЙ. КОНЬ

Конь неграмотный, самый отсталый из земледельцев, еле различал буквы, однако был хитер и плутоват. Выгоды ради стал дружком жадной до любовных утех вероломной Кеонии, матери семи дочерей и жены худосочного рогоносца Хлебореза Хачатура. Кеония завела своему очередному полюбовнику в полуподвале своего жилища бедную цирюльню для крестьян. Коротконогий, грузный туловищем, с хмурым, тупым, но часто улыбающимся при виде лошадей лицом (к ним чувствовал страсть могучую), сам вечно недостриженный, с торчащими во все стороны волосьями большой головы, был доволен своей судьбой и с Хачатуром-рогоносцем не ссорился, старался жить с ним под одной крышей по-братски. Тоскуя, Бнело-Темный мечтал купить собственных лошадей, брил щетинистые щеки старых виноградарей, сносил все их шутки, ночами Кеония волокла его в свою спальню, и он, кряхтя и хрипя, как взмыленный, загнанный конь, ездил на ней, зажмурившись, по воображаемым цветущим лугам и пастбищам.

Не сдавался судьбе коротышка и дрался яростно, сжимая челюсти и рыча по-собачьи, за каждый кусок хлеба. За медный грош.

Велисцихский Бнело-Темный орудовал громадными тупыми ножницами с заржавленными, страшными краями. Клиенты-мужланы испуганно сжимались на табуретке, обернутые грязной простыней по горло, вымазанной красным соусом или кислым вином. Часто он царапал или резал несчастных, присмиривших под его страшным орудием смердов, наносил им раны и увечья, а одному даже отсек случайно ухо. Но другого брадобрея в Велисцихе не имело, Кеония изжила бы его, и волей-неволей мужланы тащились, когда щети-на не давала дышать, на хромоногий табурет к коротышке с большой головой и темным, страшным, хоть и наивным лицом, Бнело-Темному.

Продолжение Начало см «Новый мир» № 1 с. г

Запросы Бнело-Темного становились все более грозными: требовал уже за бритые и стрижку мешок кукурузной муки или бутылъ чаши.

— Жадины! — ругался он им вслед, сплевывая. — Являетесь, когда обросли волосьями, как звери, и ходите по земле спотыкаясь о собственную бороду!.. Ножницы о вашу щетину ломаются!.. Черти! Вот добьюсь через мироедов прейскуранта, тогда за каждое обслуживание пусть клиент-земледелец волочит мне целого быка! Тогда вы мне еще запоете хором Мравалжамиер!..

— Эй, Бнело! Тьма-тьмушая! Побойся, бесстыжий, нашего бога Квириа! На осенних игрищах он за алчность задаст тебе трепки! Ведь пришел ты в нашу деревню голодным бедняком, в лохмотьях, жалким попрошайкой. Забыл, как по дворам требуху клянчил! Кабы не распутница Кеония ненасытная, подыхать бы тебе с голодухи в выгребной яме! Тьфу!.. Гнусаво пел под чужими воротами, выпрашивая коровьи кишки, а? Блудодей ты паршивый и паскудный!

— Молчать! Я конь! Все мои предки были боевыми кахетинскими лошадыми! Я еще вернусь к вам табуном-грозой! Всех растопчу!

— Заткнись! Ты и стричь-то не можешь! Целуй задницу Кеонии, не то ходить бы тебе и дальше с протянутой волосатой ручищей по селам кахетинским. Просить милостыню в жару палящую на мосту через реку Иори!..

— А вы, пьяницы и ленивцы слабосильные, а вы покройте сади, как я, кобылу Кеонию! Ловко и умело насыдьте, чтоб она выла и каталась от радости и унижения, падая с кровати и вопя на всю деревню, а? Вот тогда поглядим!

— Лошак ты, Темный, а не конь!

— Врете, плуты и жадюги! Я вам не мул издыхающий, а конь Бнело-Темный, вожак табунов! Все мои предки кони быстроногие, и я еще сделаюсь царем лошадей! Погодите, обжиралы! — Бнело-Темный гнался с тупыми ножницами за обидчиком по жаркой, пыльной деревенской улице. Бежал от него напуганный клиент с намыленными щеками.

А до того, как Кеония, перебравшая всех мужчин в округе, его заприметила, приходилось Бнело-Темному, бедняжке, чужих гусей пасти с хворостиной, батрачить у мироедов, бахчу сторожить, чужую тыкву разудалую с желтыми боками охранять. Нанимался холостить тупым ножом отчаянно визжащего хряка, за что полагались ему отрезанные, в рыжей шерсти яйца кастрированного и похлебка. Мыл по чужим погребам ведра, бутылки и бочки на чужих свадьбах и поминках, подметал дворы, возил навоз на поля. Перебирал в чужом сарае картошку, за что и себе набирал кучку гнили.

Мечтал Бнело-Темный о том дне, когда он снова породнится с табуном свободных, резвых лошадей с жаркой гривой и унесется в жаркие приалазанские степи. Свобода ждала его, любовь юной кобылицы и счастье!.. А пока он пас за обедки чужих гусей и гусак часто до крови кусал его, гоняясь по пустырю, ревнуя низкорослого мужлана с широкими плечами, темным лицом и большой заросшей головой к своим женам.

Однажды, когда он помог одной сердобольной старушонке донести из леса на спине связку хвороста и она отблагодарила его сырой луковицей, проклял свою судьбу Бнело. И давясь горькой луковицей, брел по дороге и, зажмурив глаза, бормотал унылым, встречающимся в пути серебристым вязам, что он конь. Брел этот не признанный судьбой конь в пыли в поисках близкого конца света.

Поговаривали, что конец света прячется за оврагами Велисцихе, где-то в мрачной пещере Хуца. Шел Бнело голозадый. Гусак, набросившись на него, изорвал в клочья его штаны. Хохотала безголосо над ним даже безумная Эка с ввалившимися щеками, сидевшая у дороги и торгующая кучей грязных камней. Плелся по жаре один старый инвалид войны, спустя много лет он разбогател на торговле керосином.

Был он выпивший и, остановившись, удивленно взглянул на Бнело-Темного мутными глазами. Предложил Бнело, чтоб тот довез его на себе до села Ахашени, куда торопился инвалид к своей любовнице.

— Я боевой конь, а не лошак! — обиделся Бнело, но все же по бедности и угнетенности вынужден был повиноваться, опустился на четвереньки и под неожиданный сумасшедший хохот Эки понес на спине пьянчужку-керосинщика в Ахашени, где мерзавец расплатился с ним одним грошом. Долго клял свою

судьбу Бнело в славной деревне Ахашени, славной вином и алычовыми раскидистыми кисло-сладкими деревьями.

Пропил медный грош Бнело-Темный в винной лавке и, нетрезво покачиваясь, бродил по Ахашени, стучался во все двери и заборы, но никто не впускал его, не дал ночлега даже в сарае. В порыве отчаяния Бнело бился головой о чужой забор и голосил:

— Брат, а брат! Человек! Чего ж ты меня непустишь! Я брат твой. Мы все кахетинцы, братья! Я потомок braveго коня, хозяина земли! — И Бнело слезливо, хрипло пытался подражать коню, ржал.

— Пошел вон! Проваливай! — доносилась до коротышки с грузной непутевой головой ругань сельчан.

— Прощайте! — опускал Бнело-Темный здоровенную нечесаную голову. — Я ухожу!..

В сумерки добравшись до Велисцихе, он принялся снова кричать, зывая к сердоболию велисцихцев.

— Я не прошу милостыни! Наняться цирюльником к вам хочу! Эй, зажиточные жители богатого Велисцихе! Эй, скотники и виноградари! Подарите мне ножницы, и я вас всех обчекрыжу к свадьбе или похоронам! Я недавний гусиный пастух и попрошайка, а завтра с утра лучший брадобрей Кахетии сам Бнело-Темный, не выдавший ни одной жирной буквы кахетинского алфавита!

Но дворы молчали. Все пусто кругом. Кряхтела в луже утка.

Лохматые сонные собаки забились под дома и рычали оттуда на бродягу. Мелкий дождь прибывал каплями грязную пыль. В овраге стонал изгнанный из деревни юноша-бык Иштар.

— Вай! Вай! — плакал Бнело.

Вдруг из старого, покосившегося, неуклюжего дома Кеонии раздался отчаянный визгливый хохот и на голову Бнело, валяющегося в луже, полетели громадные ржавые-ножницы с тупыми концами. Упав в лужу, ножницы обрызгали грязной водой его вспухшее от слез обиды пьяное лицо.

— Быть не может! — завопил бедняга. Он встал на четвереньки и, пытаясь заржать конем, поднял грузную, бестолковую голову к дому Кеонии. Известное на весь Гурджаанский район обиталище любви и страсти.

Старый, задыхающийся от копоти домище, нелепый, весь сколоченный и починенный десятки раз черными гнилыми досками, обрезками жести, кирпичами, обмотанный веревкой и темными овечьими шкурами.

Домище стоял западая на спину, валясь набок, весь, как кахетинский нищий, в заплатках, дырах, рванине, дыры вместо окон заткнуты грязным тряпьем и серой соломой.

Давно упавшие ворота лежали посередине заросшего бурьяном и колючками двора. Стены в дырах величиной с тыква. Дом готов был рассыпаться от зевка пьяного прохожего. Кучей валялись повсюду лохани и ведра, рассыхались бочки и бочонки. На окаменевшей веревке, провисшей от крюка в столбе до инвалида-дерева, вот уже много месяцев висело и болталось белье — плохо выстиранные и скверно отжатые простыни, рубашки и штаны. Некогда и некому было ухаживать за домом и хозяйством.

Все обитатели жилища заняты мечтами, грезами, жадной любви. И не смотря на ужасный, погребальный вид, унылая одурелая велисцихская жизнь в нем по-своему пенилась мутным, не сдающимся ручьем.

В доме сквозь дырявую крышу шли осенние, полные ожидания последней любви слепые солнечные дожди. По грязным помещениям и коридорам домища свободно и безнаказанно разгуливали мычащие овцы в поисках корма, крошки хлеба или пуха пожелтелой травы, мычала здесь отощавшая корова, взгромоздившаяся копытами на супружескую кровать хозяев, носились и набрасывались на людей, вырывая из жующих ртов еду, гуси, сердито хлопающие громадными крыльями, хрюкали под столом свиньи.

Нередким гостем дома Кеонии наведывался и отощавший, с облезлыми боками должожитель Велисцихе осел с умершими глазами, забившийся со скуки в спальню и кричавший оттуда на всю деревню в сумерки.

Крыша выложена наспех и угрюмо из битых глиняных чашек, черепков, банок, желудей и комьев бараньей шерсти. Все дышало на ладан. Нелепый дом

готов был с радостью рухнуть и провалиться от стыда сквозь землю. Но неугомонная Кеония в ожидании все новых, заново рождающихся по всей Кахетии любовников оживотворяла домище своим бешеным, горячим дыханием, хриплыми, гортанными криками, нечеловеческим смехом и жадной пахоты и сева!

Бнело-Темный с прижатыми к груди ржавыми тупыми ножницами стоял у покривившейся водосточной трубы рваными башмаками в луже, и благодарственно слезились его очумелые от надежды глаза.

— Эй, ты, мешок в луже! — звонким голосом прокричала откуда-то с чердака, из слухового окна неугомонная до мужчин хозяйка, гроза всех жен и молоденьких девственных невест, уводящая их домочадцев и женихов прямо из-за пиршественного стола. — Чего валяешься в луже пьяным гусаксом! Айда ко мне! Лезь наверх, дурило! Кто ты?

— Я Бнело-Темный! — заикающимся бедняцким голосом завыл бродяга. — Я конь земли!

— Конь? — расхохоталась Кеония. — Коня нам в доме не хватало! Скачи сюда! По лестнице! Не зашибись только, не свались! Не убейся! Погляжу, как ты скачешь!..

Бнело еще держался на ногах. Тяжелые упавшие на голову ножницы чуть не задавили его своим весом.

— Я не могу! — взмолился конь. — Помогите, избавительница!

Снова целой праздничной деревней голосисто расхохоталась Кеония. Потом загремела и затряслась дышащая угаром любви лестница. В три кошачьих прыжка, вихрем скатилась Кеония. Дом валился набок вместе с кудахтающими во всех комнатах курами и шинящими гусаксами. Кеония налетела тучей на сжавшегося от страха Бнело-Темного. Она схватила мужлана за грязные волосы и поволокла в спальню, на ветхую, стонущую от страха перед каждым новым гостем кровать с целым стадом подушек. Гусиный пух облаками носился над великой кахетинской кроватью. Сначала Кеония вскипятила воду и в лохани искупала голого, повизгивающего от щекотки гостя. Намылила его подмышки, терла мочалкой, оппарила. Бнело ликовал.

— Я родился снова.

Шевелил ушами.

— Я конь!..

Закутав в простыню, женщина-матрона легко понесла на руках грузного коротконового мужчину в старую многотрадальную кровать. Кровать давно почернела от возраста, но не сдавалась почетной смерти. Кровать дышала думами о прожитых на ней свадьбах. Кровать дышала вздохами всех давно сгинувших в земле женихов.

— Я конь! — испуганно посапывал ноздрями очумелый Бнело и, пятясь от страшного ложа, обнимал подаренные ему холодные железные ножницы. Но Кеония, недолго думая, ударила гостя кулаком в ошетинившуюся от страха рыжими волосьями грудь, и он упал на подушки.

— Я цирюльник! — заплетался язык новобранца.

— Откроем в подвале цирюльню и будешь стричь головы всей Кахетии! — горячо шептала оваянная призрачным зеленым закатным сиянием долины Кеония, голая, в одной ночной рубашке, белея обнаженной грудью с коровьими, взбухшими от желания сосками, и наклонялась все теснее над своей жертвой.

Ливень сотрясал домище. Разверзлась земля. Метались от страха в загонх быки. Просыпались односельчане и осыпали Кеонию бранью. Земля в деревне Велисцихе вздыбилась. Вода дождевая, вспененная, с протяжным, ноющим стоном лилась в прохудившиеся лохани и дырявые кастрюли. Сжавшись в комок, ревновал изменщицу муж-хозяин Хачатур с острыми несчастными рожами на голове.

— Бнело! — вопила старая необузданная женщина. — Темный!

Бнело в ужасе прятался под подушкой.

— Я конь! — заржал он, бледный от страха и волнения — Я конь земли!

Бнело по прозвищу Темный, цирюльвик, был прозван так селянами за свою чудовищную безграмотность, отсталость, придурковатость, доходящую до идиотизма наивность, что не мешала ему, как всем кахетинцам, жить по-крестьянски хитрым, корыстным, жадным и даже расчетливым.

Будучи ленивым, чурался тяжелого крестьянского труда, боялся как смерти виноградарства. Старушка-мать за это проклинала увальня на чем свет стоит, обзывала самыми грубыми и непотребными сельскими ругательствами.

Бнело не понимал, как растет лоза, откуда берется вино, удивлялся давитьщикам винограда, зачем те босыми ногами ходят в деревянном корыте по гроздьям, и решил как-то, что это всего-навсего чудо — из-под их здоровенных ножищ льется готовое вино, которое можно разливать по кувшинам и бочкам!..

Тьма его происходила от великой лениности, может, он просто придуривался, что ничего не знает, чтоб люди, все велисцихцы, члены общины, оставили его навсегда в покое и не мешали бездельничать.

Бнело так и рос, сидел на плечах выбивающейся из последних сил старухи матери, которая за него и пахала, и ухаживала за скотиной, и виноград на своем крохотном участке выращивала, и медным купоросом лозу опрыскивала, и свинью сама резала к празднику, воду в ведрах таскала, дрова рубила; ничего невозможно поручить этому придурню великовозрастному, хоть он коренаст и приземист, широк в плечах и кряжист, даром что коротконогий, с темным хитрым лицом широким и плутоватыми глазищами. С открытым толстым ртом, толстыми как у теленка губами, любящими жевать что-нибудь: хоть жмых, картофельные очистки.

Старуха надрывалась, проклиная его на чем свет, ведь ничего дурню не поручишь!.. Пошлет она его в лес насобирать сухого хвороста или нарубить высохшего кустарника, а Бнело не слышал, что это за кустарник такой, встанет под старым буком с топором, морща лоб, и начнет рубить его под корень, запоет, непривычный к тяжкому труду, стучит топором без толку, пока лесничий Табахмела не явится на подозрительный стук, не отхлестает его веревкой, не погонит прочь, осел убежит от Бнело, забредет в глухоту чернеющего сумеречного леса, осла загрызет волк.

Нанялся Бнело-Темный коров доить, целый день проходил с ведром вокруг недовольно мычащей, подозрительно поглядывающей на него рогатой коровы, недоумевая, откуда молоко у нее течет, из какого места; шерсть трепать его ставила мать, с палкой, он шерсть так раскидал в воздухе по всему двору и по всей деревне, что в велисцихском небе мутно сделалось от летящей, закрывшей небо клочьями шерсти — как мелкими облаками; позвал сосед его помочь хряка холостить, Бнело за ноги самого соседа ухватил и ножом взмахнул, боров унесся хрипя прочь, а сосед визжит, на помощь селян зовет, спасите, мол, мужское достоинство отрезают. Одна отдохавшая в деревне летом девица строила ему глазки, а он не понимал, чего ей от него надо, сам стал тарашиться, подвывал по-собачьи, хрюкал, а девица, покатываясь со смеху, по загревку его колотила, все пыталась на шею ему усесться; однажды запряг мула в тачку, погрузил на тачку бочку и поехал к Алазани за водой для поливки огорода, свалился в реку, чуть было не утонул, понесло, закружило, воды нахлебался, продрог, спасибо, рыбаки сетями вытащили; послала раз его старуха мать в соседнюю деревню Мукузани на воскресный базар продать петуха, а также ведро сметаны свежей, и долго его не было, след простыл, старуха истосковалась вся, из-за плетня на дорогу пыльную, в рытвинах, ямах и ухабах выглядывала сморщенным, изжаренным солнцем лицом, а сыночек как провалился, вдруг откуда ни возьмись несется по дороге с криком отчаянным петух, весь измазанный в сметане, а за ним с палками водовозы бегут.

— Проклятый! — кричат. — Возвращайся назад, ты наша собственность теперь!

Старуха к ним навстречу. Петух ей на макушку уселся и со злобы клвет старуху, как бешеный. Выяснилось, что Бнело решил петуха водовозам отдать, чтоб самому к Алазани за водой не ездить с бочкой и не тонуть в бурной реке, на стремнине. Водовозы обещали дурню за петуха жирного встать на холме и дуть на тучу в сторону полуразвалившегося домишка Бнело, чтоб дождь над

самой его головой пролился, а Бнело надо будет только лохани и тазы да бочки приготовить, чтоб вода сама текла в них.

— Вот дурень! — ругалась старуха.

— Отдавай петуха, старуха! — кричали водовозы. — Бнело с нами по рукам ударил при народе, обмен мы совершили, петух наш!

— Идите к черту, ироды! — вскипела старуха, выставляя им шиш. — Вы, может, еще корову у нас за снег прошлогодний, стаявший, со двора уведете!

— Наш петух! — не отставали водовозы.

Народ собирался, посмеиваясь, подзадоривая кто старуху, а кто водовозов, не желавших упустить легкую добычу.

— Так берите! — огрызнулась старуха. Петух слетел с ее головы и давай клевать водовозов, а старуха их палкой по спинам колотить. Насилу ноги унесли плуты-водовозы, облака пыли клубились.

— Эй, старуха! — смеялись велисцихцы. — Дождя они не надуют в твою сторону. Огород неполитым останется.

— Горе мне! — плевалась старуха. — Темного на свет божий родила, будь проклят мой муженек, покойник нерадивый, ленивец и цирюльник, каким сам дурнем был, такой и приплод дал.

Петух снова сел на темя старухи и, победно торжествуя, кричал сверху, красный от негодования.

Но позор старухи в тот вечер был не весь петушинный, выяснилось, что сыночек Бнело-Темный сметану всю ораве цыган по ложке отдал: те ему обещали за каждую ложку по одному беззаботному и сытому дню нагадать, ленивцу. Бнело-Темный сидел на своей тачке, свесив короткие кривые ноги с ведром сметаны густой на коленях, мул стоял молча, отмахиваясь от мух и слепней хвостом и глядя спящими глазами, укоряющими, терпел безобразие хозяина, страдая оттого, что сметану, посланную с ним старухой на продажу, Бнело плутам раздаст. Цыгане идут шумной оравой к тачке с Бнело и ведром сметаны на его коленях, а он им черпает ложкой, а кто, торопясь, сам лезет грязной пятерней в свежую белую сметану, Бнело им шармливает всю сметану, а толпа цыган-бездельников все не уменьшается, а растет по кругу, оближут ложку, запихают в рот отличной сметаны и снова в очередь становятся да дурня нахваливают:

— Молодец, Бнело! Не жаден! За одну ложку сметаны огромный сытый безоблачный день получай!..

Петух, привезенный для продажи и еще пока не выменянный Бнело на дождь с водовозами, рассвирепел, видя, какую глупость совершает сын старухи, взлетел, влез в ведро со сметаной и давай хлопотать крыльями, бить ими по цыганским шельмоватым рожам и огромным, широко разинутым ртам.

Раз как-то в базарной корчме он сел играть в карты с компанией заезжих плутов, в тот раз он привез в тачке на базар старуху мать, старуха не могла доверить своему неграмотному сыночку уже ничего и сама принялась торговать глиняной посудой, мисками, чашками и кувшинами, которые гончар Хоштар за недостатком времени дал ей, — перепродать и немножко заработать. Сыночку она велела отвезти себя и стоять на базаре рядом, чтоб ничего не украли и тарачил свои бараньи глазищи. Бнело постоял, тоскуя от лени и безделья, от жары, а вокруг уже всякие мошенники и плуты шныряли, бросая быстрые хитрые взгляды на товар в жаде поживиться и придумывая, как бы избавиться от крикливой, сухожильной, горланистой старухи, чтоб околпачить ее коренастого, широкоплечего, коротконого сына. Старуха же отгоняла их от посуды как мух, гнала вон.

— Пошли прочь, жуки навозные! Я вам не Бнело-Никудышный, мною рожденный от самого простодушного в Кахетии мужлана. Я старуха хитрая и двужильная, сама землю мотыжу, рожь, пшеницу и виноград выращиваю! В мешках рожь таскаю на продажу, чечевицу тоже, баранов стригу, быков режу! Подойди кто сюда, мошенничье отродье, камнями забросаю, вон я их привезла на тачке целую корзину!.. Бнело мой на берегу насобирал голышей, чтоб вас забить до смерти! Народец кривой и бессовестный!

— Твой Бнело не камней, а картошки гнилой накопал, свеклы дохлой! бурака мертвого!

— Сам дурак! — огрызалась старуха. — А ну, кому чашки глиняные и миски! Подходи, народ, гончара велисцихского Хоштара работа! Отличная посуда! Для вина и для похлебки!.. недорого возьму, могу и на баранину или на мешки с кукурузой обменять. Лобио тащите, орехов или пряжи...

Базарные мошенники и жулики совсем было сникли, но на их счастье вдруг живот у Бнело-Темного разболелся, он заерзал, слез с тачки, мучаясь животом, хватаясь за него судорожно руками, корчился, выдавливая муку на черном как земля лице ничтожного смерда, как бы вылепленном только что ручищей жилистой Тархнишвили. Лицо Бнело дышало землей, из которой он родился и должен бы любить ее, первородную землю, а он, дурак, с самого рождения отрекся, не хотел быть земледельцем, такая лень и страх охватывали его при взгляде на поле, обрабатываемое пахарем Ваню; страшило ленивца копыто буйвола-труженика, волочащего соху или плуг. Ужас давил Бнело при виде тех страшных усилий, какие с начала весны прилагал Ваню, чтоб поднять поле, распахать, обработать, засеять, холить и бороться за него, а поздней осенью жечь солому. Вот буйвол или вол поднимают и опускают на борозде копыто, а Бнело ногу задрать, шаг сделать ленился; такое усилие, думал бездельник, разорвет в нем жилу жизни, разломает надвое грудь, он упадет, и из горла его изольется черная холодеющая кровь. И блестя и дрожа своим смуглым лицом, вскипая пузырьками волнения и нетерпения на толстых губах, заерзал детина, дармоед коротконогий, намекая старухе, что надо бы ему отойти помочиться, живот и мочевой пузырь вот-вот лопнут и нет силы терпеть, тогда он околеет и матери придется одной в тачке волочить его на велисцихское кладбище, к оврагам и пещерам Хуца-каменотеса, наскального первобытного художника Кахетии.

— Лентяй, не придуривайся! — вспухла криком старуха, осердясь на очередные выделки сына, дармоеда темнорожего. — Не дрыгайся! Мне за горшками и мисками глаз нужен! Я одна, старуха, со всей торговлей не управлюсь, мне и покупателей зазывать надо, и вертеться, чтоб товар не сперли, и монеты принимать и пересчитывать, а если кто мену предложит, то чужой лобио или рожь щупать!..

Бнело-Темный снаружи и внутри посинел допаясь, готов был задохнуться, прикидываясь, нагоняя усилия и боль. Терпя боль в животе, он вообразил, что это не мочевой пузырь раздулся, а угнетает его терпение земледельца, что должен всю жизнь от зари до зари обрабатывать землю; в ужасе Бнело нерадивый соглашался принять на себя самое тяжелое наказание, даже посмертное, только бы, пока жив, позабыть про труд пахаря, не быть к нему привязанным, пусть позор деревни ляжет на большую, грузную голову коротконового мужлана, а там, после смерти, согласен, чтоб Хуц изобразил его позор, выдолбил своим каменным резцом на длинной стене пещеры Бнело-Темного, пожираемого червем; умирающего от голода Бнело, поедающего свою старуху мать, и души умерших велисцихцев бьет его своими крыльями. Бнело примет загробное наказание, лишь бы теперь не трудиться!.. Бнело стонет, не хочет думать о работе поденщика, а вид горы глиняных чашек и мисок, которые гончару надо было вылепить, помучаться с глиной, вызывал в ленивце Бнело зевоту судорожную и холодный одуряющий страх и испарину на тесном лбу.

— Мочись здесь, скотина! — визгливо закричала старуха. — А то сметаешься куда-нибудь! А меня одну обворуют разбойники и мошенники, гляди, их сколько здесь шныряет!

— А ты не жадничай, кочерыжка! — огрызнулся Бнело-Темный. К ним уже люд базарный прислушивался, посмеиваясь и почесывая затылки. — Заплати налог за один рыночный день капитану порядка, Абесалому взяточнику, и он со своим заржавленным испорченным пистолетом в кожаной грязной кобуре дырявой охранит твой скарб и твою взмыленную душонку!

— Тьфу! — сплюнула старуха. — Родила дурнем и живет дурнем! Нашел капитана — плута и обгрызалу! Он с меня последний рванный чулок стащит и продаст, а в кобуре у него и в помине не лежал никакой там пистолет или пу-

гач!.. Завтрак на дежурство кладет в него жена, огурец соленый, помидор сгнивший и кусок заплесневелой колбасы! Ха-ха! Тьфу!

— Как хочешь! — Бнело-Темному было уже невтерпех. Он для виду только расстегнул свои холщовые штаны в заплатках, хотел для пущей убедительности попугать хриплую осатанелую мамашу, но от яростной перебранки, волнений и обязанности стоять здесь на жарнице рядом с тачкой, где солнце печет голову, среди вони, луж и грязи и мусора и слышать, как старуха хрипло зовет покупателей и торгуется с ними, Бнело-Дурило и в самом деле не выдержал, и вот брызнули три капли его лошадиной, желтой, горячей, шумной мочи, потной, выжатой как у лошади от тяжелого труда. Алмазами горела моча, сияя.

— Может, мой предок какой-нибудь был лошадью и надорвался под ярмом в каторжном труде, вот и я боюсь теперь, потомок лошади, труда и ярма!..

Моча Бнело-Темного всегда была настолько радостной, горячей и соленой, что если он мочился где-нибудь в канаве при дороге или в голом весеннем, зацветающем бледно-синим колючим цветком поле, то целый табун коней, вдруг почуяв родной, неповторимый, родственный запах, галопом скакал с диким ржаньем к короткононому изумленному мужлану, непричесанному и оборванному, и, чуть не раздавив его, замирал рядом, присоединяясь по-дружески, и мощные струи табуна резво блестели на солнце, играя всеми цветами радуги, излучая теплую радость бытия; лошадиная быстрая моча мешалась с человеческой, еле поспевающей, и обильная, всеобщая влага, казалось, могла оживить, оживотворить, облагородить землю кахетинскую, поля и луга, ведь кровь быстроногих лошадей смешана с огнем резвости, надежды, бега и вечного труда. Это был буйный потоп освобожденных от ярма, ремней и веревок лошадей, которые резвились в зеленом поле, шерсть кучерявилась и голубела от внезапно налетающих со всех сторон и быстро исчезающих ветров долины, таких же молодых и порывистых, как табун; от горячего дыхания золотой, прелой мочи исходило томление целой кучи трав — пробуждалась наша земля. Не могла взойти рожь или пшеница только от соленой струи конской и человеческой, надо пшенице растущей пить и дождь и ливни, резвая моча лошадей смешивалась с дождями, давала полю могучую возрождающую силу, и всходил живущий один миг бледный, колючий цветок, дрожащий от страха и счастья, а потом его тотчас поедали козы, и даже слепой червь, скрючившись, жадно всю зиму ждал во мраке несчастный цветок, пахнувший лошадиной и крестьянской кровью.

И кричал тогда возбужденный и потрясенный Бнело вместе с очумелыми лошадьми, возбужденный и вдохновленный их победным праздничным ржанием, и бежал вместе с ними; они, развевая гривы, били его в горящее лицо хвостами, он цеплялся, взмыленный, за хвосты, и молодые резвые лошади тащили за собой короткононого человека, смерда, и куда девалась тогда его лень тупая и глухота к жизни, Бнело сбрасывал с себя одурь, громко подражая конскому ржанью, наслаждаясь здоровьем, счастьем глухого топота, рождающего в земле рыбу исполинскую, дышал шумно, задыхаясь, гнал в табуне за кобылицей, ощущая себя великим богом, догоняя кобылицу, пылающую рыжей гривой и топчущую дрожащую от копыт землю, мечтал, чтоб она, рыжеглазая, забеременела от свистящего дыхания его опаленных ноздрей, от неистового бега его босых ног, топчущих, как и копыта табуна, поле, но вдруг ужас охватывал Бнело-Темного и холод разливался в груди: табун несся вперед, вдаль, становился неистовым, быстрым как молния, страшным, обгоняя ветер; и ветер слабо пытался бежать и, напугавшись, отскакивал в сторону, боясь быть растоптанным, и несчастного смерда деревенского, обалделого Бнело пронзала острая боль, он видел, как эти животные, гривастые, потные и страшные, мчат его к смерти, они сами превращались в смерть каждой весной с бродящим в их крупах вином лозы кахетинской, пьянея от сладкого свежего вина, еще мгновенье, и они обгонят даже свет, а там, возле обрыва, над рекой Алазанью, у самых гор ждали люди — пастухи, наездники, загонщики с кнутами, палками и ярмом, и вот — плен, лошади выдохнутся, стоят, падут, побежденные, превращенные в молчаливых, безропотных животных, избитые палками, с тоскливыми глазами, изъеденными и залепленными мухами.

Бнело-Темный кричал от ужаса. Там, впереди, за светом и ветром, дерзко побежденным на миг резвыми конями, их ждала тяжкая расплата за гордость и мечту, за бешеный взмыленный храп, а Бнело, маленький человек, одиноко вцепился в лошадиный хвост, волочился, бился о землю грудью, разбивая в кровь лицо и грудь, холодея от страха и жмурясь, разжимая онемевшую руку, и тело его катилось, как мешок, и замирало.

Он был весь в земле, в грязи и пыли черной, с исцарапанным, разбитым лицом, лежал ничком, позабыв про небо, заплаканный, и чувал, как угасал, рассеиваясь, горячий пот несчастных, унесшихся в глубокую смерть лошадей.

Слепой червь уже поедал голубой колючий цветок. Червь безмятежно блестел на холодном солнце своей скрюченной, рожденной из праха спиной и обнюхивал капли крови на колючке. Это была кровь Бнело. Обида сдавила горло человека. Лошади унеслись. Человек лежал раздавленной грудью на бурой земле, почти превратившийся в прах, одинокий и брошенный молодыми безумными лошадьми, своими предками. Ужас перед глыбой земли, которую надо обрабатывать, чтоб кормить себя и мать, охватил Бнело. Не давал дышать.

А вот слепой шевелящийся червь, казалось, не боялся земли, хоть ему не одну сотню лет бороться с ней, поедать, обрабатывать не хуже пахаря Ваню, здоровяка, могущего поднять и понести на разудалом плече, к водопою, огромное поле.

Мутное расплавленное солнце, дышащее горячим отваром ромашки и другими дурманящими травами, потекло в расширившиеся, горячие глаза Бнело-Темного, и моча его казалась одинакового цвета с солнцем. Он стоял рядом с матерью, торгующей глиняной посудой, и повозкой с выдохшимся от ленивого безделья мулом и не мог уже удержать бешеной, опаляющей воздух струи, рвущейся из него наружу, на свободу.

А мул вспомнил про свое наполовину лошадиное происхождение или из чувства солидарности к своему коротконогому хозяину-чудаку встряхнул кучым, изодравшимся, как метелка, маленьким хвостом и вдруг тоже пустил зеленую, тяжело пахнущую, прерывистую струю, и слепо, краем пыльного глаза поглядывая на незадачливого хозяина: доволен ли солидарностью? Люди базара подняли насмех мужлана.

— Бнело с мулом порознь никогда землю желтым дождем не орошают!

— Славный у тебя мул, Бнело! Вы едите вместе и с женщиной в одну кровать ложитесь? Не братья ли вы?

— А может, мул твой племянник?

— Недаром про нас говорят, что Кахетия — земля ослов да мулов!

— Убирайтесь оба! — закричала разгневанная старуха мать.

Мул тотчас испуганно оборвал свой мутный, дышащий потом и солью одиночества дождь.

Бнело же не мог никак остановиться. Он бросился бежать, не унимая кипящего, жужжащего ленивого потока, к базарной выгребной яме, одиноко чернеющей рядом со свалкой среди куч мусора, желтых, обглоданных хищными птицами и собаками костей, яблочных огрызков, белого и мягкого куриного пуха. Люди гоготали и улюлюкали вслед. Широкое темное лицо Бнело сверкало каплями пота, слез и золотистой, ликующей, как радуга, мочи.

Капитан порядка и беззакония Абесалом содрал со старухи денежный штраф за осквернение сыном общественного места, повелел привезти в следующее воскресенье кусок соленого сала покрупнее, иначе он не пустит торговать.

Старуха ругалась и долго грозила кулаком капитану с изжеванными ослом погонами и сынку своему, мужлану самому Темному в Гурджаанском районе.

Пока старуха препиралась с капитаном-душегубом о весе и размере сала, заезжие жулики заманили Бнело-Темного играть с ними в кости в винном подвале неподалеку. В карманах Бнело нашлось всего несколько дырявых монет, мешочек с табаком, трубка, белые куриные, измоченные мочой перья, бритва — наследство от покойного папаши-брадобрея. Но жуликам этого хватит для начала, а потом они надеялись снять с него последнюю рубашку. По-видимо-

му, их больше всего интересовал мул. Хоть и полудохлый, весь отощавший, серо-зеленого цвета драной мыши, с мутно-ленивыми спящими глазами, а всех ж пропить его в кабаке можно. Или обменять на свинью.

— Эй, Бнело! Иди к нам, в погреб, сыграем в кости, привалит счастье, обыграешь нас, купишь себе цирюльню, откроешь в Велисцихе парикмахерскую, что пропилил твой папаша-буян! Глядишь, и разбогатеешь, дурило! Посмотрим, кто тогда Темный, а?

Смуглое лицо коротышки коренастого, с широкими плечами и крепкой шеей сжалось, жуликоватые с виду, на самом деле глупейшие глазки плутовски загорелись.

— А что я могу выставить?

— Хе!.. Да что угодно!.. Монеты, одежду, петуха вашего неугомонного, мула с тачкой, огород и даже старуху мать! а?

Бнело поскреб в затылке пятерней.

— А на что вам старуха моя?.. Даром берите!

— Даром не надо, а проиграешь, мы ее на черную работу продадим!.. Ну!

Призадумался Бнело-Темный. От старухи избавиться — это соблазн.

— Валайте! А вы что ставите?..

— Мы-то? Вот глупый человечина! да что угодно! Все наше, раз мы с косточками игральными не расстаемся! Быка соседского хочешь? стадо баранов? винный погреб, горы, реку Алазань, весь Гурджаанский район будет твой! Кости — игра без жульничества! Одна удача! Сегодня мы богачи, а завтра нищие!.. Идет? Цирюльня — вон она, на носу твоим соплей повисла, хватай, счастливец! — И плуты стали подбрасывать и перебрасывать из руки в руку кости.

Трое пришлых жуликов выжидательно поглядывали на Бнело. Три лица воровские, серые, с ввалившимися хищными ртами и небритыми щеками, угрюмые и беззубые.

— Эх, была не была! Прощай, мать чертова! — махнул рукой Бнело.

Через полчаса Бнело спустил с себя все, снял одежду, отдал мула, старуху братья жулики не решились, а еще должны явиться ночью и забрать козу, петуха и три мешка кукурузной муки, что хранились в маленьком покосившемся амбаре.

— Вай! Вай! — завздыхал Бнело. — В самом деле я темный неуч! Что ж это, приятели? Горе-то какое! — И он колотил себя кулаком по макушке.

— Не горюй, продувало! — подмигнул один из жуликов. — Нынче проиграл, а завтра ты хозяин всех цирюлен Кахетии!

— Завтра ты бог всех кахетинских брадобреев! С каждого куш сорвешь в мешок! — подхватил другой мошенник, тощий, с длинной, немытой шеей и выпирающим кадыком.

— Без твоей печати круглой ни одна цирюльня ни одного человека стричь и брить не осмелится!

— Бритва у тебя для бритья осталась. Вот на нее давай бросим кости, а?

— Отыграешься, болван!

— Давай! Давай!

— Бритва! — Одурело глядел по сторонам Бнело. Насмешливо притихли крестьяне, попивающие из маленьких стаканчиков красное прохладное вино.

— Бритваааа!.. Ни за что! — взвыл он по-мужицки, одурело, с задыхающимся прихрипом. — И вдруг стал размахивать бритвой как саблей. — Это папаша моего родовое оружие! Мое будущее! Не подходи! Зарежу!

— Ладно! Оставь ее себе, Темный!

— Холости ею свиней!

— Можешь себя охолостить!

— Темная ты башка!

— Болван очумелый!

— Поверил нам, что Кахетия стоит на каменной рыбе!..

— Ох, горе мое! — завопил Бнело.

Но было уже поздно.

Он вышел из погребка голый, без одежды и, падая на колени, прощался с мулом, целуя его и обнимая и заливаясь горячими слезами. Мул тоже опечалился, помаргивал. А старуха, не ведая, куда он провалился, непутевый, про-

клинала и обзывала бездельника на весь базар. Пока крестьяне не рассказали ей, как жулики заезжие, игроки в кости его облапошили. Озверела старуха и кинулась выручать мула, а жуликов и след давно простыл.

— Чего ж стоишь, бандюга! — орала она на капитана Абессалома. — Небось выкуп с них берешь, а честных крестьян не охраняешь и из беды не выручаешь! Не видать тебе сала, мародер! — Бросилась старуха догонять игроков в кости, швыряясь камнями, да поздно. Мула увели, потихоньку выпрягли.

Смеркалось, старуха запрягла в тачку своего сынка обалделого и голого, без штанов, он только рогожей прикрыл срамное место спереди и потащил тачку. Тачка со старухой подпрыгивала на ухабах. Старуха бранилась всю дорогу и еще целый год.

— Хоть бы в мужья тебя какая-нибудь дура взяла! — ругалась и плевалась она. — Снял бы ярмо с моей шеи, придурень!

И надо же, словно сам бог Дионисэ сжалился над старухой.

Ходил Бнело по дворам, искал работу, предлагал постричь кого, Кеония швырнула ему в окошко громадные ржавые ножницы, поволокла в свой покосившийся домище. Прослышала она еще раньше, что коротышка-мужлан Бнело, дружащий с лошадьми, без дела пропадает. Вздумала она проверить его убойную, мужскую силу.

— Цирюльню тебе в подвале моего домища открою! — приманивала она дурака. — Денежек нагробешь! Самого Дионисэ с бродячими богами брить будешь! Давай поезди на мне верхом сначала! Покажи прыть! Поглядим, что у тебя получится!

— Цирюльню! — осклабился Бнело недоверчиво. — Не врешь, а?

— Ей-же-ей! — побожилась неугомонная распутница.

— Цирюльню! — закричал он радостно. — Кеония!

Матрона выкупала мужлана, толкнула в громадную кровать. Утром он ликовал, кричал и мычал без конца.

— Я брадобрей! Я счастлив! Я брадобрей!

— А ты ухватист и норовист, коротышка! — хохотала Кеония любвеобильная.

Коротышка Бнело, мужланистый, еще больше потемнев лицом хитрым, подпрыгнул от радости, хлопнул в ладошки, переваливаясь с боку на бок, кривоного приблизился к Кеонии и, легко подхватив матрону свою и любовницу обеими руками, побежал с нею вприпрыжку через кочки и пригорки, откуда только прыть взялась, через звенящие ручьи скакал, через горные речушки, трещал под ногами валежник, ломались кусты шиповника, выпархивали напуганные пичужки. Как молодой козел прыгал, брыкаясь, с дорогой ношей Бнело-Темный, ликующий, разгоняя стада телят, машущих лохматыми хвостами, а мать придурка, старуха, стоя возле гнилого плетня своего бедного домика с мешком пахучего репчатого лука из погреба земляного, ругалась, глядя любовникам вслед; сынку своему, ошарашенному от счастья, — «Отмучалась, освободилась от ярма!» — бормотала старуха. Крестьяне же посмеивались, издевались над Хачатуром Подавальщиком Ножа, исполняющим временно обязанности хлебореза, что вдруг от горя и ревности в темной своей лавке негодовал и плакал и разволновался так, что стал нарезать покупателям куски хлеба вдвое больше обычных, не обвешивал покупателей, сдачу отдавал. «Беги, беги вслед, — посмеивались крестьяне, — догоняй женушку свою грозную, а то еще рогов роца на башке твоей вырастет!» Но Хачатур побаивался бабищу, знал, что матрона ненавидела, когда Хачатур, законный хилый муж, пытался вмешиваться в полюбовные утехы и похождения, могла содрать с Хачатура штаны и его же ремнем отхлестать. Или ухо откусить ревнивцу кричащему, а потом из дому прогнать муженька на несколько дней, пока не очухается, и к кровати супружеской великой ночью целый год близко не подпустит, так что обиженный Хачатур должен будет стоять на коленках возле огромной деревянной кровати ночи напролет, вымаливая прощение.

Заржал молодым жеребцом Бнело. Погоняет его ненасытная Кеония.

— Эй, народ кахетинский!

Бнело-Темный я!

Глуп как пень!

Ничего не знаю, грамоте не учен, букв боюсь, книги еще ни одной не прочел, даже Амбарной!

Дальше Гурджаани не выезжал.

Уверен, что Алазань — единственная и самая великая река на свете, а дуб отец наш!

Мне чудится, что если поплывешь в лодке по Алазани, она, покружив вокруг деревни, меня назад в детство, в рождение мое принесет, от пьяного брадобрея-папаши.

А еще я думаю, что все животные, быки и коровы, рождаются из камня целыми стадами, а потом вырастают и живут век, а как сделаются громадными и тяжелыми от мяса, кахетинцы их к празднику урожая Ртвели режут и съедают, а животные не умирают, а становятся малыми как букашки и под ногами нашими крестьянскими тысячами, целыми стадами живут и над нами смеются!..

Несется Бнело-Темный по полю с любовницей. Поет и шепчет:

А еще мне кажется, что каждый кахетинец не умирает, а обрастает гроздьями или подсолнухами солнечными и у него могучие рога бычьи появляются на лбу!..

Улыбается наивно Бнело-Темный. Обливается потом.

О чем вы, люди, толкуете, я, Бнело, все шиворот-навыворот с детства знаю!

Каждый из нас в Кахетии богом сделаться мечтает?

Пусть так. Пусть каждый гнет свою правду крепкую!

Тогда, может, мы народом крепких земледельцев сделаемся.

И новое племя, новый народ от себя народим!..

Могучий пойдет народ в Кахетии, вот как здорово! Ха-ха! Эй!

Может, и я от Кеонии хочу тьму народа народить здорового, а пока что-то не выходит?

Оттого, что стара она, хоть и молодится! хоть похотлива, хоть и заездила меня, дюжего парня!

Эх, ребята! Хочу я лечь с Кеонией во дворе на землю и родить деревню.

Деревню с хозяином.

Пусть хозяин неповоротлив и темен с виду, как я!

Пусть он слепой даже. Плевать.

Норов мой! Отпрыск Бнело-Коня! А?..

Я всем ленивым кажусь, сквозь зажмуренные глаза и веки опущенные велисцихскую сонную жизнь наблюдаю, а однажды родится хозяин и я самым неистовым и бодрым окажусь! Верьте! Верите, кахетинцы?

НАСКАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК ХУЦ

Тина — собирательница мака

Тину родила Кеония от Хуца-каменотеса, наскального художника.

Люди боялись встречаться с нею взглядом. Тина ходила молча. Люди боялись, что она найдет на них смертный сон. На тонких, холодных губах девушки дрожала тень упрека велисцихцу. Волнение и жалость за его судьбу выжигали ей лицо, сушили губы. Любого жителя деревни она считала слабым, страшась, как ребенок, подземного мира теней. Темных катакомб сна. Спокойно, с легкой досадой смотрела она на кахетинцев. Высокая, крепкая девушка с длинными руками и замерзающими, бархатистыми, как вызревшая слива, глазами. Волосы зачесаны гладко назад, в тугий узел.

Тина собирала травы, коренья, цветы. Изготавливала из них снадобья и лекарства, выжимала целебные соки. Крестьяне обращались к ней за помощью при болезни. Просили избавить от болезней и дурных снов, от лишаев и язв. Но если кахетинец долго смотрит в глаза Тине, через несколько мгновений у него кружится голова, тянет в глубокий сон. Тина с детства полюбила мак. Собирала его пунцовые огни.

Отец Тины, каменотес Хуц, жил в пещерах за оврагом. Овраг этот наводил ужас на кахетинцев. Там нередко пропадала скотина, мог заблудиться ребенок, а одна девушка, проблуждав возле пещеры три дня, вернулась домой седой.

Провалишься в яму, не имеющую дна, разобьешься об острые камни, навсегда останешься лежать в черном ручье, что обгложет тебя и оставит голые кости. Искать твои кости никто не захочет. Не найдется такой смельчак в Велисцихе. Даже плотник не пойдет без надобности к оврагу. Отговорится, что некогда, надо сколачивать родовой гроб, в который уложит Кахетинца, Кахетию с толстыми, красными мясистыми щеками, с круглым лицом и огромным прожорливым животом, дышащим винищем.

В пещере жил Хуц. Он давно переселился туда. Так надо было деревне Велисцихе. Высекал лица и тела умерших на стене, добывал камень, которого становилось все меньше. Если война, из камней складывал сторожевые башни и крепости. С родни умершего за могильную плиту брал что давали: хлеба, влажных, теплых от солнца помидоров, бутылку вина. С бедняка луковицу. Или хлебное зерно. Или даром.

И снова проваливался вниз, в подземелье, в чрево, в преисподнюю.

Исчезал во мраке, во чреве матери.

Крестьяне приносили еду к разлому, он медленно жевал мясо и куски хлеба. Человеческие кости, обглоданные тьмой, он выбрасывал из ямы наверх, в бурьян, где иногда серые шипящие змеи тащили эти кости в свои норы за камнями. Змеи обвивались чешуйчатым телом вокруг костей умерших людей и согревали мертвецов, грелись сами. Иногда хищные птицы стаей бросались, падая с неба, на эти кости, и между шипящими, одинокими змеями и дико кричащими и машущими длинными крыльями птицами шло сражение.

Дионисэ издали наблюдал за схваткой. От волнения крупные капли пота блестели на лбу бога. Дионисэ переживал. Победа змей предвещала осень тревожную, но плодородную, а если обнаглевшие птицы с хриплыми криками и клетотом брали верх, то жди голода, смерти лозы.

Змеи любили виноград, они целовались с ним, лизали гроздь спелую ядовитым языком, обвивались вокруг лозы. Красная набухшая гранатовым вином гроздь в объятиях сладострастной змеи с капающим с раздвоенного языка черным ядом шипящим. От этой страсти не откажется Кеония — великая любовница Алазанской долины.

Сражались хищные птицы и шипящие змеи. Птицы подхватывали кости с извивающимися змеями. Хуц швырял в них камень. Схватка в краснеющем, закатном небе. Темнел от страха диск умирающего солнца. Девушки в поле кричали от страха. Птичьи чернеющие перья хлопьями сажидились на землю. Сажид задушит урожай. У стариков ноют кости, лошади и быки останавливаются как вкопанные, буйволы стонут, человекобык Иштар схватился руками за свои рога. Раб Картлос бросается на помощь, не дает Иштару вырвать глаза с бычьей страшной своей морды, обреченной на проклятие и позор. Раб Картлос, не боясь смерти, борется со своим одиноким другом Иштаром.

— Мало тебе позора — бычьей головы на плечах?!.. Хочешь еще и ослепнуть?

Птица выпустила с протяжным криком кость с извивающейся змеей. Там, где упадет кость, — голод, неурожай. Плакала деревня.

На опушке ольхового леса, шурясь, всматривается в схватку в небе юноша с тоскливым, зеленоющим влагой взором. Юноше с венком из дубовых листьев на голове кажется, что он связанный цепями титан.

Ему чудилось: коршун в небе с извивающейся в когтях опасной змеей — это душа и сердце его, юного бога виноградарей. Вдох и выдох гигантских лег-

ких. Коршун с извивающейся змеей — это лицо великого бога Дионисэ, летящего над долиной дубов, из колена дуба родился он. А потом винный сумрак. Ночь. Тишина. Крестьянские мальчишки собирают и сажают в землю перья птиц и чешую змей, клочья соперников.

Осенью из них родятся ползающие в пыли яблоки с растущими из кожуры перьями мертвых птиц. Однажды убившие друг друга, издыхающие коршун со змеей в когтях упали на тяжелый осенний лес недалеко от Некреси, наколовшись на скалу. Крестьяне вырубили в той скале пещеру-капище с каменным алтарем, а в жертву вместо ягненка зарезали свинью, чтоб освободиться от проклятия. Свинья в аду пожирает землю с мертвой змеей. Спасает души грешников. Перо окровавленного коршуна, кружась в воздухе, село на голову мальчика из Чумлаки, мальчик почернел, только глаза его оставались живыми, печальными, и страшно было закапывать его в землю.

Мать поседевшая кричала, а мальчика закидывали в могиле комьями — кидали землю на живые, блестящие глаза.

Птицегадатель Арзуман с кривой ухмылкой кривого рта объяснил крестьянам, что мальчику в земле уже не поможешь, даже если наложить на глаза тяжелые камни, слезы ребенка прожгут их. Седая мать убивалась, не хотела отдавать ребенка яме. Ее держали.

На могиле вырос черный одинокий дубок. И крестьяне боялись приближаться к нему даже в праздник майского древа, чтоб опить вином и кружить хороводы. Дубок постигло несчастье: свиньи, изгнанные из храма Алаверди Нодаром Шашвидзе, пожрали дубок. Много свиней изгнанного стада бросились с высокого обрыва в быструю Алазань.

Дионисэ мрачнел, видя в небе схватку кружащегося, обезумевшего, обезглавленного коршуна с гибнущей окровавленной змеей в когтях.

Это случалось каждый раз перед самым праздником Ртвели, накануне его очередного убийства в опустелом винограднике, шуршащем умирающими сухими листьями, когда он, полуживой, истекая кровью, умерев и родившись снова, угрюмо возвращался на гурджаанский винзавод № 1 волочить на спине мешки и грузы, таскать бочки и кувшины на складах, где был оформлен грузчиком-чернорабочим со сдельной оплатой труда.

Отец Дионисэ, дуб гомборский, когда-то родил его из колена. А сам Дионисэ с увядшим взором, молчаливый, одинокий, нелюдимый, живущий на складах зимой, никак не мог родить сына из своего колена. Спасителя и наследника Кахетии. После тяжкого рабочего дня на складах усталый бог гладил шершавой ладонью с мозолями колена, зашибленное бочкой. Но колена его оставалось бесплодным.

Вот какую схватку вызвала обглоданная человечья кость, которую Хуц выбрасывал из пещеры наверх, к свету, в бурьян.

Хуц-каменотес, отец Тины, собирательницы мака из Велисцихе.

Хуц

Хуц редко уходил из пещеры. Не любил удаляться из своих каменоломен. Ходил там между глыбами на полусогнутых ногах, весь медвежий, мрачный, угрюмый. Долгие годы он ворочал молотом, зубилом, огромным ржавым скальным топором. Тяжелое тело и шея, широкая спина, жилистые руки, железные пальцы.

Слегка кривил ноги, припадая на стопу, еле сгибая ноги в коленях, а если надо обернуться, поворачивался всем телом. Мог в народной борьбе курули легко одолеть быка, напоенного водкой. Голова крупная, круглая, с проплешинами. Большую часть жизни Хуц проводил во мгле, в потемках, в пещерах, при чадающем огне. Глаза подслеповаты от темноты; вылезая из пещеры, долго щурится. Работал при тусклой свече, замирающем факеле или маслянистой площадке, светильне. Плечи каменотеса как бугры.

Трудяга, приляжет малость, свернувшись на камнях, ничем не накрыва-
ясь, рогожей прикроет стынущие ноги. Над ним кружили с тонким визгливым
писком летучие мыши, он их не замечал. Ел мало, нехотя, безразлично.

Он жил одним — высекал на каменных стенах пещеры историю рода кахе-
тинского. Сцены деревенской жизни, рождения, смерти, битвы, сбор урожая.

Могучий и беззащитный Хуц.

Когда весной он выходил из оврага, оглохший от тишины и слепнувший,
бывший житель деревни и долины, и оглядывался, все расцветало и пело, ще-
бетали птицы, что-то в нем дрожало. Согрелось изможденное, посеревшее
лицо, рот сводило горьковатой улыбкой, он опускался на колени в траву, на-
гретую солнцем, ложился на землю грудью, чтоб никто, даже случайная птица
не заметила, как бьется его маленькое детское сердце.

Если быка притянет земля, дышащая травой и свежестью, и бык прижмет-
ся своим могучим боком к Хуцу, каменотес зажмурит глаза от счастья. Хуц не
отгонит ударом ноги немое бессловесное животное, а даже как нашедшегося
друга обнимет щетинистое тело рукой, по-братски. Ощутит его могучие жилы.

— Брат мой бык!

Ведь Хуц высекал в темноте и сырости — на сотни верст тянущихся стенах
пещеры — судьбы и этих могучих одиноких животных со страшными рогами,
бьющихся в схватке, звенящих в битве яростью; выдавливал на камне хрипя-
щие кровью глотки или мирные головы их в свадебных гирляндах из цветов
шафрана, а рядом хоромы из овец, коз. Много высек он быков и буйволов с
черными колючками смерти, привязанными к рогам при жертвоприношениях.

Хуц лежал у оврага, на сухой земле, согреваясь разбуженным соком зем-
ли, который потом, в пещере, охватит его стынущие босые ноги могильным хо-
лодом. Хуц оживлял свою каменную летопись людей и животных, прижавшись
к ней грудью, крепко зажмурив глаза, сводя от усталости и горечи рот. Устав,
он выпускал из разжавшихся пальцев молоток или скребло. Под босыми исца-
рапанными ногами разбитые плиты в каплях застылого, черного воска от давно
задохнувшихся огарков. Ржавая трава пробивалась в разломах и трещинах.
Свалится однажды и Хуц, никогда не проснется больше, отпоют его в беспоря-
дочном кружении писклявыми голосами стаи летучих мышей с напуганными
лицами слепых грешных женщин.

Хуц привалился к глыбе, чтоб оживить своей кровью. Хуц хочет оживить
камень.

Хуц думал, что камни — это люди.

Каждый камень — человек, кахетинец и живет замкнуто, глухо, мрачно.
Но на самом деле холодная глыба дышит необузданной жизнью.

И Хуц, волнуясь, высекал на ней рождение ребенка и барана, рождение
луны и солнца, попадание семян в вспаханную горячую, живую черную зем-
лю, в лоно коровы.

Зарождение детеныша, гигантские жертвоприношения людей и животных
богу Дионисэ перед его собственной гибелью, игры и игрища, свадебные и по-
хоронные, охота на людей и животных, пляски пьяных, помешанных, разнуз-
данных старух, срывающих с себя платья женщин и девушек, терзание рабов в
цепях, плутоватые мироеды, подмешивающие в пшеничную муку землю,
борьба невинных младенцев с голодными, прожорливыми муравьями.

Хуц высекал молотом на стене, шагая под ней, карабкаясь вверх и вниз,
о б щ е к а х е т и н с к о е в р е м я; годовые, десяти- и тридцатилетние, веко-
вые или тысячелетние круги обработки земли, выращивание зерна, скота и
урожаев винограда спелого, душистого. Круги древнего виноградарства и вино-
делия. Это была застывшая, окаменелая, сочащаяся молодым кислым кахетин-
ским вином песня.

Вот первый глоток молодого осеннего вина из бочки, вот вереницы рожде-
ний и смертей хмельного бога Дионисэ, рассечение и разрывание его голого те-
ла хмурыми, озверелыми крестьянами, разбрасывание по опустевшему полю
окровавленных его клочьев и поедание их народом; оплакивание.

Общехахетинское родовое Время дышит горячей гроздью на стене. Люди
каменные, застывшие в пещере, продолжали жить и трудиться там, наверху,

при солнце Алазанской долины, они были предками и потомками сразу, ухаживали за лозой, наши побратимы, жители соседних с Велисцихе деревень: мукузанцы, санавардийцы, напареульцы, ахметцы, чумлакцы, мирзаанцы, ахашенцы!..

Хмурится глыба лбом великого плотника и первочеловека Тархнишвили. Крепко держит плотник похолодевшую руку сына своего — воина, уходящего в смерть. Не хочет выпускать руку старик.

Тархнишвили сжал в горечи рот, не в силах оплакать погибающего, холодная вода печали льется из плачущего рта. Над стариком уже склонилась словно луна голова женщины с рогами коровы и немыми, тоскливыми глазами. Это Маро пришла в деревню Велисцихе, чтоб выйти замуж за плотника и спасти его судьбу.

Луна с рогами коровы, а рядом стоят недвижно буйвол и человекобык Иштар. Муж и сын. Маро ведь пришла не одна. Сын плотника провалился в яму войны. Мучается непогребенное тело. Ведь над телом поверженным не пролили из глиняной чаши ни капли вина, не зарезали жертву — барана с осенними сонными глазами.

Хуц высекал резцом кричащий рот старика, а голова женщины-луны с тяжелыми рогами утешала, помогала бороться с вековой тоской. Рядом с женщиной ждут утешения буйвол понурый и чудовище — юноша-бык, отверженный народом.

Буйвола запрягают в погребальную повозку. Несутся по осенним листьям, слетевшим на пьяную землю, семь обезумевших от празднеств дочерей Кеонии, сладострастницы и распутницы голые, в овечьих шкурах, шеи и плечи обвиты гроздьями и мертвыми змеями, в руках острые палки. Они гонятся за крестьянскими напившимися богами-мужланами. За Панто-козлоногим, за Квириа с Агуной.

Пьяные хороводы, драки, веселые побоища. Жители всех деревень Кахетии кружатся. Это долгожданный осенний праздник праздников — Ртвели виноградный!.. Эвое! Авоэ! Авоэ!..

Кружатся кахетинцы и кахетинки вокруг черного козла, посаженного на кол. Люди вымазали красным суслом лица: кривляются, хохочут, визжат и поют козлу срамные гимны. Кахетинцы обожествили козла и осла! Они убивают его, бога-жертву. А потом они убивают громадного кругорогого быка.

Теперь черед молодого бога. Жадные, оружие и мгычащие крестьянские глотки поедают самого Дионисэ. Осеннюю окровавленную гроздь. Хмельная, пестрая, ликующая жизнь виноградника в пещере Хуца. Во мраке холодеет, сжимается, умирает, превращаясь в усталое, лицо старого крестьянина. Превращается в одно плачущее сердце народа.

Хуц слышал, как льется в позднем вечернем винограднике чернеющая кровь. И когда уже нет спасения от хмеля бушующей жизни, она, расширяясь горящими кругами, разрывается как жертва; ведь уже растерзали и съели козла, быка, буйвола и бога Дионисэ с зелеными, влажными глазами, а потом жадные рты крестьян, хищные зубы разрывают и деревню свою Велисцихе, всю землю жадно поедают едоки. Катятся кувырком с пригорков от крестьян деревни — Санавардо, Вазисубани, Тибаани, Киндзмареули...

Кахетия — испеченная на солнце дымном баранья туша — сожрана едоками.

Носятся по голой земле стада баранов с распоротыми животами и голосят. Птица Пашкунджи падает, кружась, с неба на верхушку седого, мертвецки пьяного дуба-великана.

Солнце над долиной стало в полдуба. А сам дуб кружится бродягой и пытается петь, гуляка, сиплым горлом.

Кахетия кружится, засыпая, с желтыми, увядающими листьями. Сердце Кахетии, сердце бога-барана, кружится, превращаясь в холодную, тающую виноградину.

Хуц держит на протянутой ладони эту синюю несчастную виноградину. Он ждет, когда родится из нее мальчик. Гений умирающей осени.

Мальчик в венке из желтых листьев. Спаситель Кахетии.

Любовь Хуца и Кеонии

Могла ли Кеония пройти мимо Хуца?.. Сжав себя, подавить свою разнужданную волю и оставить в покое в Велисцихе хотя бы одного мужчину, тем более такого страшного человека, изможденного проклятием труда. Жажда откровений и новизны одолевала Кеонию. Великая любовница Кахетии не могла терпеть поражений в любви. Она радовалась унижению мужчин.

Прежде чем она поведет последнюю борьбу за пленение сердца Дионисэ, она хочет сделать рабом своим каждого кахетинца.

Кеония знала, как победить каменотеса мрака. Мужчине из пещеры тяжело сражаться с одиночеством и страшной, вековой усталостью. Хуц надрывался от схватки с каменными людьми, что под его мускулистыми руками рождались во тьме на стене пещеры. Кеония нарисовала глаза и губы, завернулась в черную шаль с красными листьями и одна в сумерки отправилась к оврагам. Не каждый мужчина решится бродить там и днем.

Велисцихец, увидев, как она легко шагала в сторону леса, решил бы, что она идет к лесничему Табахмеле — выпросить у него вязанку дров или целое дерево за свои ласки или любовь одной из своих дочерей. Рот Кеонии сжат. Рот набух землей, а глаза кровью. Задумала женщина, победив Хуца, сорвать с лозы бога Дионисэ еще одну гроздь его власти над Алазанской долиной.

Кеония шла через овраги, спускалась и карабкалась наверх по склону, тащила по ложине, задыхалась, соленый пот горел на влажном лице; вымазалась в засохшей грязи, продираясь через колючий кустарник, порвала юбку, отшвырнула ногой клубок копошащихся на человеческой кости черных прожорливых змей, поплескала ладонью из журчащего ручья на разгоряченный лоб и щеки и, чтоб подавить страх перед бездной, заглянула в провал.

Она смотрела в чернеющую тьму. Потом, вздохнув, стала медленно, цепляясь руками за какие-то торчащие из земли корни, сползать вниз, сама зашипев с угрозой на выглянувшую из расщелины стены рассерженную, опасную змею. Оцарапав лицо, руки и колени, Кеония свалилась в глубокую яму. Она не разбилась. Но ударилась больно. Каменные живые люди окружали Кеонию. Она боролась с ними за власть в нижнем мире.

Гул огромного подземелья волновал женщину. Притягивал. Она хочет всюду стать хозяйкой. И на празднике солнечных сладких виноградников. И во мраке бездны. Жадная до власти над любовником.

Хуц после тяжелого труда лежал ничком у стены. Рядом молот, скребло, нож. Куча мусора, мелких сыпучих камней, щебенка. Ладони изрезаны, в кровавых волдырях. Волосы в каменной крошке и пыли. Коптила затухающая лучина. Хуц приоткрыл усталые глаза и различил в полумгле босые ее ноги, измазанные грязью. В царапинах и ушибах спуска. Но Хуц не мог пошевелиться, так устал. Она опустилась рядом. Сжала в пальцах сорванную колочку, погладила колочкой шершавые губы мужчины.

— Кеония! — вздохнул он.

Три года назад он высек ее на одной из обрывающихся и вновь продолжающихся стен, уходящих в глубь пещеры, в верхнем ряду. Это была волчья свадьба. Женщина на стене целовала волчью когтистую лапу. Кеония однажды вышла замуж за волка, а когда он надоел ей ревностью, задушила его.

— Один? — насмешливо спросила она.

— Я всегда один, — хрипом откликнулся его рот. Но хрип отозвался под сводами гулом. Хуц лежал опустив веки, не шевелясь. Молчал. Мерзла широкая недвижная грудь.

— Я согрею тебя, — сказала Кеония.

Сердце каменотеса сжалось. Затаенно дрогнуло.

Лицо Кеонии дышало серыми паутинками печали.

— Хочешь, родим с тобой каменных людей? — искаженным ртом улыбнулась она.

— Хочешь волчьей лапой вцепиться мне в сердце?! — Каменотес разжмурился, разглядел на стене в копти лучины высеченную им волчью лапу с когтями.

Она засмеялась:

— Не бойся.

Он помолчал.

— Это ты убила волка? — спросил наконец, задумавшись.

— Я!..

Гасла лучина.

— Хуц! Хочешь мою любовь? Потом в опостылевшем вековечном труде будешь вспоминать этот жар.

Он приподнялся, задумался, закрыл лицо натруженными руками.

— Я еще не был с женщиной, — горестно усмехнулся. И молчал.

Опущенная голова каменотеса казалась сейчас уродливой, плечи сдавлены, рот безвольный, готовый застонать. Глаза сжались и чернели. Где-то наверху, у разлома оврага, мерцал струящийся призрачный свет.

— Хочешь, родим дочь? — не унималась Кеония.

Эта женщина волчицей нападала на него, грызла горло.

— Подожди! — прошептал он.

Хуц прижался спиной к стене. Хуц страшился потерять свою власть над стенами. Над судьбами высеченных им каменных людей. Их родственники ринутся сюда осенью пьяной толпой, как бывало, с факелами и ножами, чтоб убить его. Они не желали, чтоб он стал их проводником в вечность. И Хуц защищался, бился как лев, рыча.

Осенью новые битвы, потомки каменных людей навалятся на него толпой, на хозяина мрака, и он страшился, что если отдаст свое тело сейчас женщине, они сокрушат его.

И Хуц проиграет битву живых и мертвых.

А ведь раньше он побеждал их, заманивал к пропасти, сталкивал вниз, тела долго разлагались, пока он не собирал кости и не выбрасывал наверх, к оврагам, ненасытному клубку змей, на которых налетят стаи коршунов.

Осенью новая битва, но Хуц не хочет больше сражаться с кахетинцами, ринувшимися в потемки его пещеры. Он устал. Стены пещеры осквернены пролитой кровью. Живая эта кровь может разрушить каменные, высеченные руками Хуца за всю жизнь лица.

Это поражение. Хуц потерпит поражение в соперничестве с исполинской родовой гробом-лодкой плотника Тархнишвили, который хотел бы уплыть в этом гробу со всей деревней, бросив Хуца одного в своей яме с высеченными из камня предками и потомками кахетинцев.

Пещера Хуца соперничает с гробом Тархнишвили!..

Это было лоно одной матери. Лона жизни и смерти. Лона рождения и забвения. Гроб-лодка увезет живых кахетинцев, лишит надежды на воскресение каменных людей пещеры, и своды рухнут, погребая труд Хуца, сделав его пленником собственной могилы. Хуц готов был с молотом бежать в Велисцихе, в сарай плотника, и крушить гроб Тархнишвили.

Кеония слегка прижалась к Хуцу.

— Это корни гомборского дуба? — спросила она.

Оба поглядели на могучий ствол, разрушивший скалу.

— Это извивы могучего корня Кахетии! — кивнул Хуц. — Нависли грядой.

— А наверху корни еще дышат, — сказала Кеония, берясь за крепкое плечо каменотеса.

— Дуб вскормил Кахетию, когда она была голой! — нахмурил бровь мужчина.

— А что потом? — не отставала женщина.

— Птицы долины и первые люди ели желуди. Хищная птица Пашкунджи свила на верхушке дуба гнездо, а буйвол Або каждой весной нападает на дуб, ранит его кинжальными рогами, ведет с ним беспощадную кровавую войну за Время.

Мутные глаза Хуца отяжелели.

— Ты уходишь, женщина?! — неожиданно резко выкрикнул он. Ужасом одиночества набухла жила на горле. Голос его прогремел в подземелье, напугав спящих вниз головами летучих мышей. Они запищали, сорвались, закружили. Из дыры слабо брезжил свет. Лицо женщины молчало. С писком кружили летучие мыши. Грудь Кеонии дышала волнением. Она завлекала Хуца в падение.

— Меня дома ждут муж и любовник Бнело-Темный! — горячо шептала она. — Уж пора им стелить постель. Надо мне уходить. Я не знаю, с кем лягу этой ночью спать, кому отдам свою любовь. Свой живот. Мы наварим картофе-

ля в котле горячем, в пару, поедим картофель и заьем еду водкой. Хорош горячий картофель с крупной рассыпчатой солью. А потом всю ночь я буду отдавать свое тело, живот, сначала немножко мужу, а потом озверевшему от похоти любовнику с низким лбом, мужлану, пропахшему конским горячим тяжким потом.

— Уйдешь? — загремело в пещере.

Дрогнул ржавый мох на стене. Побелело широкое грузное лицо Хуца. Сердце каменотеса вдруг оказалось громадным. И он, прихрамывая, согнув плечи, рванулся к ней, а она отпрянула, боясь, чтоб он не раздавил, не задушил. Оба повалились на каменный пол.

— Погоди! Остановись! — хрипела Кеония. Рот искусан, кровоточил. Мужчина яростно, жадно искал вход в пещеру ее жаркого могучего тела. В живот животного.

Хуц жаждал изувечить, разорвать ей живот, найти нору, где она прятала огнедышащего мохнатого зверя своей ненасытной плоти. Зверя, наводящего ужас на крестьян Велисцихе.

Зверя, к которому ревновали все молоденькие девушки деревни, ведь это был неистощимый источник любви, которым она, Кеония, одна могла напоить всех парней и мужчин Кахетии, а девушкам оставалось только сохнуть, чахнуть в одиночестве от не испитой никем, расцветшей и увядающей на их тонкой груди весне.

Эта нора, где жил необузданный зверь Кеонии, могла утопить в крови все виноградники Алазанской долины в засуху, свести с ума самого Диониса.

— Иди ко мне! — вдруг страшно, с искаженным лицом закричала Кеония. — Вот сюда, иди!..

Женщина задыхалась. Кровавая пена пузырилась на вспухших сладострастьем губах. Во тьме синели белки растарашенных глаз. Стая летучих мышей с ужасом носилась над двумя бешеными любовниками. Над обезумевшим зверем с двумя спинами. Летучая мышь напугана злой страстью. Гудела со стоном пещера.

Корни дуба пробили своды орущей пещеры. С головой и спиной весь полузасыпанный обвалившейся землей, Хуц-каменотес, чернея пустыми от ярости глазами, продолжал сокрушать огнедышащего зверя Кеонии. Вся раздавленная под его животом и громадными напирющими коленями, она унижала его, превращая в ослепшего от боли и стыда раба, в тупое горемычное животное. А он, раб, все продолжал свою одинокую животную борьбу с загнанным в яму, но не сокрушенным, жадным до крови многоголовым зверем женщины. Борются голым животом с животом тяжелее, чем бить молотом по скале.

Каменотес устал.

Деревня Велисцихе была напугана писком огромного облака летучих слепых мышей в ночном небе.

Стучали копытами бараны. Волновались быки.

Детство и юность Тины

Девочка в поле маков. И солнечный ветер. В глубине неба уже иссякал зной. Облака плывут, снижаясь и неся с собой ранний холод. Слепящая далекая синь. Тянет медовым духом лугов приречных. Лазоревых и зеленых. Жадно смешались вздохи увядающих цветов и желтеющих августовских трав. Холодное облако родит ночь, когда даже маки почернеют, как страшные камни, растущие на крепких стеблях, а птицы алазанские, речные засверкают во тьме голубыми бусьями глаз.

Тина!

Худая с худыми длинными ногами, оцарапанные коленки, тонкие руки, нервные пальцы. Девочка росла, вытягивалась, и более настороженным, внимательным становился ее взгляд. Во взоре просыпалось смутное беспокойство, блестящие зрачки, словно присыпанные горячим песком. Волосы аккуратно причесывала, в простеньком платье выглядела красивой, нарядной, волосы заплетала в косы.

Матери не до девочки, а сестры не очень отзывчивы: каждая жила своей напряженной и странной, нервной жизнью. Она превращалась в подростка, а худенькое лицо, взглядывая на взрослых и не получая ответа на томящее волнение, темнело впадинами озабоченных глаз.

Тина знала, что она дочь властной, необузданной Кеонии, которую побаивались в деревне, и селяне своим детям не разрешали дружить с ней и с ее сестрами. Сделавшись равнодушной к людям, она зорко, пристально смотрела на цветы, разглядывала колючие пыльные растения, гладила худыми подрагивающими руками бархатистые стебли.

Всей детской взрослеющей душой она предалась цветам и знойным, лезущим к голым ногам девочки травам. Деревья мало интересовали Тину, они слишком ветвисты и тяжелы. Найти с ними дружбу худого девчушка почему-то не могла или не хотела. С фруктовыми деревьями дружили крестьяне, ухаживая за ними, окапывая, подрезая ветки, оберегая. К своим деревьям крестьяне относились по-хозяйски. Они выращивали фрукты на продажу для обогащения. Тина не любила эти фрукты и плоды, даже пить из них самые разные компоты. Слишком сладкий и приторный айвовый, абрикосовый или инжирный сок, смешанный с подкрашенным сахаром! Перезрелые, слишком душистые влажной, нагретой мякотью груши! Может, Тине хотелось чего-нибудь пронзительно терпкого, кисло-сладкого, изнуряющего... Она мучилась и не могла объяснить себе, чего же? Виноград синий или зеленый или черно-рубиновый тоже не волновал девочку, хоть и жила она в стране крестьян-виноградарей. С детства она ожала свой язык освежающей мякотью грозди и осталась к ней равнодушна. Холодна.

Лоза!

Это вино!

«Это — кровь! — думала она вздыхая. — Эту кровь осени пьют люди!..»

Зачем?

Это кровь умирающего, с перерезанным горлом, хлещущим кровью, бога Диониса. Осеннего бога-жертвы. Кровь несчастного бога томилась в марани, в зарытых в землю громадных глиняных кувшинах квеври, наполненных молодым бродящим вином. Томилось юное, беспокойное вино в деревянных исполнских дубовых бочках, в древних сосудах, и, взрослея, а потом старея, напиток кахетинского медвежьего солнца заставлял пьющих терять рассудок. Вино звенело песнью. Гимнами!..

Все бочки протяжно пели осенью. Все доверху наполненные бутылки и кувшины. Стоит только приблизиться к ним и будто случайно взглянуть на этот отжатый из грозди и плененный глиной дух Кахетии, как любой мог не слышать даже, а глазами хмельными видеть это тягучее, терпкое, медленное, многоголосье пение. Хор дубовых бочек. Песнь летящей над пьяной долиной птицы.

Виноград, зеленая и зрелая, желтая, сам превращался в многоголосье, в которое вплетались сытые и счастливые крестьянские голоса, но Тина устала от древней песни. В этом кипящем зеленой волной воздухе она тонула и старалась сама выплыть к своему берегу. К своей любви. И любовью этой оказался пурпуром горящий и пурпуром изнывающий мак. Тина выросла.

Много лепестков она трогала своими осторожными, холодными пальцами. Цветы кружили хоромы вокруг девочки. Легко линияющие пылью васильки, стыдливая алазанская кувшинка с бледно-зелеными с синью соцветиями. Тина находила в темном и сыром кахетинском лесу остро и свежо пахнущий ландыш с мокрыми от росы листьями, прижималась худеньким личиком к взволнованной и буйной, лезущей целоваться махровой сирени, поглядывала в мае на горящие желтым пламенем стройноногие тюльпаны. Она легко общалась с полевыми цветами, разговаривала с ними стыдливым голосом. Ведь она медленно превращалась в девушку с гладким, стройным телом, что наливалось бродящим соком.

Но все это пестрое, разгорающееся многоцветье не могло сравниться с маком. Увидев его однажды, она оцепенела. Мак!..

Он горел на солнце.

Она шла к нему медленно, осторожно, чуть прижмурив опаленные любовью глаза. Она не шла к нему, а плыла кружащимся лепестком на первое свидание.

Красным воздухом поющим разгорался нимб над головой Тины. Тина тонула в бездонном поле, спешила протянуть вперед к любимому худые загорелые руки. Может, еще не рожденная, девочка влюбилась в этот истекающий птичьей кровью цветок? Это была убитая и воскресшая во сне, сонная, любовь. Это было сердце Диониса, однажды поздней осенью кружащееся тысячью рассыпающихся, истекающих кровью лепестков.

Мак! Сон! Забвение!

Мак меняет свою окраску от песни виноградарей, темнеет умирая, осыпаясь. Душистой кровью царственного мака дышит порыжелая трава. Сон Тины разрастался громадным и нежным маком над всей деревней.

Как шатер, накрывает умирающий мак деревню Велисцихе, уставшую после жатвы. Сон девочки Тины горит черными лепестками. Лепестки лезут в глаза, в дышащий рот, сдерживая рыдание ребенка. Тина шла к маку, и ревнивое весеннее поле держало босые ноги девушки, мешало идти к цветку, краснеющему от стыда и счастья и зовущему Тину на первое свидание. Она осторожно шла, прося дикую дремучую траву не мешать ей. Бархатные сонные шмели помогали ей, тревожно, недовольно гудя, они, сверкая черным атласом, кружась и снижаясь, летели рядом, цепляясь за колючки, возясь в малиновых головках махрового татарника, снова лениво взлетая, догоняя влюбленную.

Пение черных бархатных шмелей кружило Тине голову, они гудели неназойливо, ласкались и опьяняли растерянную девушку музыкой уже дышащего повсюду летнего зноя. Ленивое гудящее пение шмелей черным нимбом горело над головой Тины.

В каждом вздохе этой умирающей с первым дыханием осени песни рождался мак, алый днем или черный ночью.

Песня!

Кружение желтого облака.

Красное сердце девственной Тины, сотканное из светящихся капелек утренней росы.

Дыхание тающего меда. Стыдливая слеза девственницы. Песенка умирающей на солнце росы. Зажигаются ветки дикого шиповника, которых случайно коснулась Тина. И вот Тина уже застыла возле мака. Она опускается перед своим возлюбленным на колени. Задушенная в груди чистая родниковая вода. Она знакомится с маком, но ей страшно протянуть ему худую длинную руку, похолодевшую от волнения, вспотевшую. На мгновенье лицо девушки озаряется и тотчас темнеет легкой тенью. Мак нельзя целовать. Он погаснет, умрет, рассыпется. Вино его горькое и злое.

За девушкой подглядывает, прячась в луговой высокой траве, коварный птицегадатель Арзуман. Все поющие синие насекомые, листья и цветки и даже ветви больших изогнутых деревьев, как могли, предупреждали ее. Она не слышала.

Ветки персика гнулись, листья осыпались, летели на голову, бабочки устали рывать в глазах, а она не видела Арзумана. Арзуман притаился за шалашом, в засаде, где ловил птиц, чтоб убивать их и гадать по окровавленным внутренностям.

Мак звал девочку. Мак умирал, истекая кровью. Мак изнывал от желанья встречи. Ах как хотелось поцеловать ей этот горящий тысячеглазым солнцем цветок дрогнувшим ртом. Голова мака темнела.

Тина, пораженная, смотрела, как умирает мак.

Пеплом дымилась голова сгоревшего несчастного цветка.

Шмели прервали назойливую, страстную музыку и отпрянули прочь, полетели вяло, застревая в гаснущих, дрожащих лучах своей умершей песни.

Мак чернел. Тина плакала.

Тлеющими тычинками, как угольками, обожжен рот девочки. Глаза засыпало красным горящим песком.

Девочка легла на остывающие лепестки. Дышала пьяно, зажмурившись их липким тлением. И неожиданно дрема охватила и поле.

А так же берег реки и стадо пасущихся в приречных травах коров. В обступившей землю тишине стало слышно, как Алазань, уже медленная, с утробным остывающим шепотом волочит поближе к спящей девочке камни, налезает

ет на песчаный берег зеленой темной волной с желтыми брызгами свежей пены. Побурели и поскучнели глаза не выловленных пока рыб с искрящейся серебром чешуей. Рыбы большими голодными ртами судорожно заглатывали жаркий воздух и снова уходили на дно.

Тина спит. Ей снится каменный мак. Она бредет по пещере Хуца, и все там пахнет смертью. Сестры ее, дочери Кеонии, замерли в каменном хороводе. А лошадь старая с седой гривой, принесенная в жертву еще в древности, нюхает отфыркиваясь окаменелое слежавшееся сено и жмурит свои слепые глаза.

Гляди, Тина! Мертвая птица напала на глухонемого быка и разрывает его когтями и клювом, поедая живое кровавое мясо. На требухе не к добру проступают зловещие жилы. Птица, высеченная Хуцем на стене, пьет горячую бычью кровь. Шумит тысячелетьями как листьями дуб.

Деревня Велисцихе перепугана. Девочка Тина, собирая букет горячих маков, заблудилась. Может, свалилась в овраг.

Она лежала в пещере. Платье издралось. Голова девочки запрокинулась. Тина похолодела. Ей снилась бархатная песня шмеля.

Хуц спас девочку. Он отыскал ее. Нес на могучих руках как былинку, наверх, к разлому, к струящемуся свету. Он прижал спящую к широкой, крепкой груди. Возле оврагов уже ждала Кеония, крестьяне, а также взволнованные сестры пропавшей. Каменотес даже не просил народ оставить ему хоть на ночь в пещере родную дочь.

Хуц отдал спящего ребенка матери. Медленно стал уходить вниз, в смрадную, сырую яму смерти. В свой дом. В царство теней. Тоска надрывала грудь. Долго он теперь не возьмется за молот. Не подступит рабом-ремесленником к стене мертвых, высекая их пустоглазые, слепо смотрящие в будущее лица. Захотелось ему вдруг пения пьяных птиц, поедających горячее солнце железными клювами. Хотел к дочери с худым телом подростка.

Хуц мечтал выбраться из ямы и идти сейчас за медленно уходящим от оврага народом. Брести за велисцихцами, униженно и долго выпрашивая оставить ему дочь.

Но крестьяне погонят его как животное, как скотину. Натравят на ревущего от горя полуслеплого каменотеса пастушеских злых собак. Кому нужен он, оборванный и, наверное, давно лишившийся рассудка житель загробной ямы, сам пропахший змеями, костями и могильными плитами.

Шел бы себе прочь, переваливаясь медведем, загнанный и затравленный, с плешивой головой и здоровенной грудью, глядящий на всех исподлобья и униженно.

Пусть хоть раз напьется в корчме крепкой, оглушающей душу виноградной водки.

Вот такая судьба.

Нужен деревне. Забирает мертвецов в пещеру теней, а сам превратился для крестьян в обузу, в камень. В глазах велисцихцев он осквернен чужой смертью и нежеланный гость даже на их шумном, пьяном празднике праздника, осеннем Ртвели!..

Исхудал Хуц.

Валялся долго в беспамятстве.

Потом взялся за резец и принялся выдавливать на стене холодное лицо мертвой девочки.

Собирательницы мака.

Дочери.

Я — бог пещеры!

В подземелье, во мраке мог находиться месяцами и даже годами Хуц-каменотес, если не звали его люди, чтоб он принял вниз нового покойника в пеленах; жил себе во тьме, в разломе за оврагами, на окраине Велисцихе, возле заброшенного кладбища, где стояли громадные, суровые могильные камни.

У этих камней велисцихцы поминали своих покойников, отданных во мрак Хуцу и покоящихся в каменных гробах. Хуц редко с кем разговаривал, ему приносили еду и питье и он ночами брал их, жевал угрюмо хлеб, полуослепший и с холодным лицом.

Деревне нужен пещерный житель, отшельник, чтоб вытесать на стенах на много верст тянущейся пещеры все события их рода, огромные ряды с покойниками, предками; велисцихцы верили, что орнамент на стене влияет на жизни живых потомков.

Некоторые крестьяне пытались ему навязать свои пожелания — кого и как высекать на стене, вмешивались в грядущие и страшные события.

Хуца это злило, угнетенный, он много раз пытался бросить резец и оставить тяжкое, изнурительное, одинокое ремесло, сидел подолгу, обхватив голову ручищами, стонал, не решаясь вдумываться в смысл изображенного им на камне. Хотя ему почти никогда и никто не сообщал о том, что происходило наверху, в верхнем мире, рука его с каменным скреблом сама поневоле, как бы вслепую, ни разу не ошибаясь, вытесала и выцарапывала все события в Велисцихе и в Кахетии, даже будущие; руки его сами верно выдавливали на камне будни трудовые и героические схватки общины.

Наверное, бог Дионисэ, бог разрыва, призвал его с резцом каменным и скреблом, сжатым в мускулистой руке, на битву долгую за род кахетинский.

Все повторялось по кругу в Алазанской долине десятки и сотни раз, и пальцы мастера зрячие как бы предвидели, предвосхищали множество сцепленных друг с другом событий, которые, срастаясь в земледельческий орнамент, снова и снова шли по кругу жизни кахетинских виноградарей.

Не сомневаясь, высекал Хуц дни и годы рода и никогда не ошибался.

Хуц слышал иногда шепот покоящихся в каменных гробах костей предков, они просили его вмешаться в их грядущие судьбы, а также умоляли, чтоб он изменил орнамент прошедших, сгинувших жизней и судеб.

Но Хуц отмалчивался. Вмешайся он в судьбу пленников смерти, пленников могилы, это неизбежно отразится на будущих днях и страданиях потомков. Ничего нельзя трогать. Надо только молча и глухо подчиняться каменному своему резцу. Сделаться слепым его орудием. Хуц — исполнитель воли Дионисэ погибающего.

Кто может одолеть Дионисэ, даже погибающего?!.. От этой схватки охолодеет сердце любого безумца, несчастного храбреца. Сердце Хуца остывало. Наверное, ему самому умирать здесь, во тьме пещеры с заваленным камнями входом, умирать мастеру раздавленным сорвавшейся и покотившейся на него глыбой; он будет лежать, окруженный отпевающим его скорбно в гулкой пещере хором мертвых кахетинцев, вырезанных им на стенах.

Черный ручей будет журчать возле уха, последняя волосная журчащая нить, связывающая его с жизнью, с дыханием долины. И еще во мраке смерти, может быть, разбудит писк черной смятенной ласточки, кружащей в подземелье, неизвестно как очутившейся здесь. С болью Хуц будет вслушиваться в этот безумный хор, пленивший и его и несчастную ласточку в гремящую камнями и костями человеческую песню, в гимны урожаю воскресшего винограда. Песнопения живых и мертвых во славу Дионисэ виноградного.

Хор живых и мертвых соединится на празднике Ртвели последней осенью.

И виноградина на каменной стене Хуца блеснет каплей темного живого вина.

Хуц — пленник времени — срежет каменную гроздь. Выжмет из нее вино жизни. Он обезглавит Дионисэ печального. И сделается Хуц вождем подземно-

го мира, концы и края цветущего лозой орнамента на стенах сольются. Ряды живых и мертвых соединятся.

А крестьяне кричали ему иногда в дыру, в пещеру, в бездну, что с виноградником творится что-то плохое, зарастает травой, чернеют листья, болеет лоза. Может, это его лень. Он забыл, наверное, про свой каторжный труд.

Хуц страшился этих взволнованных верхних криков. Он ждал, что вода зальет пещеру. Река Алазань подземная, вырезанная на стене его рукой, прохнет, пойдет вспять, соединится со своей дневной, живо-зеленой, искрящейся пеной сестрой, — рекой. Завалит пещеру.

Хуц одинокий превратится в кучу неоплаченных костей, валяющихся под стеной, хозяином и властелином которой он был испокон веков.

Кости мастера будут страдать, ведь никто не спустится к ним со свечой, не согреет мрак, не убедится в том, что каменная лоза наконец зацвела. Хуц высек на стене воду, лучи пенящейся воды разбегались, иссеченные на тысячи мелких ручьев и потоков.

Из капли воды родилась Кахетия.

Вода за тысячелетия превращалась в вино.

Вода верила в то, что она в Кахетии — первооснова жизни.

Однако уверен в своем первородстве и отцовстве Кахетии был и громадный буйвол, которого высекал долгие годы Хуц на стене.

Тридцать лет трудился над одним копытом.

И еще тридцать ушло, чтоб изобразить на тяжелом копыте червя.

Хуц выдавил камнем на камне зерно. Зерно — голос плодородия.

А рядом аист, клюющий зерно.

А вот летит саранча. Это смерть. Корни древнего дуба лезут в пещеру, душат пещеру. Изобразить на стене один дубовый лист — уйдет целая жизнь мастера. Окаменевшие корни дуба вламывались в пещеру. Искали огонь земли, согревающий кровь дуба и дарящий великану зелень. Корни дуба кажутся Хуцу гигантскими змеями. Это — дороги судьбы.

Хуц страдал без живительного глотка опаляющего рот солнца, жаждал пожевать молодое молочное, восковое зерно пшеничное, хотел кричать долго и безутешно о своей судьбе под открытым чистым небом, чтоб разбегались от его опустошенного крика напуганные облака.

Хуц согласен жевать из корыта мокрый, подгнивший овес, которым кормят загнанного буйвола с запотевшей шерстью. Но кахетинцы боялись: выпустим Хуца на свежий зеленый воздух Алазани подышать, накормим пшеничным горячим хлебом вкусным, он не вернется никогда в смрад, не захочет больше становиться пленником могилы.

Отчаявшийся Хуц, чтоб погасить свое истерзанное сердце, изобразил на стене слепых детей, поющих гимны и бредущих по Старой Кахетинской дороге. Это были дети крестьянок и бродячих богов-мужланов. Хуц хочет остановить бег времени, остановить слепых детей, рождающихся из-под его руки, он разбивает их головы камнем, и несчастные дети бредут по стене с ручейками крови, струящейся с висков.

Хуц стонет.

Хаос страшит меня!..

Я борюсь с Хаосом, хочу превратить его в медом

дышащую, спелую гроздь.

Кровью блестит пшеница.

Угрюмо идет на меня буйвол, которому я дарю вечную жизнь!

Буйвол дышит.

Дрогнуло копыто буйвола. Хочет Або раздавить

исполинскую незрячую каменную рыбу.
 Рыбе поклоняются поколения кахетинцев.
 Задыхаясь без воды, рыба бьется, рождая в гуле
 ПЛОДОРОДИЕ ЗЕМЛИ.

Змеи на стене — дороги судьбы. Змеи обвивают чешуйчатое тело ослепшей во мраке рыбы. Рыба-мать. Пейте молоко матери, кахетинцы. Новое кровавое убийство плывет на долину. Осень течет сюда, шумя золотым вихрем листьев.

Я, Хуц, слышу осень!..

Дионисэ лежит на земле с рассеченной грудью. Крестьянин занес над ним нож, сейчас вырвет сердце. Зеленая лягушка скачет к поверженному. Мучается лягушка. А вот и червь, прилипший к копыту буйвола, шепчет:

— Отрекись от стены, Хуц! Не лезь в судьбу Кахетии! Ты — пленник резца и камня!

Хуц опускает руку с резцом. Он исхудал, бледен, шатается, давно посеребри и ввалились щеки.

Я, Хуц, хочу слышать растущую на солнце пшеницу!
 Я хочу видеть острый зеленый лезущий росток!
 Я хочу целовать горящие пурпуром маки!..

— Останови кровавое убийство бога! — плачут слепые дети дорог. — И ты освободишь нас из плена!.. Останови осень!..

— Я бог пещеры! — вдруг хрипит Хуц. — Чем я хуже других?

И собрался снова высекать виноградаря с ножом над поверженным зеленоглазым, меланхоличным юношей. И дрожала пыль дороги в дождевой, полуденной духоте. Упал Хуц на колени. Донеслось до него царапанье железных когтей о свод пещеры. В ужасе закрыл лицо Хуц оцарапанной в кровь ладонью.

Это птица Пашкунджи, слетев вниз, к оврагам, пыталась ворваться во мрак пещеры, оглашая ее страшным хриплым клекотом. Хочет убить птица мастера. Ревнует Хуца к власти над мраком.

Хуц покотился в пропасть, ударяясь о валуны и утесы. Каменный поющий лес обступал его. Голоса мертвых кахетинцев и домашних, съеденных давно, животных смешались, пытаясь песней отогреть скорбь Хуца.

Пещерный лес — это тоже судьба кахетинцев.

— Лес мой каменный! — кричал Хуц ошалело. — Спаси мои кости! — Хуц сам не слышал своего раздавленного страхом голоса. Ни шелеста пьяных листьев окаменелого леса Кахетии.

Хор молчал.

— Я хочу спасти на стене хоть одну кружащуюся виноградину!

Червь слушал Хаос.

— Я спасу тебя! Я сожру твою жизнь! Я спасу твою душу! — Слепо сжился червь.

Великий червь слушал страдания холодного леса.

Шум, высеченный человеком на стене. Шумела вода.

Червь не верил каменотесу, жаждущему оживить виноградину с дышащей в ней Кахетией.

— Я червь! — шевелился он. — Я владыка! Я ем землю!..

ИЛО-АРОБЩИК. БИТВА С ПРОСТРАНСТВОМ

Ари, ара, лэ... э... да... а... а...

Отправился я в дорогу за солью
 для своей скотины,

для своей скотинушки печальноглазой,
 коровы с черными глазами.
 Вот так-то, за солью, тронулся я, поселяне,
 в путь, на арбе скрипучей...
 Ари, аралооо, аралэ... да... ааа... да... ээээ! эх!..

Все кахетинцы знают, что схватка с пространством — мучение!..

Нелегкая доля крестьянину с пространством в единоборство вступать, спаси Бог Виноградный, изойдешь кровавым потом и кровью, смешанной с черным пеплом, им посыпать голову хозяину и домочадцам... Тяжелый, изнурительный и неблагодарный труд. Ось колесная сломается, бык или вол разобьет копыто, сам спину надорвешь, таща за собой измученное животное.

Бочку грязного пахучего мужицкого предсмертного пота прольешь с задубевшего, одревеневшего лица, почерневшего, как туша околешшего смердящего вола.

Надорвешь глотку, покрякивая на волов или воя от одиночества на дороге, не слышащей тебя и вперед лезущей, не поворачивающей головы, напрягшей шею.

Загонишь себя и вола, пытаясь без конца влезать на горб этой бурой, тянущейся вперед дороги.

Старой кахетинской недоброй дороге я влезаю на горб, на загревок!

Дорога, кормилица.

Ох и тяжкая доля корм с нее снимать, добывать через дорогу прокорм. Много аробщиков сложили свои головы в пути среди жаркой пыли, мороза и замутненного солнца. Нет, не слышно уже песен их, собратьев последнего аробщика Кахетии Ило, сами ушли в камни тяжелые и неуклюжие, придорожные, в основании которых сочится, пересыхая, ручей, — это слезы аробщиков, давно ставших камнями. Жены их, старые крестьянки с онемевшими от горя лицами, иногда приходят сюда вслед за все еще режущим воздух скрипом давно сгнувшего колеса, по скрипу, как ножом режущему, находят своих кормильцев-мужей, превратившихся в камни, серые от пыли и бурьяна, которым обросли, становятся здесь на колени вместе с детьми и голосят до поздних сумерек, ставят в побуревшую траву кувшин с поминальным вином, пьют сами и льют вино забвения на камень громадный, чужой и страшный; вот все, что осталось от мужа и отца; вино и слезы женщин, целый день шедших по дороге и натрудивших ноги, смешиваясь, текут по молчаливому, застывшему, как холодное лицо покойника, камню.

И женщины пытаются взглянуть в глаза, погладить своей шершавой ладонью, нащупать голову мужа, и долго поют низким, бодрым, мужественным голосом женщины, крестьянские жены, песню аробщика, домочадца, как бы отплевая его, приветствуя, желая здравствовать вечно здесь придорожному камню.

— Даже поминок по тебе не справляли! — тихо обращается жейщина к чужому камню.

Тишина. Слышно, как звенит, замирая, родник. И женщина с маленькими детьми уходит в обратный путь, в великую и малую деревню Велисцихе, на свою родину. На родину поколений кахетинцев — виноделов, земледельцев и скотоводов. Идя сюда, мужеподобная, грузная крестьянка тоже боролась с пространством, но она не завоевывала его для Велисцихе, не добывала его у ветров и облаков, у пыли и полыни, для новых урожаев, как пропавший муж, она шла напролом к его изваянию-идолу, рожденному дорогой, которая иногда показывала себя сердобольной и благодарной, поглотив тело упавшего надорвавшегося аробщика, она съедала его быстро и рождала тяжелый, грубый и страшный камень.

Женщина-крестьянка проторила дорогу другим вдовам борцов с великим, все растущим, никогда не прекращающим расти пространством, хотя казалось, что Велисцихе и другие деревни рядом, да и сама Кахетия, все сжимались и сжимались до одной виноградины, пьяной виноградины Великого Праздника сбора урожая. Но хоть и сдавливалась виноградина, а все равно не поднять ее крестьянину, весом она с корову.

Виноградина с плотью из крови крестьянской.

Женщина с детьми поедала хлеб, она приносила с собой, сюда, к камню, на поминки, она ела и думала, что муж ее, вросший в пыль, тоже ест не двигая ртом, он ест и доволен тем, что она накормила его на годы, на большую жизнь, которую ему предстоит молча прожить вместе с Велисцихе и Кахетией еще очень долго, до самого последнего конца, пока Велисцихе, погруженная на лодку-гроб плотника, не уплывет куда-нибудь вниз по течению, в забвение.

Крестьянка ела хлеб с детьми, хлеб, смешанный с дорожной землей, и думала, что поедает дорогу, и съедаемая дорога рожала заново ей мужа, рожала валун угрюмый и неотесанный, не сдвигаемый с места. Хоть в этом благодарна женщина дороге. Съев мужа, рожала его навсегда. Ночь ложилась вместе с темно-винными кровавыми облаками на жадно прикинувшую к земле женщину, ей уже уходить, идти назад к своему опустевшему без кормильца жилищу, и она догадывалась, что больше ей никогда не встретит его, не найдет, спрячет дорога мужа, и на морщинистые щеки женщины катились тяжелые слезы. Она спотыкалась, целовала копыто мула, тоже осиротевшего без хозяина.

Но Ило-аробщик пока жив.

Ему еще долго ездить за солью, гибнуть он будет вместе с родом, когда наступит последняя, самая горькая осень.

Изнемогая грудью, Ило продолжал свое дело, уставая от надрывающего скрипа громадного колеса своей старой, много раз чиненной арбы. Велисцихцы с радостью прислушивались к этому скрипу. Ехал Ило на завоевание четырех сторон света, на преодоление Хаоса, бушующего в Кахетии с каждым приходом Дионисэ все яростней, взял на себя такую обузу аробщик.

Общине нужен Ило как вода и земля.

Борясь с пространством, он помогал Кахетии сражаться со временем. Ило не вмоготу бросать свое родовое ремесло. Семья большая, кормить надо. Овес и сено для скотины ему подбрасывали. Солому давали, немного хлеба.

А потом вытолкнул его на дорогу, лицом к лицу с кахетинским пространством, с дубами и полями, с синеющими далями одиноких лесов, отпихнул его от деревни вместе с арбой и вымученным волом в путь, в схватку; стоял Ило рано утром в одиночестве, отъехав немного и не слыша уже вкусного, домашнего свежeweпеченного хлеба, попив из родника под старой ольхой ледяную воду и дав попить волю из ведра; потирая свое побуревшее, молчаливое, в сжимающихся морщинах лицо, глядел вперед задумчивыми, слегка слезящимися глазами, оба задумчивые, вол и он, и ни одного человека не было за спиной, нет подмоги, если он будет стонать хуже вола несчастного, терпеливого, стонать от боли, что сдавила грудь, от страха перед пространством навалившимся, он любил эти дали, однако опасался — хоть родные, а страшные; некому поспешить Ило на помощь, а вдруг дыхание морозного воздуха, напоенное влагой и солнцем, пропахшее душистым, слегка примороженным сеном, придавит его к арбе, он шархнет в сторону от земли, едва взрезанной плугом, дышащей открытой раной, дышащей черной кровью, сожмет его, упавшего с арбы, колесо, разорвет в клочья.

От него самого, отца многочисленного семейства, голодных ртов, ждали велисцихцы постоянной и ежедневной помощи, а по осени благодарные крестьяне дадут ему винограда корзину и мяса, а потом еще крепкой крестьянской водки.

Ило ездил для крестьян за солью.

Что такое соль в Кахетии?

Соль — это спасение для коров и овец, для всей скотины домашней, она лижет каменистую соль, чтоб не погибнуть; без соли желтеют дремные глаза коров и лошадей, смерть бьется тогда в зрачке быка, лошадь не ест и не глядит на хозяина. Да и самому хозяину с семьей нужна к еде вода и соль. Одним хлебом и ви-

ном не обойдешься. Соль — это жизнь крестьянина, крестьянского двора. Вот и отправляйся Ило-аробщик в предгорья за солью, где ее добывают. Тяжко езду за солью: пространство с каждым годом все расширяется. Хотя ночью оно, напротив, сжимаясь, может раздавить родную деревню. Помогали Ило в дороге протяжные песни, в которые любил вслушиваться понурый вол, задумчиво перебирая в пыли копытами. Предок вола зарыт в землю, и на его горбу, поговаривают старики, выросла деревня Велисцихе. Вол терпел, знал, что однажды разорвется в его горле жила жизни, он падет, беспомощно свалится, взглянет на хозяина печально. Но вол сдавленным шепотом не жаловался на судьбу, хотя и разрывал его грудь стон подъяремного одиночества.

Через степи и пустоши брел вол зажмурив глаза, мигая ресницами, проходил сквозь ольховые и каштановые леса с густой летней сухой прелью, он тащился, не пробуждаясь из глубокой древней смерти, принохиваясь к разрезающему ноздри саднящему духу полыни, перемешанной с пылью, и сам, медленно погружаясь, проваливался в пыль, снова и снова умирал в ней, тонул, ждал встречи со своим предком.

Задубевшее тело дышало, вол вслушивался в глухой стук своих копыт, набухало темной кровью сердце животного, вол шел осторожно, он словно догадывался, что каждый след его копыта тянется из каменного века, каждый шаг поедает душу, превращает в мертвеца, бредущего за солью для хозяина.

По заросшему бурьяном полю с костями людей движется вол, нюхая гарь сгоревших деревень.

— Вол одинок! — чесал голову Ило. — Неужели он не чувствует, чем мы живы? Не знает, брат мой, как мы, поедая пространство, побеждаем время!..

Что, мы только тащимся за солью и назад?..

Вол шел, зажмурив от пыли и слабости глаза.

Сроднился с дорогой вол; если застигнет ночь, он и спящий с крепко зажмуренными глазами, замазанными грязью, будет идти упрямо и никогда не ошибется. Аробщик снова затягивал песнь. Животное слушало мотая головой, помахивая хвостом, хрумкая, безголосо пыталось подпевать, еле ворочая горячим шершавым языком.

Вол жил в Кахетии. Это были его пастбища, луга и виноградники, хотя за свой усердный труд ему ни разу не дали виноградину.

Снилась гроздь душистая, опаляла гортань жаждой.

Вот арба остановилась в тени низкого чужого плетня, чужого сада, и вол попытался губами дотянуться до грозди, висящей так близко и искрящейся солнцем. Хотелось захмелеть, пожевать легкую синеватую кожуру. Но удар кнута обжег вытянутую к лозе шею, царапина наполнилась кровью, вол плакал про себя, молча.

Дурманящий запах крови и винограда смешался в его опаленных, вздрагивающих ноздрах. Вол стонал.

Смотрел безразлично в чужое, пустое небо.

Животное насмехалось над схваткой Ило с пространством — ведь вся Кахетия была для вола скотным двором, родиной, волю чудилось, что он непрерывно растет вместе с землей, расширяется и захватывает небо, части тела его разрывались в разные стороны, но вол не ощущал боли, радовался, посмеивался над хозяином с кнутом, который изнемогал от непрерывных медленных поездок, а на самом деле не двигался с места, хоть повизгивало, разваливаясь от вечной смены верха и низа, колесо арбы.

Скоро вол, как и его предок, превратится в громадную гору, лежащую поперек дороги, и никому не объехать ее, и люди начнут мучаться и умирать без соли.

Вол всегда шел вперед, даже ночью, когда стоял в хлеву, пережевывая овес и ячмень, зажмурив ленивые глаза. Тяжко билось терпеливое сердце, отмеряя время.

Ило-аробщик никак не мог сдаться судьбе. Хватался за кнут каждое утро, чтоб сражаться с четырьмя сторонами света. Каждый поворот скрипящего колеса затягивал аробщика в губительный сон.

Крестьяне платили Ило-аробщику хлебом за мешки соли, что он им привозил, а за войну с пространством, за время, затраченное на такую войну, никто не желал расплачиваться.

Если крестьянам станет нужно, для войны они всегда наймут другого велисцихца, кого покрепче, в Кахетии много богатырей и великанов, что против них какой-то молчаливый аробщик, работающий в одиночку, всегда в удалении от родной деревни, погоняемый надрывающим душу скрипом старого колеса.

Оба — и вол и аробщик — были рабами колеса. Им обоим чудилось, что колесо вертится, а они распяты на нем. Остановится колесо — и остынет кровь. Они вдвоем погибнут. Вот отчего, каждый раз отправляясь в путь, и крестьянин и его дорожная скотина молились колесу. Колесо для них — божество, это корм, это хлеб жизни. Колесо рождает время. Колесо — отец времени. Вол понуро тащил арбу, а Ило с холодеющим потом на лбу, наевшись спозаранку овечьего кислого сыра, выкрикивал в пустое небо гортанные крики.

— Ариара... ло... лоооооооо! эй!
Аралээээ!..

Я, Ило-аробщик, не могу выбраться на ровную дорогу к спасению.
Я езжу в медленной арбе по ухабам малого круга жизни!
Эй, кахетинцы, за что такая доля!.. Ари... ара... ара... лоооооо!
Люди, помогите мне! что ж вы смотрите, что вы гоните меня в такую жару за вашей проклятой солью?
Лижите ее жадными языками, пока не издохнете от жажды!..
Люди, остановите арбу и снимите меня на землю. Хотите высечь меня моим кнутом?!

— Не оборачивайся назад, не унижайся! — хрипел вол, вздрагивая негнушейся шеей.

Вол не боялся смерти. Шагая разбитыми копытами, он продлевал свою жизнь, а замрет — превратится в гору.

На спине вола рождается новая деревня.

Соленый пот липко струился по шее загнанного животного. Копыта гудели временем, вол понуро вслушивался.

Долгая ходьба перемалывала зерно. Тягловое животное с длинными рогами иногда чувствовало свое кажущееся давно умершим сердце. Вол ложился на грязную солому в хлеву и молчал.

Время, рождаясь в громадном туловище, перерабатывалось в осторожную кровь.

С каждым выходом на дорогу вол обретал мощь.

Он был непреклонен, шел через туман и ветер, а хозяин наивно верил, что кнут гонит его. Время дышало в груди, в туловище вола. Это время росло тревогой в скотине с продубленной от засохшего пота шерстью, а когда скотину свалят и убьют за старостью, изможденное время вырвется наружу и раздавит крестьян, безжалостных к копытному рабу.

В чем беда, люди?

Беда в том, несчастные, что время древнего копытного животного и время человека не совпадало.

Каждый шаг усталого копыта испокон веков перемалывал серую дорожную пыль.

Неужели, ударив обухом по голове мычащее животное, ты, человек, хочешь развалить, разбить в кровавую кость время?!..

Ило не хотел, боялся породниться с волом, хоть они вместе преодолевали степи и холмы. Ило боялся сам сделаться тягловой скотиной.

— А разве я не скотина? — обрывал он заунывную песню. — Мы с волом не родственники! — сердился он и хватался за кнут. — Мы чужие!.. Судьба просто нас привязала к одному скрипящему в бездне колесу.

Гул дороги гнал Ило вперед. Он прощался с отцом и матерью, с семьей. Просил прощения у колеса.

Опускался перед колесом на колени. Прижимался к колесу лбом. Гул дороги звал Ило-аробщика. Гул тащил в путь, не мог оставить человека в покое.

Память об изъезженных дорогах гудела в костях вола и аробщика. Ило взмахнул кнутом, слезящимися глазами он видел только худую спину своего вола, немая песня аробщика не несла спасения из плена вечного движения. Но зато песня рождала дорогу, не давала колесу зачехнуть. Дорога нуждалась в песне. Белая мокрая страшная испарина разъедала лоб. Ило упорно молчал. Песня душила его. Песня побеждала.

— Брат мой вол! — вздыхал Ило.

Он уже соглашался признать животное своей родней.

Каждый раз, собираясь в путь, Ило был сердит. Нахмурен.

Не обращая внимания на собравшуюся, провожая его, семью и на окаменевшего вола, Ило, обтерев лицо шершавой ладонью с заскорузлыми пальцами, сгибался в спине и кланялся четырем сторонам света.

С разных сторон полыхнуло на него медленно распахнувшейся темнотой, бледно-красным стылым брезжущим рассветом, синим блеском над ледяными вершинами хребта Кавкасиони; жаловался какой-то потрясенный одиночеством ручей, рвущийся к бурной и большой неистой воде Алазани, матери всех бездомных ручьев, стремительных потоков Кахетии.

Ило-аробщик, вол и дорога опасались сторон света. Они всегда менялись, хотя в глубине своей все четыре стороны оставались холодными и неизменными, и в этом была их сила.

И все же там, где полыхало утреннее пламя, разгорающийся бледно-розовый огонь, иногда чернела неутоленная бездна, охваченная молчанием, раздавленная грохотом камней. И потом, уже в дороге, Ило, уставший и измученный, охрипший от нудных дорожных песен одинокого аробщика, останавливал своего послушного вола, зло прикрикнув на него, и оглядывался. Лицо и глаза аробщика залиты грязным потом.

Вол какое-то время тащил арбу, еще скрипело старое, разбитое колесо, Ило не мог слышать этого скрежета, ведь он уже крикнул бессловесному, упрямому животному, а животное все тащило арбу по пыли, как бы мстя хозяину за власть, и аробщик стискивал старые зубы, подчиняясь на мгновение волу, страдая от вечного движения, рабом которого он родился; еще один поворот колеса — и колесо наедет на его набухшее гневом и слабостью сердце.

Что за власть такая над волом, который норовит издеваться над аробщиком!

— Остановись, колесо! — скрипел зубами Ило.

Как мылом жидким кусал глаза грязный пот.

Колесо останавливалось с неожиданным яростным взвизгом.

Ило закрывал лицо локтем, съезживался.

Ждать помощи в борьбе с пространством от вола, равнодушного, изнуренного бесконечным трудом, было бессмысленно. Червь, затаившийся в земле, соглашался с аробщиком. Насмехался над его страхом.

— Дорога может увести в сторону от разработок соли в предгорьях, — волновался Ило. — Как мне быть?

Ило зажмурился, закрывался локтем. С глубокой легкостью прислушивался к тишине, неожиданно сжавшей его. Тишина никогда не была однородной, жила и дышала, сотканная из разных воздушных слоев, из немоты и хора виноградарей под ясным кахетинским небом. Тишина — это хор камней. И жалобные причитания аробщика. Тишина пенилась клокочущими звуками, вздохами жизни.

— Где я? — стонало пропахшее ветром бродяжничества колесо. — Где я? Где все мы? В каком я возрасте жизни и далеко ли до соли, белеющей сейчас в сумерках, горьковатой на вкус соли желанной?.. Я ищу соль, дающую крепость костям и вязкость крови!

Вол редко лизал языком каменистую соль. Вол морщился, просил пить из ведра. И все шел за крупинкой сверкающей соли. Ведь деревня ждала.

— Эй, боги четырех сторон света, а мы с волом не погибнем? — Ждал аробщик. Ждал понуро и вол.

Ныла под колесом и под старыми копытами опаленная беспощадным солнцем, притомившаяся, вялая, поржавевшая, вся выгоревшая и пахнущая гарью

низкорослая трава. По этому тихому, приглушенному степному свету аробщик иногда находил путь. Иногда ошибался.

Тоска травы сбивала его. Да и сама трава редко стояла и росла на одном месте, она тоже шла. Медленно и куда глаза глядят, а может, корни ее искали сырость, влагу, родину, мглу.

Никогда трава не замирала надолго в своем пути, она двигалась, перекликалась с жуками и насекомыми, ползла от червей, копошащихся в земле и пытающихся одолеть траву. Страшилась камней. Она боялась превратиться в мертвый камень.

И тогда напуганная смертью, рыжеющая под пылающей головней солнца трава охмурила аробщика Ило, гарью заволакивала дрогнувшие и расширенные, как у лошади, рваные ноздри, возбужденные пожаром неба и земли.

Тоска травы сбивала.

Облизав судорожным возбужденным языком вспухший рот, Ило озирался, встревоженный неизвестно откуда взявшимся скрипучим тоненьким голосом муравья, старого знакомого всех путников.

Муравей светился, наполненный капелькой горького меда, рожденной вековым трудом.

Ило ехал некоторое время за муравьем. Каждый поворот колеса для муравья — половина Кахетии. Ило следил настороженно, чтоб муравей не ускользнул, и муравей выводил его на верный путь, в нужную сторону света, а потом исчезал в маленькой норе, трещине.

Муравей, опасаясь врагов, сам божья тварь, тоже должен был хитрить и запутывать невидимого и подстерегающего врага, хитрил, крохотный, и не раскрывал так легко своих дорожных замыслов, своей души.

Чтоб не погибнуть каждое мгновение от чужого клюва или челюстей пресмыкающихся, он вынужден был сделать свое храброе сердце мудрым, он кружил, останавливался, шел в обратную сторону, замирал, опасливо поглядывая на издыхающую, еще шевелящуюся гусеницу, на которую напало, поедая куцей, стадо чужих ядовитых муравьев, а она, несчастная, умирающая, истекающая белой кровью, шевелилась своим изгрызанным телом с повисшими алчными врагами, кусачими и ненасытными до гусеничного, душистого, земляного мяса, и беспомощно тарасила свои бледно-синие слепые глаза, слезящиеся одиночеством.

Муравей не кидался в эту кроваво-сладкую кучу, опьяненный запахом легкой и сытной добычи, запахом разрываемого на части и живьем поедаемого брата своего.

Только озирался хмуро и шел дальше, нагруженный былинкой, тяжелой для него, как сваленный ураганом дуб. Муравей, услышав скрип колеса, начинал хитрить и не раскрывал своих дорожных замыслов.

Он замирал легкой соринкой, пыльцой слетевшей, засохшим черенком крохотного листка, который изгрыз в три дня.

Жизнь наполнена опасностями и врагами, и муравей менял свои пути и тропы, запутывал врагов.

Останавливался и двигался в разных направлениях, снова застывал, сливаясь с серой пылью, укрывая от грабителей и воров добытую им соринку; страшился или был недоожинно храбр, а в мгновение отчаянья звал на помощь вылинявших собратьев с кривыми ногами или молодых родственников, горячих собственной, просвечивающей кровью с капелькой кислоты.

С годами, устав от войн, муравей все чаще жалел погибающее и поедаемое сородичами насекомое, а раньше, юный и отважный, со своими единокровными братьями пожирал умирающую гусеницу; наевшись, виновато оглядывался по сторонам, затравленно улыбаясь выпуклыми, как фонари, черными глазищами. Лежал себе, насыщенный мясом несчастной гусеницы, всем скопом они разрывали ее. Отдыхал после вкусного, будоражащего обеда муравей, прилипая нагретой спиной к какому-нибудь невинному стебельку клевера, или влезал в мохнатую сердцевину цветка, забывался там в пахучем аромате, усыплял совесть, чтоб забыть свою врожденную жестокость, и дремотным, засыпающим взором оглядывал плывущих мимо бабочек, в одну из которых так и не смогла

превратиться гусеница, что своим израненным, окровавленным телом спасла муравья от голодной и позорной смерти.

В эти мгновенья сытости, стыда и мрака ему вдруг начинало казаться, что он не маленький, ничтожный муравей, а корова.

Громадная, мычащая в опустевшем, жарком убранном поле одинокая корова, что бродит по полям Кахетии среди последних, чудом уцелевших колосьев пшеницы и ищет своего сына, юного и убитого осенним праздником земледельцев бога Диониса зеленоглазого.

— Хоть она и могучая, корова с тяжелыми, острыми рогами, мать здешнего бога, а я хочу остаться ничтожным муравьем! Пусть сердце мое по холодной осени становится кислятиной, убивающей случайно зазевавшихся, с пустеющим зябким телом, маленьких беззащитных насекомых и холодных личинок!..

Изможденный и бесконечно усталый после поедания живой, извивающейся в предсмертных судорогах гусеницы, он лежал на теле мохнатого, сочащегося сиреневым дыханием цветка и погружался в краткое, как столетие, забвение.

Ведь время для муравья может течь медленно, а может спалить, не успеет он даже блеснуть стеклянным и горящим, неживым, чуть ли не железным, но все же вылепленным из материнской крови глазом.

Муравей наслаждался душным, нагретым ароматом полюбившегося цветка, который скоро выгорит на солнце и начнет чернеть, становится чужим и нездешним, холодным и тленным. Медленно превратится в землю, в которой прятался и плакал от большого голода муравей.

Даже за любовь, корыстную или детскую, безобидную и легкую, надо было платить, расплачиваться жизнью, ведь муравей не одинок в своей жажде к цветку.

Много соперников кружилось назойливо кругом, несли ему смерть.

Пчелы, осы, жуки и ползающие, слепые, ядовитые черви и маленькие и большие, юные и старые, кривоzubые змеи.

Тарантулы, скорпионы, ящерицы. Жабы.

Бегающие по пустынной, растрескавшейся земле хищные, не умеющие или позабывшие летать птицы с душою, растерзанной страхом.

На муравья обратил внимание человек: аробщик и его скотина. Застывший в ожидании дороги, покрытый засохшей пылью вол.

Муравей спрятался.

Осторожность не помешает.

Муравей знал, что ждал от него вол.

Чего ждет колесо.

Муравью страстно хотелось соли. Маленькой, разрывающей сердце, острой крупинки соли.

В земле соль была невкусна. А та, что вез аробщик из предгорий, могла дать жизнь — одна крупинка — целому роду муравьев. Но Ило на своей арбе уже отехал. Не слышал муравья. Мог, наверное, помочь аробщику и камень. Один из самых надежных братьев людей.

Придорожный камень, горячий обломок вечности, пахнувший дыханьем сгоревшей, движущейся травы, опаленный шерстью овец из исчезнувших стад. Камень, пахнувший летним, слабым безвольным дождем.

Но камень молчал, потому что был мертв или хотел казаться мертвым, сам растративший большую человеческую жизнь. Может, он сейчас готовился к превращению в зеленый лист или в невзрачную, дышащую тяжело, вездесущую, пока еще бесхвостую ящерицу.

И он не отвлекался на настойчивый и упорный стук колеса. Камень устал. Ночью его била кловом безжалостно птица Пашкунджи, не зная, на ком выместить тоску и ревность, неразделенную, хищную любовь к дубу.

Собирала днем камни велисцихская сумасшедшая Эка. Она искала одинокие, разбросанные, валяющиеся чужие камни.

Одни камни — дети древнего извержения вулкана, другие — отбитые землетрясением, третьи — разломанные водными потоками.

Она упорно собирала их, носила в рваном подоле грязного платья и в зимнюю стужу и под палящим солнцем, сощурившись белыми глазами, ища какого-нибудь путника или прохожего, чтоб броситься за ним и умолять вернуть ей за медовую грушу опоздавшего с войны сына.

Путник в страхе бежал, и Эка разбивала камнем себе висок; и камень потом лежал окровавленный, тихо плакал в пыли, и только запах материнской крови понемножку успокаивал его.

Каждому камню самому бороться за свою жизнь, искать прошлое, полученное от неба. Молчать веками. Ждать.

Эка мешала одиноким камням. Не давала им думать, тягостно молчать. Она искала онемевшая, жадным взором, ненавидя, и хватала очередную жертву, тащила в свою нору, волокла, а потом, сидя при дороге, пыталась торговать ими за жизнь сына, голосила, захлебывалась от слез, а прохожие отшатывались от женщины с седыми распущенными волосами, пораженные глубиной ее невыплаканного горя.

— Прощай, камень! — вздыхал Ило.
Последним помощником могла оказаться вода.

Большая вода, разбиваясь на ручьи, сотни лет шла по кахетинской земле, прорезая хребты, разрушала склоны гор, мутная и темная, объятая свинцовой страшной силой, неотвратимая в жажде любви и гибели, стихийных бедствий и человеческих страданий.

Чахущая летом, а ранней холодной весной нарастающим многоголосым гулом движущаяся на землю, на виноградники и поля кахетинцев. Она вырывала с корнем целые рощи. Она, мутная и ледяная, свирепая, несла людям свою слезу, намокший, распятый одиночеством дубовый лист. Страшился обращаться к воде Ило.

Только если совсем терял надежду, застигнутый мрачной ночью в гудящем смертью непроходимом лесу, куда сворачивала дорога, и голодные, исхудалые волки стаей бежали за волом с медленно поскрипывающей повозкой, обгоняли, окружали, выли, готовые наброситься, а Ило замахивался, пугал их свистом кнута. Грохот обвала в горах мог остановить хищников. Но обвал страшен и аробщику, далекий в горах, нависших над выгоревшей долиной, кажущийся каждый раз таким близким.

Ило-аробщик с похолодевшим сердцем вызвал к большой воде, к самой Алазани, к древней прародительнице крестьян. Она могла принестись на помощь, спасти, обдать брызгами свежими, чтоб он прозрел и увидел нужную сторону света, ехал дальше.

Река Алазань бежала рядом, своим вечным бегом и дыханием обнадеживала его, не давала пасть духом, хотя аробщик и сам был человеком крепким и закаленным, обветренный, с задубевшей кожей.

Поездка за солью для аробщиков оканчивалась гибелью.

Ило пытался расслышать душу воды, обращался к ней. Если же Ило терял ее близость, не мог слышать свою реку-мать, то вол всегда спасал, чуткий к воде, он останавливался и принимался к ней в сыреющем, объятном тьмой воздухе, а потом резко и уверенно тянул арбу за собой. Они выбирались.

Но самым надежным богом для аробщика оставалось колесо. Ило каждый раз опускался перед колесом на колени. Вол помахивал хвостом, запряженный.

Колесо ждало мольбу аробщика. Ило не стыдился выпрашивать пощаду у колеса. Пусть семья видит, как одиноко и нелегко ему в поездке за солью.

Голодная семья полушепотом повторяла кажущуюся безответной молитву аробщика, подхватывая стон старых, искрошенных зубов. Колесо могло развалиться в пути, а могло вытащить кормильца в сторону спасения, найти желанную белую соль. Ило долго, хрипло, с честно открытыми глазами, как мужчина, разговаривал с колесом. Бормотанье кормильца с причитанием

подхватывала семья, а Ило не двигался, погруженный в свою думу и в грядущее единоборство со Старой Кахетинской дорогой.

Ило нахмурившись молчал.

Семья на его плечах.

Но, кроме голодной семьи, движение арбы, вечные медленные поездки были необходимы всей деревне, роду. Он спасал род, осваивая для народа кажущееся давно изведанным, а на самом деле глубокое пространство вокруг деревни Велисцихе.

Убивались и плакали родные, домочадцы, оттого что путь в три дня оказывался отсутствием в три года, и так каждый раз, он старел в дороге намного быстрее и страшнее семьи, мог даже догнать дряхлого отца, если б старик не упал раньше мертвый, чтоб не дать случиться такому позору. Сын, догнавший в возрасте родителя, с обугленным от годов лицом.

— Да не погаснет мой очаг! — бормотал Ило голодным ртом.

Вот еще малость — и возьмет с собой аробщик своего сына, одиннадцатилетнего мальчишку, замену, ведь сам он побелел, подбитый белизной, как утка. Надежда аробщика — паренек с задумчивыми, настороженными глазами. Ило мерещилось, что паренек сам давно уже знал дорогу, ведь глаза такие взрослые и замершие, может, с кровью унаследовал он чувство пути.

И все равно, у тебя, сын, другие испытания, они ждут будущего аробщика, более глубокие и неизведанные, чем для меня!..

Эх, ты, будущий ездок на колесе по одному и тому же кругу! Бездна, что открывает тебе дорога, к ней подготовила тебя моя езда, мальчик.

Бери кнут!

Застойся на месте вол, начнет от такой остановки засыхать вся Кахетия с виноградниками. Не позволяй волю, сын!

Нет, не позволит паренек.

Паренек влезет в арбу, возьмет в руки вожжи, подхватит разорванную, кровотокающую песню и неожиданно, могучим подъемом песни, сдвинет с места чудовищно тяжелое колесо. Издаст издыхающий вопль старый вол, рождая из своей утробы молодого вола, нового спутника юного аробщика.

И заскрипит снова громадное каменное колесо. Колесо, много веков выдержавшее в пути, обугленное от пожаров и разбухшее от потопа.

И отправятся они в путь — паренек, новорожденный вол и древнее, первобытное колесо.

Немножко напуганы путники радостным гулом исполинской рыбы. Праматерь кахетинцев от радости, мечась в бездне, вызовет землетрясения, и арба потащится подпрыгивая по разламывающейся земле.

А павший, издохший вол уже сам прах; уйдет в землю, где лежали не шевелясь тысячи и тысячи оглохших слепых волов и рыб.

Они когда-то вместе с исчадиями бездны, человекобыками, населяли Кахетию, а потом начался через века мор человекобыков, открывший время рождения земледельческих героев, отцов виноградника, матерей лозы. Повсюду появлялись отцы крепких крестьянских семей и родов, одомашнивались дикие животные, случайно народившиеся от преступной связи женщины и быка, женщины и буйвола.

Пришла в Кахетию великая мать всего живущего — растительного, животного и человеческого — Маро, могущая запросто разговаривать даже со спящей в глубине земли каменной, слепой рыбой плодородия, своей сестрой.

В неурожайный год Маро могла лечь на поле грудью и стоном материнской обнаженной груди вызвать для возрождения виноградников землетрясение и бурю, что насыщало засыхающую лозу кровью. Могла взять в руки мотыгу и обрабатывать виноградник до горячего седьмого пота, стекавшего по тяжелому молодеющему лицу. А если налетали на Кахетию войны, женщина Маро, мать

Маро брала самую большую в деревне дубину и шла впереди мужчин — гнать прочь врага. Ломать врагам хребты и спины, крушить их кости.

Такой была Маро-коровница, Маро-корова, мать человекобыка Иштара, жена буйвола Або, жена плотника и первовиноградаря Тархнишвили.

Дорога ждала.

Старик, старый отец Ило, за его спиной незаметно опускался на колени, хрипло пытался просить колесо о пощаде. Слезающимися глазами старик смотрел виновато на затылок скорбленного у арбы седого сына. Хотел старик поцеловать арбу, но седой сын не допустит. Чтоб не одряхла арба. А ведь громадное колесо тащило когда-то старика. Он кормил будущего Ило-аробщика.

Теперь все позади.

Лето медленно вытекало из щедедушного тела скорбленного старика, остыла грудь, когда старик в последний раз сам ездил за солью.

Жизнь медленно вытекала из холодного сжавшегося сердца.

Старик зажмурил глаза и еле различал мерцающую в памяти дорогу, он забыл неровности и колдобины, не замечал даже завоеванного им за долгие десятилетия езды пространства, которое потом снова вырывалось из рук из-за греховности кахетинцев, опять расширялось кругами; старик позабыл дорогу и стороны света, принадлежавшие деревне, он не видел уже побитую холодом и съеденную остывающей ночью дорогу, но слабеющая душа его слышала поскрипывание колеса, а тело, легкое как былинка, плыло над избитой копытами дорогой, он просто летел над ней, он ликовал, дрожа слегка застылыми сморщенными губами.

Он изъездил дорогу, а теперь она снова возвращала ему путь, убаюкивая. Вол летел где-то впереди него в потемках, вол пел его забытые песни, заунывные и долгие, полные скорби и ожидания.

Старик горевал, что Ило не слышал, как он, родитель умирающий, летел себе над прахом Кахетии. Сын не слышал песню, цветущую как лоза. Песню, которую поет старый, издохший вол, надорвавший спину и жилы в бесконечном пути.

Жизнь старика уносилась осенним облаком над медленно текущей, роскошной от виноградных багряных листьев Алазанью, к сияющим в дымке снежным скалистым вершинам Кавкасиони.

Вот в какую высь летела песня умершего аробщика, вот на встречу с какой звенящей в высотах неба песней предков посылал свои дорожные плачи аробщик Ило, а потом это сделает его одиннадцатилетний сын, царенок, будущий кормилец большой крестьянской семьи.

Песня, вылетевшая из превращенной в прах груди мертвого аробщика, кружилась в глубокой теплой осенней синеве сверкающим листочком, ласкаясь с обманчиво спокойным небом. Небо даже усмехалось, охваченное набежавшей наконец усталостью и остановившейся детской холодной лазурью с медленно проплывающей песней, дубовым листочком, чернеющим прахом. Выходит, что дуб был отцом всех собранных воедино песен Кахетии. Мрачного хора.

И вот оказалось, дубовый листочек из глухого и страшного гомборского леса тоже голос одного из многих сгнивших в земле, обглоданных червем аробщиков-предков.

Старик молчал, прислушиваясь к просьбе сына, обращенной к древнему колесу.

Жители деревни ждали выезда Ило, давая ему зерно и вино.

А когда однажды Ило привезли раненого, в крови, старику снова пришлось взяться за кнут и вожжи, пока сын не оправился. Но об этом между ними ни когда не было сказано ни слова. По измученному морщинистому лицу старика, по его тяжелым векам Ило догадался, как тяжело пришлось ему тогда. И совсем это не сердце ягненка. Старик обижался на Ило за угрюмость, за молчание Бренное тело старика окутывало не кровное, не родное чувство мести сыну за обиду.

Пора, пора в дорогу!

Ило вздыхал жмурясь.

Арба росла в его сердце. Колесо. Орудие движения и орудие страшной пытки. Он усмехнулся.

Ило боялся колеса.

А вдруг оно рухнет, рассыпется?!.. Ило свалится тогда в яму.

— Пусть так! — вздохнул Ило. — В яме я посажу зерно, выращу себе урожай. Не подохну с голода. Червь принесет мне влаги, согреет зерно своим телом.

Надо ехать!.. Солнце медленно вылезало из-за бугра. Тяжко запахло сморщенной воловьей кожей. Вол хотел сена едкого, вкусного, смоченного слюной. Ило страшился колеса. Небо наваливалось на плечи аробщика. Скрип громадного, много раз чиненного колеса разбудит затихшее за ночь в груди аробщика сражение с четырьмя сторонами света. Он сжал в руке кнут. Сейчас он избьет колесо!.. Надо засечь колесо до смерти. Съежился позади старик. Сжалась семья. Настороженно глядел мальчик.

— Мои кости! — застонал Ило.

Дорога не хотела давать им покой. До крови закусив потемневшие губы, Ило с гортанным страшным криком бросился на громадное колесо, принялся жестоко сечь. Искал цепь, хотел схватиться руками за ржавую цепь и бить арбу цепью. Но цепь в таких злобных руках могла навсегда изувечить колесо. Мальчик не давал цепь, прятал. Вол охнул и, зажмурив глаза, устало дернулся.

Колесо тяжело закричало. Арба потащилась по дороге.

За ней в земле двинулся слепой червь.

Ило медленно, понуро сторбившись, шел за арбой.

Утро вставало.

И отчего слезились глаза старика, выеденные солью, в глубоких и глухих впадинах?

А вол страдал от избиения колеса. Волу казалось, что секут его тело, тяжкую, неповоротливую и хмурую душу и если даже его выпрягут, все равно тоска сохранится и будет терзать, ведь вол сроднился с колесом, он уже и не помнил себя без него.

— Ничего, — бормотал Ило в ответ животному. — Меня тоже бьет судьба! Но она не платит добром, не просит прощения, как я, унижаясь перед арбой. Себя бью, свою жизнь погубленную. Мне ездить за солью: за нашим хлебом.

Аробщик страшился колеса и верил ему как живому богу.

Старая Кахетинская дорога плыла навстречу. Арба тащилась мимо оврага, глубокой ямы с осыпающимися краями. На дне ямы стояли мертвые аробщики, словно вылепленные из потемневшей глины. Они уехали за солью, за смертью в разные годы. Их давно не ждали в деревне. Аробщики не вернулись. Аробщики стояли на дне оврага с разрушенными, выветрившимися лицами, беспомощно опустив холодные руки. Соль выела взоры. Они стояли погибшие в пути, чужие и одинокие. Каждый из них шепотом просил бога пространства, бога разрыва о спасении. Но бог не слышал их умершей, осыпающейся песни. Жажда соли погубила аробщиков.

Постарело лицо Ило. Он отвернулся от своих братьев. Облако наплыло на лица пропавших велисцихцев. Ило взмахнул кнутом. Арба закричала, потащиась дальше. Ило молчал. Скорбь дрожала на уголках напуганных губ.

— Пространство одолело их!

Вол стал утробой напевать дорожную песню. Ило ехал как оглохший.

— Не слышит хозяин мою песню, — вздохнул вол.

— А я даже не выпил за память! — горевал Ило о мертвецах. — Ведь со мной едет бутылка вина. Эх!..

Начал терзать аробщика голод. Захотелось ржаного, холодного как камень, но живого хлеба.

— А те, в яме, накормлены? Мои мертвые братья-аробщики не голодают?

— Они сыты беспробудным плачем, — бормотал вол. Зажмурил глаза и шел понуро. Ило думал: надо бы сойти с арбы, погрызть копыто вола, старики говорят — дает бессмертие!

— Копыто мое тяжело! — замер вол. — Хочешь, ешь мое одеревенелое мясо? Ешь меня, не страшись!

Лицо Ило высохло. Пот блестит на щеках. Вол закрыл помутневшие глаза и шел дальше. Он один знал, куда. Скрип арбы подгонял.

— Вол мучается от жажды, — решил Ило. — Вот доберемся до соли и будем пьянствовать всю ночь.

Смешались надежды аробщика и вола. Они превращались в одно живое. Одна голова с выпуклым, раздумчивым лбом и длинными рогами.

Как всегда в пути, встретился им Мальчик, Нашедший Подкову.

Мальчик когда-то покинул родину, деревню Велисцихе, ушел от родного очага, чтоб поискать счастья на чужой стороне, вдали от реки Алазани. Мальчик постарел, измучился, поседел и давно не мог найти дороги назад. Блуждал недалеко от деревни, а найти не мог. Мальчик, Нашедший Подкову, видел, как крестьяне избивают дорогу палками, как кормят хлебом, задабривая, но сам не мог ее позвать. Вот присядешь на край плывущей чужой арбы, может, и приобщишься к завоеванному горизонту.

Седой Мальчик страдал, звал хриплым голосом своих односельчан, он заблудился. Он сам бежал от деревни и крестьян, от тяжелого труда, от овец и баранов, тощих коров, от голода и кабального ярма, которое наденут на него крестьяне.

А может, они крикнут ему издали, что отец и мать умерли с горя, от разлуки с ним и лежат в нищем жилище непогребенными, хотят, чтоб блудный сын похоронил их, нанял буйвола и погребальную повозку и, заплатив кривому погонщику Ашоту медный грош, отвез их тела к пещере Хуца.

Блудный сын не решался прицепиться сзади к чужой арбе, страшился неволи, боялся в неволе куска хлеба, пропахшего человеческим потом. Крошки хлеба чужбины темнели в подглазьях блудного сына. Хлеб был мокрым от слез чужбины. Мальчик сделался нищим мужчиной.

Упадет на слабеющие колени безродный, никчемный мужчина, предавший свой дымный очаг в страхе голода, предавший мертвую мать и мертвого отца, оставив их лежать непогребенными. Сжимая в грязном кулаке горсть праха родной земли, он ходил по свету. Сжал в ладони черное зерно. Седой Мальчик звал колосья пшеницы с родины. Хотя бы жалкий, обгорелый колосок давно сгоревших, пропавших урожаяев. Изменник бежал от голода.

От ярма. От пахоты.

В какую же из четырех сторон света возвращаться ему, где маленькая нетленная деревня, покинутая им?.. Бежал Седой Мальчик от дикого, древнего труда в пещерный город призраков.

Простит ли ему родина? Поседевший от одиночества, он искал забытую дорогу в Велисцихе, страшась, как и прежде, копыт тягловой скотины. Боялся превратиться в скотину. Блудный сын, опозоривший охваченные дымом горечи виноградники.

Вол взглянул на Седого Мальчика. На Седого Мужчину.

«Счастье вернуться домой скотиной, под ярмом», — вздохнул вол.

А может, Седого Мужчину прогонят? Кому нужен тщедушный, постаревший работник с ослабшими коленями, он не выдержит ярма, свалится; ему бы искать лунной ночью в чужом поле смерти.

«Ах, какое счастье, — жмурился вол. — Лежать в родном хлеву, дышать мякиной, навозом, черной грязью».

Седой Мальчик сделался пленником города. Рабом мертвого закона. Мальчик не выдержал, провалился вниз, пытался жить во мраке, в вонючей пещере с костями птиц, а теперь, выбравшись, возвращался на родину, и найденная подкова вселила надежду в его изнуренную страхом грудь.

— Эй, подвези меня до Велисихе! — просил мальчик ввалившимся ртом. На щеке горела слеза раскаяния.

— Сам иди туда, — ответил Ило. — Иначе мало толку в твоём возвращении. На арбе вернешься живым мертвецом, не обогреешь очаг свой. А тебе еще хоронить мертвецов.

— Погоди! — пошел рядом с заскрипевшей, снова потащившейся арбой, спотыкаясь, Седой. На бледном лице горел страх.

— Иди один! — крикнул Ило. — Хочешь вернуть родину?

Нашедший Подкову остановился.

— Вот тебе крупинка соли, — кричал Ило. — Съешь. Мы с волом добыли. Не цепляйся за арбу. Иди.

Седой опустил голову.

— Одолей путь, или деревня не примет тебя!.. — Ило безжалостно усмехнулся. — Боишься?.. А мы с волом кружим, кружим из года в год, едем по растущему кругу. Мы-то хорошо знаем, как брататься с пространством. Мы тоже постарели, это наше ремесло и нас кормит. Мы всю жизнь ездим за солью!.. Прощай!

Скрипит арба. Арба пытается петь немую песню.

Ило думал о блудном сыне. О Нашедшем Подкову. О Седом. Брошенная земля, она никогда не простит, не простит и увядшая виноградина. Он будет чужаком в родной деревне. Как слепой, он будет ночами бродить по Велисихе и слышать лай чужих дворовых псов.

Хозяин и вол молчали.

Оба знали, что Седому Мужчине с изможденным лицом не войти в Велисихе, прежде чем он не поймает в степи и не прирежет как жертву своего двойника, душу свою в виде скотины бездомной, выгнанной от очага, отправившейся вслед за ним бродить по чужбине. Скитающуюся и голодную, мычащую душу свою, безродную скотину эту — убить!

Вот что просит найденная им подкова.

Блудный сын должен убить животное. Он сжал в кулаке грязную подкову.

Эй, Седой Мальчик!

Отыщи скорее скотину и прирежь безжалостно. Или вы оба погибнете. Вы, умирающие от позора, голодные, никому не нужные в этом краю. Эй, беглец! Убей свою душу, которую ты оставил домашнему неприкаянному животному.

Арба плывет.

Ило оглянулся.

Седой обо всем догадался. Морщина прорезала лоб. Он шел к пятящейся задом испуганной корове, не сводя с нее немигающих глаз.

Нашедший Подкову остановился.

— Я ушел, и ты сделалась хозяйкой моей нищей, умирающей души! Но вот я вернулся, и нам двоим уже тесно на земле.

Копытное животное пятилось назад угрюмо. От материнского тела коровы пахло отсыревшим углем очага, безвкусным жмыхом и кровью. Тоскливой кровью налились похолодевшие зрачки животного.

Животное говорило: «Осквернишь свои руки убийством, и деревня тебя не выпустит».

— Нет! — сжались желваки на лице Седого. — Я иду к очажному, родному дыму. Меня ждут мертвецы. Отец и мать. Непогребенные.

Вдруг он нагнулся и выхватил из-за пояса ржавый короткий нож. Животное замерло копытами. Неожиданный блеск ножа ослепил взор животного. Удар был коротким и страшным. Скотина со стоном повалилась, задрвав судорожные ноги.

«Я оборвал в ней усталую жизнь!» — подумал мужчина.

Скотина задыхаясь уткнулась рогатой головой в дрогнувшее колено. Он обхватил эту родную голову с рогами. Он осквернил себя кровью жертвы. И те-

перь брошенный очаг погаснет. Седой Мужчина пошел к покинутой им деревне Велисцихе. Нашедший Подкову будет плакать и просить у жителей прощения.

Задранная голова убитой коровы одиноко чернела вслед глазом.

Дорожный пыльный день все поет и тянется, обрастая знойным запахом жарких трав, прогорклым пчелиным гулом, тенью облака. Облако целый день тащится за скрипящей арбой. С дикой птичьей высоты караулит арбу отставшее от стаи облако.

Вол задыхается соленым потом, тяжело движет копытом.

Вол, зажмурив глаза, тащит арбу с облаком.

Вол бредет и слушает хриплую песню мужчины с кнутом. Стояла вымершая тишина. Костлявая летняя засуха. Обоим хотелось пить.

К забытому камню подбирался подорожник, всеми презираемый хозяин пыли. Очумелый от голода и зноя подорожник лез к камню горькой, ржавой своей душой. Камень отбивался, ворочаясь от назойливой ласки подорожника.

— Бурьян задушит меня, — капризничал камень. — Ведь я беспомощный!

Дымился край пьяного, очумелого кахетинского солнца. Солнце пахло гарью опаленной воловьей шкуры. Аробщик пел песню об умершем камне. Вол осторожно подпевал. Песня копыта разбудила спящего под камнем слепого червя.

Червь всем врал, что он близкий родственник бога рассвета и спуска во мрак Диониса.

— Я обгону арбу и солнце! — хвастал червь.

Кружилась в небе винная бочка, расплескивая горячие хмельные брызги.

— Солнце хочет, чтоб я выпил за его здоровье! — ликовал червь.

— Будем братьями, — задыхаясь от жажды, просит хозяина вол. — Слышишь гул времени? Он раздавит нас.

— Это гул твоего малодушного сердца, — усмехнулся Ило. — Я аробщик, а ты скотина. Помни!

Звенит обидой копыто. Копыто замерло.

— Пить хочу! — задыхается вол.

— Терпи! — отвечает громадное колесо.

На миг чудится побеждаемому сном Ило, что он превращен в своего загнанного измученного вола.

— Отчего медленно движутся мои копыта? — страдал Ило, отмахиваясь хвостом от слепней. Влажная испарина соли блестела на лбу.

— Арба стоит на месте, проваливается в бездну?!

— Это я, слепой червь, тащу в преисподнюю твою арбу!

В соленой лужице горит небо. Вол тянется к луже.

Аробщик снова взмахнул кнутом.

— Не пей! Погибнешь! Сдохнешь!

Родник провалился. Исчез.

Арба тащилась в обезлюдевшую степь. Желтая виноградина катится впереди.

Хрипло, иступленно кричал в знойное небо Ило:

— Какой же я вол? Я человек! Эй, вы! Стражи сторон света!.. — голосил он.

Не дышит, не хочет слышать крика слепой червь, родственник бога.

— Я аробщик! — бессильно воет Ило. Разъяренными глазами ищет виноградину. Он сбился с пути.

— Быки мои, волы мои напились, пьяницы копытные, черт бы подрал их! — поет Ило зажмурившись.

Арбу они, взбесившись, опрокинули.

Аробщика оземь грохнули, чуть не растоптали...

— Эх! — бежал, катился вниз с горы аробщик. — Эх, искал я спасения у дуба!..

— Эх, волы мои напились! — тянул Ило.

Повизгивает арба. Вол внимательно слушает, угнув шею. Плыло словно в опустевшем после жатвы небе облако. Облако ныряло, цеплялось за колесо.

Песня аробщика давила небо. Небо, всподев, блестит испариной. Прилегли за оврагом, как в засаде, сухие ветра, дожидаясь сумерек. Сумерки тащатся навстречу одинокой арбе. Слепой червь спасается от колеса под камнем. В черве дрожит капля воды. Кто догадается, что червь пленил в ничтожном теле великую реку-Алазань?!

Пахло потерянными ленивыми жнецами и почерневшими зимой под снегом и еще не выветрившимися колосьями пшеницы.

А потом, ближе к враждебному вечеру, резко запахло голодным и обнаженным, израненным плугом полем. Вон вдаль заметил аробщик тень от здоровенной спины Ваню-пахаря.

Ваню никого не боялся в Кахетии.

Один только бог разрыва Дионисэ мог его одолеть.

Ваню, увидев арбу, схватил ком земли и замахнулся.

— Эй, погоди! — выкрикнул Ило.

Земледелец не любил, когда ему мешали. Он недолго любил аробщика, движущегося по кругу, вечно одолевающего пространство. Ваню боялся, что земля Кахетии, побежденная арбой, сожмется в песчинку.

Ило сжал в руке кнут. Ваню придвинулся к плугу. Сощурил спокойные землестые глаза. Вол остановился, чуя поединок.

— Вот вышел я в поле, единоборец! — стонал вол.

Ваню-пахарь принял этот стон за боевой крик аробщика.

И стоял не двигаясь, могучий и обнаженный, с мощным торсом, напрягая широченные плечи и бычью шею. Нахмурился лоб сросшимися густыми бровями. Надбровья сдавились. Не выдержал первым и закричал всей грудью Ваню. Он боялся за свое поле.

— Вот вышел я в поле, единоборец! — повторил он клич врага. Потом оборвался глухой, страшный, животный зов.

Это был первоизданный возглас войны. Битва земли и колеса.

Гудит поле.

Беспощадный, первородный рык мужской утробы, готовый к сражению.

Арба наконец остановилась. Вол замер ни жив ни мертв. Исподлобья глянув на пахаря, Ило устрешенно ответил:

— Ты обрабатывай поле и выращивай хлеб!

Ваню слушал, оскалив съеденные голодом зубы. Выращивал хлеб, а сам голодал. Кормил общину. Отец пшеничного зерна. Тоже крестьянский бог, тоже земледелец.

— Обрабатывай свое поле, давай народу хлеб! — глухо говорил Ило, не слезая с арбы. — А я буду объезжать поле по кругу, защищать от свирепого бога разрыва! Рой землю и иди вглубь, а я хочу оградить колесом поле от гибели!

Два воина молчали.

Тишина, наполненная мраком, блеснула капелькой света.

— Бог разрыва! Дионисэ! — прохрипел пахарь.

— Мы дети и враги его, — забормотал аробщик. — Мы боремся с Хаосом.

Спасай хлебный колос. Я сейчас уеду.

Пахарь еще раз пригрозил кулаком. Ило, отъезжая, приободрился.

— Копыто моего вола раздавит в кровь твою руку, дурило!

И снова скрип.

Червь вылез.

— Куда едешь? — снова спросил червь.

— Я говорил, за солью.

— Зачем она?

— Для еды. Для плодородия. Для спасения.

Ило слышал, как билось уже в отдалении сердце пахаря. Червь чуял хлеб, который выращивал здоровенный пахарь. Тянуло духом шелухи, мякины, остывающей к вечеру лазоревой водой Алазани. Зрела ягода земляники. А еще пахло козьим молоком.

Встревоженно кричал удод, побаивался ночи.

— Соль — это пот человека и вола! — добавил аробщик.

— А какая соль? — не унимался червь.

— Белая как солнце. Блестит.

Сжался червь. Что-то неуютное вспомнил и страшное.

— Однажды гул земли выбросил меня на глыбу соли. Меня прожгло, все тело, опалило сиянием. Я сдался. Вот вы, люди и быки, боитесь подземной бездны и нижнего мрака, а я весь захлебнулся в бездне пылающего света. Это страшная для нас, червей, гибель. Горишь и не сгораешь, мучаясь светом, а вот прозреть не можешь!.. Тело твоё горит в разъедающем свете, обугливая совесть!..

Червь сжался. Не знал, что такое слеза. Он мог только шевелиться сжимаясь. Так он выражал свое горе.

— Не хочу думать о соли! — вымолвил слепой червь, желал казаться родственником бога Дионисэ, юноши зеленоглазого, лозой оплетенного.

— А как бы ты хотел умереть? — грубовато спросил Ило. — Какой смерти не боишься?

— Я? — обиделся червь. — Я никогда не умру. Я бог реки! Во мне спит Алазань. Не слышишь?

Потянулась над дорогой легкая паутина тени.

— Эй, аробщик! — корчился червь. — А привези-ка и мне зернышко соли! Я хочу его сделать своим пленником. За это я познакомлю тебя с зеленоглазым богом разрыва. Заглянешь ему в глаза. Взор Дионисэ потускнеет в преддверии смерти. Мы насыпем в его глаза щепотку соли, и он умрет от ожога. Я сделаюсь богом полей и виноградников. И остановлю зиму. Пусть зима дожидается, а вы, мужланы, пейте и веселитесь, а?

— А вот это не надо! — испугался Ило. — Снег должен проглотить осень. Иначе пахотная земля не напьется.

— Дашь мне капельку соли, а я попрошу Великого Виноградаря помочь тебе в странствии.

— Не хочу! — насупился аробщик. — Я его знаю. Кровь его на жатве однажды брызнула мне на шею. Вот осталось родимое пятно. Гляди!

Арба ехала.

Червь полз за ней, весь покрытый прахом и отряхиваясь. Тонким, неслышным голосом пытался кричать вдогонку:

— Не бросай меня, ведь я бог!

Арба скрипела.

— Я бог! — захлебывался червь. — Кровь скотины и человека красная, а я вот состою из воды и пота. Я хозяин воды, но отец мой прах. Я сын праха земли, а погибнуть хочу в воде, хотя вода пленница моего тела. Она не дает мне смерти. Я бессмертен! Остановись! Я знаю, ты возишь в арбе родную землю. Крестьяне насыпают велисцихскую землю в арбу, чтоб землей родины благословить путь. Они хотят землей благословить землю. Боитесь вы, дурни и мужланы, что пространство сожмет, задушит вашу деревню. Бездной хотите победить бездну! Смерти боитесь?

А я вот хочу умереть и живу вечно.

Я рождаюсь и живу тысячи лет. Потом я снова рождаюсь.

Я бранный червь. Я слепец! Я калека. Я нищий.

— Эй, куда ж ты, вол?.. Брось своего хозяина!.. Не бойся кнута. Кнут бессилен!.. Остановись, вернись! Убей аробщика ударом копыта в висок. А сам захватывай дали, сделай кахетинцев рабами!.. Один станешь встречать восход и прислушиваться, как я, к смертному дыханию засыпающей земли.

Боишься, что раздавят тебя, вырвавшись из ада, стада человекобыков Кахетии?!.. Где твоя гордость? Убей Ило и женись на его дочери! А вот меня ни за что не запрячь в арбу! Я мог бы тащить. Я могучий. Я мощь земли! Я дыхание бездны!

Давай. Сражайся с четырьмя сторонами света! Боишься ослепнуть? Ножом солнца, лучом полоснет по твоим взмыленным, вымученным глазам? Эх, жалкий раб, вспомни битву человекобыков Кахетии. Этих исчадий, провалившихся в преисподнюю.

Где твоя силаща, вол? Стой! Остановись! Раб! — захлебывался тщедушным криком червь, покрываясь белой холодной пеной гнева. — Ты бугай! Ты — великан, а хозяин кнута сделал тебя посмешищем! Вьючной, тягловой скотиной.

Раб!

Яростно скрипело колесо.
Копыта бились о дорогу резко, торопясь.
Солнце задыхалось.
Метнулась тень встревоженного удода.

Не верил глазам Ило-аробщик.

Впереди арбы катилась по дороге, взметывая пыль, утомленная жарой виноградина, а вместе с нею кружился, вцепившись в ее тело, слепой червь, соперник бога пространства, бога разрыва.

АРЗУМАН-ПТИЦЕГАДАТЕЛЬ. ПОЖИРАТЕЛЬ ПТИЦ

Птица — солнечный знак.

Солнце с крыльями, горящее в воздухе. Солнце с клювом, творящее небо и землю. Солнце со змеей в когтях. Капля солнца, переплавленная в виноградину.

Арзуман сухими длинными пальцами перебирал четки, нитку с нанизанными крупными виноградными косточками. Это умершие солнца урожая прошлых лет. Память об исчезнувших в дыме времени победах и поражениях Арзумана-птицегадателя.

Арзуман с другими кахетинцами сражался за урожай вечный, пытаясь захватить власть в Велисцихе. Сражался в изнурительном и кровавом многолетнем единоборстве. На жилистой шее Арзумана сверкали бусы из остекленевших птичьих глаз, а также ожерелье из разноцветных птичьих перьев.

Этих птиц он убивал в разные годы при своих гаданиях. Он сидел в маленьком дворе своего покосившегося жалкого дома. Вынес кресло, расселся в красном халате, закинув одну голую тощую ногу за другую, курит трубку Горький дым. Смотрел сощуренными страшноватыми глазами. Кругом на кольях забора чучела убитых им птиц. Дым окутал сморщенное желтоватое лицо мужчины, недоверчивое и подозрительное ко всем. Вождь кахетинских птиц. Убийца птиц. Заклинатель неба. Заостренно торчал, выдаваясь вперед, костлявый подбородок. В маленьких желтовато-выгоревших степных глазах блестяла воля и презрение к судьбам птиц и людей.

Эта злость родилась в нем давно и рождалась с каждым днем, пока он сам не превратился в умерщвленную, всеми презираемую птицу, убитую и брошенную в глубокую страшную яму с окровавленными трупами птиц, и почерневшая кровь сгустком вытечет из несчастного, застигнутого врасплох криком рта. Кружили над вождем птиц мертвые и живые его сородичи Кахетии: страшные виды сов с безразличным сухим блеском в стеклянных глазах, ястребы с распахнутыми в полете крыльями — давно подсеченные пущенными снизу стрелами, они словно замерли в воздухе перед последним, прощальным падением в бездну, мудрые соколы с окровавленными клювами, растерзанные хищными когтистыми пальцами Арзумана, и кричащие из смерти дрофы, степной орел с вырванным чернеющим глазом — на него с целой кучей добровольцев Арзуман охотился долго, ведь гадание по полету орла опасно и тревожно, од-

нажды кровь убитого орла предсказала тьмой поедающее землю облако саранчи-мироедов.

Вот летят на лысую голову Арзумана крылья одинокого обезглавленного коршуна-могильника, пожирателя трупов и падали, а еще ждали вероломного Арзумана в мире мертвых птиц несчастные журавли венценосные, павлины, золотистые фазаны, болотные утки, индюки; стремительно несется в вечность угод, птица вещая, целые отряды черных дроздов кружат на земле вокруг Арзумана, дрозды с желтыми крепкими клювами, вспыхивают в небе белоснежные куропатки. Дымом черным стоит над землей ворон.

Арзуман вздохнул, затаился горьковатой трубкой. Умерщвленные им, торчащие отовсюду на кольях забора птицы глядели на него испуганно и печально, не могли выяснить у своего неумолимого хозяина с маленьким, презрительно сжатым ртом причину своей мучительной, тяжелой казни.

А он не устаивал их даже взглядом, сидел в облаках разваливающегося дыма и мечтал о власти над живыми и мертвыми, ради которой он прожил уже столько гадательных дней, измызганных кровью всех этих несчастных птиц своего домашнего кладбища, принесенных в жертву его властолюбию, вспоенному ястребиной кровью.

Арзуман пил из чаши кровь ястреба.

Овладев верхним, воздушным, миром, он мог верховодить и на земле кахетинской, сделаться всемогущим хозяином Кахетии. Он умел разговаривать с птицами полей и лесов, с призраками крылатыми, населившими своим гортанным клеткотом и пещеру Хуца и бороздящими глубокое знойное небо над виноградниками. Чернеющая кровь сокола, подбитого ядовитой стрелой, текла и падала проклятьем и позором на его лысоватую голову, на голый череп.

Иногда Арзуману приходилось по ночам тихо, шепотом разговаривать с чучелами убитых им птиц — он уговаривал мертвых пернатых, завораживал, обещал воскресение души каждой крылатой пленнице смерти. Страшась, он пытался разгадать в чужих, птичьих глазах, затаивших обиду и месть, смогут ли они прошептать своим живым собратьям о готовящейся новой жертве, о птице зеленого неба. Ждала ее вероломная расправа.

Арзуман, вздрагивая кадыком, взволнованно поглаживал ожерелье из перьев на сморщенной шее.

Крылатое солнце с клювом и когтями — верховная птица Кахетии.

Соперница Пашкунджи. Обе птицы враги Арзумана.

Крылатое солнце рождало виноград и само родилось однажды в виноградине.

Верховная птица прилетала в Велисцихе каждое утро, а в сумерки исчезала, оставляя в крестьянских глазах тьму.

Я боюсь солнца с крыльями, с ликом жертвенной овцы!

Я, Арзуман, страшусь!

Я покорю солнце с когтями, а овцу — Дионисэ — заколют ножами крестьяне. Принесут в жертву гомборскому дубу.

Арзуман заерзал в кресле, зашевелился, даже привстал, лицо его вспотело, ослепленное горящим облаком. Арзуман вздернул рыжеватыми жесткими бровями, забегали в страхе колючие холодные глаза. Это глаза охваченной паникой, много зла натворившей степной птицы.

— Я Арзуман! Я птица смерти! — Пена пузырьками желтыми лопалась на сморщенных губах гадателя. Еще более острым сделался костлявый подбородок. — Я убиваю своих братьев и сестер, чтоб предсказать по ним свою судьбу!..

Кадык Арзумана задрожал.

Он страшился мести целой стаи умерщвленных им птиц. Он попытался бежать, но сухие ноги не могли двинуться, поджались, он выронил трубку, пеплом обжигая шею и грудь. Тень кружащей высоко в небе Пашкунджи напугала его. Он пытался спрятаться за чучелами убитых и выпотрошенных им птиц, сородичей из загробного мира. Кровавая слюна текла на подбородок. Пашкунджи — его заклятый враг. Ведь Арзуман был ей сыном, птенцом, а потом предал мать и объявил ей войну за жестокую власть в воздухе.

День и ночь преследовала его мать. Тень громадных ее крыльев приводила его в ужас. Взмахи исполинских крыльев Пашкунджи рождали Время, когда она парила над зеленоводной Алазанью, и обе — и река и птица — становились хозяйками Времени, когда несущиеся тени их срастались. Арзумана от страха рвало желчью. Но он не сдавался, а пятясь бормотал:

— Я пожиратель птиц! Я вождь мертвых коршунов!..

Пашкунджи не давала ему покорить воздух и небо. Покорить ее железные когти и чудовищный клюв. Один удар в висок — и ночь зальет его взор.

Арзуман упал и зарылся в песок. Спасение для Арзумана — бежать к буйволу-исполину Або, звать гиганта на помощь, умолять, чтоб бросился в схватку с грозной птицей, сверг ее могущество. Тогда Арзуман нагадает, чтоб Хаос, терзающий буйвола, вырвался наружу и освободил его тело. Избавил от тысячелетнего плена. Радостью блеснули испачканные черным страхом глаза гадала. Тень великой птицы горела. Дымились сады, тлела пыль.

Это его мать.

Он ненавидел мать.

Однажды в детстве Арзуман вывалился из огромного гнезда на верхушке дуба. Дуб решил, что ребенок мертв. Птица Пашкунджи думала, что потеряла любимого сына. Она взвилась с чудовищным клекотом и стоном в небо и, зажмурившись, хотела броситься на утес, чтоб разбиться, но ветры остановили самоубийцу.

Она упала вниз, зацепившись о сук, повиснув на дубе вниз головой. Пашкунджи долго страдала: не ела мяса и не пила крови. Взор почернел, железный клюв приоткрылся.

— Я убью изменника! — хрипела она.

А он душил и мучил птиц, издеваясь над матерью.

— Я сделаю Пашкунджи своей любовницей, а потом убью! — грозился он перед народом. И путь к захвату солнца будет открыт.

На стене пещеры Хуц высек хищную птицу, терзающую овцу.

Арзуман-птицегадатель из Велисцихе — потомок одного из древнейших кахетинских племен, ведущих род от орлов-могильников.

Мать его — хищная птица.

Отца своего, жреца птиц, он, возмужав, убил.

Отца убил Арзуман и сделался любовником матери.

И каждый год убивал птенцов Пашкунджи, своих братьев — детей.

Но этого мало, чтоб надеть на себя орлиные перья и когти.

Арзуман знал: он должен убить свою мать Пашкунджи. И вместо нее стать богом неба.

Он с младенчества ждал кровопролития.

А пока община дала ему право гадать на птицах и кормиться ремеслом, предсказывая кахетинцам погоду: бури, урожаи, голод, солнце и град. Град — смерть виноградаря и лозы!

Арзуман жил уединенно, желтолицый мужчина с морщинистым лицом, хищными затаенными глазами с желтым бельмом и часто опускающимися и поднимающимися веками. В груди его росло сердце орла-могильника.

Он был независим. Но шум осеннего праздника виноградарей Ртвели пленил и его. Гадатель с когтями и в перьях прислушивался к шагам осенних богов, острые уши рыси дрожали.

В день последней казни Дионисэ птицегадатель надеялся взлететь к верхушке дуба и сделаться хозяином кахетинского неба.

— Я стану богом облаков и неба! — шипел он, поводя шеей и хищной головой. Он напоминал о своей будущей судьбе, дрожа сухими потрескавшимися губами. — Я буду жить в гнезде матери. На верхушке дуба!

Арзуман надевал на руки и ноги когти орла, обвязывался перьями птиц, а сзади приделывал вздрагивающий при ходьбе и кружениях белый хвост орлана.

— Эй! — кричал он. — Сестры мои птицы! — И сверкал хищными белками злобных глаз.

— Эй, фазаны, цапли, куропатки, тетерева, стрепеты, удоды, вороны!

— Эй, птицы мои единокровные! — звал он сиплым, надтреснутым голосом, опуская злое прыщавое лицо. — Я объявил войну матери! А вы — мое пернатое войско. Кто предаст меня, тому смерть!...

— Эй!! Сюда, желтоклювая и белая цапля! Ко мне, розовый и кудрявый пеликан! Где вы, степные орлы и беркуты с кровавым, мигающим бешеным взором?!

Сжимается нервное лицо гадалея, кривится маленький сухой рот, подрагивающий уголками губ, сипит крючковатый хищный нос с повисшей каплей птичьей крови.

Пьяные птицы Кахетии страшатся его хриплого клекота. Арзуман — их будущий хозяин, он их будущий убийца. Но птицы Кахетии знали, что, убивая тех, чья очередь подошла, рассекая ножом на осеннем Ртвели жертву-птицу, он давал жизнь целому пернатому роду!

Ведь хищная птица Пашкунджи, после того как Арзуман поиздевался над ней, сделавшись ее насильником-любовником, теряла свою грозную власть. Она даже клевать печень Амирани, прикованного к скале, за то, что украл для людей огонь, уже не могла так яростно.

Арзуман осквернил мать. Дрогнуло и сжалось сердце пернатой матери.

Она умирала медленно, много лет, кружа в зеленом влажном небе над гордым дубом, влюбленным в Алазань шумящую!..

Арзуман свистел и дудел, гукал и визжал, свистел, чирикал и булькал провалившимся горлом, но птицы боялись слетаться к нему.

— Вы прокляты! — грозил он маленькой сухой рукой с когтями. — Всех рассеку!

Вынужден был гадать по полетам лебедей, уток, журавлей и удонов.

Прорицал хищно сжавшимся от страха односельчанам о великом потопе, об огне, о граде и молнии, о пламени, что пожрет Кахетию! О землетрясении, голоде и стадах, вырвавшихся из пещер, из тьмы на свободу. О стадах древних человекобыков Кахетии.

Арзуман, глотая птичьи вонючие слюны, запугивал народ. Гнал скотиной в новое рабство.

Вот задохнутся осенние оргии, тогда самые хищные звери и люди начнут сражаться в деревне Велисцихе за власть!..

Возле ног шипящего слюной и ненавистью Арзумана стояли с двух сторон гусь и ворон. На плечо ночью уселась сова, мигая хищными мертвеющими глазами. Сова со спящими белками раздавленных слепых глаз равнодушно слушает хриплые угрозы хозяина. Хозяин сгорблен. Опустил жестокое, изможденное злобой лицо.

Подрагивает звериными острыми ушами. Гусь и ворон жмутся к ногам. Знают — пробил час смерти.

Арзуман одним взмахом разорвет их.

Не страшится, что сам превратится в камень. Как каждая птица, съедающая своего птенца.

Арзуман взглядывал на крестьян мрачными острыми зрачками, напоминая, что он их превратит в птиц, а потом передушит.

Даст небу напиться соленой птичьей кровью, а небо уступит ему власть.

— Я буду стоять и в этой жизни и в будущей на верхушке дуба, взмахнув кверху крылами! — хрипло кричал он, шевеля бровью. — И меня окружают летящие по небу тучи убитых мною птиц.

Над дубом в страшном гомоне начнется хоровод — шествие всех мертвых. Птиц, умерщвленных в течение долгих веков жрецами.

Долину виноградников пленят могилы птиц.

Призраки рассеченных птиц станут слетаться на мои кровавые оргии!
 И вот я останусь последней птицей в небе Кахетии.
 Я стану жить и бродить с криком радости и ужаса среди кладбищ с захоронениями священных птиц.
 Я людей превращу в пернатую тварь и удушю! Я накормлю их мясом небо, а потом рассеку ножом свое горло!

Пей небо и ночь Кахетии!
 Я умираю богом воздуха!

Вот началось ритуальное убийство детей неба.
 Это был древний жестокий обряд.
 Почитание божества с обликом одинокой птицы.
 Каждый раз, терзая птицу, хватая и кружась с нею в крови, Арзуман стонал, и сжавшееся лицо пылало счастьем. Чудилось — он снова убивает мать!
 А потом визг толпы, крики ужаса, птичьих танцы и свадьбы.
 Пение и крики пернатых. Гомон и свист.
 На сморщенных щеках Арзумана горят капли пролитой им крови.
 Ужасом задыхается горло.
 Прежде чем обезглавить орла, он кидал под его когти белую дрожащую овцу. Пусть великий хищник напьется невинной крови, наестся напуганного детского мяса.

— Братья мои птицы! Пляшите и пойте! Славьте орла, терзающего овцу! — визжал Арзуман в безумии, кружась.

Тень громадного крыла Пашкунджи дрожала над долиной.

Жрец не оглядывался в смертной тоске по сторонам, не задирали вверх голову. Все сжимался и сжимался с ножом.

Пряча нож в стиснутом, посиневшем от боли кулаке. Оглашали долину смерти крики сражающихся петухов. Шли повальные петушинные бои.

Солнце сражалось с бездной. Кружили в виноградниках брызгающие кровью петухи с оторванными головами. Сражались черные и красные петухи. Ощерившись, размахивая крыльями, яростно нападали и били друг друга клювами. Убивали.

Петухи терзали свою издохшую жертву с холодным, выкатившимся бузинкой глазом.

Снова взревела толпа всепраздника Ртвели!..

Кричал и веселился Крестьянин Праздничный!..

Мертвый крестьянин хватал живого! Виноград осенний!

Беременные старухи с болтающимися высохшими грудями жадно поедали землю. Давились. Арзуман с холодным, чужим лицом. Ни одна жилка не дрогнет. Он разрывал живьем бьющегося, орущего благим матом гуся. Душил утку. Потом давил ногами с привязанными когтями ворона. Душил железной рукой сову.

Спящая сова умирала во сне не просыпаясь.

— Я убиваю свою мать! — черной смолой налился зрачок Арзумана.

Тень великой птицы падала на его голову.

В груди стареющего мужчины разболелось сердце слепого коршуна.

ПРАЗДНИК РЕКИ АЛАЗАНЬ. АЛАЗНОБА

Бродят как неприкаянные изгнанные из Алавердского храма свиньи. С ними задумчивый, помрачневший свинопас Геронтий. Заблудились беженцы копытные в одичавшем лесу, шуршат опавшей прошлогодней листвой, бурьяном. Земля, освобожденная от грязновато-желтого, умершего снега, дышит прерывисто; древним пресным духом, наполняет мокрый, изломанный буреломом лес. Гудит глухо земля утробой, сердясь на пожирающее мертвую траву стадо. Геронтий кажется первобытной земле кабаном. Штатается стадо голодное, судьба толкаст его все ближе к потерявшемуся в зарослях глухих, высеченному в

скале храму Некреси, единственному на всю Кахетию капищу, где народ в жертву приносит свиней. Но это все мрачные, неприступные места, урочища, лощины, овраги, заросшие ольхой и диким разросшимся орешником.

Стадо Геронтия побаивается приближаться к капищу в ржавом угрюмом лесу с окаменевающими исполинскими деревьями, медвежьими тропами и еле дышащими, дрожащими от озноба и сырости листьями. На холодных, мшистых, зеленых валунах там редко поблескивает исчезающее солнце.

Свиньи испокон веков страшатся Некреси.

Здесь свершаются их ежегодные кровавые казни.

Жертвоприношения свиней.

Злые, окутанные чернеющими глыбами туманов предгорья наводят ужас на бродячее стадо. Даже их пастырь Геронтий, весь заросший длинными волосьями, терял здесь над ними власть, не мог гнать их дальше меж темнеющих под ветрами холмов на лобное место. В узкой теснине свиньи могли растерзать пастыря.

Не раз стадо и пастух вспоминали с горечью оскверненный ими храм Алаверди, откуда изгнал их Нодар Шашвидзе, приговоренный бандой мироедов к смерти. О надвигающейся расправе знал народ. Но никто не мог или не хотел встать грудью перед страшной развязкой. Все боялись. Исхудалое и грязное стадо одичавшее бесприютно бродило вместе с превратившимся в оборванца Геронтием по окрестным, пробуждающимся к жизни, стынувшим пока лесам, лежало на заброшенных скудных пастбищах, спускалось к руслу шумящей с новым приливом пробуждающих сил вечной реки. И всюду их сопровождало рычанье неугомонных, бдительных псов-мцеварни.

Стадо дремало, сбившись в тесную щетинистую кучу где-нибудь в низине, среди пересохших, оживающих и звенящих ручьев, притоков, впадающих с неугомонной радостью в большую реку времени, и даже тогда стадо грязное и голодающее сквозь грохот волочимых вспененной водой больших и малых камней вслушивалось в свое общее большое сердце, в свою родовую душу свиней, истерзанную тоской по давнишнему их убежищу, загаженному ими белому каменному храму с высоким куполом, летящим над Алазанской долиной.

Не ясна эта неистребимая страсть свиней — вернуться назад в холодное церковное обиталище с дождями сквозь разбитый купол, где они гнили и подыхали.

Ведь сколько бы они здесь ни резвились и ни хозяйничали с гвалтом и визгом под готовыми вот-вот обвалиться сводами, храм не мог никогда сделаться их вечным домом. Так чего ж прожорливое стадо стремилось обратно, в загаженный хлев, что за непонятный зуд!.. Может, просто, лишившись храма, стадо вместе с Геронтием растерялось: как жить дальше?

А жизнь не стояла на месте нигде, и в Кахетии с давних пор шла борьба, захватывались леса, поля, чужие пастбища и фруктовые сады, грабились виноградники. Кахетия втянута в битву. Даже камни речные, голыши и камни, гремели, катясь вдоль берегов Алазани, неустанно враждуя друг с другом, с речной водой, вскипающей холодной, иссиня-зеленой пеной; решали, кто же все-таки старше: камни или вода?

Не хотелось камням, чтоб их звали детьми воды.

Изгнанное из храма Алаверди стадо сражалось за каждый глоток воздуха. Свиньям отвратительна судьба как возвращение в Некреси, на лобное место, к алтарям-живодерням среди лесистых скал, окутанных ледяным туманом. Они знали, что языческое капище в диком древнем лесу — их отчий дом, где они в ежегодной бессмысленной смерти собратьев черпали право на дальнейшее бытие.

В этом страхе ежеосеннего возврата к лобному месту, где их ожидала кровавая оргия и гибель под ножом, а потом новое рождение, они породнились с общеквахетинскими богами-бродягами, что являлись к плающему огнями и весельем винограднику во главе со своим верховным божеством — Великим

Виноградарем Дионисэ!.. Геронтию все тяжелее становилось сдерживать одичавшее прожорливое стадо, готовое сожрать все на своем пути. Крестьяне кидали в стадо камни и палки. Поднимался страшный визг.

— Чьи они теперь, изгнанные из храма?

Крестьяне давно перестали считать их за своих. Этим общинным живым салом владели мироеды. Хочешь засолить свинины, закоптить окорок, надеть на вертел и поджаривать к свадьбе тушу — пожалуйста, мироед, бери!

А ежели крестьянину понадобилась свинина на крестины или поминки, или еще чего, иди в контору обирал-мироедов Бежиашвили, пиши, смерд-глек, расписку, поверят в долг, а потом осенью, в урожай, отдашь втридорога пудами винограда или бочкой молодого кислого вина, мешками искрящегося солнцем пахучего хлеба или на барщине, в кабале отработаешь — много дней и месяцев будешь гнуть спину на мироеда-паразита за давно съеденное сало.

И вот за это крестьянин чумазой невинной свинье-беженке норовил при случае от злобы дать ногой по брюху. Накостылять по спине. Ползет к Геронтию окровавленная, издыхающая свинья, просит о помощи. Свинопасу приходилось самому добывать ее дубиной, чтоб не мучилась.

В Кахетии много бродило таких неприкаянных стад, сбжавших, отбившихся, или просто хозяина кто-то из зависти прибил камнем в висок. Стада захватывались мироедами, а паслись они сами. Жестоко наказывали мироеды крестьян, если кто из них гнал прожорливое стадо с своего поля. Мироеды дедали подношения бродячими стадами своим хозяевам, верховным мироедам, капитанам-исправникам, феодалам, самому полковнику милиции города Телави Навхудоносору Адамия, начальнику Свободной Тюрмы капитану-исправнику Арташесу Клыкяну с тараканьими длинными усищами.

Грело старую печень гурджаанского чиновника или офицера-жандарма воспоминание о том, что где-то там, далеко, на нивах Алазанских, в полях или в тесной дубраве, у берегов многоводной шумной реки, пасется твое задаром полученное, подаренное стадо, уничтожая чужие посевы и трава луга, прибавляет в весе и сале, а если встанет нужда и голод в районе, легко заработать большие деньги: отлов, забой и перепродажа ради барыша по спекулятивной бешеной цене свиного мяса. Через подставных лиц. На невольничьих рынках Кахетии.

При ловле и забое мироеды устраивали для увеселения гостей открытое первенство Гурджаанского района среди воров, душегубов и убийц, а победителю публично вручался самим феодалом феодалов Янго Лазуришвили почетный приз — величественная голова борова, смахивающая на голову вручающего, директора винзавода № 1.

Гонки на свиньях за свиньями.

Каждый соискатель, будь то разваливающийся от старости и алчности, заеденный вшами чиновник с пастью волка, или выброшенный по дряхлости с охранно-сторожевой службы палач, или саблезубый похититель чужого добра, темновзорый убийца детей, или просто отъевшийся, разжиревший сынок какого-нибудь чумлакского мироеда, вынужден оседлать здорового злого хряка с клыками, торчащими в разные стороны, а то и усестись верхом на залюбисто визжащую, задыхающуюся от жира свинью многопудовую, и по ружейному залпу все участники районного первенства богатырей-наездников должны гнать свое животное неудержимо вперед!

Гвалт и хрип с ревом. Свист. Крики обезумевшие оглашали Алазанскую долину, устраяя даже реку.

Светлые глаза Геронтия холодели. Он стоял молча, опираясь на громадный посох, с бьющимся сердцем.

Молча наблюдал за истязанием своих подопечных. Он тер кулаком щетину смуглых щек. Глаза пастуха становились чужими. Мрачное тяжелое лицо высыхало. Геронтий вслушивался в напуганный плеск побуревшей воды у берега. Река не хотела с ним сейчас разговаривать. Он не спас стада. Не мог остановить глумления. Он чужой.

— Иди! — бормотала Алазань. — Не говори...

В рваном полушубке стоял не двигаясь с посохом Геронтий. Несло от него кислой вонью, свиньями, нахолодевшими за зиму полями. Стоял и задумчиво скреб грязными ногтями щетину на помятом лице.

Низко склонились над стремниной, вздрагивая, ветки орешника в крупных брызгах. Мелкие листья светлеют от росы. Орешник поглядывает на напуганную маленьким рогатым чудовищем, мальчиком-быком, побледневшую реку. Вода дышит намокшими растерзанными бледно-желтыми цветками. Пахло диким каштаном, хоть и сожженным молнией, а зеленеющим вновь.

Каштан падал, накренясь, с обрыва. Ветер подхватывал его, искрился водяными радужными капельками. Мычал Иштар.

Он вырос.

Его изгнали люди. Перестала бояться его бычьей головы и тела мужчины Алазань. Он голый. Оба стыдились и любили. Завидев его, Алазань бежала медленной. Осенью она несла с собой вдаль намокшую желтую листву. Иногда, если захмелевшие, празднующие осень крестьяне тащили его на луг, на пьяные, страшные игрища, человекобык брел, возвращался на заре к изнуренной страшными криками убиваемого бога реке, обрызганный, как и другие, кровью Диониса. На бычьей голове, на рогах болтался маленький веночек из гранатовых листьев.

Не только Маро, корову, он считал своей матерью, но и воду. Река Алазань ждала его, вся в багровых прощальных венках из листьев далекого дуба.

Касаясь в эти послепохмельные мгновенья реки, юноша-бык сжимался. Он страшился золотистой, еле нагретой уже остывающим солнцем воды. Тревога давила его истерзанное страхом сердце.

А в это время неутомимый вестник Сандро носился в толпе крестьян, спешащих на праздник реки Алазань, бегал со своей брезентовой сумкой, наполненной свежими и позабытыми новостями. Но его все отпихивали и пинали.

— Дай нам передохнуть! — кричали ему в ухо. — Отстань со своими мертвыми письмами. Голова идет кругом, кацо!

А родовое бурное бытие росло на дрожжах времени и труда, скрипя мельничным жерновом. И стадо Геронтия в ветреные, ненастные сумерки двинулось вместе со всеми к берегу Алазани. Беспокойство росло в их душах. Сейчас они напьются, жажда изнуряла.

Вся Кахетия пила вспененную холодную воду Алазани. Стадо, похрипывая и повизгивая, двинулось на своих коротких копытах к воде. Стадо свиней, ополоумев, лезло в Алазань, оскверняя воду. Вода бурлила. Свиньи пили долго и ненасытно.

А вон и телята. На влажной глине темнеют их следы. Резко несло сыростью и телячьим навозом. Худые голодные телята с впалыми боками сбились в кучу. Навоз их не содержал огнедышащей силы молодого, яростного быка, подавившего могучим своим телом, мощным загривком все черное от тучи пространство.

Бык с крутым глазом, заплывшим соленой кровью. Навоз молодого и отважного исполина горел и дымился, смешавшись с распаханной и растерзанной землей. Бык в первый раз расслышал свою живородящую силу. Бык дарил земле мощь. Жадно обрывал редкую мокрую траву бык, истосковавшийся по любви и власти. Навоз нетерпеливого быка породнился с полем, которое родило зерно. Бык рыл копытом поле.

Вода с вкусным чавканьем плескалась о прибрежные камни. Стадо свиней напилось.

Пробудился от спячки и червь. Всей Кахетии он давно казался высохшим, а оказалось, живой!.. Река неслась в сумерках, так и не сделавшихся ночью. Алазань нервничала и злилась, ведь только ночь даст ей короткое отдохновение. В потемках река прятала горе, тоску по умирающему, сохнущему без любви дубу.

Всплеск раздраженной воды достигал червя. Вода, пузырясь, пожрала червя. Червь притворился мертвым. Рокот реки оглушил его. Ночами чудилось червя, что река спит, стоит на месте, хотя на самом деле она неудержимо, самозабвенно, в отчаянии неслась куда-то во мрак.

Дышала мраком.

Сон не мешал Алазани лететь вперед, свободной от измученных жаждой слепых быков, шумящих в дубравах по берегам. Червь сжимался и разжимался

ся. Червь дышал и был счастлив, что вместе со всеми творит бессмертие Кахетии.

В спустившихся сумерках одна настырная свинья принялась к нему, наступила копытом, хотела сожрать, но червь влез в ком глины и раздосадованная свинья отступила. Вода обрадованно загудела. Не так-то легко ленивой, глупой свинье проглотить творца. Червь пережил не одно стадо, и сам когда-нибудь возьмется есть эту свинью, и жирной еды такой хватит ему надолго. Червь уходил в глубину земли. А иногда прилепится к копыту буйвола Або и движется с ним по Кахетии!.. Ни один крестьянский праздник не обходился без червя.

Червь обожал глухое пение пьяной дудки. Его всегда радовала осенняя, беременная урожаем земля. Он пожирал все на земле праздника. Слетавшие с деревьев, кружащиеся в воздухе душистые яблоки, просыпавшийся из дырявого мешка крестьянина овес; ползал сам за липкой от брызнувшего сока виноградиной. Урожай Кахетии — для червя. В пищу ему доставались тучные коровы, туши быков и даже люди. Червь поедал землю, в которой он, греясь в одиночестве долгими ночными зимами, думал о своей судьбе.

Всю Кахетию он мог бы съесть один. Но пока ему хватало осенних урожаев. Мяса жертвенной зарубленной коровы. Не было у червя Гурджаанского района предков, рожден сам по себе, еще до бога, до камней. Только вода могла сражаться с червем на равных, но эта вечная битва не дала никому сокрушительной победы. Чаще они холодно мирились, отступая и вслушиваясь друг в друга.

Вода и червь. В сжимающемся теле червя поблескивала капля влаги. Это бессмертие.

Малая вода жизни. Все пили реку в Гурджаанском районе. И чудовищный несчастный человекобык Иштар. Всеми гонимый.

Юноша-бык, захлебываясь кровавыми слезами, лез к ней.

Но даже река Алазань отшатывалась от уroda.

Человекобык Иштар ходил на водопой на утренней заре или в сумерки. Он мог пить только алазанскую воду, и если когда-нибудь река долины виноградников обмелеет или высохнет, человекобык погибнет.

Однажды мать его Маро была напугана, когда он, еще в детстве, мальчишка с головой бычка, вдруг весь почернел, покрылся потом, дрожал в холодной испарине, а в печальных, взрослых его глазах застыли холодные слезы смерти. Маро вскрикнула. От реки, от ночной воды тянуло темным сырым воздухом, смешанным с еле уловимым дыханием зацветшей вербы. Маро забыла, что не водила в то утро ребенка к берегу реки, просто дала ему напиться — полведра свежей воды из ручья. Кто же приучил ребенка-бычка к реке?.. Буйвол Або. Отец. Приучил к долгому глотку, свесившись к широкому потоку с обрыва вниз головой. А еще кормил сына сеном и овсом, отрубями с перетертым просом или ячменем. Мальчик с рогами пил только неудержимо несущуюся к свободе реку. Глаза его встревоженные успокаивались. Маро стала ходить с мальчиком Иштаром к воде. Она держала его за ноги, чтоб он не упал. Чудилось ей, что сын тянется к реке, как к материнской груди. Иштар пил окровавленную реку Алазань.

Он грыз ее крепкими зубами. Река хрипела от боли, плакала. Потом мать и сын шли назад в деревню. Сын стонал как животное. Кровавая детская слезинка утонула в реке.

— Иштар, человекобык с сердцем бабочки! — звала река.

Плечи отверженного жителя Велисцихе вздрагивали. Он вместе с другими убивал осеннее божество.

Иштар зажмурился; целовался с рекой под утихающую неподалеку песню хмельных виноградарей. В ответ песне прощания загоралась на холме каштановая роща. Холм таял в розовой дымке. Юноша-бык Иштар захлебывался золотистой водой Алазани. Плескался. Фыркал. Барахтался, пытаясь удержаться у берега на скользком камне. Кружил, плавал вокруг медленно тонущего венка из намокших листьев, посланного седым дубом-великаном.

Иштару казалось, что он родился из утонувшего желудка. Алазань волочила его на утес, и даже ленивые сентябрьские лучи солнца не могли разогнать мрак. Тонул дубовый венок безнадежно влюбленного в реку гомборского дуба. Хищные рыбы уже разрывали его острыми зубами. Иштар брызгался, мычал,

хохотал сдавленно, пьяный, ревнуя реку к царственному гордому дубу, который посылал ей каждой осенью свою сентябрьскую горящую корону.

Пей Алазань, Иштар! И хмелея, влюбляйся в тонущие листья.

Улетали рощи с облаками к ночи. Летели в небе леса, кружась, птичьими увядшими перьями. Холмы тянулись лысыми лбами к птицам-рощам дня и ночи. Холмы древние купались в остывающем бирюзовом воздухе.

Вернутся голые, похолодевшие от встречных опустошающих ветров рощи назад на землю. Вернутся черными вместе с влюбившимися в них, умершими от голода птицами.

Прощайте, рощи Кахетии!

Дубы и вязы.

Птицы, умирая, растерзали рощи своими острыми клювами. Осыпали черные, вернувшиеся на родину рощи и ленивые жуки, погруженные в забвение. Голубокрылые умирающие стрекозы звенели на увядших листьях прозрачными телами. Когда холодало, Иштар замирал над грустной медленной водой, пропахшей мертвыми водорослями и голодными рыбами. Он вспоминал, как осенью даже слепая лошадь шла понуро к реке и вместе со всеми пила Алазань, пила это осеннее грустное вино. Размокшая соль блестела на губах Иштара, он отпрянул. Он уходил, искал ночлег, яму. Крестьяне страшились, что он наведет порчу на скотину и воду, и кидали в него камни.

Кто же он — человек или поганое животное? Весной, в половодье, Иштар залезет в яму, наполовину залитую буро-желтой водой одного из притоков реки Арх, вырытого людьми. Напился воды Иштар, уйдя выше по берегу, чтоб не пить ее после грязных щетинистых свиней Геронтия.

Геронтий сидел на обрыве свесив ноги и звал свое шумное стадо.

Душераздирающий стон потряс долину, встревожились звери, просыпающиеся в берлогах, взлетели из кустов напуганные птицы.

Это кричал с тоски Иштар. Человекобык.

Весна терзала его.

Страшилась крови Дионисэ она, река Алазань! Не может больше пить кровь зеленоглазого бога!.. Она, рожденная в ледниках, мучилась. Убьют его нынешней осенью в последний раз, а потом вечная ночь. Еще более разнузданными и страшными сделаются крестьяне без бога. Дионисэ не хотел оставлять реку живой.

Уйду во мрак пещеры я, погибни и ты! К чему вечный плач шумящей облетелой листвою воды!..

Хочешь погубить меня, Дионисэ?

Хочешь остановить Время?!

Раздавить реку Времени?..

Хочешь, чтоб я пошла вспять, высохла!

Еще не родился ты, гонимый бог, а я уже была! — кричала Алазань, излохматившись волосами. — Сначала свали моего возлюбленного, одолей дуб.

Неприступно стоял, нахмурившись, седокрылый дуб гомборский. Вот уже тридцать веков он властелин Кахетии, заросшей виноградными листьями.

Не родилась еще в Кахетии силища, что свалит дуб.

Я дуб, пращур кахетинцев!

Я дуб, брат исполинской каменной рыбы!

Я дуб гомборский, возлюбленный шумнопенной Алазани!

Не берут меня ни ураганы, ни огонь, ни молнии!

Страшится меня землетрясение!

Каждый, кто пытался влезть на мои плечи, падал замертво.

Свила на моей голове гнездо хищная птица Пашкунджи, хозяйка неба!

Корни мои нагоняют ужас даже на пещеру мрака.

Седы крылья мои рождают бурю!

Я держу на себе всю Кахетию.

Я дуб, отец народа!.

Мечутся огненные крылья дуба. Языки пламени.

— Эй, Алазань! Слышишь кровь, что истекает из меня?!

Женщины, отпугивая беду, растягивали на деревьях шкуру черного барана. Разбрасывали во дворах рваную, старую одежду, лохмотья. Варили в чанах дикую траву, в едком дыму поили скотину горьким отваром от сглаза. Коровы беспокойно мычали, пяtilись. Катились, расплескивая отвар, от удара копытом ржавые худые ведра. Начинали плакать обеспокоенные уходом и смертью зимы дети.

— Алазань пробуждается! — оралы как бы оглохшие от гвалта и шума крестьяне. На повозки ставили плетеные корзины с хлебом, едой реки.

Кормить реку будем!

Окапывали деревья фруктовые в садах. Готовили к весенним работам и трудам мотыги, лопаты, палки, надолбы, межевые столбы. Многое пришло в ветхость и негодность. С прошлой осени валялась по сараям, подвалам, чуланам, хозяйственным постройкам всякая утварь виноградаря. Рогожи и медные позеленевшие тазы, деревянные корыта, лохани, бочки, ведра и кружки.

Все неразобранное, свалено в кучи. Некогда натруженным мозолистым рукам за все браться... Эх, делов много, тьма. Бочки конопатить, смолить, готовить к новому урожаю винограда, если народится. Пришли в негодность чаны и круглые корыта, в которых давят спелые грозди. Треснули, разошлись, зачернели дырами. Эх, глех! почешись в затылке, в плешине, в волосьях невымытых! Всю утварь надо перебирать, чинить, точить, зашивать, клепать.

Мешки из рогожи прохудились, холстина, ножи тупые и серпы, бурдюки с дырами, ищи в сарае весы, гири чугунные, выдолбленную из камня меру для вина и пшеницы. Бык в загоне мрачнее, весь облезлый за голодную зиму.

Обезумевшим животным рванул ветер, очищая небо. Скрип колес. Гул бегущих к реке толп. Чернеет вдали освобожденное от грязного снега поле. Вода успела затопить голые кизилловые кусты. Обогретая вешним воздухом лоза зябко дрожит на холодном солнце. Пробуждается от зимнего сна зазеленевшая Алазанская долина, речная тишина колоколом оглохшим плывет над растянувшимися вдоль берегов виноградниками. Свернувшийся желтый листик, уцелевший на голой лозе, пробуждается через зимние ночи и пытается согреться и спасти, зажечь свою умершую кровь.

Пахнет бычьими запревшими тушами, синей грязью. Пресным духом пробудившейся в наготе земли. Несет с повозок и арб сладковато землистым дыханьем лежалых в амбарах мешков. Из-под снега подгнившего и погибшего пробуждается ячменное зерно.

С песнями громкими идущая к Алазани толпа овеезна холодными весенними ветрами. Вьелся в крепкие худые лица и одеревеневшие от труда руки запах сырмятных кож, а также кисло-винное тление погребов. Катят крестьяне по грязи громадную родовую бочку, полуку, из которой никогда не выветриваются возбужденные голоса прошлых урожаев. Бьют мальчишки палками по пустой бочке.

Наперебой орут в пустоту. Эхом гулким откликается Алазанская долина. Каждая почернелая, катящаяся по дороге винограда звенит собственным солнцем. Мравалжамиер, люди! Кахетинцы, слава вам! Ревут копытные животные, уstraшенные грохотом движения. Воздух прозрачен и синее крылом стрекозы. Каждая винограда из многотысячного, давно отжатого и угасшего войска сейчас родит свое маленькое солнце.

А в винном погребе плотника — марани — висит на ржавом гвозде засохшая гроздь, увядшая, блестящая пылью, забытая. И зорко оберегает Алазанскую долину от волчьего воя зимнего ветра. Копыто буйвола раздавило потерянную кем-то с арбы гроздь прошлого урожая. Каждая винограда погибает со своей вязкой и светоносной пчелиной песней. Погребальными, никогда не гаснущими кострами взлетят эти песни над опустошенным осенью, разоренным одичавшими птицами виноградником.

Крестьянин оставлял для себя последнюю гроздь урожая, не бросал в давилню, в чан, кипящий алой кровью Дионисэ. Крестьянин прижимал к сердцу умирающую гроздь. Огонь ведь очищает!

— Ты виноградник! — хриплыми голосами затягивали крестьяне песнь богу. — ШЕН ХАР ВЕНАХИ!..

На колях заборов распластаны бычьи шкуры. Тянет горелым кукурузным зерном. Петухи с криком вырывались из-под колес арб, неслись впереди, в бурой пыли, опаяя огнем включенного гребня блеснувшую вдали реку. Горящими факелами, вестниками неслись велисцихские петухи на встречу с погибающей от безнадежной любви Алазанью. Петухи велисцихские пока живы. Жертвой, дотла спаленной, падут они в садах августа. В горящих садах умирающего лета. Обманутые и опьяненные медом последних дней, янтарной похмельной сухостью воздуха петухи станут умирать один за другим в увядших виноградниках, обрызганные свежей кровью, настигнутые вероломной петушиной смертью от наточенного лезвием сверкающего топора. Но петухи не боялись смерти. Будто прослышав, что смерть — это недолгое забвение, а свобода наступит где-нибудь к середине ночи, когда пора уже будить мертвых крестьян и заспавшихся беременных коров.

Отсвечивала умытая ночным воздухом Алазань. А дальше свет летел уже волюно, бездумно, озаряя голые ряды виноградников. Касаясь зацветающих садов, рождающих тяжелые мокро-красные яблоки, дышащие молодостью и древним духом земли. Повизгивали торопливо и судорожно колеса арб, повозок, легких накренившихся на ухабах тачек. Вот чья-то коза с худыми, опавшими боками в лезущей шерсти, дрыгаясь, перебирает копытцами. Даже голодную кричащую козу ошалело понесло с народом. Свою непутевую хозяйку коза давно потеряла и не ищет. Догадывается ли коза, куда валит народ? Визг, смех, крики, ржанье лошадей, бляенье овец. Мычат вконец растерявшиеся коровы. Столбы грязной пыли и дыма. За толпой завистливо тянется, пытаясь ползти, раздавленный колесом чертополох. Колючка жадно вдыхает угарный и едкий запах огня, черной колесной мази. Хотел несчастный чертополох, вцепившись в любое колесо, дотащиться до реки с орущими крестьянами, гоготом и свистом, ободранный и умирающий, еле дыша, очутиться на сыром прибрежном песке, радостно приветствуя горящую счастьем воду. Взбухает в гортани чертополоха память о сентябрьской черной крови. Росток лозы уже слышал шорох садового ножа над собой. Матери, едущие в повозках, прижимали к груди сопливо-чумазных детей. Матери слышали, как прелым летом падут вслед за гроздьями от острых ножей войны сыновья. Вечно оплакиваемые сыновья. Жертвы будущих войн. С гулом и тяжким скрипом вертелся жернов с мельницы Тевдоре на молодой речке Арх.

Матери слышали, как молоко, в груди вскипая, медленно становится кровью. Детей им отдавать осенью в жертву. Матери Кахетии!..

Остановись, женщина!

Еще не погиб твой сын!.. Но ни одна мать не сходила сейчас с повозки, не могла пешком одна вернуться в деревню.

Алазань ведь тоже была матерью. И она звала. Босоногие мальчишки, бегущие за колесом, вырастут в сентябре в отважных воинов. Медленная осенняя река будет ждать их крови. Детской крови. Но женщины, матери не закрывались от пахнущего росой солнца. В их охваченных мраком взорах уже стоял холод. Босая, оборванная Эка брела за толпой с камнем. Сумасшедшая погоняла впереди себя приبلудшую козу. Коза кричала, захлебываясь тонким плачем. Может, вместе с Экой искала ее пропавшего сына?

Эта чужая коза появилась из мглистого утреннего тумана, низко плывущего над рекой. Из увядших, свернувшихся одежд подсолнуха. Из пустого, не опаленного пока изумрудом луга. Коза худая, как привидение, злая и норовистая, шла по дороге, где сидела понуро с урожаем холодных камней седая Эка.

Коза села прямо напротив, подогнув тонкие ноги и обнюхав грудю продающихся камней. Поглядела на мать мальчишки-воина терпеливым взором.

Своими желтыми глазами.

Перламутрово-желтым оком. И пыль, и никчемные камни, и грязь на исцарапанных ступнях женщины в лохмотьях не вызвали в козе одобрения. Взгляд козы был долгим и оболакивающим, как молоко. Эка сдавленно дышала.

Она снова догадалась, что сын ее мертв.

Коза пришла к ней из смерти, чтоб пасть жертвой за солдата.

На истощенных скулах Эки блеснули две-три пресные жалкие слезы. Это было смешно: матери убитого воина плакать перед пришедшей к ней из огня козой. Коза не двигалась. Коза сама вдруг заплакала. Желтые глаза ее с перламутровыми кругами наполнились кровью. Кровью дышал младенческий

взгляд. Камень, ей протянутый, она есть не стала. Обнюхала и отвернулась с легкой досадой. Эка жила впроголодь и уже не знала, как избавиться от незваной козы, воскресшей из пепла войны.

— Принеси меня в жертву! — тоненьким голоском закричала коза.

Повозки медленно двигались к берегу. Крестьяне возбужденно орали. Громкий, сотрясающий смех, от которого напуганно гудела гора. На дне одной из громыхающих колесами повозок сидела крестьянская девочка. Она обнимала худыми руками большой кухонный котел. Чрево жизни. Пели и смеялись люди. Каждый кахетинец обнажал свою душу перед Алазанью. Толпа сама превращалась в речной необузданный поток. Валента кричала что-то своему неповоротливому, нескладному увальню мужу Хатабале. Валента колотила мужлана палкой по спине. Впереди толпы двигался пеший плотник Тархнишвили. Старый баран. Вожак. Мозолистая рука опирается о посох.

Кеония возбуждена. Ей чудится, что река Алазань — это женщина, охочая до любовных утех. Кеония проклинает жену плотника Маро. Она завидует ей.

— Снюхалась сначала с буйволом, родила от него чудовище, а потом обманула дурня плотника, эдакая скромница... Погоди, корова ненасытная, мы еще схватимся с тобой за зеленоглазого бога...

Пахарь Ваню бросил свой плуг, поспешая к берегу. Лицо его изможденное сделалось счастливым.

Силач Велиджана тащил на плече здоровенный котел. Почти возле берега с глыбами и валунами недавно раскололась земля.

Бури. Ветер. Ливневые дожди. Тающие в горах снега, которыми набухла река, становясь буро-коричневой, холодеющей до стыни зубов и ломоты в костях сбившегося с пути пастуха.

Когда же оденутся белой, дышащей кипенью яблони и розовым свечением вишни!.. Пчелы заведут свои дурманящие хороводы. Нальется стыдом терпко-кислый кизил. За шумит могучая высокая стена тополей.

Всплакнет от радости старуха дальнего селения, мать земли и хлеба, труженица. Пресные, задохнувшиеся слезы потекут по костлявым скулам. Похолодеет голодный рот.

Плотник Тархнишвили опустил в прибрежную глину на колени. Он снял с седой головы черную тушинскую шапочку. Лицо седого старика в буграх и шишках дышало страхом и радостью. Тархнишвили стоял на коленях в мокрой грязи. Глаза запавшие блестели влагой жизни. Рука, сжавшая шапку, дрожала.

— Здравствуй, Алазанская долина! — слепо шурясь, выговорил он дрогнувшим ртом. — Гаумарджос!

— Здравствуй, река! — загудел берег могучим ревом народа. Толпа повалилась на землю, плетями и палками потащила к земле и орущую скотину. Алазань встревожена. Река изголодалась в пути и ждала жертву.

Великая река — хозяйка жизни и пленница крестьян. Вода плескалась светом. Алазань на мгновение замерла и вдруг снова ринулась вперед с могучим вздохом, расталкивая валуны. Кахетинцы смотрели на потемневшую рассерженную воду.

— Стой! — выкрикнули несколько голосов. Лицедей актер Мурман залез на жертвенный камень. Мычала корова.

Мурман величественно стоял на большом камне. Он закрыл лицо раскрашенной деревянной маской. В руке сжал посох. Голое тело юноши обмазано горячим бычьим навозом. Глаза смотрят мрачно. Мурман стоял ни жив ни мертв перед рекой. Опустилась у камня Маквала-плакальщица, дочь Кеонии и ветра. Позади нее крестьянка держала на голове корзину с хлебом. Мурман оглядел притихшую толпу и поднял лицо в тяжелой маске к солнцу, летящему в разорванном тумане.

— Алазань! — прошептал он.

— Алазань! — загремело с берега.

Сейчас Мурман играл роль речного божества. Раз в год божество реки Алазань высывало из пены черную от гнева и голода голову.

— Я божество реки! — нараспев оглашал берег глуховатый голос Мурмана в маске. — Я устал! Я голодаю! Не могу больше кормиться дохлой рыбой. Дайте мне хлеба, кахетинцы!..

— Хлеба! Хлеба! — завопили крестьяне. Мычала перепуганная скотина.

— Пожалей нас, Алазань! Не губи виноградник!

— Спаси лозу жизни! — стонала Маквала с распущенными волосами. Люди вымазали глиной лица.

— Мы твои крепостные рыбы! Мы корм твой! — кричали они. — Алазань!

— Я божество реки и сама река! — надрывался Мурман. На лице шевелилась маска с плачущим застывшим ртом.

— Я рожаю для вас, люди, каменную рыбу!

— Исполинская рыба бьется в судорогах и дает плодородие земле!..

— Алазань, не убивай нас! — дрожал голос Маквалы.

Плакальщица сошла в воду согнув спину. Вся измазанная грязью. Щеки в брызгах и слезах потемнели. Беспokoйно блистали глаза, напоенные ветром и свежестью.

Алазань благодарно лизала ноги юноши Мурмана, надевшего ярко раскрашенную маску речного чудовища. Лицедей шепотом благословил реку... Алазань прислушивалась к его взволнованному шепоту. Тело, спина, ноги и грудь юноши похолодели, кровь была холодной, как у рыбы. Но в горле его росла тревога, глаза расширились, темнели в прорезях маски. Взор под маской оставался горделивым.

— Алазань страдает, и я не могу быть счастлив! — прохрипел он Маквале, заплескавшей водой свое худое лицо.

Маквала замерла по грудь в воде. Маска Мурмана почернела и сделалась враждебной и чужой. Юноша Мурман в плачущей кричащей маске. Сжимал в руке тяжелый пастушеский посох. Бог и пастух реки Алазани.

— Река мучается без дуба! — сдавило виски.

Кружится Арзуман с индюком, сидящим на голове. Арзуман стоял ближе к Арху-речке, Арх — сын Алазани, рожденный руками людей. Прорытый, он лез к своей великой, отшатнувшейся от него в пене лохматой матери. Волна выла сердитым волком. Арх бурлил и темнел от горечи и одиночества, родная гневливая мать с семью растрепанными космами презирала его. Не до несчастного коротконого сына ей в этот беспokoйный мятежный разлив.

— Отстань! — взвизгнула она с раздражением.

Любовь к дубу душила несчастную, несущую струи ледяной горной крови Алазань. Половодье с тонушим снегом сделало ее опасной и надменной. Кто-то из крестьян даже бросил в Арх камень. Мол, не лезь, а то взбесится мать и зальет наши поля и виноградники, синеющие льдом.

Арзуман стоял молча, сквозь полуприкрытые желтеющие веки поглядывал на тоску Арха-сына, изнуренного без материнской любви. Лицо Арзумана-птицегадателя одутловато и небрито, с хищным блеском встревоженных глаз.

Глаза зорко вцепились в бурлящий поток, взгляд устремился вдаль. Маленький высохший птичий рот хитреца раздавлен ожиданием власти. На голове возясь сидел черный большой индюк с красным дрожащим зобом.

Индюк вдруг раскричался о том, что к маленькой когтистой лапе Арзумана в дырявом сапоге прибилась речной бледный, дышащий сыростью цветок. Арзуман стоял ссутулившись, вытянув лысоватую голову с дикими птичьими хищными глазами. Неистребимо глядел на реку. С тревогой прислушивался к взмахам огромных крыльев птицы Пашкунджи. Хозяйки Верхнего неба. Родной матери.

По-молодому шумел Арх. Жизнь бурлила в мужающей груди. Пахло вокруг вспененной, новорожденной, напившейся снега и льда рекой. Множеством синеющих и зеленеющих луговых трав.

Голос реки зеленел, дымился, плакал.

На дальних холмах осветились солнцем ольховые и буковые леса, тянуло их смешанным грудным дыханием, корой, смолой. Медовая и пахучая, кружа-

шая голову дымом текла сквозь стволы и раскоряченные ветви смола. Быстро перелетали с кочки на кочку встревоженные птицы. Воздух над темным оврагом расступался, тдел сыростью, умирал и вновь густо шел столбом к насупившимся верхушкам.

Ямы со стоячей водой высыхали. Ивняк склонялся все шумнее и ниже над изломанным берегом. Дикие звери давно охрипли, вылезали из обваливающихся берлог и нор.

— Эй! Мурман! Слава Алазань! Чего заглох?!.. — крикнул плотник Тархнишвили, подымаясь охая с колен, весь измятый и грязный, в сырой глине, с бурными желтеющими пятнами на изможденном лице. Седые брови в лохмотьях глины. И гимнастерка солдатская, выцветшая, в коросте грязи. Старик не снимал с себя несчастную изодранную солдатскую гимнастерку в память о сыне.

— Я божество реки, я люблю реку и камни! Я божество рыб! Я молодая рыба, задушившая старую рыбу!.. — Мурман лег на жертвенном камне, изображая плывущую рыбу, сражаясь руками с проносящимся в хлопьях пены потоком студеным. Ветер теребил и лохматил пряди намочших волос, вылезавших из-за неудобной маски.

— Река Алазань плачет без дуба! Слышу! — сжались его губы.

В дальнем гомборском темном лесу содрогнулся исполин дуб. Задрожал толстыми сучьями. Застонал шепотом страшным. Подавил взбухший в горле ком горечи. Птица Пашкунджи неотступно кружила над верхушкой долгожителя, над своим гнездом. Черное, сожженное молнией дыхание вырвалось из горла дуба. Горячее и страшное, как из огненных недр земли. Дуб взметнул крылами.

— Остановись, река! — загудел он.

Над ним низко неслась туча, поблескивая грудью обнаженной.

— Алазань мчится к седому патриарху?!..

Слепая надежда на миг подавила дуб. Стыли от утренней непросохшей измороси лишайники и мхи. На мшистых камнях синела роса. Расслышав свежий голос реки, зажурчал родник в дупле дуба. Крепко зажмурил потемневшие от скорби глаза старикан-дуб седой. Старикан слышал, как журчал в его дупле родник, а в нем живая плещется форель, сверкает мокрым серебром, бьется хвостом. Великан, подняв к небу тяжелые немощные ручищи, из глухого своего вечного плена, потрясенный, вслушивался в радость реки.

Чужие враждебные леса окружали его. Лес грабовый и лес буковый сторожили пленника с бычьей шеей. Гомборский дуб терпел. Никто в Кахетии не выдержит бегства дуба.

Даже если дуб в страшной битве одолеет все леса и один, измученный и с окровавленными сучьями, уйдет в сторону синеющей долины. Сдвинет утесы, раздавит лобастые холмы.

— Я один! — стонал он холодной кровью.

Никто не слышит его на склонах горного заросшего перевала. Не хотелось дубу бороться и враждовать с детьми — давно выросшими жестокими лесами.

— Ведь и они умрут скоро! Съедят и сожгут их люди.

— А я?! — медленно билось одинокое сердце великана.

— А я превращусь в каменную глыбу! — насупился он снежными густыми бровями, нависшими мхом. — Я провалюсь в землю. Земля скроет, поглотит мое крепкое неповоротливое тело, а червь слепой сожрет мою бычью душу.

Он снова подавил стон. Такие, как дуб, стонут — как дети.

Алазань, напоенная талой водой, позвала дуб. Родник в дупле мрачного крылатого патриарха зазвенел. Алазанская долина, начавшая светлеть, расслышала этот звон. Алазань стонала, пенясь. Человекобык Иштар подхватил стон любимой реки. Крестьяне хотели прогнать косматое чудовище, но боялись диких быков леса, быки могли рассвирепеть за обиду собрата.

Вот Мурман снова взмахнул пастушеским посохом и ударил по жертвенному камню, высекая каплю воды.

— Выдавить из камня воду, положить начало жизни в Кахетии! — В трещине выступила, разгораясь, капля влаги. Капля дрожала, светясь и поблескивая. Народ закричал, зашумел. Плакальщица Маквала, дочь ветра, заговорила низким грудным голосом:

Алазань!

Река, дающая жизнь!

Вот мы снова иссекли тебя из камня! Из скалы!

Мы опять родили тебя весной!..

Прости нам нашу жажду! Это не мы ждем, это виноградник!

Это голос виноградины жизни? Слышишь?

Люди молчали насупившись.

Маквала не двигаясь, оцепенев, схватившись за корягу глядела на пронесшуюся очень холодную Алазань. Лицо девушки осунулось, она побледнела, глаза наполнились холодным светом. Истерзанный плачем рот тяжело задышал. Маквала, дочь Кеонии, рожденная от ветра.

Наверное, отец девушки-плакальщицы налетел на нее внезапными порывами, обхватывал мрачными крыльями. Прятался в низко летящем облаке где-то поблизости. Лохматил волосы несчастной дочери, срывая с головы черный траурный платок. Кеония увидела, что дочь сейчас унесет взбесившаяся вода с желтой вихрящейся пеной, что с шипением жадно вылизывала влажный песок.

— Иди вон! — закричала Кеония ветру, одному из своих самых неугомонных и неуловимых любовников. — Оставь дочь!.. — И она побежала, скользя босыми пятками по мокрым буграм, почти догоняя ветер, грозила ему и проклинала.

— Алазань! — снова забормотала Маквала. — Прости, что мы родили тебя ударом посоха о камень жертвы. Мы боялись, что ты не придешь к нам!..

Мурман обернулся к народу, поправил на лице маску:

— Люди! Мы иссекли из камня воду! Это река жизни нашей, все в тоске плачут по ней и зовут! Мы любим реку. Мы — люди, быки и пшеница!..

Велиджана-богатырь, крикнув и напрягшись жилами, приподнял плечом край здоровенной повозки, на которой возили мертвецов в пещеру, и могучими руками стал вертеть надсадно заскрипевшее колесо, облепленное сохнувшей глиной.

Колесо с отчаянным скрежетом медленно вращалось.

Это был сдвинутый велисидихским силачом круг сельской жизни.

Вечный мельничный скрип вращения вдохновил, бодря, реку.

Огромное колесо в грубых руках деревенского увальня как бы медленно и упрямо говорило:

— Не тоскуй, Алазань зеленопенная! Не убивайся! И ты однажды, как мы с нашими предками, соединишься со своей подземной тенью, другой Алазанью-рекой, текущей во мраке в сторону своего рождения! Хвост и голова змеи соединятся!.. Ты, река, станешь кругом жизни и смерти... Рыба-река!

Каждый из кахетинцев схватит своего мертвеца предка за ноги и колесом покатится по долине с громким поминальным плачем! МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО! МРАВАЛЖАМИЕР!..

— И тогда остановится время и начнется другое время! — подхватил Мурман.

Велиджана с радостью слышал новорожденный голос колеса.

— Алазань! — доносилось сквозь грохот потока и рев скотины. — Сейчас мы отдаем иссеченную из камня воду вниз, во мрак, поминальной стене Худа! Стена Мертвых ждет живую реку! Мертвая река томится без своей родной сестры!

— Ари! Арало! Аралооооо!.. — запел плотник Тархнишвили.

Вот сорвался и побежал Вестник Сандро к пещере, обгоняя черного петуха, вестника смерти, а его в свою очередь побеждал красный, горящий перьями, петух новой, зарождающейся, жизни. Весны!..

Хуц вылез к краю оврага, к разлому.

Задумавшись, глухой ждал, прислушивался к далеким песням реки Алань, изнуренной ожиданием встречи со мраком, где томилась ночная ее подземная сестра слепая.

Огромная стена уходила во мрак, огарок теплился у края.

Уходящая стена мертвых предков жила под долиной, глубоко под взметнувшимися пылающими ледниками Кавкасиони.

Гудела, разламываясь, грудь, и крошилась стена.

Крошилось высохшее от лет лицо Хуца.

Пела поминальные песни стена.

Она сама рождала из себя людей, предков.

Хуцу надо только идти за ними со скреблом и долотом, помогать песням вырваться из камня. Набухла на стене кровью умирающего петуха виноградина.

— Авоэ! Эвоэ! — возбужденно метался Хуц. Хуц оглох от собственного мычания, обрадовавшись и испугавшись всходу жизни, ростку в подземном гулком гробу.

Хуц сощурившись смотрел на каменную гроздь. Он давил и мял ее усталыми руками. Голоса каменных людей звали Кахетию под своды пещеры. Голоса исchezали, таяли в потемках, где сочилась сырая вода.

Хор каменных предков.

Наверное, для каждого усопшего кахетинца, которого спускали сюда во мрак в пеленах, этот разрастающийся под сводами хор был рождением другого времени, времени предков. Предки разбужены скрипом колеса. Громадная повозка стонет. Увалень Велиджана толкает ее.

Песня мертвых и скрип колеса жизни вращались в разных направлениях. Может, когда-нибудь встретится наконец Время, рожденное ими.

Оживающие, дышащие кровью каменные гроздья сочлились пением зеленой жизни!.. Недаром страшатся кахетинские виноградари, что однажды хор живых и мертвых, голоса и судьбы живых и мертвых виноградарей смешаются!..

Смешаются леса живые и сгоревшие. Белая овца со страхом взглянет в сожженный взор черной овцы.

И вон там, у разлома пещеры, бил клювом черный петух, спасаясь от когтей разъяренного, но погибающего, пылающего красными перьями, петуха-собрата. Черный, горящий кровью и солнцем, виноград поцелуется с каменной гроздью. Солнце будет лизать окаменевшее сердце Дионисэ-бродяги.

Хуц глядел во мрак.

— Возвышают реки, возвышают реки голос свой. Возвышают реки волны свои! — нараспев стонала Маквала-плакальщица.

Мурман-лицедей иссек посохом пастуха из жертвенного большого камня ручей, а Хуц, наскальный художник, подхватил этот ручей и перенес его на поминальную стену.

Это была капля крови, что зажглась в холодных слепых глазах предков, идущих во мрак на стене. Предков в вечном траурном походе с погасшим факелом. Кровавая слеза вспыхнула в глазу избитого палкой буйвола-исполнина Або. Глаз буйвола сжался от безбрежного одиночества. Река была рождена рекой. Вот дикими зарослями разрастется зло в Кахетии, тогда реки наши высох

нут и наполнятся ползучими и перепончатыми гадами. Алазань выходила из берегов, неся утопленников.

На стене Хуца тысячи трещин. Это ручьи жизни.
На стене Хуца первозданный Хаос. Потоп. Буря бурь.

Хуц шатается, бредет под стеной с огарком.

Вот откроются из скалы реки бездны и ринутся за ним, затопят и раздавят.

Время — ЭТО ИССЕЧЕННАЯ ПОСОХОМ ПАСТУХА ВОДА.

Бушует вода с ревом, разрывается на тысячи бурлящих потоков.

Хаос терзал сердце Дионисэ. Дионисэ горит в подземном терновнике не-
сгорающим огнем очищения.

ХАОС, РОЖДАЮЩИЙ РЕКУ ВРЕМЕНИ.

ХАОС, РАЗРЫВАЮЩИЙ ДРЕВНИЙ КРУГ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.

Хаос пожирает зеленоглазого юношу-бога.

Смерть урожаю. Смерть лозе. Смерть пахоте.

Дионисэ — бог разрыва. Он хочет пить воду Хаоса.

ХАОС НА КАМЕННОЙ СТЕНЕ ПЕЩЕРЫ. ХАОС — СМЕРТЬ ОБЩИН-
НОГО СОЗНАНИЯ.

ХАОС — ГИБЕЛЬ ОСЕНЬЮ АЛАЗАНСКОЙ ДОЛИНЫ.

Лоза, нисходящая во мрак. Лоза жизни стала лозой смерти.

Дионисэ лежал в терновнике обугленном, его рвало желчью и чернеющей кровью. Рот его плакал.

Смерть Дионисэ, постаревшего юноши, — кровавый урожай виноградников.

Урожай осени, реки времени.

Кровавая речная пена горит на стене во мраке подземелья.

Застонал над обрывом неповоротливый бессильный буйвол.

Буйвол опускает все ниже к всхлирывающей, страшной от горя реке свою
громадную голову с острыми длинными рогами.

Рассечь несущуюся на него реку Алазань мечтал буйвол Або.

— Жену мою отнял первочеловек Кахетии!

— Я хочу соединиться с рекой времени! — хрипел буйвол. Животное каза-
лось вытесанным из глыбы камня одним ударом. — Маро! Маро! — звал буйвол
жену. — Давай бросимся в реку и в реке задушенные будем, умирая, любить
друг друга!..

— Я женщина! Я корова! — устало отвечала Маро. Темные глаза ее мер-
цали скорбью. — Я была женщиной, а сделалась черепом коровы на холме!

Череп сдохшей коровы вымазан глиной времени!..

Буйвол Або спал ночью стоя, с открытыми глазами, с крупинкой горечи во
зоре. Маро каждую ночь слышала его томление, его задавленное дыхание.

— Пусть народ зарежет страшного буйвола! — молилась она камню. — Я
устала от воспоминаний близости с ним! Устала от тяжести его копыт и вечно
осушающего взгляда!

Маро была коровой. Она тоже, как и вся скотина, ждала смерти. Но мясо
ее задубелое сделалось соленым, крепким. А буйвол ждет. Буйвол верит, что
Маро, мать земли кахетинской, корова и женщина, вернется к нему на солому.
Вода стонала. Вода источкалась по солнечному свету. К тяжелому копыту
буйвола прилип слепой червь.

Двигался буйвол в пространстве, преодолевая время и слепоту червя, рож-
денного землей. Червя, родившего каплю влаги. Из капли влаги снова родилась
земля. Вот дали крестьяне буйволу кусок ржаного засохшего хлеба. Холодом и
мерзлой травой дышал ломоть ржаного хлеба. Ледяным и зеленым ветром. Со-
пел буйвол, отогревал ржаную лепешку. Горой возвышался буйвол. Холмом.

— Голодная река! — кричал Мурман, снова поднимая посох над шумящей
Алазанью. — Ненасытное чрево!

Одна крестьянка остановилась над рекой, лижущей песчаный берег. На плече крестьянки корзина из ивовых прутьев.

Крестьянка стала разбрасывать по воде мутной засохшие куски.

Вода пенилась, гудела, взвихрилась.

Все молчали. Крестьяне на берегу замерли. А крестьянка кормила Алазань хлебом и негромко, по-матерински, говорила ей:

Божество реки Алазань!

Реки жизни!..

Смотри, я пришла к тебе с берега, от которого взята глина. Из глины родился кахетинец!..

Ешь хлеб, река!

— Хуц во мраке пещеры высек реку Алазань на стене! — вспоминал червь. — Хуц не знал, что река, страшась Хаоса, бросалась к своему хвосту, кусала себя в хвост. Река превращалась в змею. В крылатую змею, летящую тенью назад, к истокам времени, через бездну Хаоса!..

Буйвол осторожно нюхал стремительный поток. Страшился великан речного потока. Буйвол вздрогнул и с силой разжал постаревшие усталые глаза.

Буйвол догадался: Алазань пахнет кровью. Это кровь человека.

Кровь виноградаря и пастуха.

Вода бурная ждала крови народа, жертвы.

Народ приносил себя на заклятие.

— Эй, велисцихцы и мукузанцы! Ахашенцы и мирзаанцы! Пейте реку времени, кровь осени!..

Крестьяне на берегу притихли. Вода разговаривала со светом. Эка тосковала над Алазанью. Хотела превратиться в камень.

Петрэ-дезертир держал ее за плечи.

— Глядите, утка! — вскричала Цицинатела.

Несмотря на быстрое течение, на самой середине Алазани плескалась сносимая на камни белая молодая утка. Ни порывы то слабеего, то крепчающего ветра, ни вой воды, ни взволнованный шум буковой рощи не беспокоили утку.

Она радовалась жизни.

Своей молодости, пробуждению. И не уставая ныряла множество раз в холодную глубину. И вновь всплывала кружась.

Клюв блестел чернеющей мокрой глиной. Вечное повторяющееся ныряние, добывание со дна глины, из которой однажды вылепили людей и животных, было неистребимым. Это была жизнь. Утка радовалась вместе с крестьянами божеству реки. Один из мироедов попытался пристрелить из ружья водоплавающую птицу, но был изгнан, чуть ли не забит градом камней.

На пригорке дымилось положенное мальчишками соломенное чучело.

Горела всем надоевшая зима!..

— Я стораю! — петушиным голосом загоготал Агуна. Жалкий, смешной и оборванный, он покатился кубарем с пригорка.

— Велисцихцы меня подожгли!

Квириа завидовал своему хозяину, богу Дионисэ. Мечтал когда-нибудь перехватить у него власть.

Вот бы отобрать двойной топор на длинной рукоятке! Символ могущества. Жизни и смерти. Но Квириа боялся пока завладеть этим оружием. Ведь если он перережет спящему Дионисэ серпом горло, ему одному не справиться с властью, не удержать на плече двойной топор, сверкающий солнцем.

Панто козлоногий и козлородый с визгом бегал, подпрыгивая на копытах, от свирепых пастушеских псов-мцеварни.

Эх, где спрятаться бездомному оборотню-повесе с рожками?!.. Ведь крестьяне, как бешеные псы, растерзают даже похмельную гроздь. Разорвут в клочья кровавое мясо своего кахетинского солнца. Пещера темнеет. Алазань

замирая слушает неясный гул. Хор пьяных каменных мертвецов со стены. Арх, коротконогий сын и приток, хочет соединиться с Алазанью-матерью, чтоб затеряться в ее стремнине, смешаться с бурной водой.

Алазань отпихивала своего нелюбимого сына.

— Да принесут горы мир людям и холмам правду! — выдохнул широкой грудью, надышавшись свежего студеного ветра, плотник в выгоревшей солдатской гимнастерке, низко опустив седую одинокую голову. Запал взор.

— Люди! Не бросайте осенью кровавую виноградину в реку! — едва слышно бормотал его рот.

Женщина-прачка, которая первой снесла корзину с хлебом седеющей от таящего снега Алазани, захлебывалась в мутной, снова похолодевшей воде.

Плакальщица Маквала ныла. Мурман прижал к сердцу острый нож, протянул его плотнику.

Черный петух кубарем летел и падал вниз, в потемки пещеры Хуца. А глина на берегу Алазани уже взбухла кровью. Это кровь будущей жертвы. Тонула в реке крестьянка-прачка, накормившая Алазань. Плотник угрюмо взглянул на протянутый нож, потом взял. Старейшина сам должен принести жертву. Таково древнее ремесло первочеловека Кахетии.

С холма на старика глядит, сверкая солнцем, череп коровы в засохшей глине. Чернели пустые глазницы. Череп любимой женщины рассыпался. Плотник вздохнул. Утка продолжала кругами нырять на дно. Плотник Тархнишвили занес над белой овцой тяжелый нож. Овца сжалась.

Солнце грустно смотрело на овцу, свою дочь.

— Я солнцеубийца! — дрогнули губы плотника.

Солнце холодно улыбалось. Плотник Тархнишвили вспомнил бараньи черепки на кольях забора. Вспомнил жену с коровьими глазами.

— Убивай! — захрипел Дионисэ, омрачаясь взором.

Плотник взмахнул ножом.

Шкура овцы окрасилась брызнувшей кровью. Овца пала. Глупые глаза умирающей овцы слабели. Кровь невинной жертвы ручейком текла с обрыва в реку. Ужаснулась Алазань, рванулась в сторону. Черный петух смерти взлетел из бездны на холм, уселся на череп коровы.

Маро едва слышно плакала. Низко опустил голову буйвол. Иштар отползал в кусты, не мог пить оскверненную убийством воду. Арзуман смазал горячей овечьей кровью перья индюка, сидящего на его лысой голове.

Арзуман кружился на одном месте с индюком. Плотник разделявал на влажном берегу тушу павшей под его ножом овцы.

Овца лежала на мокром от крови жертвенном камне. Смотрела закинутой мертвой головой в пустое небо. Ячменем и солью посыпал плотник разрубленное мясо.

Освежил, отсек ножом бедра. Распластанную шкуру повесил на чинаре. Ветер раскачивал шкуру, старухи пели ей песни. Потом плотник Тархнишвили окропил вином свежее мясо и бросил его в костер. Крестьяне затянули свои протяжные многоголосые гимны виноградарей. Песня звенела, летя птицей над Алазанской долиной. Голоса крестьян звенели столетьями.

Песни их медленно, как плугом, вскрывали толщу древней родовой жизни, разворачивали могилы предков, звали мертвых снова стать живыми.

Нож плотника, убив овцу, взрезал грудь матери-земли. Маро сидела над обрывом, опустив потемневшие разбухшие руки.

Плотник Тархнишвили испачканными в крови пальцами погладил ей голову, волосы. Похолодевший рот Маро захрипел. Она схватила шершавую руку мужа, прижала ко рту. Рука плотника пахла солью и кровью. Черный петух с опаленными крыльями кружил возле Маро. Дымил костер. С шипеньем проливался в огонь овечий жир. Крестьяне вырывали друг у друга обуглившееся мясо, жадно разрывали его крепкими зубами. Человекобык Иштар задыхался от жажды. Эка стояла на коленях и лакала из лужицы сырую кровь. Дочери

Кеонии вместе с нею, распущенной и необузданной матерью, носились в диком хороводе вокруг бушующего пламени костра. Лица их сделались дикими.

Охватив голову, упал в грязь раб Картлос.

— Не добыть мне свободы у этих зверей!

И вдруг застонала сама река. Это был чудовищный рев. Алазань оцарапала влажное лицо о жертвенный камень. Она кричала пронзительным страшным голосом. Она неистовствовала без дуба. Плакала, как брошенная женщина.

— Эй, великан гомборский! — кричала.

Льдистый ветер лохматил ее длинные мокрые волосы.

— Ты помнишь меня, любимый? — тяжело плакала Алазань.

Молчал дуб, камня в дальнем лесу. В страхе кружила над ним озверелая птица Пашкунджи.

— Алазань! — задыхался дуб с седыми, упавшими к земле крыльями.

Маро лежала в грязи на берегу, у самой воды. Она расцарапала лицо. Это были как бы родовые схватки, она вспоминала, как она рожала человекобыка, чудовище. Женщина помогала реке Алазани рожать исполинскую каменную рыбу. Народ отшатнулся от берега. Может, началось страшное наводнение.

Потоп.

Алазань рвалась из берегов. Маро каталась по земле. Кровавой пеной блеснул разодранный криком рот. И вот забурлила, загудела вода. Алазань в широким половодье изрыгнула свою слепую каменную дочь, рыбину. Кричали и обнимались крестьяне, плакали от радости, мычала перепуганная скотина. Крестьяне бросались в изуродованную черным налетевшим ураганом реку, плыли захлебываясь к рыбе-матери.

Исполинская каменная рыба тяжело дышала широкими бычьими ноздрями, вздрагивала могучими плавниками.

Еще миг — и она до новой весны уйдет на дно, уйдет в землю. А когда она проснется, землетрясение даст плодородие кахетинскому полю. Кахетинцы еще в древности поклонялись каменным рыбам.

Пятился буйвол Або. Даже бродячие боги, раздевшись, бросались с берега в реку и плыли вместе с крестьянами. Их относило, кружило, они захлебывались, кричали, голосили, смеялись.

Солнце дымилось. Налетали с четырех сторон ветра на леса и рощи.

Берег в застывающей бараньей крови раздавлен копытами быков, колесами повозок.

Темнеет заводь, тянуло зеленой тиной. Громче заговорили на ночь ручьи с талой кромкой желтеющего искрящегося льда. Плакальщица Маквала на опустевшем берегу. Маквала звала утонувшую слепую рыбу. Но исполинская новорожденная рыба уже дышала глубоко в земле, даря ей плодородие.

— Все мы дети этой рыбы! — бормотала Маквала.

Актёр Мурман сидел на мокром жертвенном камне с разломанной маской в руках.

— Идем, Маквала, домой!

Оник играл на дудке. Из плещущей волны выглядывала, серебрясь, стая мелкой рыбешки, прислушивалась к жалобе деревянной дудки. Дионисэ, спрятавшись в терновом кусте, хотел снова превратиться в паука — ткача пространства.

На стене пещеры Хуца чернела иссеченная трещинами — ручьями сырости — огромная рыба с воловьими глазами.

Хуц на корточках спал под ней в разорванной одежде.

Полуголый, одинокий, во мраке.

Чадающий огарок стелил низкий удушливый дым.

На самом дне реки поблескивал пьяной кровью несчастный глаз Алазани.

Пчела утонула, превращаясь в восковую слезу. Она погружалась все ниже, мечтая соединиться с глазом речного божества.

Хлеб задохнувшейся в воде прачки темнел, намокший.

Раздавался замирающий плач Маквалы.

Каменная рыба ворочалась в земле.

Ночь. Луна. Бодрствует один пахарь Ваню. Своим плугом при помощи буйвола он пытается вспахать реку.

Выгнал скотину на самую середину засыпающей Алазани, и оба, борясь с течением и волной, не страшась, идут с плугом по черной воде.

МАКВАЛА-ПЛАКАЛЬЩИЦА. ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЕРНА

Если б эта крепкая, крепко сложенная дочь Кеонии с крупным носом, выдающимися вперед подбородком, могучими надбровьями, жадным, сильным ртом и спокойными холодными глазами с прячущейся в глубине острых зрачков тревогой прекратила оплакивать чужое горе (а это ее родовое ремесло, занимали за мешок кукурузы), она бы погибла.

Тихий стон, всхлипы, стенания, громкий душераздирающий плач, заунывное бормотание — ее хлеб.

Она одинока.

Чтоб не погибнуть с тоски, она рыдала измученным от безутешных криков ртом.

Маквала развязывала над покойником, склонившись над гробом, свои длинные черные жгучие волосы, срывала жгут с головы.

Она рвала клочья волос. Вся преображалась.

И тогда крестьяне, утраченные, угадывали в ней мать ее Кеонию, грозную и коварную, родившую Маквалу-плакальщицу от ветра.

Ветер — дыхание ноздрей Дионисэ.

Маквала стояла на коленях у павшего животного, если ее занимал хозяин, или возле гроба крестьянина, расцарапав лицо, она стонала, и из горла сгустком проливалась кровь. Сами крестьяне просили Маквалу не очень терзать себя, немножко успокоиться, им страшно было выносить страдания плакальщицы.

Крестьяне не догадывались, когда она просто кричала, зарабатывая своим надежным ремеслом, ведь смерть всегда рядом, а когда она начинала выть как обезумевшее животное, оплакивая свою судьбу. И судьбу своей матери Кеонии и хищных несчастных сестер. Человекобык Иштар, отец его, угрюмый буйвол, даже хищная птица Пашкунджи, слыша в отдалении рыдания Маквалы, чувствовали, что она плачет над их разбитыми жизнями.

Маквала сама никогда не умрет, пока не оплachtet каждого виноградаря, лозой почерневшей в мрак пещеры нисходящего. Каждую жертвенную овцу, придорожный камень. Раздавленную колесом арбы красную, истекающую осенней кровью виноградину.

Дух тлеющей грозди, смешиваясь с речной сыростью, першил в горле, выдавливая из глаз Маквалы холодные и равнодушные, чужие слезы. Она равнодушно плакала горлом, не тратя много душевных сил, а сама думала о своем отце, ветре.

Ветер рождался могучим дыханием ноздрей погибающего Дионисэ. Ни разу не удалось еще Маквале поговорить с ним по душам.

Ветер носился над рекой, долиной и лесом. Маквала мечтала рассказать отцу ветру о своем одиночестве. Провоет над стареющей девушкой ветер и пронесется в горы.

Ветер думал, что тоска дочери отразится сильнее в ее плачах, если она всегда будет одна. От ее страданий остановится на дороге усталый вол с пыльными измученными глазами.

Кеония забеременела от ветра. Надеялась, что если она сойдется в любовной близости с дыханием ноздрей бога, потом захватит в объятия и самого бога.

Ветер иногда выл в ответ причитающей дочери, и от этого воя пригибалась к земле роща ореховых деревьев с железными стволами.

Не даром ела свой хлеб Маквала.

Народ уважал крестьянскую плакальщицу, без нее и панихида по мертвецу была пресна и кусок хлеба поминальный казался горьким, как сгнивший лук. Никто не пил без нее из поминальной глиняной чаши вина черного, про-

щаяся с ушедшей в пещеру тенью родственников, а последняя чаша с поблескивающим кислым солнцем вином оставалась всегда недопитой, уходила в землю. Чтоб и покойник сам себя помянул. Чашу с остатком вина на дне проливал крестьянин в землю в тот миг, когда Маквала начинала глухим холодным голосом сначала чуть слышно, потом громче рассказывать близким об ушедшем, и тогда земля, пробуждаясь от каменного сна, жадно пила вино, кислое вино насыщало раздувшееся горло земли.

Ведь все знали, что бессмертный дух грозди мог поднять на ноги даже покойника.

Наше вино велисцихское воскресит мертвеца! Он опьянеет и будет плясать, песню петь.

Без плача Маквалы казался мертвым сам обряд, слезы матерей и вдов высыхали, лица едоков хмурились, рты переставали жевать мясо поминок. Все ждали Маквалу.

Она начинала рвать на голове волосы.

И разливался над обеденной тоскливой скатертью смерти едкий и резкий, режущий горло, запах чеснока из разорвавшейся связки, брошенной в горшок с варевом, соусом. Казалось, почует в своем рту покойник горечь чеснока высушенного, захочет чеснока и вырвется из лап смерти.

Запах жареной баранины стелился над столом, впитываясь в темные, бурые и иссеченные морщинами трудовых дней крестьянские, угрюмые лица.

Пили за покойника, за родовых животных, за предков, за бога-гроздь, за жертву Дионисэ!.. За Маквалу поднимали тост, без которой не оплаканный ею кахетинец лишь собака, зарытая в землю.

Свой черствый хлеб, намазанный саднящим горло чесноком и горчицей обжигающей, Маквала зарабатывала честно.

Она брала зерно, подаренное ей. Зерно, выросшее остролистым зеленым побегом из словно изрезанной ножами, как крестьянские лица, земли.

Даже мироеды нуждались в Маквале. Память об ушедших без слез обугливалась золой неблагодарности.

Земле ранней весной помогала Маквала. Если поле не поддавалось сохе или плугу Ваню-пахаря, если земля стонала как тяжелая роженица, изнемогающая от трудного рождения, без крутой соли слез, без плача, пробуждающего воспоминания о прошлых смертях поля хлебного, Ваню звал на помощь Маквалу.

Ваню стоял на своих громадных коленях, сгорбив спину горой, прижавшись лбом к плугу, со стоном и рыданием жевал поле, рвал его зубами, задыхался прахом. Ел свое поле истрадавшимся ртом.

И Маквала, сама сгибая спину и касаясь плуга широкой ладонью, начинала звать и пробуждать зерно из глубокого чрева матери.

Маквала умоляла проснуться это утомленное зерно, упавшее на каменистую почву. Маквала звала громко и настойчиво грудным материнским голосом. Мать пробуждала мать.

Эй, земля! Пробуждайся!

Неужели я, стареющая девственница, несчастная дочь Кеонии, должна стать твоей матерью и поить тебя своим девственным молоком?!..

Ты древнее меня, женщины-девственницы. Ты была на свете одна, когда мой отец-ветер носился над тобой с воем!..

И ты выла ему в ответ!

Мать-земля, вскорми нас, мужчин и женщин деревни, нашу скотину и наших птиц! Пробуждайся.

Я несчастнее тебя! Я бесплодна! Я могу родить только крик, плач гортанный и страшный, кровавый! Неужели так ты стара, что только похоронный мой плач успокоит тебя?

Проснись, земля!

Рано еще тебе, сжавшись как малое дитя, ждать моей черной песни!

Ты счастлива, ты знаешь плуг! А я умру с каменеющей без мужчины грудью. Ты отдашься плугу, чтоб родить зерно, отдашься медленным копытам буйвола.

Поле, вздрогнув, шевелилось. Комья сухой земли разбухали. Плуг ел поле.

Даже черное сгнившее зерно от умерших урожаев слышало зов Маквалы и сердилось.

Мертвое зерно не могло дать ростка остролистого, превратилось в тень.

Маквала оплакивала зверей, птиц, ящериц. Быстрых и стремительных ящериц лета. Они застывали на камне, убитые палкой сердитого крестьянина. Мертвые ящерицы не могли вползти в могучее время Кахетии.

— Время страшное! — лепетали остренькими языками ящерицы. — Мы самые древние на земле!.. Мы ждем воду! Ждем воду, что окаменела в миг нашего убийства! Воскреси ящериц!

Мы, ящерицы, острыми языками коснемся росинки воскресшей воды!

Маквала жалела пойманную рыбаком в Алазани рыбу.

Пойманная сетью, бьется рыба, выброшенная на пахнущую мятой и горьким подорожником траву.

Жестокая рука рыбака вытащила рыбу поближе к светилу в небе, воздух горел и струился, а для рыбы эта встреча с открытым сияющим лазоревым воздухом — смерть.

А ведь когда-нибудь и Алазань делается пленницей людей и, пойманная в сеть, будет биться сверкающим телом, хвостом, задыхаясь. Алазань — двоюродная сестра исполинской рыбы.

Поговаривали крестьяне, что в громадном теле слепой рыбыны прячется Время. Рыба пожрала человеечье Время.

Маквала позовет каменную рыбу, поплачет над ней, и вот Время рыбы шевельнется, отдаст его земле. А земля пригреет это много раз рожденное и сожранное рыбой Время. Земля отдаст Время лозе. Издыхала на берегу хищная несчастная рыба, печально темнея большим траурным выпученным глазом с черной каймой.

Потомкам рыбы уже не вылепить свои тела из сырой приречной глины.

Раб Картлос мечтал жениться на Маквале и уехать с ней искать свою родину.

Но он страшился жены и сына в рабстве. Сначала надо заработать в кабале свободу.

Маквала не влюбчива, как ее мать Кеония, которая могла от ударившей в голову крови наброситься на могучее дерево, отдаться камню придорожному или, обхватив крепкими ручищами молодого хрипящего быка, повалить его среди высокого кустарника, стонать от чудовищной близости, тащить к себе, к животу его острые горячие страшные рога.

Раб знал, что у Маквалы никогда не было возлюбленного. Глухая страсть не давила и не разрывала ей грудь. Она отдавала свою любовь плачам, она жалела ушедших.

Крики Маквалы над рассеченными туловищами жертвенных быков, над павшими лошаадьми, над трупами сов и удонов, над мертвецами, в пеленах ожидающих погребальной повозки, везущей их в пещеру, чудилось, заменили ей первородный от грозной матери Кеонии зов. Обладание мужчиной. Зов поединка с мужчиной.

Но весной, когда пробуждался от дремучего сна мертвый лес, медведь, вылинявший, с изодранной шкурой, вылезал из берлоги, сиротливо ревел и тоскливо искал медведицу, Маквала томилась.

Дуб трещал, расправляя над головой помолодевшие в мае крылья. Горели маки сна.

Маквале, рожденной Кеонией, тоже бы радоваться пробуждению природы и яростно, падая на колени, крепкими руками ласкать землю-кормилицу, прижаться к ней горячей от крови щекой, радостно здороваться, отдавать ей открыто свою плодоносящую женскую любовь, своим лоном девственницы-женщины лечь на поле, с криком и томлением ждать, когда родится зерно. Сдерживать свое несчастное медленно бьющееся сердце.

А Маквала душила свое горло рукой, зажимала большой жадный, измученный горестными криками рот.

Если она отдастся могучему чувству любви, прощай, ремесло плакальщицы!

Даст она свободу своей неистовой женской плоти, соединится с землей, с быками и пахарями, забеременеет от них всех, делается тяжелой на ногу, на поступь и родит из огромного живота быка, обнюхивающего поле вспаханное, а потом засеянное, а потом отцветшее, потерявшее колосья.

Обнюхает бык осторожно свою лежащую, слабую после родов мать. Прижмется головой рогатой к голой груди.

Отдайся Маквала зову любви, она поможет полю расцвести; но зато уже некому будет оплакать его, ржавеющее и высыхающее. Никто не оплачет голую и стыдливую рошу. Дубы осиротеют без жалостных всхлипываний. Молодое пенистое вино скиснет без крика Маквалы. В преисподнюю не уйдет Дионисэ с перерезанным садовым ножом горлом.

Тогда ему страшно мучиться до следующей, махрово отцветающей осени.

Маквала принесла себя в жертву Кахетии.

Маквала помогала Кахетии выращивать зерно.

Она рожала плач.

Она была великой плакальщицей реки жизни Алазань.

Страдающей, необузданной, угнетенной реки. Река страдала от того, что однажды Кеония совратила дуб.

Река плакала кровавыми слезами. Ревела погибающим в бездне стадом. Молчали горы, пораженные ее ненасытным горем. Кеония душила в своих объятиях дуб, темнеющий от тысячелетий. Кеония заставила дуб отдаться ей, она душила ствол исполина немого губящей, мстящей любовью.

— Я был один ночью! — хрипел дуб, оправдываясь перед рекой. — Я стоял со спящими глазами. Женщина пришла и обняла меня.

Я погиб. Я изменил тебе, Алазань! Не ревнуй, река!

Ты — хозяйка жизни, а они из деревни, погрязшие в жажде люди.

Оставь лес. Оставь меня. Не трожь седую мою душу! Я одинок!

Женщина согрела меня.

Она любила меня.

Это было сладко.

Я был счастлив.

Не убивай меня, Алазань.

Без меня исчезнут желуди, из которых родятся боги Кахетии!..

— Ты мерзкая! Ты гадкая! — кричала Алазань женщине Кеонии.

— Я родила ему дочь-охотницу, которая охраняет его! — кричала в ответ Кеония.

— Тогда отдай мне в плакальщицы Маквалу, рожденную от одиноко носящегося в небе ветра.

— Она рождена плакальщицей! — согласно кивнула грузной головой Кеония. Темное лицо матери оживилось скрытной радостью, ведь меньше соперниц-дочерей останется. Кеония страшилась, что ждут ее смерти, чтоб завладеть телом Дионисэ, плющом обвитого.

— Пусть плач Маквалы освобождает мою воду от черной, ненасытной тоски по вероломному дубу!..

Однажды Маквала еще девушкой подсмотрела с берега голого юношу, купающегося в волнах Алазани. Радость обожгла зардевшееся сердце девушки. Алазань не на шутку рассердилась. Влюбится Маквала — и прощай плач над вечеряющей рекой! Зависть мучила реку. Река потащила юношу на дно и задушила там. Он захлебнулся. Медленно всплывал и снова тонул с вытянутой кверху судорожно сжатой рукой.

Маквала бежала над берегом с разметавшимися гривой волосами. Она вырвала из длинных волос речной желтый цветок и бросила утонувшему голому юноше, которого уже жадно рвали в клочья хищные слепые рыбы, торопясь наестся.

Маквала кричала над рекой, над равнодушной водой, золотящейся уходящим солнцем. Река Алазань упивалась мезью.

Даже ржавый бездушный мох на прибрежном камне дрогнул, расслышав, как терзает себя несчастная девушка, кричащая от жестокости реки.

— Плачь! Кричи! Рви горло! — сердито выговаривала река, уходя и оставляя девушку одну. В ночи.

И только ветер, отец девушки, пожалел ее однажды.

Ветер кружа опустился над ней, пошевелил излохмаченные и распущенные волосы. Замер.

Потом вдруг неожиданно обнял и повалил дочь на спину. Ветер прижался к напуганному, распухшим от плача губам Маквалы.

Они лежали обнявшись долго.

Наступили сумерки. Шевельнулся ветер. Глаза Маквалы блеснули.

— Я женщина? — искаженно дрогнул рот. Со свистом унесся в небо дерзкий отец.

Порывистый и стремительный ветер, хозяин просторов, рожденный из тяжко дышащих ноздрей бога Диониса, взметнувшись, вдруг ощутил ужас перед развернувшейся от плача Маквалы землей.

Небо было убежище ветра. В небе он мог утонуть, спрятаться, задохнуться.

Чем дальше улетал ветер от земли, тем шире и необъятнее она становилась под его накренившимся крылом. Он боялся страны, во мраке ночи тлеющей синими огоньками расцветающих виноградников. Ветру с помраченным от близости с дочерью рассудком в страхе чудилось, что земля бесконечнее неба, что она может раздавить небосвод.

И вот ветер, пасынок неба, которого боялись люди, если он гнал тучи, стонал от боли и закрывал глаза, желая сгореть, ослепнуть.

Чтоб только не видеть несчастную дочь, валяющуюся безжизненно на темнеющем пустынном берегу реки.

Маквала родила мертвого мальчика. Застыла, сострадав ее горю, река. Вода почти не касалась каменистого низкого берега. Не шуршал мох на прибрежном камне.

Пораженный горем Маквалы, стонал утробой буйвол Або.

Кеония не решалась приближаться к ней, страшилась, что ослепленная внезапной ненавистью дочь набросится, чтоб задушить.

Маквала зарылась в гнилую солому. Лежала молча. Кеония ждала, пока сердце дочери не окаменеет.

Маквала сама разрыла голыми руками яму для своего мертвого сына. Она опустила в нее младенца со спящими глазами и закидала влажной землей. Потом она долго сидела рядом, обхватив колени руками, не ела и не пила год.

Крестьяне со страхом думали, что она превратилась в холм. А через год, однажды на рассвете, буйвол пошел к ней ночью. Буйвол шел к ней целую ночь. Буйвол шел по свежевспаханному полю, на краю которого сидела не двигаясь Маквала. Буйвол застревал копытами в вязкой земле. Он тонул в ней.

Исподлобья, низко опустив голову, холодеющими зрачками буйвол взглядывал на горестную Маквалу. Она родила мертвого ребенка и сама закопала его.

Никто кроме Або не решался подойти к ней. Все присмирели и прятались. Один только буйвол Або нашел в себе силу и сострадание идти через вязкую густую ночь тысячелетия к застывшей над могилой мертвого сына Маквалой.

Теперь она наконец стала настоящей плакальщицей. Такую плакальщицу жадно ждали крестьяне.

Плач Маквалы рождал заново жизнь из поедающей ее беременной смерти. Этот плач кормил хлебom сострадания и кровью слез великую реку кахетинцев. Многоголовую Алазань.

Плач Маквалы омоет кровью истерзанное тело Диониса, чтоб будущей весной он пробудился зеленым острым ростком.

Плач Маквалы успокоит глухую тоску седокрылого недвижимого дуба. Землю вспахал копытами буйвол Або. Буйвол-пахарь. Буйвол-предок. Буйвол-жертва.

Под вой удравшего от дочери ветра, виновника кровосмешения, громадный буйвол один решился подойти к краю поля, к остывшей и почти превратившейся в холм Маквале.

Женщина закопала младенца, рожденного ею от отца, от свистящего, устранившего содеянным ветра.

— Вот жертва тебе, река Алазань! — горестно сопел буйвол. — Теперь Маквала оплачет твою тоску!.. Она успокоит твою горе, Алазань, бросающаяся на берег неистовой безумной волной! Ведь беременные прачки, кормящие сухим хлебом, не могут насытить твою душу!..

Буйвол Або упорно двигался и сокрушал стену глубокой ночи рогами, упираясь тяжелыми копытами.

Земля когда-то родила его, а теперь он, как и все, пленник могилы.

Время расширилось в железном теле буйвола. Хаос душил животное. Он боролся с ним молча. Глаза вылезали из орбит.

— Ты только властелин буйволиного времени! — издевалось над ним поле. — Твое время никогда не захватит деревню! Ты раб! Ашот колотит тебя палкой!

Вода, иссеченная из камня посохом, исторгала стон из груди Маквалы.

Вода рассекала стену в пещере теней Хуца. Тысячи потоков и ручьев разваливали преисподнюю. Преисподняя проваливалась еще глубже. Плакальщица замерла на краю ночи. Сгорбленная. Або нюхал землю и упорно шел к застывшей от немого горя Маквале.

Время, распиравшее тело буйвола, не могло одолеть землю. В каждом бугре рождалась новая живородящая рыба Кахетии. Мать землетрясений. Мать плодородия.

Он шел.

Но когда блеснула первая розовая капля росы, буйвол обнаружил с тоской, задрав рога, что всю ночь стоял на одном месте, что земля сдержала его неудержимый тягостный порыв навстречу немой тоске плакальщицы.

Но земля не поволокла буйвола в свои недра. В яму. В прозорливое чрево. Слепленный горем и росинкой, забрезжившим светом, великан на копытах, чуя смерть в подглазьях Маквалы, ринулся к ней. От рева его сдвинулась одна из подземных стен пещеры Хуца. Буйвол рванулся к краю свежевспаханного поля. Рогами, устремленными вперед, он бодал пытавшийся ему помешать ветер.

Буйвол хрипя разорвал рогами и затоптал копытами клубящийся ветер. Но в клочья разодранный ветер тотчас завихрился, родился в другом месте, еще в одном, пыль носилась над полем.

Або успел к Маквале, не дал ей, застыв, превратиться в камень. Недаром он так нещадно перебирал копытами всю ночь, пытаясь пробиться, прорваться к ней, дотащить свое распираемое хаосом волосатое тело через тысячелетие, прежде чем пожрет его земля.

Буйвол прижался к Маквале, закрыл ее собой. И холод камня отступил от груди плакальщицы из Велисцихе.

Маквала подняла голову и попыталась взглянуть в горящие тоской глаза самого одинокого буйвола Кахетии. Она смотрела на него своими глазами, опустошенная, глазами, съеденными той же землей, что съела ее мертвого младенца.

Глаза буйвола и плакальщицы встретились. Буйвол Або не выдержал сожженного тоской взгляда. Медленно опустил голову, упираясь рогом в бугор. Буйвол рассыпался комьями, прахом.

— Вот как время земли поедает нас! — дрогнуло веко буйвола.

И тогда Маквала закричала. Кровь текла из раскрытого и застывшего холодного рта.

Маквала сидела на земле.

Она дрожащими руками судорожно разгребала ее.

Каждый житель Кахетии застыл пораженный, думая с тяжело бьющимся сердцем, что она оплакивает его судьбу.

Буйвол Або попятился.

— Река Алазань! — кричала охрипнув Маквала. — Как болит душа! Что с ней сделали?!

Толпы беременных прачек несли в плетеных ивовых корзинах на головах куски сухого хлеба, собранные по всем дворам Велисцихе.

Прачки шли кормить изголодавшуюся без любви реку.

Прачки опускались в мокрой грязи на колени, бросали хлеб в воду, просили, чтоб она напоила виноградник. Плакучая ива падала с крутизны над стремниной, касаясь воды дрожащими руками.

Крупные слезы реки поблескивали на листьях. Слепой червь корчился в приречном влажном песке. Червь расслышал скорбь Алазани.

На другом берегу плясали, срамно обнажив себя и не стыдясь реки, беременные старухи.

Старухи пели. Они были возбуждены томлением реки, зовущей на свою грудь мрачный дуб.

Ветер-отец, совративший Маквалу, сорвал с дуба маленький листочек и швырнул его в стремнину. Юный дубовый листик тонул.

Ветер растрепал волосы дочери. Клейкий листочек погибал.

Река лизала его распухшим языком.

— Любимый! — задышалась от нежности река.

Беременные голые старухи с раздувшимися животами, костлявые как смерть, задорно носились босиком по мокрому песку. Весенняя безумная радость, зов дуба сделали старух беременными. Каждая хочет рожать в своей деревне, чтоб не остановился род.

Река счастливая делилась с ними хлебом. Жадными ртами, как голодные слепые рыбы, старухи хватали в шумящей пене намокшие корки, разбросанные прачками. Старухи возбужденно пожирала хлеб, шамкая, жевали беззубыми страшными ртами. И сипло орали беременным прачкам:

— Эй, женщина! Эй, прачка! Накормишь реку хлебом — она даст ребенка!

Бедный крестьянин звал Маквалу оплакать свинью, которую он собрался резать и везти на продажу.

Хрипло и бездомно лаяли голодные собаки, провожая лаем погребальные повозки. В погребальных повозках ехали рожать чертей рогатых срамные старухи. Голые, они пьяно голосили.

— Мы мертвецы! — пели старухи, тряся желтыми огромными животами.

Может, собаки завидовали мертвецам? Каждая собака в Велисцихе надеялась, что когда-нибудь и ее повезут хоронить в пещере. Пока же дохлых собак вышвыривали за забор, кидали в выгребную яму.

Маквала шла по деревне.

— Маквала! — вдруг низким, едва слышным голосом выдавила Маро. — Остановись! — Плакальщица оглянулась. — Стой!

Над рекой гнулась верба. Сумерки поедали вербу.

— Вот! — Маро протянула Маквале мешок кукурузной муки и бутылку чачи.

— Мне? — отшатнулась пораженная Маквала.

— Я стара, — тяжело задыхаясь, дышала Маро. — Я стара, чтоб родить от плотника сына. Но я хочу спасти Кахетию, чтоб она не превратилась в животное! Я боюсь, чтоб рогатый скот не затоптал копытами наш виноградник!.. Маквала! — чуть ли не кричала шепотом Маро. — Помоги мне, оплачь гибель сына моего Иштара-человекобыка и мужа-первобуйвола! Если станешь причитать над ними живыми, ты их подтолкнешь к бездне!.. Их ждет смерть! Убей их плачем! Я знаю, ты можешь кричать над могилой так, что у потерявших близкого, у людей проснется надежда!.. А моих ты оплакай тихо, безнадежно, отчаянно. Пусть твой плач проклянет их!

— Как можешь ты, мать?! — дрогнула спиной Маквала, останавливаясь.
 — Держи кукурузную муку и водку! — просила Маро.
 — Маро! — остолбенела Маквала.

— Я... я... — хрипела Маро, вытаращив свои ужасные коровьи глаза. В ночи она выглядела настоящей коровой. — Я хочу вернуть кахетинцам землю-мать, иначе они погибнут! Я должна на своей спине унести дальше род кахетинцев. А если я упаду, Кеония захватит власть, одичает все. И стада людей, превращаясь в диких животных, начнут убивать друг друга!..

— Хочешь, я опущусь на колени? — коровой взревела Маро. — Я ведь не одна! Со мной земля, я сама земля, на моей груди взойдет урожай! Это мою грудь вспахивает копытами буйвол Або, брошенный муж!..

Буйвол Або тащил вперед повозку погребальную, ушел далеко. Даже погонщик голодный Ашот отстал и ругался.

Встревоженно стал нюхать черную, вспаханную им землю громадный буйвол.

Он почуял, как текут кровавые слезы из слепых глаз каменной рыбы, спящей в глубине Кахетии.

ТИНА — СОБИРАТЕЛЬНИЦА МАКА

Стройная, высокая девушка с длинными ногами и руками, глаза настороженные и внимательные, темнеют бархатом как зрелые сливы. Дымчатой нежной спелостью дышат глаза. Легко движется в поле, шурясь на солнце, рассеянно рассматривая цветы, кивающие ей головами, впадает в горьковатую истому, в дневной бодрствующий сон, медленно погружаясь в который она вдруг резко пробуждается, напуганная мраком и тоской на самом дне этого сна.

Тина сострадала крестьянам-труженикам, вместе с ними переживала грозные стихии, что, одна сменяя другую, надвигались на душу и хозяйство крестьянина. Жизнь виноградаря каждый миг в опасности. Много народу жило в Велисцихе и в Гурджаанском районе, не похожих друг на друга героев, крепких мужчин, борющихся за землю и урожай, сражаясь с мироедами и бродячими свирепыми богами.

Каждый ежегодный осенний праздник винограда Ртвели становился все более мрачным. Помимо расправы над Великим Виноградарем Дионисэ резали все больше скота и жертвенных животных, разнузданнее шумные пляски и совокупления, где верховодили неистовые и озверелые в страсти сестры Тины, дочери великой кахетинской любовницы Кеонии.

Смертельно боясь крестьянского бунта, окопались навозными жуками по деревьям мироеды, угнетая виноградарей. Мироеды отравили кровь лозы, сердце юноши, сок сердца.

Терзали душу Кахетии и жизни крестьянские разрушительные землетрясения, пробуждалась от сна исполинская каменная рыба. Стенала река Алазань, неистово и обреченно любящая нахмуренный дуб гомборский. Плотник Тархнишвили все долбил лодку-гроб для спасения деревни. Маро обмывала покойников, провожая их на скрипящей повозке с громадными деревянными колесами, запряженной ее бывшим мужем Або, в пещеру мрака Джоджохэти, на стенах которой Хуц, отец Тины, древний каменотес и наскальный художник, высекал каменный эпос Кахетии.

Тина еще маленькой девочкой уходила одна к оврагу, где зияла глубокая дыра, вход в подземные страшные пещеры, куда она однажды провалилась. Тину тянуло в пещеры сна и мертвых, идущих куда-то с потухшими факелами.

Каменные люди влияли на жизни живых. Взрослые велисцихцы боялись приближаться к оврагу, а Тину тянуло туда с детства.

Тина тогда еще не знала, кем ей придется мрачный плечистый молотобоец, живущий в катакомбах среди теней умерших, души которых и судьбы сгинувшие он вырезывал на каменной стене.

Кеония тащила девочку Тину домой, хватала за тоненькие руки, Тина отбивалась, упрямо рвалась к оврагам, заплаканная, с блестящими глазами, она, вырвавшись, бежала обратно к страшной дыре.

— Это Хуц тянет дочь в бездну, к теням спящим или беспокойно маящимся!..

Однажды Тина провалилась вниз. Крестьяне решили, что она погибла, разбившись, или задохнулась в глубокой яме. Кеония ходила по деревне хмурая, с искаженным от страдания лицом.

Но Тина не погибла.

Хуц, родной отец с могучей грудью и мускулистыми руками, осторожно вынес дочку из пещеры наверх к оврагам, где стояли люди с факелами и кричали, звали, а Кеонию, бьющуюся в судорогах, держали за руки. Мычали напуганные коровы.

Хуц шел, слепо шурясь, на неразгибающихся ногах, глаза его казались тусклыми и давно умершими. Каменотес щекой прижался к холодному осунувшемуся личику девочки.

Хуц отдал Кеонии дочку, потом отшатнулся и замер, не моргая чужими для дневной жизни глазами. Солнце не могло обжечь его стылые зрачки. Молотобоец закрылся от солнца широкой ладонью. Крестьяне страшились глядеть в его равнодушный, немного усталый взор. Им чудилось, что он может их сглазить и за ними тотчас приедет старая повозка с деревянными разваливающимися колесами, запряженная буйволом Або, бывшим мужем женщины-коровы, которая бросила его и вышла замуж за первочеловека, сельского плотника.

Девочка Тина очнулась и стала рваться к Хуцу, исцарапала острыми ногтями соленое от слез лицо, вырывалась и кричала. Крики ее охрипли, зверь слышался крестьянам. Крестьяне отшатнулись.

Девочка чуть было не задушила мать, а Бнело-Темный и Хачатур Хлеборез помогли нести ее домой.

Тина звала Хуца. Хуц молчал, полуоглохший и полуслепой, свыкнувший с мраком пещеры, бесстрашно рождающий на камне посмертные судьбы кхетинцев. Сам неизбежно превращался в каменную глыбу.

Девочку несли назад, в домище чудовищной матери Кеонии, а она уже бывала в стране мрака, встретила с отцом, разглядела там каменеющие лица велисцихцев, уходящих в бесконечную даль.

Велисцихе чудилась со дна пещеры осью древнего мира. Люди страшились, чтоб не сдвинулась древняя могучая деревня со своего насиженного гнезда. Велисцихе приросла черной кровью лозы к глухому гнезду и никак не могла сорваться с места и полететь, размахивая крыльями.

Девочка вдруг прижалась к матери, рыдала хрипло и безнадежно, страшась судьбы своей, и в этом плаче просила у матери защиты от мрака.

— Мы не можем пока бежать от крестьянской жизни, — шептала ей Кеония, поглаживая голову. — Мы кормим землей и кровью крестьян свою человеческую судьбу. Мы должны спасти их и губить. Мы односельчане и любовницы бродячих богов, их вождя, могучего хозяина с зеленеющим взором!..

Кеония села с девочкой в повозку. Ехала назад из страны мрака повозка. Кеония обнимала дочку руками. Буйвол Або лениво двигал копытами, пытаясь раздавить каждое слово грозной дикой Кеонии, стремящейся к единоборству с Маро-коровой.

Або чудилось, что каждый поворот колеса, каждый выкрик Кеонии, стон рассекал его буйволиное огромное сердце ножом мясника. Мясник разделял жадно буйволиную тушу. Тягостно молчащий буйвол Або боролся с каждым словом-проклятием Кеонии. Втаптывал в прах ее безумную кровожадную страсть. Он боялся, что, сделавшись женой осеннего Дионисэ, она принесет в жертву его, одинокого буйвола с истерзанным ревностью сердцем.

Оставалась надежда только на Маро-корову, которая в яростной многолетней схватке, через большую кровь и жажду, низвергнет в бездну эту жаждущую любви и смерти самку, рожаящую от кого придется своих необузданных дочерей, лишь бы самой закружить голову Дионисэ и женить на себе.

Девочка Тина перестала всхлипывать, она, вздрагивая, вслушивалась в обещание матери Кеонии сделать ее, как и всех сестер, богинями, женами бродячих богов.

Но вдруг раздался шум.

Возле самой деревни женщины окружили повозку, напуганные тем, что девочка Тина, побывав в пещере мертвых, сделалась нечистой и нагонит заразу и порчу на их поля, они размахивали палками и граблями, пугали буйвола, хотели вырвать у Кеонии дочь, растоптать, убить, но только не дать въехать ей назад в Велиспихе. Лица крестьянских женщин искажены злобой и страхом, решимостью, они размахивали палками, кулаками. Теперь они были страшнее разъяренных кабанов. Они защищали свое гнездо, деревню и общину.

— Хватит с нас, мерзкая Кеония, других твоих диких дочерей! Вы погубите нас!

— Хватит!

Женщины теснили повозку, налезали, тащили вниз Кеонию, били ее, плевались, свистели, кусались и кричали.

Кеония отбивалась своими могучими ручищами, пиналась, дралась, прижимая к себе девочку.

— Родила ее, выродка, от камня, а нам отвечать за нее? За нашу общину! За урожай!..

— Погубишь весь урожай. Помрем с голода!

— Высохнет лоза!

— Скотина сдохнет!

Хачатур-рогоносец отпугивал разъяренную крестьянскую толпу женщин своим длинным ножом хлебoreза, а коротышка большеголовый и коренастый Бнело-Темный уже схватился с ними в кахетинской борьбе под барабан.

Тина не испугалась.

Она смотрела на орущую толпу, тянущую к ней руки, молча спокойными глазами с высохшими слезами, взор ее разглядел вдали пылающий солнцем и молодой кровью мак.

Тина протянула к дрожащему на ветру маку свою худую руку. Крестьянки застыли. Ленивые. Что-то похожее на сон, на усталость и дурман после тяжелой работы в поле легло на грудь. Ярость в глазах женщин смирилась. Погасла. Дымчатым песком сна одевались возбужденные чернеющие зрачки.

Мак звал Тину. На стене Хуца тоже жил мак. Каменный холодный мак, душа его светилась юной кровью.

Это был отец древних маков, отгоревших и опивших сном бездну людей.

Кеония, пораженная, молчала.

Великая любовница Кахетии догадалась, что в пещере среди теней произошла встреча дочери Тины с душой древнего мака. Праотца сна.

Отныне Тина всегда будет нести людям сон, забвение, смерть. Кеония отшатнулась от девочки. Отдернула свои могучие руки, словно обожгла их.

Буйвол Або вдруг с невероятной силищей сдернул с места погребальную повозку с громадными колесами. Задыхаясь от пота соленого и страха, он волочил повозку с Тиной по деревне, плющом и лозой обвитой.

Тина подружилась с юношей Оником, что играл на свирели и дудке, пел тихим, заунывным голосом пастушеские песни. Он любил в одиночестве бродить в окрестностях Велисцихе, иногда находил в высокой, светлой, волнами идущей траве под порывистым налетающим от реки влажным ветром обломки камней, древних плит, крепостных стен с очертаниями крестьян, рельефами животных диких и воинов. Земля кое-где провалилась, из ям, обросших по краям ковылем и одуванчиком, тянуло сыростью пещер, сожравших человеческие кости.

Оник прерывал пение свирели, задумчиво опускаясь на худые колени, маленькой узкой ладошкой гладил камень ржавый со стершимся лицом пахаря, глазом быка или пчелой.

Слегка жмуря нежные, как листья сентябрьской лозы, глаза, он начинал играть на своей пастушеской свирели одну из надрывных, грустных, жалостных кахетинских песен, сзывающих и быков и овец.

Свирель вела их за собой даже спящих.

Онику, сыну пастуха, мерещилось, что пение его вырезанной из ивовой ветки свирели не оставляло равнодушными кости коров и людей, лежащих в земле. Он встречал их иногда в ямах среди ржавеющей от жары черной травы и бурьяна.

Кости огромные и словно изваянные из праха, из грязи и глины, сами начинали неожиданно звенеть и петь как громадные дудки, как свирель в подрагивающих руках. Кости вторили пастушеской юной свирели. А потом ветер уносил в разные стороны жалобный стон предков людей и домашних животных. Груда костей, стадо костей, встревоженное голосом Оника, шевелилось, ворочалось и отзывалось своей душой. Эхом глухих воспоминаний.

Оник мог разбудить голоса костей животных и крестьян, но он был не в состоянии разгадать их неизбежную громадную тоску и голод. Он содрогался от сострадания, а прервать свою песню сразу боялся. Мучила юношу Оника тоска по чужим исчезнувшим жизням, вина перед предками животных и людей душила его. Ведь Оник жив, а они, провалившись в землю, в пещеру теней, тосковали своими костями, и только случайно найденные Оником в поле среди маков, разбуженные от смертного страшного сна его тонкоголосой свирелью, они все вместе начинали плакать и выть; хрипло жалуюсь в мрачных гудящих песнопениях о вечном холодном плене, захватившем в свои холодные лапы их судьбы.

Оника ужасали медленно пробуждающиеся от ледяного сна одинокие голова, пытающиеся соединиться в единый подземный хор костей!..

Кости просили его, живого кахетинца, юношу-пастуха, подхватить их тяжело плывущее в земле густое низкое пение, общую песнь живых и мертвых, летящую уже над степью и нивами, завораживая и цепляя своими черными коготями маки, горящие среди костей, поющих кровавыми пятнами.

Один пастух пением тонкой свирели мог вызвать из тьмы голоса целого исчезнувшего братства костей. Юный пастух может соединить кости мертвых с живыми, потными от труда, пьющими и дерущимися кахетинцами. Мрак обнимется с цветущей долиной.

Так думали древние кости людей и животных, съеденные тьмой и страхом.

Ты, провалившись в яму, нашел нас, наступил ногой на наши лица, ты спел песню, твоя свирель разбудила нас, сдула прах! Забери нас к себе, Оник! Сделайся пастухом мертвых поющих костей!

Отнеси нас в стадо живых быков и коров, свали кости на солому возле хлеба, брось наши кости в бочку с вином. Пусть вино потомков утолит нашу жажду и тоску по жизни! Зачем ты в страхе, бессильный, снова уходишь от нас, Оник! Мы уже не слышим твою свирель!

Но Оник ничем не мог им помочь. Он только будил вместе со свирелью и ветром эти кости, которые после смерти перемешались в земле, сделались братьями одного погибшего стада.

Одной судьбы.

Кости людей и животных побратались во мраке.

Нет среди них ни хозяев, ни крепостных.

Он одиноко играл на свирели, хмуря лоб.

— Отчего кости так тоскуют? — удивлялся юноша-пастух. — Может, Хуц забыл высечь кремневым резцом на стене во мраке их души?!..

Тина и Оник встретились в поле. Ветер волновал ковыль, раздувал ситцевую пеструю юбку Тины, холодный свежий ветер бросался в лицо, трепал длинные волосы. Собирательница мака и юноша-пастух, играющий на свирели, должны вместе оживлять окаменелых людей и животных, чтоб снова усыплять их.

Из виноградины выжато опоившее влюбленных вино. Мерцала голубизной река Алазань.

Они, впервые увидя друг друга и коснувшись руками, вытянутыми дрожащими пальцами, ощутили со страхом смертным в сжавшихся от любви сердцах, с хмельной радостью, что отныне мак дурмящий и пение тонкой свирели соединили их навечно. Снотворная и медовая вода их сердец смешалась. Одна кровь, подпорченная, как у Диониса, дышит в их телах. Собирательница мака и пастух со свирелью будут пытаться оживлять род велисцихцев. Каждого старика, каждую ушедшую в сухую землю виноградную косточку.

А пока, не имея еще одной души на двоих, им, пугливо влюбленным, ощущать во рту привкус могилы. Могила — неотступная тень любви. Юноша и девушка боялись приблизиться один к другому. Любовная сладость тел, близость погубит то, для чего они оба рождены — оживотворение и погружение в древний сон поколений кахетинских виноградарей.

Нельзя им соединиться в любви.

Треснет, разломается свирель.

Тина и Оник старались в едином дыхании своей несчастной любви вернуть голос и зрение обломку камня, душу — огромной кости. Каждый миг кости снова проваливались в яму, обрастая жадным мхом забвения и обугленной золой.

Тина и Оник в изнеможении уходили друг от друга, отвернувшись. Она опускалась на колени перед маком дурмящим, касаясь его холодной несчастной щекой. Оник терял в густой траве свою исстрадавшуюся свирель, выл в голос как теленок, потерявший мать. Только прозрачная родниковая вода любви не смутит теней ушедших стад.

Тина бродила одна среди поля маков, здороваясь с ними, сияющими глазами поглядывала на их разгорающиеся мягкие головы, готовые рассыпаться от легкого дыхания, стряхивала с маков росу, целовала, шептала им что-то девическое и стыдливое, оглядывалась, собирала осыпавшиеся, нагретые солнцем, ленивым и липким, лепестки, чтоб высушить их, настоять или приготовить из черных зерен снадобье для окуривания горьковатым и тягостным дымом костей живых и мертвых.

Тина, сощуриив утомленные глаза, любовалась худой и злой от голода и одиночества желто-полосатой пчелой, прилипшей к маку.

Пчела чудилась любовницей спящего мака. Пчела жадно лизала сердцевину цветка, высасывая маленькими хищными лапками капельку дурмана, чтоб унести его раньше, чем закружится голова, в гудящий беспокойством улей. Отдать гнезду капельку макового сока, погружающего пчел в забвение и ранний осенний сон.

Иногда пчела падала замертво рядом с цветком. Холодная. И эту мертвую несчастную любовницу не разбудит никогда тонкая свирель Оника.

Возлюбленная мака становилась едой слепого червя.

Червь завидовал полету пчелы на зов мака, сверкающей полосато-желтым тельцем, завораживающей солнце и цветок сна.

Пчела родилась из слезы бога Дионисэ.

Она воскреснет когда-нибудь, если загорятся виноградной тоской слезы осенние великого Дионисэ. Слепой же червь не умирал.

Ему надоело жить. Червь жаждал любви пчелы, дочери золотистого неба, но яркая желтокрылая, дышащая страстью, знойная пчела летела к маку и не желала слышать возни в земле несчастного возлюбленного. Как посмел жалкий житель преисподней мечтать о ней, царице воздуха и матери сладкого меда! Бродячие боги влюблены в мед.

А этот жалкий слепой червь пока ни разу еще не успел приползти на праздник убийства бога осени!.. Презренный, безобразный и лишенный зрения житель Кахетии! В пчелу с крыльями, окрашенными винным огнем, влюблялось каждым летом солнце!..

Не догадывалась самоубийственная и медоносная любовница мака, что червь состоял из одного извивающегося мучающегося сердца.

Даже когда червь душил полумертвую от страха бабочку, он любил ее. Червь мечтал, вцепившись в крыло пчелы, полетать с ней над долиной, покружить над гудящим с тоски дубом. Червь хотел, сгорая на солнце, кинуться вниз с головокружительной высоты из глубины недосыгаемого неба.

Червь хотел умереть, ужаленный злой пчелой. Однажды червь решился изгрызть ненавистный мак.

Но пчела смахнула его ударом крыла. В тяжелом похмелье, погибая от ревности и обиды, червь три ночи пролежал плача в расщелине земли. Это был позор, тоска и одиночество.

Дионисэ, жалея, мог дать ему только сезонную, осеннюю смерть, круговое возвращение к жизни, но червя это не устраивало.

Или все, или ничего!

Пчела отвергла его чувство.

Может, червь превратиться в холодный камень?!

А потом, через тысячелетия, попытаться снова вернуться в воду, родиться в капельке воды, самому родить из себя эту капельку?!

— Долго ждать! — вздыхал червь. — Не хватит души. А когда наступит мое воскресение?!

Нет, нет и нет!

Пчела несла в гнездо зернышко украденного мака. Она, опьяненная, загнула и зацепилась за колючку, свалилась в бурьян. Червь, потрясенный, полз к ее остывающим, словно вылепленным из холодного стекла крыльям. Он попытался, скрючившись, поцеловать ее бархатистое мягкое женское тело, из которого медленно ушла жизнь.

Пчела полыхала предвечерним пожаром, легко сделалась едой подземного мрака. Стена Хуца ждала охмуренную дыханием мака пчелу. Страшно червю обнимать, как вору, мертвую пчелу: ведь живая она презирала его наплакавшее сердце. Червь пытался горевать над остывающим телом любимой. Просил судьбу о смерти, чтоб уйти с нею во мрак.

— Ты сам отец мрака! — редела река.

Даже смерть никогда не соединит их. Муравьи уже окружили мертвую и недосыгаемую в полете пчелу. Они, выползая из своих нор, разгрызали ей грудь хищными острыми зубами. Они жадно волочили испачканное в пыли израненное тело матери меда, пытаясь утолить чудовищный древний голод по нектару!..

Червь постыдно бросил свою мертвую возлюбленную и заполз в глухую трещину. Он долго прятался, холодея от страха вечного одиночества.

Не скажешь сразу, душа маков горит, колышется в поле или рука Хуца высекала из камня цветок сна!..

Красные брызги крови блестят. Может, это бог маков, проживший яркую, пламенную жизнь, опол и предал сну и забвению целую деревню. Ласточки кружили над маком, страшась смерти, и, тянущиеся к ней, роняли из охваченного ужасом глаза розовую бисеринку слезы.

Тина и Оник опустились у окаменелого тела мака.

Великий мак не дышал.

Лепестки мака несли всей Кахетии сон. Птицы, измученные долгими перелетами, падали на лепестки, клевали зерна, чтоб хоть на одну ночь найти забвение.

Птицы устали бессонно преодолевать бездну. Крысы пожирали мак. Лошади обнюхивали похмельные цветы.

Ястреб с желтыми измученными глазами парил над пурпурными цветами забвения. Стонали буйволы, ища освобождения своим усталым душам из древних шкур. Пастухи водили хороводы, плясали в поле маков, а сами маки оставались наивными, легкими, беззаботными, смеялись и нежно целовались со всеми, отравляя воздух погребальным сном.

Маки увядали счастливыми, Дионисэ не дал вползти в их сердца тоске, они отдавали свои целебные страшные зерна, а сами обугливались, исчезали, тлели. Без единого испуганного вскрика, без детского страха они сами тонули в той бездне, куда отправляло целые стада животных и поколения людей единственное зернышко. Измученная полетом птица жадно целовалась с маком, клевала. Юные маки не сопротивляясь, один за другим гасли и тонули в бездне, уходили с легкой улыбкой во мрак пещеры. Ведь все равно после землетрясения любой валяющийся беспомощно камень загорится молодой кровью новых маков.

Тина опустила голову, обхватила окаменелый мак тонкими руками. Оник играл на свирели. Свирель жаловалась ласточкам. Дарящий забвение мак сам утонул, задохнулся в бездне. Камень слушал песню. Что-то загудело в нем. Бычьей кровью брызнула душа камня. Ныла свирель. Юные поющие маки кружились вокруг камня-предка.

Скоро юные маки задохнувшимися рыбами, молодой мертвой стаей уйдут на дно пещеры.

Не вернуться им никогда в жизнь под голубым небом.

Тина, собирательница маков, прижалась щекой к камню. Оник, зажмурившись, дул в свирель. В уголках напрягшихся губ поблескивали капельки крови. Горящие маки кружились. Маки пели.

Каждый мак горел огнем сна, каждый был посвящен кто виноградарю, кто орлу, кто овце. Ангелы-маки ликовали. Они шелестели напоенными вином и сном крыльями.

Вон мак, посвященный быку с громадными рогами. А еще другой охранял целый хоровод кружащихся вокруг майского древа девушек. Тина и Оник опавали настоем мака или песней жалобной свирели каждую велисцихскую душу, пробуждая от сна и снова отправляя ее в забвение, в мутную, зовущую, страшную глубину.

— Мы пленники сна! — шептал Оник. — Ты дочь Хуца, а я твой возлюбленный, и нам никогда не вырваться из камня. Я заморожен тобой, Тина! Мак и сон. Пастушеская свирель, красный цветок смерти и песня для коров нижнего, подземного мира. Сон и тоска пастушеской свирели. Соленые горькие слезы на холодных лицах жителей пещеры Хуца. Хуца, загнанного людьми во мрак.

На стене орнамент из виноградных гроздей, бушующих счастьем листьев, растущих на руках ликующей, мрачно веселящейся толпы предков. Смешанная с птичьей, ржавеет на стене кровь Дионисэ. Дионисэ напился вина из маков. Дионисэ держит высоко рог с горящим маковым вином.

Дионисэ голосит от ужаса, страхась своей роли царя подземного мира. Гульбище гудит в пещере. Козлиные пляски и песни.

Течет в пещеру сверху из виноградников опустошенных юное пенящееся вино. Ведут на заклятие сначала жертвенного козла, потом барана, потом корову, потом быка, потом буйвола. Жадные рты озверелых пляшущих крестьян разрывают мясо животных.

— Меня пожирают живьем! — хрипит Дионисэ в пещере, закатывая от ужаса глаза. Льется вниз река жертвенной крови. Захлебывается в ней царь царей. Напивается собственной умирающей, холодеющей кровью.

— Оник! — дрогнула рука Тины, шарит в мягкой курчавой розовеющей траве, нагретой солнцем и измятой змеями, ищущими ягоды земляники. — Оник! Мне страшно. Хрипит какое-то громадное животное, слышишь?

Оник поиграл еще немного на тонкой свирели в нервных загорелых руках, не сразу прервал песню, потом сощурил задумчивые глаза, оглядываясь.

— Это бык или корова! День склоняется к сумеркам, и небо как кровь умирающего быка. Тоска моей свирели завлекла сюда отбившегося от стада велисцихского норовистого быка.

— Это не бык! — возразила Тина. — Он слишком тяжело и могуче дышит.

Оник снова заиграл на пастушеской свирели.

— Это буйвол, — опустила голову Тина. Оник кивнул.

Оба слышали позади храп изнуренного своей мощью и тоской буйвола Або.

— Помнишь буйвола-предка? — спросила Тина, срывая мак и поднося стебель к лицу. — Хуц высек легенду о буйволах-предках на стене пещеры. Каждый из них женился на женщине, которая рожала человекобыков. Одна женщина и мужа-буйволы. И вот чудовища-человекобыки собрались в огромное стадо, наводившее ужас на всю Кахетию, а потом они стали вымирать. Их погубил жуткий мор!..

— Помню! — запела пастушеская свирель Оника. Свирель звала пробудиться высеченное на стене копыто буйвола-предка Або, отца Иштара, первого мужа коровы Маро, бросившей его ради первочеловека и плотника Тархнишвили.

На буйвола надели ярмо, сделали вьючной, тягловой скотиной, запрягли в погребальную повозку смерти, на ней отвозили покойников деревни в подземный мир душ и теней Джоджохэти!

Оник прижимал подрагивающую свирель к бледному рту. Оник и его возлюбленная Тина, собирательница мака сна и смерти, жалели буйвола-великана с сокрушенной волей.

Або хотел, чтоб эти двое юных возлюбленных с маком и свирелью плачущей разбудили копыто буйвола на стене подземного мира.

Проснувшееся копыто вернет Або мощь и веру.

Копыто вернет буйволу Або священное право предков на брак с женщиной-коровой, которое отобрал у него первочеловек Тархнишвили.

Первочеловек Тархнишвили женился на матери земли.

Но копыто окаменело.

Ничто не могло разбудить буйвола-предка.

Копыто даже не треснуло пока от тонкого пения пастушеской свирели, не раскололось от надрывного плача Тины. Тина дышала ртом с изжеванным маком.

Пусть, напившись сна, наконец проснется и копыто и поднимет за собой весь род вымерших, polegших в пещерах буйволов жизни и смерти, буйволов мрака и смерти, чтоб стон их взбудоражил живого потомка Або, униженного и брошенного любимой женщиной с глазами печальной коровы; чтоб он попытался разорвать свое тело, свои мускулистые мышцы и сухожилия, разорвать цепи судьбы и вернуть бросившую его жену, освободив от позора и срама своего родного и единственного сына Иштара. Юношу-быка. Человекобыка.

Последнее хтоническое чудовище Кахетии. Исчадь земли. Но зрелости мака и голоса пастушеской свирели мало для бешенства буйвола.

Тина и Оник не могли еще провести буйвола, ведя его за рога через врата смерти.

Их скорбь выдавила только капельку крови на окаменелом копыте. Это соленный пот труда, вековая обязанность буйвола-труженика.

Кровь, блеснувшая на копыте, потрясла Або.

Он застонал. Круто выпученный глаз его горел жгущей слезой.

Буйвол умирал от надрыва одинокого зовущего горла. От горького пота подъяремного труда. От побоев.

Он был обречен на каторжный труд.

Он был проклят предками.

Або опустил голову с тяжелыми рогами и медленно пошел прочь, равнодушный к скорбному пению свирели.

Тина заметила безумную Эку, отвернулась, ей было тяжело видеть больную женщину, помешавшуюся из-за исчезнувшего на войне сына.

Наслать на нее сон кратковременный — жестокость, рассудок Эки не принимал лекарства забвения, она заболела от мака, становясь буйно помешанной, и неистовствовала, забрасывая людей камнями.

Люди не брали у нее камни, и она пыталась раздавать их насильно.

Эка хотела подарить каждому жителю деревни по тысяче камней, чтоб народ решил, жалея ее горе, послать за мертвым в еще не остывший огонь вестника, чтоб он попытался привести назад мертвого из пещеры мрака.

Тина страшилась Эку сумасшедшую. Эка могла привязаться и ходить за собирательницей мака тенью. Отчаянно кричала, чтоб Тина, окуривая тени Хуца в пещере, вернула сына. Хотя бы его душу вернула оборванной, грязной, опустившейся матери, исхудалой и иссушенной горем.

— Не можешь отдать назад сына моего, — просила Эка, — хоть кость верни! Проси Хуца вернуть кость! Спустись в пещеру и найди в куче костей моего несчастного сына! Взгляни на мои иссеченные дождями, испеченные солнцем костлявые руки! Окури маком душу моего сына. Она спит в камне. Пусть мне приснится мой сын! Он ушел воевать за Кахетию и спас виноградники от рабства. Вы развели кругом мироедов и не травите их, как крыс. А мой сын не оставил даже костей, даже кости сгорели!

Эка обхватила голову руками.

— Хуц внизу высек лицо моего сына, мне говорили! Теперь мой сын отдан вечности, и он не отдает мне крови. Горсти пепла.

Тина рванулась к ней, хотела что-то сказать, успокоить.

Но безумная женщина вдруг сникла, остыла, сжалась, закрываясь костлявой рукой, опустила голову, словно боясь, что ее будут бить бичом пастуха, она жалобно простонала, а потом заблела овцой и, сгорбившись, глухая и ничего не видящая, пошла прочь вдоль растрескавшихся от жары, облысевших холмов, где отовсюду из трещин лезли к безоблачному небу и смотрели на несчастную женщину с седыми волосами ощерившиеся колючки.

Эка споткнулась босыми, грязными от праха земного ногами, изъеденными язвами и ранами с черной коростой, свалилась возле бугра, упала, хватая судорожными материнскими ладонями ржавые жалящие колючки.

Пальцы сумасшедшей сочились детской кровью.

— Кто-то ранил моего сына? — вздрагивала она.

Какой-то понурый человек с повинно опущенной головой отделился от разломанных жарой бугров, шел к упавшей женщине мужчина в сгоревшей, изорванной в лохмотья военной гимнастерке, с покрытым сажей и пылью изможденным, усталым лицом, с одиноким взором побитой собаки.

Это дезертир войны Петрэ, которого все гнали, кидали в него палки и камни, натравливали собак.

Петрэ, бежавший из эшелона с горящими заживо новобранцами, забывший кости товарищей в погибающем вагоне.

Петрэ не привез назад в Велисцихе ни одной сгоревшей кости, чтоб народ мог оплакать и похоронить ее. Эка спасла дезертира от народной лютой расправы.

Безумная женщина, нищая голодная мать съеденного войной сына.

Дезертир стоял возле ворот кладбища. Он молча вслушивался в плач женщин, рассказывающих горланно небу о том, как страшно скитаться душам их непогребенных детей, коршуны смерти разорвали в клочья их души. Кричали кахетинские матери в черных траурных одеждах и платках.

Пришел молча Петрэ, беглец войны, не принес ни одной человеческой обожженной кости.

Толпа надвинулась на дезертира. Била в грудь кулаками, пинала, толкала. Одна старая грузная мать в черном бросилась выцарапывать глаза этому молчаливому человеку. Он должен был уйти из Велисцихе, где ему плевал каждый встречный в лицо, а он вернулся на родную землю и терпел унижения.

Чувство вины за новобранцев держало его. Он ведь тоже был новобранцем той войны. Это и его молодость загубленную оплакивали чужие матери.

Петрэ-дезертир стоял с обнаженной головой и смотрел почерневшими, съеденными тоской глазами на кричащий народ. Потом он пошел за этой безумной седой женщиной, что крепко держала его за руку, не отпуская от себя. Они оба продирались через разгневанную толпу.

Безумная женщина с потемневшими, как гнилое мясо, щеками отвела его к бугру, где росли железные колючки, их избегали даже змеи, и там дала ему кусок черствого хлеба и глоток вина из глиняной чашки.

Петрэ-дезертир сжал чашку крепкой мужской рукой и медленно выпил вино поминок, потом вытряхнул на опаленную землю оставшиеся на дне капли, которые освежили безрадостные страшные щеки Эки, и, опустившись на колени, нашарил ее холодные, вяло повисшие вдоль худого тела костлявые руки и приник к ним своим большим холодным исстрадавшимся ртом.

Арзуман следил, прячась в кустарнике, за Тиной, собирательницей мака. Со злостью стиснул птицегадатель сухой рот, злясь на песню свирели Оника. Оник мешал ему.

Влюбленные гладили руками большой, полыхающий солнцем мак. Арзуман ненавидел жалобно зовущее пение свирели. Голый череп коварного, хищного птицегадателя отливал синевою. Кадык разбух бешенством, как зоб страшной птицы. Он владел древним и уважаемым ремеслом убийства птиц и гаданий по их трупам.

Велисцихцы его побаивались. Народ даже заискивал перед ним, поговаривали люди, что он убивал жестоко птиц и рассекал их ножом, пил их кровь, отдавая в жертву и заклиная, притворяясь, что он родня птицам.

Арзуман — выродившийся дикий вероломный птенец хищной птицы Пашкунджи. Властительницы воздуха и верхнего неба, жительницы гнезда на верхушке дуба гомборского.

Он возненавидел мать, хотел покорить ее, свергнуть, отобрать мощь, пытался выколоть ей спящей глаза. Он чудом спасся, когда она обезумела и с плачущими кровью глазами погналась за ним по ночному полю, била его крыльями и рвала грудь железными когтями.

— Мать! Не отнимай жизнь! — хрипел он, закрывая руками израненную голову.

Охотники отбили его.

Арзуман — житель деревни, мужчина с хищными, налитыми желчью глазами, одинокий стервятник, приспешник мироедов, хищник, поедающий падаль. Он был немолод. Лицо было староватым, дряблым, кожа шелушилась, шея, как у дряхлого орла, в складках, заросших седыми перьями и шерстью.

Ходил медленно, опуская вялые веки на яростные, злые глаза, переваливался, как хромой коршун, поворачивался только всем телом, шея не двигалась, постоянно высматривал врага: нападения чужих птиц. На них сам охотился. Арзуман любил совращать молоденьких девушек, а потом скрывался у мироедов от расправы, пытаясь откупиться от родственников опозоренной. Ми-

роедов он охмурил: шептал им, что в его заклинаниях благословение. Их злу и хищениям. Жил в огромной деревянной клетке для крупных птиц, спал на мешке с птичьими перьями, набивал подушку деньгами, которые брал с крестьян за гадания и колдовство.

Страшно было видеть, как он по утрам чистит клювом свое тело. Чистит тело, обросшее торчащими в разные стороны перьями, и вытягивает острый рот, обнажающий страшные клыкастые зубы.

Каждый год Арзуман после колдовства над трупом орла, неожиданно подстерегая, нападал на свою мать, чтоб вырвать из ее когтей власть над верхним небом.

И каждый раз крестьяне отбивали его из могучего клюва Пашкунджи, вырывали из железных беспощадных когтей, тащили избитого в домашнюю клетку, а женщина отпаивала его наваром из сваренных птичьих перьев. Он сам собрал их и развешал в мешках на прутьях клетки-жилища.

Арзуман выкрадывал ревниво птенцов из гнезда Пашкунджи на дубе, душил их и топтал ногами, орущих, когда птица Пашкунджи улетала за кормом.

Она гналась за убийцей ее детей. Арзуман мчался с страшным криком ужаса и прятался в пещере Хуца. Она билась, пыталась влететь во мрак, но Хуц отгонял ее горящим факелом, опаливая крылья.

Арзуман уничтожал своих соперников, детей-птенцов Пашкунджи, чтоб из них не вырос новый птицегадатель и не оторвал Арзуману голову.

Арзуман унижался перед Хуцем, обещая ему освобождение от пещеры и судьбы. Уговаривал Хуца высечь на стене пещеры стаи летящих птиц, кругами носящуюся стаю, жертвоприношения, чтоб запечатлеть их на камне, пленить. Сокрушить судьбу богини — птицы птиц Пашкунджи.

И Арзуман вершил свои кровавые жертвоприношения при дрожащем факеле Хуца, во мгле пещеры теней.

Арзуман надеялся, что, убивая птенцов грозной царицы воздуха, он уничтожает ее мощь.

Душит власть хозяйки верхнего неба.

Но Пашкунджи опасна, ударом клюва она расколлет голую лысую голову Арзумана. Она не пощадит его, а он тоже был ее сыном, возненавидевшим, возжаждавшим свергнуть мать и захватить небо. Безумная хищная птица с крыльями, зависающими над Алазанской долиной, сама теряющая птенцов, жалела Эку и сострадала, помогала ей добывать камни, несла их в клюве, швыряла к ее ногам, пролетая. Камни для возвращения из смерти сына седой женщины в рваном платье, босой, голодной, бродящей по дорогам Кахетии.

Птица Пашкунджи несчастна в любви.

Она ревновала дуб к зеленопенной шумящей реке Алазань. Птица Пашкунджи сидит на голове дуба, а ей он не принадлежит. Душа дуба гомборского отдана Алазани ревущей.

Тогда в ярости несчастная влюбленная птица с железными когтями неистово била железным клювом дуб по голове.

Дуб стоял молча, стиснув крепкие зубы, чтоб не выдать малодушие и страх. Дуб душил в горле плач. Он тихо плакал кровавыми слезами. Патриарх леса был беззащитен перед хищной птицей Пашкунджи, свившей из деревьев гнездо на его усталой голове.

— Заставь каменное сердце полюбить мое пернатое тело! — хриплым клекотом умоляла Пашкунджи.

— Давай обнимемся крыльями! Я птичьими, ты зелеными, седыми, ветвистыми! Давай родим чудовище с телом дуба, головой орла и моими несчастными крыльями!

Наш сын будет летающим дубом Кахетии с клювом орла!

Дуб молчал, уstraшенный. По тяжелому кряжистому стволу его струились потоки крови, соленой и холодной, изнемогающей, зовущей зеленую воду быстрой Алазани!

Кровь, рожденная зелеными листьями старца, была выпита у низкого солнца, пропахшего шкурой опаленного быка. Ветер нес кровь дуба реке и кропил ее тоской.

Алазань рвалась из каменистых берегов, вздымалась над вечным ложем, река металась, дыбилась и охрипшим взбухшим языком жадно лизала кровь любимого пленника и отца хищного леса. Кровь дуба вскипала огнем в реке. Кровь дуба жгла как кровь ста зарезанных, принесенных в жертву Алазани быков.

Птица Пашкунджи, вцепившись в загривок ветру, пыталась рассеять эти горящие капли родного дуба, развеять их, чтоб ни одна не досталась реке, железным клювом хватала на лету каждую кровинку до того, как она погаснет на шершавом, посиневшем зверином языке взметнувшейся ураганом великой реки Алазань.

Поднимется река во весь свой ледниковый рост над присмирившей долиной, над хаосом и тьмой, слизывая задыхающимся языком кровь родного дуба.

Кружила, зажмурив глаза, птица Пашкунджи над бушующей и стонущей рекой, отнимающей у несчастной ревнивой птицы ее вековую добычу — любовь крылатого патриарха леса.

Камнем падала птица Пашкунджи в бьющиеся волны. Хищная птица тоннула и пыталась растерзать клювом, вцепиться страшными когтями в сердце реки, напоенное кровавыми черными слезами преданного ей на века дуба.

Умирающая птица Пашкунджи захлебывалась чужим счастьем.

Она била реку могучими, опозоренными любовной неудачей исполинскими крылами.

Она терзала реку, кипящую воду клювом.

ХАОС И ХУЦ

В подземелье, в пещере, на миг смолк упорный неустанный стук молотка. Все вдруг замерло. Застыло. И слышно, как сочится живая вода, ручей. Один из многих холодных ручьев, живущих в пещере среди подземных обрывов, обвалов и трещин, расколовших скалы; ручьи, невидимо текущие по стене, рождающиеся, как жуки, в каких-то крошечных, слепых трещинах — словно слезы, текущие среди влажного мха. Ручьи долбили стену, пытались разломить преграду мрака, буравили и подмывали, хотели вырваться из заточения к свету, встретиться с большой подземной рекой; соединившись все вместе, ручьи мечтали породниться с рекой бездны, подземным двойником Алазани!

Нижняя река мрака текла против света, навстречу дневной сестре. Та наверху была счастливой, играла блеском солнца на волне, сверкала стаей рыб. Рыбы прожорливо рвали зубами все, что могли. Корягу, водоросли, любили поживиться убитым и сброшенным с обрыва человеком или утонувшей коровой.

Потокам земной бездны приходилось намного тяжелее. Им преодолевать неустанно в ночи скалы, валуны, обвалы, бросаться вниз головой в пропасть.

Ручьи нижнего мира Джоджохэти задыхались, беспрестанно ища выходы из теснины коридоров и нор, они завидовали своим братьям и родникам, шумящим на солнце, весело несущимся с цветущих весной холмов в кипящую счастье Алазань, разлохмаченную молодыми раскрасневшимися, опьяненными своей растущей дерзкой силой ветрами.

Подземным ручьям и потокам тяжело биться за жизнь во мраке, они разбивались насмерть в провалах и пропастях, задыхались в корнях исполинского дуба, каменели и снова рождались и дрались за любовь, за дыхание, завидуя своим братьям, сыновьям реки, орошающей землю виноградников.

Они становились отчаяннее, ведь знали, что им никогда так и не вырваться из мрака, где пленены тени людей и животных Кахетии.

Ручьи пещеры стремились к тени подземной реки Алазани, пили ее и поедали, неслись вместе с ней, как слепые детеныши, чтоб своим бегом помогать верхней, солнцеликой, зеленопенной свежей Алазани наверху вершить и тащить за собой жизнь, нести свои широкие и полногрудые воды. Ночная река пыталась схватить за хвост дневную. Это круг вечности. Если его разорвать могучими зубами рыбы исполинской, погибнет Алазанская долина и засохнут цветущие виноградники.

Но никто не знал, где происходила эта ежегодная встреча подземной реки-тени с своей счастливой сестрой.

Когда?

Может, в день убийства Дионисэ в винограднике?!.. Слепой ручей, раздавленный громадным валуном, преграждающим ему путь в теснине, снова зарождался ледяной капелькой, чтоб, задыхаясь от волнения, жить короткой и мгновенной жизнью. Капелька набухая росла, пробивая толщу неповоротливого камня, ручейком стремилась вперед, во тьму, на голоса ползущих как слепые черви водяных струй. Умирая, снова рождались, разваливая горы на своем пути, мутные потоки подземелья.

Большая вода жизни шумела, звала их. Вода, из которой родился Хаос. Ударом посоха высекал воду из камня первочеловек Кахетии. На тысячи и тысячи ручьев рассекалась она, шумящая, дающая жизнь и разрушающая ее.

Хуц, древний наскальный художник и каменотес, в подражание первочеловеку высекал многопенные извилистые ручьи на стене пещеры. Они толпились, неслись в разном направлении, ломались как прутья вербы и вновь, горящие ужасом, соединялись, тянулись искрящейся молнией во все стороны неба.

Рождая неустанно воду жизни, ручьи плодородия, Хуц помогал жизни кахетинской не останавливаться, не засыхать, не задышаться в замкнутом пространстве, а расти во все стороны, по кругу, летящими стрелами, потоками, ручьями журчащими.

Тень реки терзалась страхом, ужасом пещерного мрака. Река ночи бросалась на стены пещеры с ревом, от которого у Хуца леденела кровь в жилах. Ей ведь некого было звать на помощь. Она — и мать, и дочь, сама себя рождающая, слепая вода мрака, разрушающая стену с жизнями и смертями мертвых виноградарей.

Две реки неслись одна навстречу другой, из света и из мрака, и на своем пути они разрушали земную твердь снизу и сверху, давили людей и жилища, стада животных, золотые леса на склонах гор, затопляли деревни. С этим первородным Хаосом пытался бороться в одиночку Хуц в пещерах. Он пытался заточить Хаос в плен. Только вино в глиняном кувшине, в окаменелой бочке смиряло Хаос.

И огненная земля, лава горячей реки, не сжигала дотла Кахетию, дух древнего вина успокаивал взбесившуюся реку. Река дышала ароматом мудрого вина. Дух лозы берег землю. Дух лозы велисцихской успокаивал разнуданную в чудовищной жестокости воду пламенную.

Хуц высекал громадным молотом на стене, стоя по пояс в хлещущем сверху потоке, безумную воду. Тысячи бегущих линий затвердевали на стене пещеры. Он заточал их. Побеждал ярость Хаоса.

В подземном слепом ручье рождался паук, который помогал Хуцу бороться с Хаосом.

Чудилось каменотесу, что паук был родным братом Дионисэ, но жил и творил он противоположное богу разрыва. Дионисэ к концу осени захлебывался в своей кипящей крови, становился все более мрачным и жестоким, возбуждая людей на зверства и убийства в оргиях, разжигая огонь уничтожения, а паук боролся с Хаосом.

Кахетинцы и бродячие боги погружали Алазанскую долину в безумие, а водяной паук забыт богом разрыва.

Свирепый бог умирал, а паук возрождался. Тень Дионисэ в загробном мире страшилась паука, брата, рождающего из себя воду, орошающую виноградники.

Дионисэ в безумии уничтожал воду жизни, паук рожал. И так без конца. И оба не давали умереть воде.

Дионисэ каждой осенью боялся сходить в пещеру Джоджохэти тенью, страшась встречи с родным пауком.

Бог богов кахетинских ждал смерти паука, ведь всемогущий Виноградарь истерзан своими повторяющимися рожденьями и казнями, он устал от них, и

тьнь его не находила успокоения. Паук будоражил его жизнь. Паук — ночная слепая совесть Дионисэ.

А вот если убить паука — ткача пространств, угомонится и душа Дионисэ.

Низойдет последнее забвение. Не вынося встречи с пауком, тень Дионисэ стремилась вон из пещеры, разбегалась во все стороны, стремилась вширь, разрывала дали, прорастала вверх корнем лозы, пробивалась к солнцу первой завязью грозди.

Тень Дионисэ металась в подземном мире, захлебываясь в порожденном ее безумием Хаосе. Тень бога богов пожирала Время и Пространство, вытканые слепым водяным пауком подземелья.

Вода на стене была дочерью слепого маленького паука. Вода была его матерью.

Когда паук побеждал несущуюся с гор бушующую стихию реки, он сворачивался и тихо лежал в темной расщелине, посапывая. Слепой червь в земле завидовал пауку пещеры.

Еще бы!

Ничтожный паук боролся с Хаосом, мучил бога Дионисэ, звал его к спасению тени.

Червь же пока еще ни разу не дополз до шумящего, орущего праздника в винограднике. Не пил еще сока виноградины. Сердца бога, погибающего в объятиях орущих женщин.

Напитаться кровинки Дионисэ! Эта мечта пожирала червя с тех пор, как вода стала превращаться в землю.

— Я напьюсь крови бога и сам сделаюсь богом! — стонал червь.

Но, бедный, он не догадывался, что для того, чтоб ему превратиться в бога разрыва, или бога слепых червей Кахетии, он сам должен прежде родиться в крови синей виноградины, брызнуть из нее соком, задохнуться в руке давитьщика-крестьянина, уйти в глину вином, превратиться в прах, чтоб потом из него родилась виноградная косточка.

Червь страшился смерти.

Только великий Хаос рассыплет тело слепого червя. Хаос должен найти его, прячущегося в преисподней, найти и разломать, рассыпать червя на тысячи капелек, крошек и зернышек.

А пока что ветер Хаоса осеннего только сдувал червя с кромки поля, нес его с пыльной бурей над долиной, кружил над рекой, бросал сверху в виноградник или на холм. Червь три дня лежал не шевелясь, думая про себя, что он умер. Червь еще ни разу не ощутил грани между жизнью и смертью.

Потом он возвращался в Велисцихе, тащился без отдыха, еле дыша, торопился к деревне, что была осью земли кахетинской. Полз, сворачиваясь, подхватываемый пролетающими мимо жуками, снова падая, вспоминая медовый аромат любимой пчелы, стеклянных крыльев которой, умерших крыльев, он касался своим одиноким телом.

Водяной паук рождал воду. Червь ел землю. Земля была его едой, он сам земля, и он не умирал. Водяной паук пугал тень Дионисэ, гонялся за ней по стенам.

Паук не давал Хаосу уничтожить Кахетию.

Хаоса жаждала душа Дионисэ.

Паук сражался с безумевшей лающей волчицей, рекой Алазанью, которая в ярости могла обрушиться и разнести в щепки седоголовый дуб гомборский, разорвать его мечущиеся, тяжелые крылья.

Все живое пряталось в долине, когда Алазань орала и выла, неслась вперед обнаженной грудью, стонущая хрипло и надсадно без любимого дуба.

Угнетенная многовековым голодом без любви! Жаждающая родить от дуба-великана летающего сына-дуба с орлиным клювом и распростертыми в битве крыльями.

Слепой червь сжался, влез глубоко в землю, птицы в небе исчезли, кружила над верхушкой дуба, страдая от ревности, птица Пашкунджи. Стоял над кручей громадный, словно сам пораженный своей силищей, буйвол Або с длин-

ными острыми рогами. Не мог сдержать в мощном теле Хаос. Хаос разрывал его мышцы и сухожилия.

Буйвол уперся копытами в землю. Глаза его налились кровавым ужасом. Надрывало горло усилие. Буйвол Або выходил один к разбухшему берегу над вздыбившейся рекой Алазанью, кричащей жалобно и страшно от тоски, замирал буйвол на обрыве; мутная, кипящая волнами вода швыряла к его крепким ногам намокшие корневища и утонувших раздувшихся животных, река лизала ноги буйвола Або, плакала, и он, сострадав, опускал к ней свою тяжелую рогатую голову и угрюмо нюхал влажными широкими ноздрями пахнущую утонувшей землей и кровью реку.

Брызги светились на его крутом глазе, налитом темной кровью одиночества.

— Родная река! — хрипели его ощерившиеся, зияющие как пещеры, ноздри. — Зачем ты теряешь рассудок? Я, буйвол, всегда одинок. Пора тебе привыкнуть к судьбе!

Алазань отбрасывала свое тело прочь. Кричала безутешно. Горько.

— Я мучаюсь и сама мучаю других! — хрипло отзывалась Алазань. — Я терзаюсь! Я люблю дуб. Хоть ему три тысячи лет — но он смертен! Вот-вот почернеют и опадут его листья, сгниют желуди. Я не могу напоить его собой, и однажды он начнет погибать от старости. Молния разобьет умирающее тело!

Хаос пожрет мой дуб!

Я безумна, буйвол Або!..

— Женщины принесут на берег корзины с хлебом! Женщины накормят твою боль!

— Не уходи, буйвол Або! — кричала река Алазань встревоженная. — Ты тоже страдаешь! Тебя бросила корова. Я развею мрак. Иди ко мне, бросься в мои бушующие волны, и я понесу тебя быстро прочь отсюда, от женщины с холодными, равнодушными глазами коровы!..

Зачем тебе ждать осеннего убийства в винограднике.

Тебя зарежут.

А ведь ты сам был богом! Ты забыл? Ты стерог подземные стада человекобыков от моей подземной тени — реки. Раз в год ты отдавал ей на съедение своего сына, чудовище, а потом ты полюбил корову, которая выбралась из преисподней и сделалась женщиной, матерью рода человеческого. А ты был потрясен изменой. Ты изнемогал, не мог бороться с мраком и Хаосом!..

И ты, ревя от черной ревности, плача от ужаса позора и тоски, ринулся за женщиной-коровой следом, повинно, униженно, окруженный со всех сторон ревущими и науганными, готовыми растоптать тебя, своего бога, стадами грозных человекобыков.

Ты мчался, спотыкаясь разбитыми копытами, к разлому пещеры, к оврагам, карабкался вверх из подземного мира, разрывая рогами острыми мрак, бросающийся в твои пустые глазницы, полуслепой, ты полз к свету, разламывая своим исполинским телом и крепкими ногами землю, стонущую и зовущую тебя, как и стада, которые ты оставил погибать.

Но освобождаясь от Хаоса, ты унес его в долину в своем туловище, в своей груди, и Хаос распирает и разрывает тебя, если не обуздаешь своей чудовищной безответной любви к корове.

Она сделалась матерью людей и научила их обрабатывать землю и выращивать зерно. Угомонись, буйвол!

Хаос вырвется из твоей груди и раздавит не только тебя, он разнесет и раскидает по всему подземному миру стада, которые ты пас и сторожил, и начнет великое бедствие. Ты станешь сражаться с сыном-чудовищем, землетрясение пожрет Кахетию, как в год гибели человекобыков. Ты не соберешь уже никогда подземные стада.

Хаос вырвется из пещеры. Вырвется наружу и убьет сады и виноградник. Ринутся топтать деревни домашние животные, крупный рогатый скот, обезумевшие люди начнут убивать друг друга в жажде пить человечесью кровь, а твою любимую женщину, подземную жену-корову, разорвут, вырвут ей руки, вырвут волосы и выколот вилами глаза!

Забудь Маро, буйвол!

Иди ко мне, несчастный!

Не страшись! Бросайся в мою мутную волну, и я унесу тебя далеко.
Я накормлю тебя хлебом утонувших прачек. Утолю жажду любви.
Вода унесет тебя к моей тени в пещере.

Подземная река подхватит тебя, окружит, и кружась во мраке, ты соберешь рассеянные стада и поможешь земле вернуть плодородие!..

— Алазань! — хрипел буйвол Або, пригибая шею к мучающейся, вспененной реке. — Я уйду! Я уйду к ним, к жене и сыну! Жена забыла, кто она. Она страшится мрака в своих глазах. Она боится бездны. Я уйду, река! Я еще вернусь!

— Мы будем вместе, даже под землей! — захрипела Алазань, закатывая желтопленные глаза.

Маленький погонщик Ашот нещадно колотил великого буйвола палкой. Река Алазань снова в смятении и тоске с разлохмаченными волосами бросалась на крутой берег.

Буйвол Або стоял над обрывом как гора, и холодные крестьянские слезы катились по его тяжелой морде и, срываясь, тонули в реке.

Хуц высекал на стене крылья птицы Пашкунджи.

Кости его ныли от сырости, слепли больные глаза, чадил огарок.

Хуц, сощурившись, разглядел, что каждое перо хищной птицы наполняется черной кровью.

Что могло стрястись там, под солнцем, с матерью и хозяйкой верхнего неба?

Крылья хищной птицы Пашкунджи, которые он выдалбливал на стене пещеры, иногда росли сами по себе, когда Хуц спал. Они вытягивались, обгоняя высеченные им ручьи времени.

Может, живая птица, кружа в воздухе, чувала, как изображает ее в пещере Хуц? Может, она мучилась от боли, гортанно кричала?!.. Исполинские крылья хозяйки неба росли в пещере, захватывали в страшные душащие объятия ряды идущих с серпами и мотыгами предков-виноградарей. Крылья несчастной птицы пытались в подземелье мрака задушить сплетенные каменные корни дуба.

Кровь на перьях птицы потрясла Хуца.

Может, Арзуман рассек птицу?!..

Или охотился на нее, свою мать, а она кричала кровью?

Арзуман осторожно подкрадывался к Тине, собирающей маки.

Маки темнели и дрожали. Они чували зло. Черным страхом был охвачен мак. А ведь сам мог усыпить навечно кого угодно.

Арзуман опоганил, склонив к близости, многих девушек Кахетии, напившись их юностью и девственной кровью. Смывая потоки крови птичьими острыми перьями.

И вот птицегадатель выбрал Тину, дочь подземного Хуца и грозной Кеонии. Он хочет победить ее, лишить девственности и, сделав своей любовницей, приблизиться к страшной и великой мечте.

Опоить маком Кахетию и захватить в рабство народ.

— Я буду верховной, кружащей в небе птицей и отцом сна! — Дрожал кадык.

Но захватив тело девушки в плен, надо еще отравить и сердце ее и кровь мучительной и вечной, все нарастающей жаждой сладострастья.

— Я один могу сделать Тину сладострастной! Я зрелый мужчина с коварным сердцем безжалостной птицы! Я птицегадатель Арзуман с темной, отравленной кровосмешениями душой!..

Оник играл на пастушеской свирели каменному маку заунывную песенку, словно собирая разбредшихся овец.

Взор Оника чернел кровинкой. Тоска росла в груди, резала ножом рот. Окровавленный рот юноши прижался к свирели.

Предчувствие терзало юношу. Тина гладила нежной рукой волосы Оника. Оник склонил голову.

Чудилось, от песни дрогнет каменный спящий мак и лепестки задышат, колыхаясь ветром.

Арзуман растоптал надежду. Чтоб отвлечь юношу, он пригнал сюда белую овцу песней пастушеской свирели и жалобой юного пастуха. Арзуман пырнул овцу ножом в шею. Заблела от страха овца, брызнула струйка крови.

Птицегадатель толкнул овцу вперед, привязав за веревку к своей руке, и незаметно повел ее, кружа, вокруг обломка окаменелого мака, где стояли Тина и возлюбленный жених.

Арзуман, спрятавшись в густой сочной траве, кружил овцу на веревке. Оник жалобно играл на свирели, боялся — вот прервется песня, овца упадет как подкошенная. Пастух думал, что свирель спасет умирающую белую овцу. Арзуман хитро запутал юношу и овцу веревкой, связал их крепко.

Юноша опустил перед умирающей овцой на колени. Кровь раненой овцы капала на лоб юноши, что играл на свирели.

Сердце Оника кричало.

Кто-то пырнул сердце наточенным ножом. Арзуман вырвал из рук Тины букет маков, пригрозил, что убьет Оника. Пусть она даст птицегадателю вкусить ее девственное тело.

Он прижал нож к виску юноши.

— Я зарежу твоего жениха как овцу! — прохрипел.

Овца билась в судорогах. Мак опоил Тину. Она вдохнула ночь, и потемнело в глазах. С вязким страхом, равнодушным испугом она смотрела на Арзумана.

Она спокойно легла в траву, зажмурилась, вздохнула, а потом стала страшно кричать, пораженная тем, как, очертя страшными перьями, хищно терзал он клювом ей грудь.

Он лез на нее, мужчина с лысой головой и темнеющими от злости глазами. Крепко держа в своих когтистых пальцах шею жертвы, пьянея, душил девушку зверь, добираясь девственного яблока. Грудь Арзумана дрожала перьями. Он терзал яблоко железным клювом. Яблоко блеснуло кровью.

Тина кричала.

Она кричала вместе с Арзуманом.

Она кричала от ужаса, а птицегадатель с желтыми глазами коршуна стоял. Мрачная радость пенилась на губах.

Арзуман овладел царицей сна!..

Юноша, посинев, дрожа, играл с надрывом на пастушеской свирели. Он прижал свирель ко рту одной вырвавшейся на свободу рукой.

Бледный, он смотрел, как голое девичье тело его невесты извивалось от сладости и боли змеей.

Оник в крови зарезанной, умирающей овцы. Свирель, казалось, прилипла к его губам.

Свирель пастуха пела, сзывая к себе одинокие заблудшие стада подземного мира.

Хуц валялся в пещере под стеной. Он хрипел.

Кровь его дочери капала с камня в разодранный криком рот.

Свирель жалобно пела.

В ответ ей мычали безутешно слепые коровы пещеры, принокхиваясь к окаменевшей траве.

ДИОНИСЭ И СОЛНЦЕ

Я — Дионисэ, плющом и виноградными гроздьями обвитый!

Я — Дионисэ, зовущий пролиться на мою грудь ахашенское красное вино.

Глаза мои, набухшие соком синей виноградины.

Я боюсь позднюю, кровавую, похмельную осень.

Я ухожу от солнца! Солнце понемножку забывает меня!
 Солнце почуяло мою близящуюся смерть! Солнце не хочет спасать меня.
 Солнце устало поить меня горящим медом. Жарко великому светилу! Солнце ждет моей последней, поздней смерти!
 Я юный бог с червоточиной смерти!..
 Я кровный родственник солнца!
 Погибни, Дионисэ, юноша, приговоренный к ужасу!

Солнце — робкая виноградина.

Солнце рождается из капельки меда. Умрет Дионисэ, и перестанет рождаться мед в ульях, исчезнут пчелы, умрет пчелиная семья.

Пойдут по Кахетии болезни, голод, отчаяние и сумасшествие! Без меда и вина умрет Кахетия! Пчела, рожденная из слезы Дионисэ!

— Не умирай, юноша-бог! — просят жужжащие пчелы. — Не умирай, озаренный воздухом летящий виноградник! Не умирай, брат наш бескрылый с огромными и наполненными слезами мальчишескими глазами! Деревня ждет, когда крестьяне, выжавшие из гроздей виноград в огромную бочку, дадут напиться и солнцу!

Солнце хочет напиться, праздновать и валять дурака вместе с опьяневшими буйными крестьянами!

Дай солнцу напиться из огромной бочки, кахетинец!

Гроздь кричит, истекая кровью:

— Дайте напиться солнцу!.. Я ведь родила этот урожай!

Крестьяне ждали от юноши-бога с седеющими висками и темнеющими бычьей кровью глазами великой и страшной жертвы.

— Я жажду сделаться крестьянином! — вздыхал Дионисэ.

Я согласен отдать свое тело на последнюю кровавую жертву! Зачем мой отец мрачный дуб гомборский?

Дуб ждет жертвы! Я на коленях приползу в лес к дубу, обниму его широкий ствол. На голову мне наденут венки из дубовых листьев. Я дышу прохладой дубовой коры. Я слушаю ворчанье старика-великана.

Старик давно испил хмельное вино. Казалось, что вино окаменело в стволе, а на самом деле кипело, молодело, искрилось. Вино любви.

Дуб! Меня гонят вон крестьяне! Я им надоел!

— Эй, ты! Жалкий бродяга! — кричат крестьяне. — Проваливай! Не ходи в нашу деревню, а то уьем!

Дуб! Я не могу больше быть богом!

Освободи меня от жребия! Вырви из моей груди сердце с пчелиными крыльями.

Пчела захлебывается в крови!

Я хочу как все обрабатывать землю и выращивать вино жизни!

Я хочу сделаться простым смертным крестьянином!

Эй, дуб, в огне не сгорающий и от воды не погибающий!

Я хочу жениться на велисцихской крестьянке и пусть у нас растут крестьянские дети!

— Эй, ты! — гудит дуб гомборский, обуянный гневом. — Великий зверь жертвенный и великий бог! Эй, Зверобог Кахетии! Сын дуба и внук мрачного леса! Что за позор? Что за малодушие! Валуны дрогнут на берегу и скалы льдистые расколются от твоего позора, от жалкого слова! Река пойдет вспять!

Кровь твоя, Дионисэ, сын мой, давно отравлена кахетинцами, кровь всех рек и ручьев, а ты стоишь на коленях и униженно просишь сделать тебя смердом-крестьянином?!

Опомнись! Страшная судьба ждет тебя, юный хозяин времени и пространства! Младенец виноградарства и виноделия!

Бог радости буйной и печали смертной!

Остановись! Или умоляю крестьян выколоть мне глаза! Вилами! Ты кахетинский бог, решивший сделаться богом-самоубийцей!

Это страшное проклятие!

Мы все, боги мертвые и живые, будем прокляты вспаханным полем!

Отец! Я хочу забыть рану крестьянского ножа на сердце! Обагранный острый нож крестьянина разрезал кольцо времени.

Нож крестьянина в жире, сале, древесине, хлебной пыли, ячменном духе, крови бараньей изрезал время своего крестьянского бога!

Я Дионисэ глиняный, песчаный, желудевый, известковый, пепельно-сизый от смутного горя и пугливой стрекозой радости: чую, как зверь, на сердце моем глухое и разоренное гнездо ран.

Гудит, как улей, мое потревоженное сердце! Сердце — разоренное гнездо моих ежеосенних убийств!

Это тягчайшая расплата за любовные ласки, за разнужданность. Даже лищицы, уходя на зиму в чащу леса, прощаются со мною и глядят на меня сожженными поздней предзимней любовью глазами, выцветшими как дикие голдные ягоды.

Отец мой дуб! Отчего у меня не было матери?!..

Я желудь.

Я боюсь, чтоб не склевали меня одинокие трезвые настороженные птицы, вырвавшиеся из горького похмелья!

Осень поздно-желтая с ржавыми пятнами заставляет меня умирать, умирать, умирать...

Тело мое худое и страшное от ножевых ран на груди.

Заглохли от пьяного бычьего рева притихшие виноградники.

Дубу гомборскому тяжело становилось от темных дремучих рассказов сына о бесконечных смертях, крона дрожала, ствол измучен жадной покоей и меда.

Каждая смерть сына была рождением нового среза, кольца времени, дышащего кровью невинно убитого всебога.

Младенец-бог с пеной ужаса в растарашенных глазах, дымящихся пожаром угасающего зеленого лета!

Дионисэ, кружась вокруг ствола отца, верил, что он погружался в глубокую смерть, в яму времени, и, зажмурившись, хрипло шептал дубу о том, как страшно ему умирать каждый раз осенью, полюбив женщину! Женщина, от которой можно родить сына, ком земли, пшеницу.

— Дурак! — насмеялся дуб. — Дурак! Хочешь превратиться в черного, забитого и жалкого от труда крестьянина, крепостного земли. Раба голодного желудка и воловьей скорби?

Вдыхал тяжело дуб и чуял, как ресницы бога-желудя дрожали капельками света и слез отчаяния, прощания. Сжимался горестно рот его беспробудной разлукой во мраке. Крестьянские жадные руки хватали бога-жертву за плечи, за шею, за голову, за волосы, за ноги. И тащили упирающегося бога сквозь ворох слетевшихся на казнь бледно-желтых и кроваво-оранжевых листьев, рвали тело молодого бога, ели и пили молодую горячую кровь ягненка с зелеными глазами.

Плакал умирающий юноша, как сливовое деревцо на рассвете над рекой.

Горький воловий пот проливался на землю. Дионисэ уплывал, уплывал замуляющимся пепельным сознанием в непроходимый мрачный лес.

Седой лес расставил для внука-мертвеца свои корявые объятия древнего старца.

Ждал дуб, когда же голос истерзанного крестьянскими ножами и пастушескими голодными собаками желудя долетит до него. Желудя отчаянный вздох летел через лес, продирался сквозь чащу леса — хозяина мертвецов и живых.

Дуб! Я отдаю тебе последний год моей жизни!

Я хочу забыть все круги моих убитых жизней. Ты всегда забирал назад подаренную мне жизнь!

Ты посылая меня на смерть. Ты отдавал меня в руки озверелых и пьяных крестьян!

А мог спасти меня из острых когтей коршуна!

Ты ждал, когда я провалюсь в яму.

Я — опаленный солнцем, воловьей шкурой немых песен труженика.

Однажды, когда я был желудем и свалился с ветви на землю, меня чуть было не подобрала молодая крестьянка. Она собирала в корзину желуди, чтоб накормить семью и свиней.

Я ощущал себя обыкновенным смертным желудем, и руки крестьянки, полюбившей меня, ласкали мое тело. Она собирала моих братьев и сестер под твоим стволом, бросая в плетеную корзинку. В голодные зимние ночи она изжарит желуди и будет кормиться с семьей.

Я обрадовался.

Пусть меня съедят. Я накормлю собой бедную семью. А ты хотел отдать меня крестьянам юношей поздним, осенним, зеленоглазым. Окровавленным!

Я хотел, чтоб меня унесли в корзине с моими братьями.

А ты вместо этого, стоило молодой крестьянке почуять мой лесной, овеванный томлением голос, ты сдул меня из корзины тяжким вздохом.

А потом, отпуская меня на осеннее трехдневное царствие на празднике Ртвели и казнь, ты забирал мое желудевое истертое в пыль тело, ты снова ел мою судьбу!

Дуб!

Дуб! Никогда больше не напоминай мне о моих прожитых жизнях!

О казнях!

О пробуждениях и снах кровавой поздней осенью!

Я прощаюсь навечно со счастьем абрикосового лета!

Я зову назад абрикосовое, птичье лето!

Я ползаю вокруг тебя, дуб, как червь! Дыши глубже на мои раны! Спасай мою грудь!

Хозяин! Крылатый дуб с семью крыльями!

Отец бога богов!

Отец Зверобога!

Зверобог!..



ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

*

В КУРГАНАХ БЕСХОЗНОГО СОРА

* *
*

По осени ветер стоустый,
трубя в онемевший рожок,
с небес галактический тусклый
сдувает тишком порошок.
В курганах бесхозного сора,
в снежке, согревающим персть,
в веселых глазах мародера
нездешняя чудится весть.
И в нашем отечестве тварном
все криминогеннее ад
бездонный — под светом фонарным
у самых церковных оград.

* *
*

.Спросится с нас сторицей:
смерть, где твое жало?
Небо над всей столицей,
как молоко, сбежало.

Лишь золотые тени
осени — Божья скрепа
в гаснущей ойкумене
гибнущего совдепа.

По облетевшей куце,
хлопьям ее кулисы,
не обойти бегущей
по тротуару крысы.

Теплются наши страхи
знобкие в гетто блочных.
Тоже и страсти-птахи
требуют жертв оброчных.

Все мы — тельцы и девы,
овны и скорпионы,
пившие для сугреву
по подворотням зоны,

перед вторым потопом
ныне жезлом железным,
чую, гонимы скопом
в новый эон над бездной.

В черные дни, на ошупь
узнанные отныне,
жертвеннее и проще
милостыня — Святыне.

* *
*

От лап раскаленного клена во мраке
червоннее Русь.
От жизни во чреве ее, что в бараке,
не переметнусь.

Ее берега особливей и ближе,
колючей жнивье.
Работая веслами тише и тише,
я слышу ее.

О как в нищете ты, родная, упряма.
Но зримей всего
на месте снесенного бесами храма
я вижу его.

И там, где, пожалуй что, кровью залейся
невинной зазря,
становится жалко и красноармейца,
не только царя.

Все самое страшное, самое злое
еще впереди.
Ведь глядя в грядущее, видишь былое,
а шепчешь: гряди!

Вмещает и даль с васильками и рожью,
и рощу с пыльцой позолот
тот с самою кроткою Матерью Божьей
родительский тусклый киот.



В. БОГОМОЛОВ

*

В КРИГЕРЕ

Повесть

Автор предупреждает: армия — это сотоварищество совершеннолетних, зачастую не успевших получить достаточного воспитания мужчин, сообщество, где ненормативная лексика звучит не реже, чем уставные команды, и, к примеру, пятая мужская конечность там не всегда именуется птичкой или пиписькой, случаются и другие обозначения, отчего ни пуристам от литературы, ни старым девам, дабы не огорчать себя, читать этот текст не рекомендуется.

А для любви там, братцы... и для семейной жизни... Дунька Кулакова... белые медведицы и ездовые собаки!.. Если, конечно, поймаешь... и если не отгрызут...

*Из рассказа офицера-артиллериста
на станции Владивосток в полдень
3 октября 1945 года.*

Таб недавно образованного Дальневосточного военного округа должен был дислоцироваться на Южном Сахалине, во Владивостоке же, метрах в ста пятидесяти от железнодорожного вокзала на запасных путях, в пассажирских вагонах помещалась так называемая оперативная группа отдела кадров. Рядом с составом, на сколоченных из горбыля столиках, офицеры заполняли краткие анкеты, возникавший то и дело в тамбуре сухощавый немолодой старшина, малословный, недоступный и полный сознания значительности своей роли и положения, слегка наклонясь, забирал листки и личные документы и спустя некоторое время, выкликая воинское звание и фамилию, приглашал в вагон.

Зачисленные по прибытии во Владивосток в батальон резерва офицерского состава, мы размещались на окраине города, за Луговой, в походных палатках-шестиклинках, расставленных рядами прямо на склонах Артиллерийской сопки. Рано утром мы уходили и днями бродили по этому необычному оживленному портовому городу, с любопытством разглядывая тыловую гражданскую жизнь в различных ее проявлениях, чуждую для нас и непривлекательно скудную. Посидев однажды вчетвером в особторговском ресторане «Золотой рог», мы вылезли оттуда ошарашенные и травмированные душевно несусветными ценами, обилием красивых, шикарно одетых женщин и бессовестностью официантов и в дальнейшем обедали на станции, в столовой военного продовольственного пункта, где кормили из привычных, припахивающих комбижиром алюминиевых мисок, впрочем, довольно сносно; запомнилось, что там время от времени культивировались развлекательные моменты: молодых толстозадых подавальщиц желающие — те, кто понахальнее, — улучив минуту, хватали за ляжки и ягодицы.

После обеда мы часами толкались на путях, около вагонов, в которых находились кадровики, прислушиваясь к разговорам да и расспрашивая сами

Сведения, сообщаемые офицерами, уже получившими назначения на должности, оказывались разными и преимущественно малоутешительными. Так, стало известно, что вернуться назад для службы в европейской части страны, а тем более в одной из четырех групп войск за рубежом, было практически невозможно, делалось это лишь в порядке редчайшего исключения, но что конкретно требовалось для такой исключительности, какие мотивы и документы, никто толком не знал и объяснить не мог. В связи с близким окончанием навигации происходила поспешная переброска шести или семи стрелковых дивизий и горно-стрелкового корпуса на Чукотку, Камчатку, Курильские острова и Сахалин, причем в частях перед убытием все время возникал значительный некомплект командного состава — многие офицеры загодя, до отправки пароходами в отдаленные местности, проходили во Владивостоке гарнизонную медкомиссию и добивались ограничений и справок о противопоказаниях для службы на Севере, что давало возможность остаться на материке.

Вакантные должности заполнялись за счет переменного состава батальона резерва и оттого в палатках на Артиллерийской сопке разговоры до ночи вертелись главным образом вокруг получения новых назначений и возможных повышений, назывались при этом и лучшие по климату, бытовым условиям и близости к Владивостоку гарнизоны, куда правдами и неправдами следовало стараться попасть — Угольная, Раздольное, Уссурийск, Шкотово, Манзовка...

Настроение у большинства офицеров было однозначное. После четырех лет тяжелейшей войны и круглосуточного пребывания в полевых условиях, после четырех лет, проведенных в блиндажах, землянках, окопах, болотах, в лесах и на снегу, всем хотелось хорошей, негрязной, если и не полностью комфортной, то хотя бы с какими-то простейшими удобствами жизни в городах или обустроенных гарнизонах. Даже двойной оклад денежного содержания и двойная же выслуга лет, особый северный паек повышенной калорийности и ежедневные сто граммов водки — небывалые льготы, установленные только что специально для Чукотки, Камчатки и Курильских островов приказом Наркома Обороны, доводимым в обязательном порядке до всего офицерского состава, соблазняли на службу в отдаленные местности лишь немногих.

В бесконечных разговорах и на станции возле вагонов, где заседали кадровики, и вечерами в палатках более всего пугали Чукоткой и Курильскими островами, свирепыми пургами, нескончаемыми морозами и снегом — «двенадцать месяцев зима, а остальное — лето», — пугали отсутствием какого-либо жилья, даже землянок и полным отсутствием женщин, которых, как к моему недоумению и растерянности обнаружилось, там будто бы заменяли белые медведицы. В частности, о Чукотке вслух сообщалось, что там «тысяча рублей не деньги, тысяча километров не расстояние, цветы без запаха, а белые медведицы — без огонька» или что там «жизнь без сласти, а медведицы без страсти...». Так, например, примелькавшийся за эти дни, всегда хорошо податый, худой горбоносый старший лейтенант-артиллерист, якобы служивший на Чукотке, стоя на путях в окружении десятков офицеров, живописал поистине кошмарное тамошнее житие и в заключение взволнованно сообщил:

— А для любви там, братцы... и для семейной жизни... Дунька Кулакова* ... белые медведицы и ездовые собаки... Если, конечно, поймашь... — говорил он — ...и если не отгрызут... — для большей ясности он указал рукой на свою ширинку, зажмурив глаза, захлопал носом и от отчаяния и безвыходности, прикрыв локтем лицо, жалобно, громко заплакал.

Перед тем я с еще тремя офицерами побывал во Владивостокском краеведческом музее, где разительное щемящее впечатление на меня произвел огромный стенд с дореволюционными фотографиями, озаглавленный «Сахалин — место каторги и ссылки!». На большей части снимков были изображены мрачного вида с заросшими недобрыми лицами полуголые мужчины с нательными крестами, прикованные цепями к тачкам, или долбящие в поте лица каменистый грунт киркомотыгами, или выворачивающие и перетаскивающие вдвоем втроем валуны или обломки скал.

Экскурсовод, невысокая с прокуренными желтыми зубами и хриплым голосом женщина в старенькой, лоснящейся сзади юбке и разваливающимися ко-

* Дунька Кулакова — жаргонное казарменное обозначение онанизма.

жимитовых полуботинках, сообщила, что Антон Павлович Чехов в начале века посетил Сахалин и, как она сказала, «лучом либерального гуманизма высветил беспросветное положение жертв самодержавия». С ее слов следовало понимать, что эти люди на фотографиях были революционерами и еще более сорока лет назад боролись против царя за светлое будущее человечества.

Я стоял рядом с экскурсоводом и, слушая ее, рассматривал снимки на стенде с особым вниманием и волнением. В молодости дед провел на каторге девять лет, в доме об этом старались не вспоминать и во всяком случае при мне никогда не говорили, но однажды, в возрасте лет семи, я проснулся к ночи на полатях и прослушал рассказ бабушки дядшке Афанасию. Тогда-то я и узнал, что дед, отпущенный после русско-японской войны на побывку, угодил домой в Крещение на престольный праздник, напился и вместе со всеми пошел на реку, на лед драться с парнями из соседнего села и двух из них убил. Как говорила Афанасию бабушка, убил дед якобы только одного, а второго ему «навесили», чтобы вытащить сына сельского старосты, и грозило деду двадцать лет каторги, а дали двенадцать потому, что дед имел за войну два солдатских георгиевских креста и к тому же убил он не ножом и не свинчаткой или дреколем, а кулаком, и злого умысла будто бы не было — хотел «ошелушить», но не рассчитал.

Я не имел реального понятия о том, что такое каторга, не представлял конкретно, в каких условиях находятся там люди и что они там терпят и переживают, и, хотя наказание дед отбывал не на Сахалине, а в Сибири, от жалости к нему при виде фотографий на стенде я ощутил душевную стесненность, а погода защемило и сердце.

То, что люди на снимках, как рассказывала экскурсовод, были революционерами и борцами за светлые идеалы человечества, вызвало у меня из-за ряда обстоятельств немалые сомнения. У нескольких из них на груди, на предплечьях и даже на животе отчетливо смотрелись не раз виданные мною типичные воровские татуировки, вроде вопроса: «Что нас губит?» и наколотого ниже ответа в виде карт, бутылки и женских ног, можно было разобрать и другие характерные для уголовников татуировки: «Нет счастья в жизни», «Не забуду мать старушку», у одного, бородатого, весьма злобного мужчины, над левым соском было выколото сердце и рядом короткие предупреждения: «Не тронь!», «Разбито!». В ночном рассказе бабушки Афанасию мне врезалось в память, что дед, как убийца, был обязан с рассвета и до ночи носить кандалы и они до крови растирали ему ноги, так вот и большинство запечатленных на фотографиях работало в кандалах, причем у многих из них были жутковатые, угрюмо-злые лица бандитов или убийц.

Когда при выходе из музея мы посмотрели по карте, то обнаружили, что остров Сахалин, куда при царе ссылали опаснейших преступников, совсем недалеко от Владивостока, для чего же тогда предназначалась Чукотка, которая была раза в четыре дальше, а главное — севернее?.. Туда-то, на самый край света, кого и за какие провинности отправляли?.. Если Сахалин — «место каторги и ссылки», чем же была Чукотка, место наиболее отдаленное и, судя по слухам и рассказам, чудовищное, гиблое?.. Я не боялся ни пург, ни морозов, был готов переносить любые лишения и опасности и в себе ничуть не сомневался, однако мысль о том, что в офицерском сообществе вблизи меня могут оказаться слабодушные, безвольные людишки, способные унизиться до Дуньки Кулаковой, способные опуститься до физической близости с белой медведицей или ездовой собакой и тем самым омерзотить честь и достоинство офицера, совершенно ужасала.

Отрадным или утешительным оказалось то, что, как выяснилось достоверно, личных дел офицеров, прибывших с Запада, в частности из Германии, в оперативной группе отдела кадров не было. И потому, заполняя анкету, я, после нелегких размышлений и колебаний, скрыл отравление метиловым спиртом со смертельным исходом у меня в роте и, естественно, не указал, что был за это отстранен от занимаемой должности и чуть не угодил под Валентину*. Также пошел я на подлог и в графе «Образование (общее)», написав «10 классов», хотя окончил всего восемь. Разумеется, я знал, что офицер не дол-

* Валентина, или Валентина Трифионовна, сокращенно ВэТэ, — жаргонное обозначение Военного Трибунала.

жен и, более того, не имеет права даже в мелочах обманывать командование и вышестоящие штабы, и решился на обман исключительно с чистой и высокой целью — попасть в Академию имени Фрунзе, слушателем которой я ощущал себя после сдачи предварительных экзаменов в казарменном городке на Эльбе, юго-восточнее Виттенберге, уже четыре с половиной месяца, причем с каждым днем все более и более.

Отдав заполненный с обеих сторон листок и личные документы старшине — он положил их в одну из стареньких дешевых папок, что были у него в руке, и унес, — я в ожидании вызова принял расхаживать взад и вперед близ вагона, время от времени посматривая на тамбур. Внезапно сильнейшее волнение охватило меня. Мне вдруг пришло на ум то, о чем я, будь поособобразительнее, мог бы подумать загодя: раньше или позже эта анкета по логике вещей должна попасть в мое личное офицерское дело, и тогда я с позором буду уличен в подлоге. Время тянулось мучительно долго, старшина появлялся несколько раз, выкликая офицеров, однако моя фамилия почему-то не называлась, и овладевшая мною душевная, а точнее, нравственная ломка усугубилась гадким предчувствием, что мои «художества» в анкете уже обнаружены и в вагоне меня ожидают небывалые неприятности.

Старшина возник в дверном просвете тамбура, наклонясь, взял анкеты и личные документы у трех офицеров, ожидавших его возле ступенек вагона, и, заглянув в бумажку, выкрикнул:

— Старший лейтенант Федотов!.. Капитан Дерюгин!..

В десятый, наверное, раз одернув шинель и поправив пилотку — моя фуражка пропала на складе в госпитале, — не забывая морально поддерживать себя и мысленно повторяя: «Аллес нормалес!.. Где наше не пропадало, кто от нас не плакал!», я поднялся в тамбур, увидел широко, до упора, отведенный створный угол — для свободного проноса носилок — сразу сообразил: «Кригер!», и настроение у меня если и не упало, то подломилось, хотя какое это могло иметь значение для сути дела, для определения моей дальнейшей судьбы?..

Да, это был кригер, четырехосный со снятыми внутренними перегородками пассажирский вагон для перевозки тяжелораненых, оборудованный вдоль боковых стенок станками для трехъярусного размещения носилок, — в точно таком кригере, в сентябре прошлого года меня, пробитого пулями и осколками мин, умиравшего или, во всяком случае, отдававшего богу душу и по суткам не приходившего в сознание, везли из Польши, с висленского плацдарма в далекий тыловой госпиталь. Вторая половина вагона была отделена сверху до пола плащ-палатками, и оттуда все время слышались голоса — там получали назначения командиры взводов.

В той половине, куда я попал, за маленькими обшарпанными однотумбовыми столиками сидело четверо офицеров. Позднее вспоминая и анализируя тот час, когда в кригере решалась моя дальнейшая судьба, я понял и уяснил, что все там делалось не с кондачка, все было продумано и предусмотрено, в частности, например, и такое немаловажное обстоятельство.

В послевоенное время фронтовиками — с целью добиться своего — частенько и не всегда обоснованно предъявлялись претензии, упреки или обвинения мужчинам, находившимся в тылу, в том числе и офицерам, для чего существовало вступление, исполняемое в порядке артиллерийской подготовки, с остервенением, на банально-популярный мотив: «Мы четыре года кровь мешками проливали, из братских могил не вылезали, а вы здесь, гады, баб скребли — днем и ночью пистонили! — и водку под сало жрали!..»

Никому из находившихся в кригере кадровиков вчинить подобное было просто невозможно. У старшего — подтянутого, предвзвительного подполковника с приятным, добродушным лицом, из правого рукава гимнастерки вместо кисти руки торчал обтянутый черной лайкой протез. Вид сидевшего влево от него коренастого темноглазого гвардии майора с зычным громоподобным голо-

* Название соответствует существовавшему в те годы, хотя по сути неточно: в других странах с первой мировой войны вагоны для тяжелораненых оборудовались станками Кригера с кронштейнами для двухъярусного расположения носилок или специальных коек, однако в Советском Союзе с 1942 года такие вагоны оснащались исключительно станками для трехъярусного размещения тяжелораненых, чем достигалась большая эвакуационная вместимость — 30 и даже 36 человек вместо 20 в кригере.

сом был без преувеличения страшен: обгорелая, вся в багровых рубцах большая лобастая голова, изуродованная ожогом сверху до затылка и столь же жестоко сбоку, где полностью отсутствовало левое ухо — вместо него краснело маленькое бесформенное отверстие. И наконец, у сидевшего по другую сторону от подполковника загорелого, с пшеничными усами капитана глубокий шрам прорезал щеку от виска до подбородка и, видимо, из-за поврежденной челюсти рот со вставленными стальными зубами был неприглядно скошен набок, и говорил он заметно шепелявя. На гимнастерках у всех троих имелись орденские планки и нашивки за ранения, у гвардии майора целых семь, из них две — желтые.

Четвертый офицер — старший лейтенант с бледным малоподвижным лицом, в гимнастерке с орденом Отечественной войны, красной нашивкой за легкое ранение и артиллерийскими погонами — помещался особняком от остальных, за столиком, стоявшим вправо от входа, торцом к окну и прикрытым от вызываемых в кригер плащ-палаткой. Именно ему старшина приносил и передавал тонкие засаленные папочки с анкетами и личными документами получивших назначение. Увидев у него в руке большую в черной оправе лупу, которой он пользовался, просматривая документы, я предположил, что он из контрразведки, и эта догадка сохранилась у меня в памяти.

Нас, вызванных, стояло посредине отсека, в затылок один за другим, четверо, и это тоже, очевидно, было продумано, чтобы передний, с которым беседовали, спиной ощущал стоящих сзади него, отвечал на вопросы коротко, по существу, не рассусоливал и не пускался в ненужные кадровикам сокровенные, вымогательные разговоры с выпрашиванием себе должности и места службы получше, да и делать это при свидетелях, братьях офицерах, было, разумеется, неподручно.

Капитан со шрамом на щеке и перекошенным ртом зачитывал анкетные данные стоящего впереди офицера; за плащ-палатками, в другой половине вагона, какой-то лейтенантик жалобно говорил о наследственной предрасположенности своей жены к туберкулезу и повторял: «Север ей противопоказан — категорически! Понимаете, категорически!» — в ответ послышалось недовольное: «Чем это подтверждается?» — и затем, чуть погодя, более энергичное и с раздражением: «Не задерживайте!.. Короче!..»

Через минуты, по сути, должна была решаться и моя судьба, и следовало предельно сосредоточиться для предстоящего ответственного разговора и прежде всего для отстаивания своего права поехать в академию, а мне вдруг втемяшилась в голову какая-то бредовая муть, ну чистойшей мутяра, меня как заиклило: я напряженно соображал и никак не мог вспомнить, на каком именно станке — на втором или третьем от входа в кригер — помещались носилки, на которых год назад по дороге из Польши в тыловой госпиталь я отдавал богу душу, а он ее не брал и так и не принял, хотя все было подготовлено, и в вагоне для тяжелораненых я, как и другие безнадежные, был по инструкции предусмотрительно определен на нижний ярус, именуемый медперсоналом низовкой, или могильником, откуда труп легче было снять для оставления этапной комендатуре на ближайшей узловой станции для безгробового и безымянного казенного захоронения...

— ...Да на вас пахать можно! — послышался в другой половине вагона возмущенный повелительный голос. — А вы на здоровье жалуетесь!.. Уберите вашу бумажку — это муде на сковороде!..

Если в том отсеке кригера, где я находился, кроме ротных получали назначения также командиры батальонов, их заместители и начальники штабов, преимущественно капитаны и даже майоры, люди бывалые, в большинстве своем воевавшие и в Европе и в Маньчжурии, то в другой половине, за плащ-палатками, определялись судьбы, а точнее, места дальнейшей службы взводных командиров, в основном молоденьких офицеров, в том числе выпускников военных училищ, и, как я вскоре заметил, обращение и разговоры там были более напористыми и жесткими, если даже не грубыми, и заметно более короткими, анкетные данные там не зачитывались, все делалось стремительно и с непрестанным категорическим нажимом. Не знаю, сколько там было кадровиков, но громко и напористо звучали все время два властных командных голоса: один басовитый, заметно окающий и другой — звучный, охриплый баритон,

причем оба они в качестве безапелляционного довода для утверждения своей правоты или опровержения то и дело возмущенно выкрикивали запомнившееся мне на всю жизнь словосочетание: «Это муде на сковороде!..», а хриплый голос настороженно спрашивал кого-то, произнося «ы» вместо «и»: «Вы что — мымоза?!..» Естественно, в разговорах там, точнее, в репликах кадровиков время от времени возникала и пятая мужская конечность в ее самом коротком русском обозначении.

Хотя большинство взводных по возрасту были старше меня, я испытывал к ним, как к меньшим по должности, сочувствие и жалость, однако ничуть тогда не представлял, что и спустя тридцать и сорок пять лет я не смогу без щемящего волнения смотреть на молоденьких лейтенантов: и спустя десятилетия в каждом из них мне будет видеться не только моя неповторимая юность — и в мирные годы, даже на улицах Москвы, в каждом из них мне будет видеться Ванька-взводный времен войны... безответный бедолага — пыль окопов и минных предполий...

Словно сбрендивший или чокнутый, я переводил глаза со второго от входа станка к третьему и обратно, безуспешно напрягал память и никак не мог припомнить, и тут майор с обгорелой одноухой головой, заметив мой ищущий напряженный взгляд, перегнувшись, посмотрел вниз, влево от своего столика и, нервно дернув щекой, громогласно спросил:

— Что там?.. Крыса?

— Никак нет! — покраснев, будто меня уличили в чем-то нехорошем, отвечал я. — Виноват... товарищ майор...

В это как раз мгновение и прояснилось — будто осенило — я наконец определил, что носилки, на которых меня, тяжелораненого, везли с висленского плацдарма, помещались на нижних кронштейнах третьего, а не второго от входа станка, и очень захотелось посмотреть туда, вниз, однако опасаясь, что майор снова заметит, я уже не решился.

Оба офицера передо мной жаловались на болезни жен, на ранения и контузии, ссылались на медицинские справки, находившиеся в их папочках, правда, назначения в европейскую часть страны или «в умеренный климат», как они просили, им получить не удалось, однако одного, более настойчивого, после ознакомления с его документами направили на гарнизонную медицинскую комиссию, второго же, которому предложили поначалу Камчатку, убедили согласиться на Южный Сахалин.

Но прежде чем он дал согласие, в другой половине вагона случился конфликтный, на повышенных тонах разговор, который не мог ни улучшить мне настроение, ни прибавить боевого духа.

— Это муде на сковороде!.. Вы кому здесь мозги засераете?.. — раздался там, за плащ-палатками, возмущенный охриплый баритон. — Вы годны к строевой службе без ограничений! Вот заключение!.. Вашим лбом башню тяжелого танка заклинить можно, а вы здесь хер-р-рувимой, прынцессой на горошине прикидываетесь!.. Климат не подходит!.. Вы что — студентка?.. — произнеся в последнем слове «ю» вместо «у», как это было принято среди офицерства в сороковые годы, настороженно и с явным презрением осведомился тот же властный с хрипом баритон. — Может, вам со склада бузгальтер выписать, напиз.ник и полпакета ваты?.. Что, будем мэнструировать или честно выполнять свой долг перед Родиной?

— Виноват, товарищ капитан... — жалко проговорил за плащ-палатками сдвленный извиняющийся голос.

— Виноватыми дыры затыкают! А мы вас не в дыру посылаем, а в заслуженную ордена Ленина дивизию! Гордиться надо, а не базарить и склочничать!.. Курильские острова — наш боевой форпост в Тихом океане! Передовой рубеж! Это огромное доверие и честь для офицера! Гордиться надо! Гордиться и благодарить!.. Двойной оклад, двойная выслуга лет, паек — слону не сожрать! — и сто грамм водки в глотку — ежедневно!.. И какого же тебе еще хера надо?.. — переходя на «ты», доверительно и не без удивления спросил все тот же охриплый, повелительный баритон и после короткой паузы приказал: — Явитесь за предписанием завтра к пятнадцати ноль-ноль! Идите!..

...Наконец наступил и мой черед. Из замызанной папочки с моими документами капитан взял заполненный мною анкетный листок и шелестявой скороговоркой зачитал:

— Старший лейтенант Федотов... рождения — двадцать пятого, уроженец Московской области, русский, комсомолец... Общее — десять классов, военное — пехотное училище... Стаж на командных должностях в действующей армии... Командир взвода автоматчиков — четыре месяца... Командир взвода пешей разведки — девять месяцев... Командир разведроты дивизии — четыре месяца... Командир стрелковой роты — в Маньчжурии — один месяц... В плену и окружении со слов не был, на оккупированной территории не проживал... Со слов не судим, дисциплинарных и комсомольских взысканий якобы не имеет... Награжден четырьмя орденами, медаль «За отвагу» и другие... Ранения: три легких и одно тяжелое, контузии — две легких и одна тяжелая... Семейное — холост... Заключение от двадцать пятого сентября: годен к строевой службе без ограничений...

— Холост и годен без ограничений! — с явным удовлетворением повторил подполковник, протянув левую руку и забирая у капитана мою анкету. — Вот кому служить и служить — как медному котелку!

— Разрешите обратиться...

— Надо надеяться, что выпадением памяти, матки и прямой кишки не страдает и жалоб на здоровье нет... — перебив меня и ни к кому, собственно, не обращаясь, как бы рассуждая вслух, неторопливо и не без оттенка шутовщины проговорил подполковник, просматривая мои анкетные данные.

— Так точно! — подтвердил я. — Разрешите доложить...

— Хорошая биография... — снова перебивая меня, заметил подполковник и, подняв голову, уточнил: — Перспективная!.. Есть соображение назначить вас командиром роты автоматчиков в прославленное трижды орденосное соединение, — приподнятым голосом значительно проговорил он. — Служить там — высокая честь для офицеров, и с таким боевым опытом, как у вас...

— Разрешите, товарищ подполковник... В мае месяце... в Германии я сдал предварительные экзамены в Академию имени Фрунзе, прошел собеседование и...

— Не тормозите!.. — вскинув страшную обгорелую голову и глядя на меня мрачно и, более того, с неприязнью, вдруг недовольно воскликнул или даже вскричал майор. — Вы что — фордыбачничать?.. Кар-роче!

Я в то время еще не знал значения глагола «фордыбачить» — майор почему-то произносил «фордыбачничать» — только сообразил, что это нечто недостойное офицера, однако не использовать казавшуюся мне столь реальной возможность поехать в академию в Москву я просто не мог.

— Прошел собеседование и двадцать второго мая приказом командующего семьдесят первой армии зачислен кандидатом в слушатели... — продолжал я, несколько сбивый недоброжелательным выкриком майора. — Я должен прибыть в академию!.. Меня там ждут...

— Вам сказано — кар-роче!!! — снова вскинув изуродованную голову, закричал майор возбужденно, с таким раздражением и неприязнью, что я осекся. — Вам объяснили, а вы опять?!!

— ...У меня мама инвалид первой группы... нуждается в постоянном уходе, — слышался за плащ-палатками в той половине кригера писклявый, совсем не офицерский, просительный голос очередного взводного. — Отец погиб, и она полностью одна... Понимаете — полностью! Прошу вас, товарищ капитан, душевно... по-человечески... Прошу оставить меня в Хабаровске или неподалеку от него, чтобы я мог...

— Вы здесь матерью не спекулируйте! — строго и недовольно зазвучал в той половине вагона окающий басовитый командный голос. — Вы не на базаре!.. О вашей мамочке райсобес позаботится — советская власть еще не кончилась!.. А ваша обязанность — не канючить здесь как майская роза и не шантажировать старших по званию чужой инвалидностью, а честно выполнять свой воинский долг!.. Лично вы годны к строевой службе без ограничений!.. Явитесь за предписанием завтра к пятнадцати ноль-ноль! Идите!..

В этот момент старшина, положивший на стол старшему лейтенанту документы очередных офицеров, взял у подполковника какую-то бумагу и, про-

сматривая ее на ходу, поравнявшись со мной, вполголоса недовольно сказал, как в ухо дунул: «Не задерживайте!»

Позднее я сообразил, что в обеих половинах кригера это были отработанные в обращении уже с сотнями или тысячами офицеров безотказные конвейерные погонялки: резкое, отрывистое «Короче!»; требовательное, приказное «Не задерживайте!» или «Не тормозите!», осаживающее, унижительное «Вы не на базаре!» и удивленно-возмущенное, наповал уличающее любого в тупости или наглости «Вам объяснили, а вы опять?!!». В нашей половине вагона подстегивали таким образом офицеров обгорелый майор — он делал это неприязненно, раздраженно и зло; капитан — сдержанно и устало, как бы по обязанности; и сухощавый старшина — строго и осуждающе, хотя ему-то по званию торопить нас, а тем более делать замечания не полагалось. Ни подполковник, ни разглядывавший в лупу наши документы старший лейтенант в этом участия не принимали, последний, как я заметил, расписывался или что-то помечал на анкетных листах, но за время моего нахождения в кригере, помнится, и слова не проронил.

Когда я сообщил, что меня ждут в академии в Москве, подполковник и усатый капитан дружно заулыбались, а старший лейтенант, отведя край плащпалатки, с веселым интересом посмотрел на меня, только майор глядел по-прежнему мрачно, с откровенной неприязнью или, как мне показалось, даже с ненавистью. Затем подполковник, подперев подбородок левой целой рукой и не проронив ни слова, уставился в мою анкету, остальные офицеры тоже молчали.

— А чем это подтверждается? — подчеркнуто вежливо и доброжелательно наконец осведомился он. — У вас есть какой-нибудь документ?

— Какой? — не понял я. — Я все отдал старшине.

— Любой. Подтверждающий, что вы зачислены кандидатом в слушатели.

— Был... Справка была... — покраснев, проговорил я. — Честное офицерское...

Я и сам понимал, сколь неубедительно все это выглядело. Я сказал о выданной мне справке, подтверждавшей мое абитуриентство, — в ней действительно удостоверялось, что, сдав предварительные экзамены, я оформлен кандидатом в слушатели Военной академии имени Фрунзе, и указывалось, где находится мое личное офицерское дело — откуда его можно затребовать. Но справки этой у меня уже не было: хранившаяся в правом кармане гимнастерки вместе с двумя или тремя красненькими тридцатирублевками, она пропала в медсанбате при дезобработке моего обмундирования в сухожаровой вошебойке. Разумеется, вытащили ее вместе с деньгами, а потом за ненужностью уничтожили или выбросили; волнуясь, я объяснил, как и при каких обстоятельствах она исчезла, однако чувствовал и понимал, что ни один из кадровиков мне не верит и что без этой бумажки я никому ничего доказать не смогу...

— Так что же там прожаривали: вшей или документы? — оскаливая стальные зубы и заметно пришепегывая, весело спросил капитан со шрамом на щеке и, довольный, посмотрел на подполковника. — Чудеса да и только! Справочка ужалась и сгнула без следа, а гимнастерка цела...

— Так точно! — вдруг в тупом отчаянии убито подтвердил я, хотя следовало бы промолчать.

— Старшой, кончай придуриваться! — задышал мне в затылок водочным перегаром молодой мордатый капитан с густо присыпанным пудрой или мукой багровым кровоподтеком на левой скуле. — Нас ждут белые медведицы... Кончай придуриваться!

Свой брат, офицер, а туда же... Впрочем, каким он мог быть мне братом, недоумок, по пьянке схлопотавший фингал и тем самым позоривший офицерский корпус?.. В другой обстановке ему следовало бы вломить словами майора Елагина: «Вас не скребут, и не подмахивайте!» — но тут, презирая его не только душой, но и спиной и даже ягодицами, я проигнорировал его реплики, будто и не слышал.

В эту минуту старшина принес чай на черном расписном китайском подносе и поставил на столиках перед каждым из офицеров по полному стакану в металлическом подстаканнике и по блюдецку, в котором кроме двух крохотных кубиков американского сахара лежало по круглой маленькой булочке. Все чет-

веро, опустив сахар в стаканы, принялись размешивать ложечками, лица у них смягчились и вроде даже потеплели, и я пожалел, что они занялись этим только сейчас, а не минут на десять раньше — может, тогда, подобрев после чаепития, они благосклоннее бы и без насмешливых улыбок начали и вели бы со мной не оконченный еще разговор.

— ...Курильские острова — наш боевой форпост в Тихом океане! — громко звучал за плащ-палатками все тот же властный хриплый баритон. — Передовой рубеж! Гордиться надо, а не базарить и склочничать!.. Двойной оклад, двойная выслуга лет, паек — слону не сожрать! — и сто грамм водки в глотку — ежедневно!.. И какого же тебе еще хера надо?!

...Мне бы, молодому недоумистому мудачишке, радоваться, что я прошел такую войну и остался жив и годен к строевой службе без ограничений, мне бы радоваться, что я не убит где-нибудь на Брянщине — под Карачевом, Клинцами или Унечей, а может, где-нибудь на Украине — севернее Киева, или под Житомиром, или намного южнее: под Малыми Висками или Лелековкой, или, может, где-нибудь в Белоруссии — под Оршей, Минском или Мостами, а может, где-нибудь в Польше — у Сувалок, под Белостоком или на Висле, а может, где-нибудь в Германии — под Цюлихау, на Одере, севернее Берлина или уже на подступах к Эльбе, или, наконец, в Маньчжурии — под Фуцзинем, Сансином или Харбином... Мне бы, недоумку, радоваться, что я не убит в боях во всех этих местностях и еще в десятках или сотнях известных и неизвестных населенных пунктах и за их пределами — в полях, лесах и болотах, мне бы радоваться, что меня еще не сожрали черви, что мои кости не гниют и не белеют где-нибудь в канавном провале наспех кое-как отрытой братухи — безымянной и бесхозной, никому не нужной братской могилы и что из меня еще не вырос лопух или крапива, что я жив, здоров и полон силы и ловкости в движениях, и все мышцы упруги и необычайно выносливы, а прекрасные гормоны уже начали положенное природой пульсирование и будоражили кровь — еще весной наконец проклюнулось и время от времени меня охватывало скромное стыдливое желание ощутить теплоту женского тела, причем не только снаружи, но и внутри, хотя волею судеб я находился в той стадии юношеского развития, когда это пушистое чудо... таинственный лонный ландшафт... самое сокровенное... неведомое пока тебе и потому особенно притягательное возникает только во сне — как сказочная фантазмагория — и пугает или поражает своей причудливой нереальной фактурой, фантастичной формой и размерами, отчего просыпаешься в жаркой испарине и в полном обвальном разочаровании... Мне бы в этом кригере преданно есть глазами начальство, тянуться перед каждым из них до хруста в позвоночнике, выкрикивать лишь уставное: «Слушаюсь!.. Так точно!.. Слушаюсь!..» — и при этом столь же преданно шелкать каблуками, а я, нелепый мудачишка, словно был не боевым офицером, а жалким штатским, недоделанным штафиркой, фраером в кружевных кальсонах, забыв один из основных законов не только для армии, но и для гражданской жизни: «Главное — не вылезать и не залупаться!» — пытался отстоять свое право учиться в академии и упорно, беззастенчиво залупался, рассусоливал и пусть без грубости, но фактически пререкался со старшими по званию и по должности, чего до сих пор никогда еще не допускал...

Усатый со шрамом капитан, подув на горячий чай, с явным удовольствием сделал глоток, отпил еще и после короткой паузы в задумчивости, будто припоминая что-то далекое, огорченно проговорил, поворачивая лицо к подполковнику:

— Удивительно узкий кругозор — полметра, не шире!.. Как он разведротой командовал — уму непостижимо!

Подполковник посмотрел на него, как мне показалось, сочувственно, однако ничего не сказал, и тотчас свирепый мрачный майор, не поднимая от стакана одноухой, в багровых рубцах головы и ни к кому, собственно, не обращаясь, громогласно заметил:

— Нет ума — считай калека!!!

Хотя никто из них и не взглянул на меня, разумеется, я сообразил, что оба высказывания относились ко мне лично и для офицерского достоинства являлись оскорбительными, а второе к тому же явно необоснованным: в то время как военно-врачебной комиссией армейского эвакогоспиталя в Харбине я был

признан годным к строевой службе без каких-либо ограничений, о чем имелось официальное заключение на форменном бланке с угловым штампом и гербовой печатью, майор облыжно причислил меня к калекам, вчинив при этом — на людях! — умственную неполноценность... За что?!. Я понимал, что меня дожидают и, очевидно, дожмут. Монетка вращалась на ребре все медленнее и в любое мгновение могла улечься вверх решкой, а я был бессилён овладеть ситуацией и, как и в других случаях, когда жизнь жестоко и неумолимо ставила меня на четыре кости*, ощущал болезненно-неприятную щемящую слабость и пустоту в области живота и чуть ниже.

Даже в эти напряженные минуты я достаточно реально оценивал обстановку и самого себя. Как известно, по одежке встречают, а выглядел я весьма непредставительно. Если в дивизионном медсанбате пропала только справка и немного денег, то при выписке из армейского госпиталя, куда нас перевели там же, в Харбине, обнаружилось исчезновение фуражки и сапог. Вскоре после того, как мы туда попали, в приступе белой горячки застрелился сержант, заведующий госпитальным вещевым складом, и на его самоубийство, очевидно, тут же списали как недостачу и растащили лучшее из офицерских вещей, что находилось у него на хранении, — куда они девались, я догадывался, точнее, не сомневался... В Маньчжурии в победном сентябре, как и в Германии, пили много, ненасытно и рискованно, словно стараясь доказать невозможное — «Мы рождены, чтоб выпить все, что летится!..» Пищевого алкоголя не хватало, и оттого потребляли суррогаты, при остром недостатке, за неимением лучшего, травились принимаемыми по запаху за спиртные напитки различными техническими ядовитыми жидкостями: от довольно редких, как радиаторный антикоррозин «Мекол» или благородно отдававший коньяком «Экстенсин», до имевшихся в каждом полку этиленгликоля (антифриз) и самого безжалостного убийцы — метанола, называемого иначе древесным, или метиловым спиртом. Из всевозможных бутылок, банок, флаконов и пузырьков с непонятными иероглифами на красивых наклейках жадно потреблялись и бытовые, в разной степени отравные препараты — мебельные, кожаные и маникюрные лаки, прозрачный голубой крысид и мозольная жидкость, принимаемая по цвету и фактуре за фруктовый ликер, — пару глотков этой неопишуемой гадости пришлось выпить и мне, чтобы не обидеть соседа по госпитальной палате, капитана-артиллериста, отмечавшего свой день рождения. В Фудидзяне, грязном воином пригороде Харбина, где размещался медсанбат, спирт путем перегонки ухитрились добывать даже из баночек черного шанхайского гуталина, в несметном количестве обнаруженного в одном из складов, — пахнувшее по-родному деревенским дегтем темное пойло именовалось «гутяк», очевидно, по созвучию с коньяком. Однако лучшим, самым дорогим, а главное, безопасным алкоголем в Харбине осенью сорок пятого года безусловно считался ханшин — семидесятиградусная китайская водка заводского изготовления; ее выменивали у местных лавочников на советское военное обмундирование, особенно ценилось офицерское, и не было сомнений, что я оказался жертвой подобной коммерции. Так исчезла моя, шитая еще в Германии, защитного цвета начальственная с матерчатым козырьком фуражка — самоделковая, полевая, какие носили в войну не только ротные и батальонные, но и полковые и даже дивизионные командиры, и пошитые там же стариком Фогелем из лучшего трофейного хрома великолепные сапоги с двухугольными тупыми носками и накатанными в рубчик рантами — такие сапоги в послевоенной армии выдавались генералам и полковникам. Взамен при выписке из госпиталя мне пришлось получить даже не суконную, а хлопчатобумажную пилотку и стоптанные, когда-то, очевидно, яловые, третьей, если не четвертой категории сапоги с короткими жесткими голенищами. Я был счастлив, что мне вернули мою серую фронттовую шинельку, столь дорогую мне шельму или шельмочку — я ее иначе не называл и по-другому к ней не обращался — старенькую, потертую, с полевыми петличками и пуговицами защитного цвета, в нескольких местах пробитую пулями и двумя осколками и старательно заштопанную, побывавшую в Европе на Немане, на Висле, на Одере и на Эльбе, а в Азии — на Амуре и Сунгари и обманувшую всех: полтора года она не только верой и правдой служила

* Раком.

мне, но и была поистине бесценным талисманом — полтора года я фанатично верил, что пока она на мне или со мной, меня не убьют, и меня ведь действительно не убили; при выписке я обрадовался ее возвращению и, понятно, не пожелал бы никакой другой, однако представительного вида она опять же не имела и защитить меня в кригере от властной ведомственной воли кадровиков никак не могла. Естественно, внешне, по обмундированию я выглядел не ротным командиром, прошедшим Польшу, Германию и Маньчжурию, не благополучным трофейно-состоятельным офицером-победителем, а скорее всего захудалым Ванькой-взводным из тыловой, провинциальной или даже таежной гарнизны.

Монетка вращалась на ребре все медленнее и в любое мгновение могла улечься вверх решкой, а я был бессилён овладеть ситуацией, хотя говорил и делал все возможное и насчет академии ничуть не обманывал. Я стоял без преувеличения насмерть, но меня дожимали, вытесняли с занимаемой позиции, и надо было срочно от обороны переходить к наступлению, надо было атаковать — немедленно!

— Товарищ подполковник, разрешите... — сделал волевое решительное лицо, громко, пожалуй излишне громко, проговорил, а точнее, выкрикнул я. — Меня ждут в академии, в Москве!.. Я не могу!!! Я должен туда прибыть!!! Я ведь зачислен — честное офицерское!..

— Вы что здесь себе позволяете?! — вдруг возмущенно и оглушительно закричал обгорелый майор. — Фордыбачничать?! Вы кому здесь рожи корчите?! Ка-кая академия?! Вы что — ох.ели?! Вам объяснили, а вы опять?! — в сильнейшей ярости проорал он. — Вы что, на базаре?! Чуфырло!!!

При этом у него дергалось лицо и дико вытаращились глаза, он делал судорожные подсекающие движения нижней челюстью слева направо, и мне стало ясно, что он не только обгоревший, но и тяжело контуженный, или, как их называли в госпиталях и медсанбатах, «слабый на голову», «чокнутый», «хромой на голову», «стукнутый» или даже «свободный от головы», что означало уже полную свободу от здравого мышления и любой ответственности. Я видел и знал таких сдвинутых, особенно меня впечатлил и запомнился Христинин в костромском госпитале, старшина-сапер, подрывавшийся в бою на mine и потерявший зрение и рассудок. Незадолго до моей выписки, где-то в середине декабря, при раннем замере температуры перед побудкой, еще в предрасветной полутьме, молоденькая медсестренка ставила ему градусник, нагнулась, а он, спросонок, возможно, приняв ее за немца и дико заорав, обхватил намертво обеими руками за голову и напрочь откусил кончик носа. Таких, как этот гвардии майор, я видел не раз и в медсанбатах, — я сразу сообразил, с кем имею дело, и потому внутренне сгруппировался и был наготове увернуться, если бы он по невменяемости запустил бы в меня стакан с горячим чаем. Я знал, что для таких, как он, откусить кому-нибудь нос или проломить без всяких к тому причин и оснований голову — пустяшка... все равно, что два пальца обоссать.

Он заорал на меня с такой ошеломительной яростью, что в кригере вмиг наступила тишина, затем плащ-палатки посредине раздвинулись и оттуда, с той половины на эту, шагнул саженого роста, амбального телосложения капитан с орденами Александра Невского и Красной Звезды и гвардейским значком над правым карманом кителя. Его властное, красивое, с темными густыми бровями лицо дышало решимостью и готовностью действовать, и посмотрел он на меня с неприязнью, угрожающе и с невыразимым презрением. Подполковник, уловив или услышав движение за спиной, повернул голову, увидел и легким жестом левой целой руки сделал отмашку — капитан, помедля секунды, исчез за плащ-палатками, не сказав и слова, но одарив меня напоследок испепеляющим, полным неистовой гадливости или отвращения взглядом. На меня, награжденного четырьмя боевыми орденами, офицера армии-победительницы, поставившей на колени две сильнейшие мировые державы — Германию и Японию, он посмотрел, без преувеличения, как на лобковую вошь...

Позднее, вспоминая, я предположил — и эта догадка сохранилась в моей памяти, — что именно этот офицер столь напористо разговаривал повелительным хриплым баритоном в другой половине кригера с командирами взводов, заявив одному, что на нем «пахать можно», а другого уличив, что тот якобы прикидывается «хер-р-рувимой, принцессой на горошине» и настороженно ос-

ведомлялся: «Вы что — студентка?..» — а затем впрямую навязывал сугубо женскую физиологию...

Меж тем подполковник, допив чай, отодвинул стакан и с удовлетворением, как мне показалось, видом посмотрел в лежавшую перед ним на столе мою анкету.

— Василий... Степанович... — негромко проговорил он, слегка улыбаясь стеснительно и вроде даже виновато, — тут возникли элементы некоторого взаимного недопонимания, и мне хотелось бы внести ясность... Академия, поверьте, никуда не уйдет, и шансы попасть в нее у вас преимущественные! Набор будет и в следующем году, но сегодня... Давайте оценим обстановку объективно, учитывая не только личные интересы, но и государственные, как и положено офицеру... Армия сейчас переживает ответственнейший период перехода на штаты мирного времени. Ответственный и архисложный!.. К лицу ли нам оставить ее, бросить фактически на произвол судьбы в такой труднейший момент?.. Сделать это даже мне, — он приподнял от бумаг обтянутый черной лайкой протез на правой руке, напоминая о своей физической неполноценности, — не позволяют ни убеждения, ни совесть, ни честь! И вам, надеюсь, тоже!

Он говорил спокойно, мягко, благожелательно или даже дружелюбно, чем тут же снял, вернее, ослабил клешнившее меня внутреннее напряжение, хотя куда он клонит и что за этим может последовать, я еще не сообразил. Между тем подполковник после недолгой паузы спросил:

— Скажите, старший лейтенант... Ваше понятие о чести офицера?

— Честь офицера — это готовность в любую минуту отдать жизнь за Отечество! — немедленно ответил я.

...Сколько раз и в своей дальнейшей офицерской жизни я с великой благодарностью вспоминал старика Арнаутова, еще осенью сорок третьего в полевой землянке на Брянщине просветившего меня... соплегона, семнадцатилетнего Ваньку-взводного, — с его слов я испытал тогда половину самодельного карманного блокнотика разными мудрыми мыслями и потом выучил все наизусть. И позднее, в послевоенной службе я неоднократно убеждался, что не только младшие, но и старшие офицеры, в том числе и полковники, не знали и слыхом не слыхивали даже основных первостепенных положений нравственных устоев, правил и законов старой русской армии, хотя обычно любили поговорить о преемственности и «славных боевых традициях». Сколько раз знание истин, известных когда-то каждому поручику или даже прапорщикам, выделяло меня, возвышало в глазах начальников и офицеров-однопольчан...

— Готовность в любую минуту отдать жизнь за Отечество... — с просветленным значительным лицом повторил подполковник и снова приподнял над столом обтянутый черной лайкой протез. — Отлично сказано! Откуда это?

— Это первая из семи основных заповедей кодекса чести старого русского офицерства.

— Отлично!.. Первую вы знаете, ну а, к примеру, третью?

— Не угодничай, не заискивай: ты служишь Отечеству, делу, а не отдельным лицам! — также без промедления и без малейшей запинки отвечал я.

— По-ра-зительно!.. — не без удивления протянул подполковник и посмотрел на шепелявого капитана; как я осмыслил или предположил, его взгляд, наверное, должен был сказать: «А ведь он не пальцем деланный!..» — Извечная мудрость русского офицерства! — приподнятым голосом сообщил он капитану и повернул лицо ко мне. — Вы что, и пятую или, к примеру, шестую заповедь тоже помните?

— Так точно!.. Обманывая начальников или подчиненных, ты унижаешь себя и весь офицерский корпус и тем самым наносишь вред армии и государству!

— Отлично!.. — Подполковник смотрел на меня с явным интересом, словно только теперь увидел и оценил, и я подумал, что он выделил меня среди других, и хотя выглядел я непредставительно, однако дела мои не так уж и плохи. — Отлично! — в задумчивости повторил он. — Весьма!.. По счастью, сегодня Родине требуется не ваша жизнь, а всего лишь честное выполнение вами воинского долга. Вы это понимаете?

— Так точно! — Я тянулся перед ним до хруста в позвоночнике и преданно смотрел ему в глаза.

— Более всего армия сейчас нуждается в офицерах, прошедших войну, — продолжал он. — В первую очередь как воздух необходимы командиры рот и батальонов с хорошим боевым опытом. И потому ваше настойчивое стремление поехать в академию может быть расценено сегодня даже как дезертирство, пусть замаскированное, но — будем называть вещи своими именами — дезертирство!.. — сокрушенно проговорил он, и лицо его выразило такое огорчение, что мне стало его жаль; вместе с тем я ощутил к нему чувство признательности за столь своевременное предостережение: еще не хватало, чтобы меня заподозрили в дезертирстве... — С другой стороны, и ваш бесценный боевой опыт необходимо осмыслить и закрепить хотя бы годом службы и командования в послевоенной армии. Прежде всего для того, чтобы полностью раскрылись ваши офицерские способности и ваш, мне думается, незаурядный воинский потенциал! А весной подадите рапорт и с чувством выполненного долга отправитесь в академию...

— Быть может, с должности не ротного, а командира батальона, его заместителя или начальника штаба, что для дальнейшей службы весьма и весьма существенно! — с приветливо-радостным оживлением внезапно вступился шепелявый капитан со шрамом, всего лишь минуты назад удивлявшийся, как я командовал ротой, и в раздумье определивший, сколь узок мой кругозор — «полметра, не шире»...

— И это не исключено! — доверительно улыбаясь, подтвердил подполковник. — Василий... — он снова глянул в мою анкету, — Степанович... Вам предлагается должность командира роты автоматчиков в прославленном трижды орденосном соединении... ГээСКа, — посмотрев на капитана, пояснил он.

«ГээСКа»! Я сразу определил, что речь идет об известном гвардейском стрелковом корпусе, воевавшем на Западе и в Маньчжурии и дислоцированном теперь в Приморье, неподалеку от Владивостока, в старых, обустроенных, обжитых гарнизонах, где, как я слышал, даже младшие офицеры-холостяки жили в отменных условиях: всего по два-три человека в отдельной общежитской комнате. О таком назначении — если нельзя сейчас поехать в академию и требовалось еще месяцев десять прослужить на Дальнем Востоке — можно было только мечтать.

— Вы согласны? — спросил подполковник.

— Так точно!!! — шелкая каблуками и донельзя выпятив грудь, поспешно подтвердил я; при этом, сдерживая охватившую меня радость, я преданно смотрел в глаза подполковнику и тянулся перед ним на разрыв хребта.

— ГээСКа, — сказал он капитану, тотчас сделавшему какую-то пометку в лежавшем перед ним большом листе бумаги, и снова с явным дружелюбием посмотрел на меня. — Желаю дальнейших успехов в службе и личной жизни!.. Явитеся за предписанием завтра к семнадцати ноль-ноль! Идите!..

Козырнув и ловко «погасив» приветствие — мгновенно кинув правую ладонь по вертикали пальцами вниз, к ляжке, что выглядело весьма эффектно и считалось в молодом офицерстве особым шиком, я четко по уставу повернулся и даже умудрился «дать ножку» — отошел если и не строевым, то полустроевым шагом. От радости во мне все пело и плясало, я был переполнен теплыми чувствами и прежде всего безмерной благодарностью к одnorукому подполковнику, этому замечательному боевому офицеру, истинному отцу командиру, понявшему меня и оставившему перед академией на девять-десять месяцев в Приморье, вблизи Владивостока, города, сразу ставшего таким желанным. Я уже поравнялся с висевшим влево от прохода на видном месте под стеклом портретом Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса И. В. Сталина и приближался к двери — позади меня кадровик с искалеченной челюстью шепелявой скороговоркой зачитывал анкетные данные мордатого капитана с припудренным фингалом под левым глазом, когда в той половине, за плащ-палатками, снова послышалось громко и возмущенно:

— Это муде на сквороде!!! Вы кому здесь мозги е.те?!. Вы что — мымо-за?!. Может, вам со склада бузгальтер выписать, напис.ник и подпакета ваты?.. Будем публично мэнструировать или честно выполнять свой долг перед Родиной?!

Взмокший потом от пережитых волнений, я вывалился из кригера с чувством величайшего облегчения — словно тяжеленную ношу наконец донес и сбросил, — слетел из тамбура, как на крыльях... Офицеры, ожидавшие своей очереди внизу у ступенек, засыпали меня вопросами: «Ну что?», «Как там, старшой?..», «Куда запряжили?..»; от нетерпения один уже немолодой капитан даже ухватил меня за рукав. Мне очень хотелось этак небрежно, как бы между прочим, сообщить им всем, что лично меня не запряжили, а назначили, причем поблизости, в отличное место и к тому же — в гвардию, но я не стал рассусоливать и, легким движением высвободив локоть и уходя, сдержанно, с достоинством проговорил:

— Аллес нормалес!

Я ощущал сочувствие и некоторое превосходство. Всем этим людям предстояло толковище с кадровиками, тягостно-мучительное отстаивание своих интересов, выслушивание неприятных и оскорбительных слов и выражений, а у меня все было уже позади. Им светили Сахалин и Камчатка, Курилы и Чукотка, морозы и пурги, белые медведицы и ездовые собаки, а мне — Приморье неподалеку от Владивостока, большого культурного города, куда, в какой бы полк гвардейского стрелкового корпуса меня ни определили, я смогу приезжать по воскресеньям или в свободные дни — каждую неделю!.. Недаром же подполковник, наверняка со значением, а может, и с прямым намеком, пожелал мне успехов не только в службе, но и в личной жизни, что меня особенно впечатлило, как, впрочем, и его слова о моем бесценном боевом опыте, о перспективности моей биографии и моем «незаурядном воинском потенциале».

По рассказам Арнаутова я знал, что удачное назначение, так же как награду или получение очередного воинского звания, необходимо обмыть или, как говорили в старой русской армии, «забутылить», это было делом чести, и чем щедрее оказывалось угощение, тем достойнее выглядел офицер.

Чтобы устроить небольшой праздник пребывавшим в хмельной тоске и сильнейшем душевном раздрызге соседям по палатке, я отправился в центр города и в особторговском гастрономе на Ленинской улице по диковинным коммерческим ценам купил четыре бутылки водки, по килограмму свежей розовой ветчины и нарезанной тонкими ровными ломтиками нежнейшей лососины — невиданный, истинно генеральский харч! — а также три длинных батона белого хлеба, на что ушла почти вся сумма полученного мною за сентябрь и октябрь денежного содержания, но это меня ничуть не заботило — в гвардии мне предстояло получать пятидесятипроцентную надбавку, почему бы ее не пропить с товарищами авансом за несколько месяцев вперед?.. С увесистым, красиво увязанным свертком я, как новогодний Дед Мороз, и, во всяком случае, ощущая себя победителем, прибыл на Артиллерийскую сопку, где мое назначение до полуночи обмывалось соседями по палатке, дважды бегавшими вниз к питомнику служебных собак НКВД близ Луговой, чтобы достать у барыг и добавить спиртного. Солдат-дневальный, подтапливавший и нашу железную печурку, был сразу отпущен до утра, и в зимней, поставленной внапярug походной шестиклинке с внутренним пристяжным наметом из ткани родного защитного цвета с шерстяным начесом царила атмосфера офицерского товарищества, непосредственности и откровения. Все четверо сопалаточников, не скрывая, завидовали мне и спяна кричали, что я «родился в рубашке» и что мне «бабушка ворожит», хотя, разумеется, мне никто не ворожил, я и сам не мог понять, почему все так удачно сложилось. Получив назначения, они, продавая что возможно, и прежде всего трофейные тряпки, в безысходной тоске пили уже вторую неделю в ожидании парохода: трем из них предстояло отправиться в дивизию на северный курильский остров Парамушир, а четвертому — в отдельный стрелковый батальон на мысе Лопатка, и я не мог им не сочувствовать.

Назначенный командиром роты на Лопатку старший лейтенант Венедикт Окаемов, самый из нас образованный и культурный, — до войны артист областного театра в Курске или в Орле, как он не раз повторял, «русский актер в третьем поколении», — невысокий, но ладный и красивый, неумный бабник, прозванный за мохнатые усы и бакенбарды Денисом Давыдовым, подняв стакан, после каждого тоста строгим трагически-проникновенным голосом возглашал: «За вас, друзья, за дружбу нашу мне все равно, что жизнь отдать или пор-

тки пропить!» — и при этом всякий раз на глазах у него от волнения выступали слезы. Под конец он свалился, но и лежа на спальном мешке, время от времени продолжал выкрикивать эту фразу, рвал на себе нательную рубашку, ожесточенно сучил ногами, словно стараясь оторвать болтавшиеся у шиколоток матерчатые завязки кальсон, и горько, неутешно плакал. Мне было его жаль прежде всего как жертву чудовищной несправедливости: выпив, он обычно, давясь слезами, чистосердечно рассказывал об открытых им темпоритмах, о системе перевоплощения актера, которую в юношеские годы, еще до войны, именно он придумал, разработал и по доверчивости показал известному режиссеру Станиславскому — тот пустил ее в дело и «сорвал бешеные аплодисменты», прославился на весь мир, а о жившем в провинции Венедикте Окаекове никто не вспомнил и словом даже не упомянули, хотя, разумеется, знали, кто начал перевоплощаться первым, а кто эту систему и темпоритмы попросту присвоил.

Откровенно предупредив о дурной наследственности, я выпил меньше всех, граммов двести пятьдесят за вечер, но тоже был растроган до слез и счастлив своей принадлежностью к лучшей части человечества — офицерскому товариществу — и во всем мире, на всей земле самыми близкими людьми мне казались эти четверо офицеров, с которыми в одной палатке я провел около двух недель. В радостном обалдении я повторял про себя высказанное по поводу моего назначения старшим из нас, майором Карюкиным, замечательное в своей истинности и простоте суждение: «Владивосток — это вам не Чукотка, не Мухосранск и даже не Чухлома!» — и от умиления все во мне пело и приплясывало. Помнится, я с кем-то обнимался, а Венедикт облизывал мне щеку и затылок, затем, ухватив сзади за плечо и, быть может, вообразив, что мы на сцене театра, или же находясь уже в полной невменухе, называл Любкой, жарко дышал мне в ухо: «Любаня... Солнышко мое!.. Юбку сними!.. И трусы! Живо!..» — а затем уже в голос, с долгими выразительными паузами произносил руководительные, разные, в том числе и непонятные — заграничные или со скрытым смыслом — слова: «Ножки пошире... Па-аехали!.. Тэм-пера-мэнта выдай!.. Манжетку!.. Голос!.. Оттяни на ось!.. Еще!.. Мазочек!.. Пэз-дудо умерато!!! Массажец!.. Тики-так!.. По рубцу!.. Шире мах!.. Темпоритм!.. Держи манжетку!.. Осаживай!.. Люксовка!.. Форсаж!.. Волчок!.. Тэмпера-менто, сучка, тэмпера-менто!.. Голос!.. Манжетка!.. Подсос!.. Пэз-дудо умерато!!! Оттягивай!.. Тики-так!.. Форсаж!.. Крещендо, сучка, крещендо!!!»* — и при этом, не обращая ни на кого внимания, левой рукой больно сжимал мне то мышцу груди, то ягодицу и в паузах между словами громко стонал двумя — попеременно — голосами: своим и тонким, несомненно женским, причем стоило ему подать команду: «Голос!..» — как женщина заходила с давленными страстными стопами и рыданиями, бедняжка совершенно изнемогала, и получалось так пронзительно, так проникновенно, что в какое-то мгновение от жалости к ней мне стало не по себе.

Я понимал, что он — актер и это игра, бутафория, догадывался, что он, должно быть, показывает свою систему в действии. Офицеры, спяная плохо соображая, что происходит, оживились только при слове «сучка» и обрадованно закричали: «Сучка!.. Сучка, бля!..» — ничуть не представляя, что роль сучки в этом эпизоде волею судеб отводилась мне. Я пытался улыбаться, хотя чувствовал себя весьма неловко — Венедикт все это выкрикивал, стонал, брызгал слюной и даже как бы от страсти скрипел зубами и рычал мне прямо в левое ухо, крепко ухватив меня правой рукой сзади за плечо, точнее, за основание шеи, а после возгласа «Мазочек!..» зачем-то провел указательным пальцем у меня под носом — будто сопли вытирал, — что мне особенно не понравилось и показало оскорбительным. Проявляя выдержку, я ждал, когда он утомонится, и, к моему облегчению, вскоре после выкрика: «Крещендо, сучка, крещендо!!!» — он наконец отпустил меня и отполз в сторону, — потянулся к чьей-то кружке, но водки там не оказалось, опять выжрали все до капельки, и, явно огорчен-

* Судя по тексту, монолог В. Окаекина не имеет никакого отношения к темпоритмам и системе перевоплощения актера. Это всего лишь весьма натуралистичный, сугубо инструктивный, односторонний речевой контакт в процессе взаимодействия опытного изощренного бабника с очевидно любящей его и потому безропотно-старательной, явно тренированной половой партнершей, — судя по тексту монолога, подразумевается умелое владение внутренними мышцами тазового дна.

ный, он повалился на спальный мешок и, закрыв глаза, вроде задремал, однако творческая мысль в нем не спала, вдохновение бодрствовало, и спустя минуты, надумав, он начал бурно дышать и снова принялся издавать громкие натужные стоны. Затем, неожиданно привстав на колени, потребовал тишины, выражаясь его же словами, «сделал высокое лицо», и строгим, торжественно-пьяным голосом объявил: «Уильям Шекспир!.. «Зов любви, или... Утоление печали»... Тр-р-рагический этюд... Испал-лняет... Вене-дикт... Ака-емов!!!» — какое-то время важно, значительно помолчал, и, с нежностью взволнованно проговорив: «Любаныя... Солнышко мое... Кысанька ненаглядная...» — он ухватил сзади за плечи шестипудового могучего сибиряка гвардии капитана Коняхина, перевоплощаясь, снова выдержал некоторую паузу и, свирепо вытаращив глаза, что, видимо, должно было выражать крайнее половое возбуждение, с перекошенным лицом и рыданиями в голосе, в жалобной отчаянной обреченности закричал ему в ухо: «С-сучка, держи п...у! Ка-а-ан-чаю!» — и в следующее мгновение заверещал как резаный, вероятно изображая кульминацию, отчего даже на моих пьяных сопалаточников напала дрыгоножка, а Венедикт, помедля, повалился на бок будто в изнеможении, но еще долго постанывал, пока не отключился и не захрапел.

Всю сермяжно-глобальную философию столь эмоционально выкрикнутых Венедиктом четырех слов, выражающих для значительной части человечества основополагающую суть отношений мужчины и женщины — своего рода момент истины, — я тогда по молодости не понял и не оценил, впрочем, остался в убеждении, что Венедикт только актер-исполнитель, и нисколько не усомнился в авторстве Шекспира — эту фамилию я слышал не раз или где-то читал, хотя кому она конкретно принадлежит, в то время не представлял.

Я был в меру поддатый, но не пьяный, свойственная молодости жажда познания заставила меня смотреть и слушать, ничего не упуская, и я намыслил и предположил, что темпоритм — это отдельный эпизод на сцене, а система перевоплощения — это правдивое откровенное воспроизведение жизни во всех ее проявлениях, в том числе и сугубо интимных. При такой очевидной абсолютной достоверности меня, помнится, озадачила резкая контрастность, некая полярная противоположность разных стадий в отношениях мужчины и женщины — начиналось все как бы за здравие, сугубо ласково и нежно: «Любаныя... Солнышко мое!.. Кысанька ненаглядная...», а кончалось поистине за упокой — оскорбительной «сучкой» и другими грубыми и, более того, нецензурными выражениями. Такое хамство в обращении с женщиной — за что?! — понять было невозможно. Из рассказа сбитого над Вислой летчика, соседа по госпитальной палате в Костроме, я запомнил, что форсажем называется усиленная работа мотора при взлете, манжетка и подсос также относились к двигателям внутреннего сгорания, и я догадался или предположил, что эти сугубо технические термины в данном случае употреблялись с другим, скрытым смыслом. Значения же слов «крещендо», «тэмперамэнто» и «пэздугто модерато» я в те годы еще не знал, но без особых раздумий посчитал, что это иностранные матерные ругательства, как были, например, в Германии «фике-фике», «шванц» или «фице», по-русски они звучали вполне пристойно и более того — интеллигентно (произнося такие заграничные слова, особенно в России, невольно ощущаешь себя человеком с высшим образованием), а по-немецки — отборная матерщина.

Венедикт Окаемов впечатлил меня в юности своей необычностью и показался артистом незаурядного дарования, самородком сцены, и к тому же безусловно — первопроходцем, великим преобразователем театра, еще в молодости жестоко обездоленным одним из сильных мира сего, режиссером Станиславским, судя по фамилии, поляком или евреем. Боевой офицер, начавший воевать на Волге, под Сталинградом и закончивший войну в Австрии, получивший кроме орденов пять ранений и тяжелую контузию, он давился слезами и плакал так искренне и так жалобно, что не жалеть его было невозможно. Разумеется, мы не могли не возмущаться, даже майор Карюкин, самый из нас степенный и немногословный, при упоминании фамилии Станиславского от негодования свирепо перекачывал желвак на загорелой мускулистой щеке и, помыслив, тяжело выдавливал: «Ободрал, гад, парня!.. И систему, и ритмы спи..ил!.. Как липку ободрал!...» Сострадавая, наверное, более других, я болез-

ненно ощущал свое бессилие, переживал, что не в состоянии помочь восстановить справедливость. После двухнедельного пребывания в одной с Венедиктом палатке я, весьма далекий от мира искусства младший армейский офицер, командир роты автоматчиков, проникся пиететным, восторженным отношением к актерам, к этим наделенным искрой божьей лицедействующим чудикам или чудесникам — хоть и штатские, но до чего же шухарные, занятые мужики, позволяющие себе и вытворяющие то, что нормальному и в голову вовек не придет. У меня возникло убеждение, что именуемая трагическим этюдом и разыгранная Венедиктом с таким успехом сценка, вызвавшая приступ дрыгоножки у моих сопалаточников, наверняка была известной и популярной в театральной среде. Когда позднее я слышал по радио или читал о правительственных приемах в Москве, где среди других оказывались и деятели искусства, я сразу представлял себе, как там, при забутыливании на самом высоком кремлевском уровне, кто-либо из великих и знаменитых — Качалов, а может, Москвин или Козловский, вот уж истинные небожители! — поддав до стадии непосредственности или полной алкогольной невменухи, бегают по дворцовой зале, перевоплощаясь для исполнения известного шекспировского этюда «Зов любви, или Утоление печали» и затем, неожиданно ухватив сзади за шею какого-нибудь академика, генерала армии или даже маршала, громогласно кричит ему при всех: «Сучка, держи п...у! Кончаю!» — и, представив себе такое, находясь в отдаленном гарнизоне, за тысячи километров от столицы, обмирал от неловкости и стыда, от того чудовишно озорного, что там, возможно, происходило или, по причине актерской вседозволенности, могло происходить — в подобные минуты этот огромный миллионоликий мир, удивительный и с детства во многом непонятный, казался мне совершенно непостижимым. Запомнилось, что, когда я представлял себе знаменитых артистов на правительственных приемах в Кремле, они почему-то бежали там по роскошным дворцовым паркетам в одних подштанниках, — в точно таких новеньких хлопчатобумажных кальсонах с матерчатыми завязками, какие выдавались офицерскому составу во время войны и в первые послевоенные годы.

В памяти моей Венедикт Окаемов остался обаятельным озорником и выпивохой, человеком затейливым, заводным, с большими неумными фантазиями. Он тогда упорно высказывал намерение при первой возможности демобилизоваться, чтобы вернуться на сцену, и спустя годы и десятилетия проглядывая в газетах статьи или заметки о театральных постановках, я всякий раз вспоминал и надеялся встретить его фамилию среди актеров или режиссеров, но не доводилось, и со временем я склонился к мысли, что он скорее всего спился и сгинул, как в конце сороковых годов в России спились и тихо, без огласки, ушли из жизни два с половиной или три миллиона бывших фронтовиков, искалеченных физически или с поврежденной психикой.

На другой день к семнадцати ноль-ноль вместе с десятками офицеров я уже мок под дождем возле кригера, потом в крохотном купе у входа в вагон все тот же немолодой, отчужденно-строгий старшина, ткнув пальцем в раскрытую большую канцелярскую книгу, предложил мне расписаться в получении командировочного предписания; в тамбуре я заглянул в него, не веря своим глазам в растерянности перечел еще раз, осмыслил окончательно и был без увеличения тяжело контужен, хотя сознания ни на секунду не потерял.

«Аллес нормалес!.. Не дрейфь!.. Прорвемся!.. Одолели засуху и сифилис одолеем!..» — по привычке, скорей всего машинально, подбадривал я самого себя, медленно и разбито, ватными поистине ногами спускаясь по ступенькам кригера, — даже в эту тяжелейшую минуту я не забыл о моральном обеспечении, о необходимости непрерывного поддержания боевого духа войск. Я не сломился, я держал удар и пытался держать лицо или физиономию, однако на душе у меня сделалась целая уборная — типовой табельный батальонный нужник по штату Наркомата Обороны ноль семь дробь пятьсот восемьдесят шесть, без крыши, без удобств и даже без сидений, на двадцать очковых отверстий уставного диаметра — четверть метра, — прорубленных над выгребной ямой в доске сороковке...

Спустя минуты в полнейшей прострации я брел по шпалам, удрученно повторяя про себя уже совсем иное: «Недолго музыка играла, недолго фраер тан-

цевал...», что наверняка соответствовало моему душевному состоянию и свидетельствовало о начальном осознании понесенного поражения.

Я был как оглушенный, как после наркоза в медсанбате или в госпитале, когда все вокруг будто в тумане, все плывет и слонится и еще не можешь до конца осмыслить, что же произошло и что последует и будет с тобой дальше, — вроде ты жив, а вот насколько невинен — это еще бабушка надвое сказала и, как резонно рекомендовалось молоденьким взводным в известной офицерской рифмованной присказке: «Ты после боя, что живой — не верь! Проверь, на месте ли конечности, и голову, и ..й проверь!..»

...Я очнулся от оглушающего гудка, стремительно прыгнул с путей под окос и, уже стоя внизу, разглядел в наступающих дождливых сумерках, как из кабины паровоза пожилой темнолицый машинист в черном замасленном ватнике что-то зло прокричал мне и погрозил кулаком. Мимо меня прогрохотал пассажирский поезд «Владивосток — Москва», на одном из вагонов я разглядел белый эмалированный трафарет «Для офицерского состава»... Именно там, в одном из залитых светом, за белоснежными занавесками купе мне бы следовало сейчас находиться, если бы сбылась моя мечта об академии. Именно там, в мягком или купейном вагоне пребывали, направляясь в Москву, счастливицы, баловни судьбы, избранные офицеры и достойные их прекрасные нарядные женщины, обладавшие помимо безупречной анкеты внешней и внутренней благовоспитанностью, выраженной линией бедра, ладными стройными ногами... да и все остальное у них было устроено, надо полагать, несравненно лучше, чем у женщин, предназначенных судьбой и природой для штатских... Как не раз говорил мне бывший штабс-ротмистр двенадцатого гусарского полка капитан Арнаут: «Жена офицера должна быть красивей и грациозней самой красивой кавалерийской лошади!..» — старик многожды подчеркивал значение так называемого экстерьера в оценке женщины... И пахло там в купе не махрой и нестираными портянками, как в палатках на Артиллерийской сопке, пахло не казарменной плотью — «там дух такой, что конь зачахнет!» — а хорошими папиросами и сигаретами и дорогой, наверняка заграничной, парфюмерией. Это был особый изысканный мир, элитарная часть офицерского сообщества, куда кадровики, а может, жизнь или Его Всемогущество Случай не захотели меня впустить.

В забытыя я прошел от станции километра полтора, волею судеб или же движимый подсознательным инстинктом, а может, профессиональной офицерской целеустремленностью, я брел в направлении Москвы, однако до нее, судя по цифре на придорожном указателе, оставалось еще девять тысяч триста один километр...

Я был ошарашен, раздавлен и оскорблен в своих лучших чувствах и, пожалуй, более всего тем, как чудовищно провел или заморочил меня однорукий, по виду обаятельно-добродушный, благоречивый подполковник, к которому в этот день меня, естественно, уже не пригласили, а если бы по моему требованию и допустили, то что бы я мог ему сказать?.. Что он запудрил мне мозги и при его участии жизнь в очередной раз жестоко и несправедливо поставила меня на четыре кости?.. Я прошел войну и был не фендриком, не желторотым Ванькой-взводным — осенью сорок пятого, в девятнадцатилетнем возрасте я, разумеется, уже знал, «сколько будет от Ростова и до Рождества Христова». — вопрос, на который два года назад я не смог ответить майору Тундутову, — и знал, что жизнь непредсказуема и беспощадна, особенно к неудачникам. Как не раз напевал старик Арнаут: «Сегодня ты, а завтра я!.. Пусть неудачник плачет...» Однако ни плакать, ни жаловаться я, как офицер в законе, или, как тогда еще говорилось о лучших, прошедших войну боевых командирах, «офицер во славу русского оружия», не мог и не имел права, это было бы унижительно для моего достоинства. Осенью сорок пятого я ощущал себя тем, кем определил и поименовал меня в столь памятный субботний вечер двадцать шестого мая в поселке Левендорф провинции Бранденбург, километрах в ста северо-западнее Берлина, командир второго отдельного штурмового батальона, стальной военачальник («Не выскочил сразу из окопа, замешкался, оступись! — прими меж глаз девять грамм и не кашляй!»), легендарный подполковник Алексей Семенович Бочков, сказавший обо мне безапелляционно: «Штык!!! Русский боевой штык, выше которого ничего нет и быть не может!» И хотя

приехал он тогда из Карловки — так именовали в то время Карлхорст — заметно поддатый и выпил за столом еще литра полтора водки и трофейного шнапса «Аквавит», отчего, естественно... (Я, разумеется, помнил, как в минуты отъезда Алексея Семеновича повело на женщин, буквально зациклило на физиологии и как, уже поместясь на роскошное заднее сиденье новенького трофейного темно-синего «Мерседес-Бенца» и не без труда ворочая языком, он, словно мы с ним разговаривали не впервые, а были давно и близко знакомы, совсем по-товарищески доверительно советовал: «Ты эту... Наталью... через Житомир на Пензу!.. Ра-аком!.. Чтобы не выпендривалась и не строила из себя целку!.. Бери пониже и ты... в Париже!.. На-а-амек ясен?..» — и как потом, должно быть делясь жизненным опытом, видимо, на правах старшего по возрасту и по званию, наставлял меня и убежденно толковал совершенно непостижимое: «Была бы п...а человечья, а морда — хоть овечья!.. Рожу портянкой можно прикрыть!.. На-а-амек ясен?..» Я помнил, как, когда возвратился Володька Новиков с темной четырехгранной бутылкой немецкого «Медведелова» и баночками португальских сардин (подполковнику — для утренней опохмелки), тот, заподозрив Володьку в угонничестве и внезапно ожесточась, в ультимативной форме потребовал от нас «обеспечить плавками весь личный состав!» (об этом он озабоченно говорил и за столом), чтобы, когда придется купаться в Ла-Манше, мы «не позорили Россию своими мохнатыми жопами», и как затем отдал мне, стоявшему перед ним в полутьме у распахнутой дверцы машины по стойке «смирно», и обруганному им, обиженно державшемуся за моей спиной Володьке категорическое, нелепое и, по сути, абсурдное приказание, разумея годящуюся нам в матери госпитальную кастеляншу, добрую толстенную Матрону Павловну: «Вдуть тете Моте!.. По-офицерски!!! Чтобы потом полгода заглядывала, не остался ли там конец!.. Вдуть и доложить!.. Вы-пал-нять!!!)»

С каким неумемным волнением и откровенной преданностью я доложил тогда в полутьме подполковнику, что лично у меня плавки есть и я готов хоть сейчас — могу купаться даже в Ла-Манше и ничем Россию не позорить... И как же в тот момент мне хотелось внести ясность и ради истины сообщить ему, что вообще-то у меня... не мохнатая... Я, безусловно, понимал, что в минуты отъезда Алексей Семенович находился в состоянии алкогольной невменухи, и тем не менее ничуть не сомневался, что в сказанном обо мне его устами глаголила истина. В те годы я был настолько высокого мнения о себе как об офицере в законе, что и в мыслях не допускал возможности проявления какой-либо слабости, и мне, в очередной раз жизнью или злым роком брошенному в кригере на ржавые гвозди, оставалось лишь одно — в молчании стойко выдерживать удар судьбы и стараться на людях держать лицо или хотя бы физиономию.

Позднее я не раз думал, почему с такой легкостью согласился и столь поспешно заявил, а вернее, закричал: «Так точно!!!», даже не поинтересовавшись, куда конкретно меня собираются назначить и где находится ГээСКа... Почему?.. Прежде всего потому, что однорукий подполковник разговаривал со мною по-хорошему, доброжелательно или даже дружелюбно. В отличие от других кадровиков в обеих половинах кригера он ни разу не повысил голос, не говорил ничего обидного, оскорбительного, не кричал: «Вы что — на базаре?!» или «Вам объяснили, а вы опять?!» — не обзывал меня калекой, «мымозой» или «студенткой» и не унижал предложением выписать со склада полпакета ваты и другие предметы женского туалета. Более того, он разговаривал со мной сугубо уважительно, дважды обращался по имени-отчеству, как, судя по рассказам, независимо от званий было принято в старом русском офицерстве, и я не мог себе представить, что столь доброжелательный боевой подполковник, потерявший в боях за Отечество правую руку, воспользуется моей недостаточной осведомленностью и кинет мне такую немислимую подлянку.

ГээСКа, что я расшифровал как «гвардейский стрелковый корпус», подразумевая конкретный, дислоцированный тогда неподалеку от Владивостока, казался вовсе не гвардейским, как я предположил, а «горно-стрелковым корпусом», что сокращенно тоже обозначалось ГээСКа, так что тут меня вроде и не вводили в заблуждение, я сам чудовищно обманулся. Единственное такого рода на Дальнем Востоке соединение, прибывшее месяца за два до того из Южной Германии, как раз в это время, в октябре сорок пятого, в связи с окончанием навигации тринадцатую крупнотоннажными пароходами — по четыре на

каждую горно-стрелковую бригаду — поспешно перебрасывалось на Чукотку, куда и мне командировочным предписанием предлагалось немедленно убыть.

Насчет гвардейского корпуса я просчитался сам, однако подполковник, вопреки кодексу чести русского офицерства, намеренно обманывал меня. Свое согласие быть назначенным в злосчастный ГээСКа я высказал после того, как он заявил, что уже весной я могу написать рапорт и «с чувством выполненного долга» поехать в академию, хотя, согласно недавнего сентябрьского приказа Наркома Оборона номер шестьдесят один, офицеру надлежало прослужить в отдаленной местности, в данном случае на Чукотке, и, таким образом, только там выполнять свой долг, не менее трех лет, и до истечения этого срока сколько бы рапортов ни писалось, ни в какую академию я убыть не мог, и подполковник, безусловно, это знал.

Этого подполковник, к кому я ощутил такую симпатию, уважение и признательность, как позднее выяснилось, обманывал меня, стыдно сказать, даже в деталях, по мелочевке. Так, горно-стрелковая бригада, куда я попал, получив назначение на Чукотку, оказалась Краснознаменной, ордена Александра Невского, и корпус, в состав которого она входила, тоже имел на знамени два боевых ордена, а он, чтобы приукрасить, не раз говорил мне о прославленном «трижды орденосном» соединении, прибавляя тем самым еще одну награду.

Собственно, как оказалось, назначение в гвардейский стрелковый корпус вблизи Владивостока я сам себе придумал или вообразил, точнее, после вежливых обманных слов подполковника проникся иллюзорной надеждой и ничуть не сомневался, хотя покойный дед, с четырех- или пятилетнего возраста воспитывая во мне недоверие к людям, в отсутствие бабушки как мужик мужику настойчиво внушал: «Надейся на печь и на мерина! Печь не уведут, а мерина не убудут!» — в истинности и справедливости этих предупреждений мне довелось убеждаться впоследствии многократно.

Спустя десятилетия, в сотый, быть может, раз вспоминая и осмысливая происходившее в кригере при получении мною назначения, я вдруг осознал, что ведь и сам вел себя не лучшим образом: вопреки кодексу чести русского офицерства обманывал старших по должности и по званию, в частности, при заполнении анкеты скрыл отравление метиловым спиртом у себя в роте и последовавшее затем отстранение от занимаемой должности, а также прибавил себе два класса средней школы. Вообще-то получалось, что с одноклассником подполковником мы как бы поквитались: он присочинил орден, а я — среднее образование, необходимое для поступления в академию. Только он соврал в разговоре, не оставив следов, да и свидетелей бы не нашлось, а я — собственноручно нарисовал в анкете цифру «10», что было уже несомненным подлогом в официальном документе. Однако осознание собственной нечестности пришло ко мне уже в зрелом сорокалетнем возрасте и за давностью случившегося ни раскаяния, ни угрызений совести я не ощутил.

Какое-то время в неодолимом смятении я неприкаянно ходил под мелким дождем по темным мокрым улицам в окрестностях вокзала. Состояние душевного расстройств и подавленности перемежалось короткими приступами самобичевания, и в такие минуты, шагая по лужам, я обзывал себя всякими нехорошими словами, из них самыми мягкими были крайне для меня оскорбительные: соплегон... соплегонышка... Я винил себя за недоумство, за неопытность, за неумение или неспособность достичь поставленной цели. Удивительно, но в тот ненастный вечер и спустя несколько часов я еще не осознавал, что вселенная не перевернулась и ничего страшного не произошло, а просто жизнь, подобно корыстной женщине, всего-навсего в очередной раз вчинила мне — как выплонула! — свой основной незыблемый принцип: «Твой коньяк — мои лимоны!..»

О возвращении в батальон офицерского резерва на Артиллерийскую сопку я не мог и помыслить. После вчерашнего шумного праздничного забутыливания с генеральской без преувеличения закуской — что я мог сказать и как бы объяснил соседям по палатке произошедшее?.. В лучшем случае они посчитали бы меня обалдую или, как тогда еще говорилось, жертвой аборта.

Ночь я провел на станции, в зале ожидания офицерского состава на широченном облупленном подоконнике бок о бок с коренастым рыжеватым капитаном, летчиком, одетым в новенькую защитно-зеленоватую шинельку тонкого

английского сукна. Он уже спал или дремал и, когда я присел рядом с ним, приоткрыв один глаз, посмотрел на меня и хмуро проговорил: «Пихота...» Мне отчетливо слышалось «и» вместо «е», а так как «пихать» и «пихаться» у нас в деревне, как и во многих местностях России, были глаголами определенного матерного значения, я, испытывая немалую обиду, довольно остро ощутил его недоброжелательность или пренебрежение и приготовился к дальнейшим проявлениям его неприязни и к себе лично, и к роду войск, который я представлял, однако ни словом, ни полувзглядом он меня больше не удостоил. Как и многие в те первые послевоенные месяцы, он еще не мог во сне выйти из боя, война для него по ночам продолжалась — он то и дело невыносимо скрипел зубами, стонал, дважды кому-то кричал: «Уткин, прикрывай!» — а под утро в отчаянии заорал: «Уходи, Уткин, уходи!!!» — и, с силой выкинув перед собой руки, чуть не сбросил меня с подоконника, а затем снова захрапел.

Пребывая в тяжелейшем душевном расстройстве, я почти не спал и мучался всю ночь, однако нравственный или духовный стержень офицера в законе был во мне крепок и непоколебим, и к утру я полностью осознал, что все делалось правильно: для усиления обороноспособности происходила массовая перемещение войск в северные отдаленные районы, и личные интересы следовало подчинять интересам государства. Будучи офицером, я, безусловно, являлся государственной собственностью или, как еще говорилось в старой русской армии, казенным человеком и, если честью офицера в России испокон века являлась готовность в любую минуту отдать жизнь за Отечество, то главным моим жизненным предназначением в мирное время было беспрекословное выполнение воинского долга и приказов командования. Именно с этим убеждением туманным вечером одиннадцатого октября сорок пятого года в грязном и холодном грузовом трюме десятилетия «Балхаш», — полученного по ленд-лизу транспорта типа «либерти», — на третьем, верхнем ярусе жестких, без какой-либо подстилки деревянных нар, с головой завернувшись в свою старенькую незабвенную шельму, ближе и роднее которой на всем необъятном пространстве от берегов Тихого океана и до самого Подмосковья у меня ничего и никого не было, и ощущая себя в этом огромном, недобром и непостижимом мире обманутым, безмерно одиноким и не нужным никому, кроме находившейся на моем иждивении бабушки и Отечества, я убыл из владивостокской бухты Золотой Рог для прохождения дальнейшей службы на крайний северо-восток Чукотки да и всей России, в район селения Уэлен, откуда, если верить справочнику, до ближайшей железнодорожной станции было шесть тысяч четыреста двадцать пять километров, а до Америки или, точнее, до Аляски — не-не ста...

ДМИТРИЙ КОЧУРОВ

*

ЛЕТЯЩИЙ В НЕБЕСАХ

Полярный волк под Солнцем плачет,
И Солнце катится к Луне.
Россия спит, а это значит —
Дитя покоится в огне
С цветком в руках,
С молитвой на губах.
Огонь трепещет, поелику Слово —
Что ангел твой, летящий в небесах
От стен Кремля до острова Тамбова
И там сгорающий среди родных пустынь,
Где по тайге маячит образ зверя,
Где шорох леденеющих простынь
Как плач над мертвым, и легка потеря
Всех дивных чар, что полнят горизонт,
Гудящий раскаленную струною.
Так в пустоту вливается азот,
И ангел пролетает над странюю.

Мурманск.



ЕВГЕНИЙ НОСОВ

*

ТЕМНАЯ ВОДА

Рассказ

Нет ничего досаднее, чем возвращаться с пустой охоты. После бессонной ночи у костра, на всполохи которого вскоре набрели еще и соседи по охотничьим засидкам, тоже выставившие свои «боеприпасы» — в знак укрепления ружейного братства; после всеобщего спора о калибрах, порохам и собаках, а тем паче о политике, особенно распалляющей неуступчивость и не дающей сосчитать выпитое; после затем нетвердого, похмельного лазанья по мокрым рассветным камышам, среди чавкающих торфяных хлябей, сокрытых невесть откуда взявшимся туманом, столь густым и плотным, что перепуганный чирок, едва выфыркнув свечой из-под самого носа, тут же исчезал в непроглядном ватном небытии; наконец, после бестолковой пальбы по любому живому промельку, по всякой подозрительной загогулине, чернеющей на молочно парящей поверхности воды, — после всего этого, называемого открытием осеннего сезона, мы, невыспавшиеся, помятые, с дурным гудом в голове, за полдень засобирались домой, молча, отчужденно запихивая в рюкзаки раскиданное шмутье и лагерную утварь.

Можно было, конечно, остаться еще и на вечернюю зорьку, подождать того часа, когда земля подернется густеющей дремой, а небо еще полно прежнего озарения. В эту пору утка, прокоротав светлое время на хлебных верхах, откуда заведомо зрим и слышим любой конный и пеший, всякий пес и лис, покидает дневную кормежку и тянет к воде. На безопасной высоте она ведет свой едва ставший на крыло выводок к еще недавно тихому родному болоту, в один день истоптанному десятками охотничьих бродней, осыпанному свинцом, горелыми пыжами и окурками, чтобы забиться в крепи и перебыть там, вслушиваясь и тревожась, до первых утренних отсветов...

Вечерний подлет длится каких-то полчаса, когда стрелок, слившись с одиноким кустом, хорошо видит птицу, а она его — нет. Темный утиный рисунок четко, чеканно проступает на рьяной палевости зари. Матерая крачка сторожко поводит аккуратной, точеной головкой, посматривает, что там, внизу, коротко вскрикивает, наставляя несмышленный молодец, несчастливо родившийся в пору предельно усовершенствованных «тозов» и «зауэров», выцеливающих их хрупкое бытие.

В этот момент и бьют утку влет хорошей, крепкой дробью, чтобы не рикошетила от плотного пера мелкой, бессильной пшенкой, а разила кучно и наповал.

Еще как сказать, что лучше: утренняя ли охота на воде или вот такая, в сухой лет, когда удачно схваченная на мушку дичь с тупым звуком падает на прибрежный бугор и стрелок не опасается ее потерять, как часто теряют подранка в болотной чаще. Здесь она сама себя добывает наверняка, грохаясь о твердь с подлетной высоты.

Впрочем, сам я не охотник, никогда не заводил ружей и со времен войны ни разу не стрелял во что-нибудь живое, и потому мои суждения об этом предмете, надо полагать, весьма сторонни и поверхностны. А напросился я на от-

крытие сезона просто по случаю, любопытства ради, чтобы, как говорится, подышать подлинной атмосферой охотничьего праздника.

— А может, останемся? — заколебался один из двух наших Андреев, обладатель клетчатой тирольской шапочки. — Давай еще вечерок постреляем, а?

Он вопрошающе смотрел на хозяина «газика» Куприяныча, ища на его округлом, в крупных складках лице какие-либо обнадеживающие подвижки.

— Нет, братцы, — отмахнулся Куприяныч. — Вы как хотите, а я по таким дорогам ночью не ездук.

— Завтра поедем...

Куприяныч категорически зачехлил свою «ижевку» и бросил ее на заднее сиденье.

В общем, разговор кончился тем, что оба Андрея оттащили свои набитые рюкзаки в сторону, а мы — я, Куприяныч и его не то зять, не то племянник Олега — забрались в «газон» и помахали им ручкой.

Дорога и впрямь была не для всякой машины. Недавние затяжные дожди и хлебоуборочная техника — все эти «КамАЗы», «К-700» с прицепами — сделали свое черное дело. Полевые проселки, за лето было присмирившие и даже поросшие травкой, как-то сразу утратили свою прежнюю твердь, гнбло распустились по низинам бочагами, расплзлись вишьрь по зяблевым и свекольным окрайкам, а то и по несубранным хлебам, и веяло Мамаевым нашествием при виде золотистых пшеничных стеблей, вдавленных в непроторенное месиво чернозема.

Правда, за последние дни погода снова восстановилась, прозрелшее солнце и неназойливый ветерок подсушили поля, на жнитве опять ожили, замелькали планками комбайны, но дорога, глубоко взрытая колесами, вздыбленная грязевыми хребтами, уже начавшими цементно цепенеть, сделалась еще больше непригодной для легковой езды.

Мы истратили не меньше часа, пока добрались до маячившей на горизонте заброшенной церквушки, убого, пустогазо замершей среди бурого, заматеревшего бурьяна, из которого кое-где торчали ржавые, под стать бурьянам, остовы железных крестов.

Странно, но никто из нас не помнил этой церквушки. Видно, вчера при трудном подъеме на взгорок, когда «газик», рыская то вправо, то влево, будто живое существо, у которого вот-вот иссякнет последняя воля и заглохнет вконец загнанное сердце, несчастно, страдальчески выл и захлебывался, окутываясь сизым чадом, мы, напрягшись и сопереживая, вглядывались в дорогу, не имея возможности озираться по сторонам. И потому, выйдя теперь из машины, чтобы оглядеться, мы ни в чем, кроме заезженного бугра, не узнавали этого места.

Отсюда, с кладбищенского взлобья, жестким фольговым блеском воды открылся долгий, с боковыми отводками пруд, уходивший куда-то за поворот, за дальний береговой выступ. На большей своей площади пруд одичало лохматился камышами, образовавшими шумливые острова, и, очевидно, был мелок и тоже заброшен. По обоим его берегам в прогалах древесных крон тут и там проглядывали деревенские строения, изреженные и произвольно разбросанные, без признаков уличного порядка. На левой стороне за глинисто желтевшей плотиной обособленно, на возвышенном выгоне, смотрел на округу большими нездешними окнами белый, из силикатного кирпича магазин, по которому наконец мы узнали, что это и есть та самая деревня Верхние Чапыги, или Чапыги, где мы вчера крепко засели, и как раз в этот магазин бегал Олега спросить черенок для сломавшейся лопаты. Никаких черенков там не оказалось, зато Олега принес полную кепку сырых сорных семечек, а еще — подозрную трубу из тех, которые в городе уже нельзя было найти, поскольку все подозрные трубы, по слухам, скупили и увезли вьетнамцы.

Обсудив все за и против, все-таки решили больше не ехать той гнблой стороной, а попытаться обойти деревню по ее правым задам, тем паче что туда от церкви тоже вела какая-то дорога. Смушало лишь то, что правый развилок, круто сбегая вниз, терялся под пологом старых сомкнувшихся раки, и было неведомо, каково там, внизу... Но дорога эта тоже была ежена машинами, оставившими по себе свежие и не весьма обнадеживающие колеи.

— Ладно, — сказал Олега, — была не была... Давай, Куприяныч, помалу, а я пойду впереди для подстраховки.

— Нет, — не согласился ехать Куприяныч. — Ты сперва сбегай посмотри, что там... А то, как вчера, опять вяпаемся, не глядя.

— Это я мухой, — согласно кивнул Олега и зашагал вниз, поплеывая подсолнечными кожурками.

Но едва он скрылся под навесом раки, как тут же появился вновь и поспешно с застывшим лицом взбежал на гору.

— Ружье! — выдохнул он запаленно. — Дай ружье скорее...

— А в чем дело? — не понял Куприяныч.

— Кажется... кабан... — засуетился он возле машины.

— Какой кабан? Где?

Олега досадливо поморщился, выхватил чехол со своей «тулкой», накинул на шею патронный пояс и снова пустился к ракитам.

Мы с Куприянычем машинально потрусили следом.

— Только сунулся туда... — возбужденным шепотом оповещал Олега, — а там что-то черное... прямо на дороге... в колее копаются... Колея глубокая, одна только спина видна... Точно: кабан!

— Причудилось, поди, со вчерашнего... — ворчал Куприяныч, и тучное его лицо сотрясилось от неловкой побежки под уклон.

— Да чего мне врать! — обиделся Олега. — Вот сами увидите... если еще не смылся... Вы тише давайте... Кончай кричать...

Олега, настороженно приподняв плечи, вкрадчиво вступил в аллею, мы же с Куприянычем, тоже внутренне изголодавшись, следовали за ним в пяти-шести шагах...

После открытого солнечного пространства здесь, под толщей ветвей, было серо и поначалу даже сумеречно. Поваяло горечью томленного листа, погребным духом непросыхающей земли, древесного корья. В узкой теснине одной из колея рготно высветилась давняя, застойная вода. В той же колее чуть подальше и в самом деле шевелилось что-то невнятное, неопределенное, но явно живое.

Должно быть, почувяв постороннее присутствие, это нечто суетно зашевелилось, выпятилось черным лоснящимся горбом, приподнялось над острыми гребнями канавы и вдруг обернулось в нашу сторону.

В удивленном смятении увидели мы блеклый, желтоватый косяк человеческого лица, обернутого серым самотканым платком. Старая женщина немощно приподнялась с четверенек и, так и не выпрямившись в полный свой полудетский росток, застыла в колее. Измазанные сметанной грязью кисти рук отстраненно свисали по бокам черного плюшевого полусака, тоже заляпанного шлепками дорожной жижи.

— Фу ты черт! — облегченно выдохнул Олега и опустил выставленную вперед двустволку. И вдруг заорал запальчиво и гневно: — Ты что, старая?! Чуть до греха не довела! А если б пальнул нечаянно?

Старуха продолжала немо, как бы виновато горбиться, безвольно расставив, как не свои, черные, земляные ладони. В подлобных впадинах, затененных нависающим платком, обозначились красноватые, слезливые прорези глаз, в сырмясой глубине которых уже нельзя было распознать, есть ли там еще что-либо живое, способное воспринимать внешний мир.

Олега отбросил ружье и подскочил к старухе. Подхватив под мышки, он выволок ее из канавы.

— Ты чего так дрожишь? Напугалась? — спросил он, заглядывая под осунутый на глаза платок. — Да не трону я тебя! Тебе плохо, что ли? Сердце небось? Или что? Да ты чего молчишь-то?

— Не вижу я... — слабо, почти только одними губами произнесла старуха. — Темная вода у меня...

— А дрожишь-то чего?

— Уморилась я... Колевины вон какие... Всю душу вынули...

— Ты что, совсем не видишь? — попытывался Олега.

— Щас дак совсем... Мутно, как сквозь рядно...

— Как же ты шла? По такой клятой дороге?

— Я в очках была. В очках маленько видно... Да и то одним глазом токмо.

— Так очки-то где? Потеряла, что ли?

— Да вот... — Старуха шевельнула расставленными руками, делавшими ее похожей на ушибленную ворону, у которой не складывались помятые крылья. — Запнулась я да и сронила с носа.

Олега повертел головой, озираясь, даже посмотрел себе под ноги, приподнимая то один, то другой сапог.

— Где обронила-то? В каком месте?

— Тутотка и сронила.

— Ну хоть приблизительно покажи! — начал кипятиться Олега.

— Да как я тебе покажу? Я и сама не знаю, где я, куда забрела... Небось битый час на четверях лазила...

Мы все трое разошлись по низине, обшаривая глазами колеи и колдобины, заодно прикидывая, пройдет ли это место машина.

Дорога оказалась непроходимой даже для нашего полноприводного «газика».

Пошарив еще окрест, мы, кажется, нашли выход: протиснувшись между деревьев, надо будет попытаться вырулить на деревенский окраек, на забурьяненные огородные зады, по которым, подмяв саженный дурнотой, кто-то уже проложил колесный починок.

— Ладно, будем и мы пробовать, — согласился на объезд Куприяныч. — Пойду за машиной.

Он ушел, а Олега, подобрав в кустах какую-то жестянку и зачерпнув столой воды, подступился к старухе:

— Давай, мать, руки маленько обмоем. А то вон как испачкалась.

— Дак и угваздаешься, — начала обвыкаться старуха. Она послушно свела ладони ковшиком, выставила их перед собой. — От машин да тракторов альнишь земля дыбом. Шарила, шарила — нигде ничего... Утопли небось мои стеколки. Ежли теперь сапустат трактор проедет, дак и вовсе раздавит али зароет колесами... Трактора нынче выше хаты стали, а все толку нема...

— Трактора, мать, делались не пахать, а пушки таскать, — пояснил Олега. — Давай-ка заодно сапоги ополоснем. Станешь опять как новая! Тебя как хоть зовут?

— Ульяна я, — назвалась старуха.

— А по отчеству?

— По отчеству, милай, мене уж давно не кличут. Допрежь хоть в колхозных бумагах две буквы ставили. А теперь я из всех бумаг выставлена. Так что бабка Уля я. А мне и ладно, таковская.

— Так ты откуда шла? — спросил Олега, еще раз сходяв за водой.

— В магазин бегала, — бодрясь, сказала Ульяна, вытирая обмытые ладони о полы одежки.

— Аж на ту сторону?

— А чего делать? Хлебца-то надо! Я и так сидела-сидела, пока все сухари не извела. Одной картошкой жила. Ну да с картошкой чаю не выпьешь. А без чаю и вовсе жить нечем.

— К чаю заварка нужна, — поддерживает разговор Олега. — А чаю нынче и в городе не стало.

— Заварки мне до веку хватит: зверобой, да душичка, да лист смородиновый. Этого добра — на всякой меже. Я уж и на зиму припасла, пучков навязала.

— Выходит, хорошо живешь?

— А мне много не надо. Вот хлебца купила, макаронцев, пшеница полкило... Ой, а где моя покупка? — вдруг встрепенулась она. — Со мной авоська была...

— Да тут, тут твоя авоська! — успокоил Олега.

— Ох ты Господи! Аж сердце захолонуло! — Она провела ладонями по лицу, будто очищаясь от незрячести. — Так грохнулась — про поклажу забыла. Небось весь хлеб уляпала... Погляди, сынок, все ли цело? Не просыпалось ли чего...

— Цело, цело! Я авоську на сухое отнес. Хлеб немного повредился, а так все цело.

— Ну, слава Богу! — расслабилась Ульяна. — Хлебец — это я общипала. Шла да сквозь мережку поковыривала. Хлеб еще теплый, в самый раз привезли. Хотела еще маргарину взять, да сказали — нету. И тот раз не было. Мне одного кирпичика до октябрьских хватило бы... А без маргарина лук не на чем обжарить. Для варева. Я и так обхожусь: натереблю подсолнуха, бутылкой жареное семя покатаю, ненужное отвею, а нужное — в суп. Оно вроде и пахнет маслом.

— Ну ловко! — деланно похвалил Олега, поглядывая на бугор — не идет ли машина. — Сама додумалась или кто научил?

— Не я, дак нужда моя. Нужда жернов вертит. — Лицо бабы Ули затеплилось довольной плутоватой живинкой, но тут же пасмурно озоботилось. — Все б ничего, да вот без очков не знаю, как буду... Слепая, дак и за ворота не выйдешь. А мне скоро картошку копать.

— Разве больше некому? — поинтересовался я.

— Дак кому еще — одна живу.

— А мужик где?

— А мужик теперь от меня отдельно.

— Как это? Бросил, поди?

— Ага, бросил... — кивнула Ульяна. — Вон на тот бугор убрался...

— Умер, что ли?

— Да уж семнадцать годков тому, — торжественно, в каком-то почтении пропела Ульяна.

— Что так? Отчего умер-то?

— А зачем тебе? — уклонилась она. — Ты его не видел, не знаешь. Помёр да и помёр, царство небесное.

Ульяна затихла, отрешилась лицом, собрав губы, будто стянула их шнурком наподобие кисета.

— Ну не хочешь — не говори.

— Да чего говорить... — горестно выдохнула она. — Трактором переехало, вот и вся недолга...

— Как же это?

— Смерть причину найдет, когда Бог отвернется, прости мя, грешную... Ночью он на болоте осоку косил. Для своей надобности. Коровка у нас была. А когда рассвело — пошел еще и колхозный клевер убирать. Днем на жаре разморило не спамши. Он и прилег на свежую кошенину. Да еще голову травой прикрыл — от мух. Вот тебе трактор с прицепом. С фермы за подкормкой приехал. Стал разворачиваться да и накатил своим колесищем на сонного. Аж внутренности выпали.

— Да как же он так? — ужаснулись мы. — Куда тракторист хоть глядел?

— А я, говорит, думал, что это чья-то куквайка лежит. Он ведь в своей кабине эвон на каком юру сидит! Оттуда и земли до пути не видно. А может, тоже ночь не спал, по девкам пробегал. Малый молодой, только из армии вернулся. Ну а председатель с парторгом убоялись ответа да и написали бумагу, как будто мой сам во всем виноват. Дескать, выпимши был. Трезвый, мол, не стал бы в борозде валяться. А он и в рот ничего такого не брал — язвой маялся. Из-за этой ихней бумаги мне и пенсии никакой...

— Взяла бы да в суд подала, — подсказал Олега.

— С кем судиться-то? Тракторист заваялся от греха куда-то. Парторг вскорости сам от водки помёр. А председателя в район на должность забрали. Посудишь теперича с ним, когда он пузом вперед ходит...

Ульяна потянула на затылок платок, подоткнула растрепавшиеся седые кудели.

— Ох, лихо мое! — вздохнула она. — Стало быть, нема очков? Как же я добираться буду? Даже не знаю, куда лицом стою: домой али от дому... Срубите-ка мне палку да направьте носом, куда иттить... Бог даст, доберусь как-нибудь...

— Погоди, баб Уль. — Олега тронул ее за плечи. — Сейчас машина будет. Отвезем тебя до самого дома. У тебя соседи-то есть?

— Теперь какие соседи? Кричи — не докличешься. Справа один бугор от хаты остался. А слева хаты целы, да без людей. Аж в четвертой от меня Клаха еще копошится.

— Ну а если что случится — как тогда?

— А мне в том году школьные ребята флаг перед хатой устроили, — почему-то усмехнулась Ульяна. — Они так-то всем кривым старухам поделали. Ежли надо чего, говорят, дак ты, баба Уля, за шнурок потяни — белый флаг и поднимется на слегу.

— Ну и как, тянула?

— Баловство все это! — отмахнулась Ульяна. — Кто эту тряпицу увидит? Кто на нас побегит? Клаха совсем обезножела, хоть самой белый флаг выкидывай. А которая справа — та к дочери уехала: дочь у нее родила. Доси нету.

— Ну а у тебя самой дети есть?

— Да как сказать... Пока маленькие бегали — вроде были, а выросли — вроде и нету... Одни обноски от них остались, берегу в сундуку.

— Выходит, тоже бросили?

— Не-е! — воспротивилась Ульяна. — Детки у меня хоро-о-шие! Бог не обидел! В школу день в день проходили, выучились. Младшенькая, Алевтина, учительский институт закончила по английскому языку, потом на самолетах летала.

— Стюардессой, что ли? — переспросил Олега.

— Ага, ага! — закивала Ульяна. — Я этого слова никак не скажу... Противилась ей: зачем тебе это? Я ж буду бояться: а ежели упанешь с неба-то? А мне, говорит, нравится: за границу летаем, людей интересных вижу, форма красивая... Цветную карточку прислала — и правда: кустом прямо влитый и картуз с золочеными крыльями — она и не она. Видеть радостно, а сердце щемит...

— Всю жизнь ведь летать не будешь, — резонно заметил Олега. — Когда-то надо и на землю спускаться.

— Теперь, слава те, Господи, уже не летает, — согласилась Ульяна. — И я успокоилась, от души отлегло. Замуж вышла. В первый раз неудачно: что-то там у них занеладилось. А во второй — муж хороший попался. Правда, намного постарше ее и не нашенский, Асланом звать. В Махачкале живут. Была я у них, еще когда видела. Внучатки чернявенькие, волосики баранчиком завиваются, ну прямо ангелочки! Сам он ревизором на железной дороге работает, она — кассиром в аэропорту. У них машина своя, лодка с мотором. Возили меня на дачу. Ихний домик в горах, два этажа, веранда на четыре стороны, так что ребяташки по кругу бегают. А под домом еще подвал с гаражом и с кухней. Виноград прямо от калитки до самых дверей вьется. Кисти висят, аж ходить под ними боязно. Алевтина смеется: мама, ты чего голову пригинаешь? Рви, не стесняйся. Вот тут белый растет, а вот черный. А я и притронуться робею. Даже не верится: будто в рай попала. А сынок Степа в Туймазах живет, тоже далеко где-то... Звал, звал — так и не собрался. А теперь куда ж я такая?

— Ну а они у тебя бывают? — поинтересовался я.

— Прежде наезжали... Особенно Степа. Бывало, подскочит, картошку уберет, крышу подлатает, дров на зиму наколет. Это когда еще молодой был. А теперь как поедешь? У Алевтины дети, в том годе четвертого родила. Пишет, пришлось женщину нанять за детишками доглядывать, да и так по дому, в магазин сходить. Сама-то на работе. А Степа участок взял, затеялся дачу строить. Тоже двухэтажную. Все отпуска на нее изводит. Он у меня на все руки: сам стены сложил, сам покрыл, а теперь столярничает. Говорит, одних дверей надо двенадцать штук сделать да оконных рам сколько... И служба у него ответственная. Аж до прорабов дошел. А вот деток Бог не дал. Одни живут...

Наверху за деревьями послышался капризно подвывающий звук мотора, будто «газика» заведомо не хотелось спускаться вниз, и мы замолчали, вслушиваясь.

Остановившись перед сводом ракут, Куприяныч хлопнул дверцей, подошел к нам.

— В магазин, что ли, ездил? — пошутил Олега.

— Кой в магазин! — Куприяныч досадливо сплюнул. — Колесо менял! Прокололись где-то... На колючую проволоку наскочили. Пока поддомкрачивал да менял... Еще запаску подкачивать пришлось... Ну что, поехали?

Усадив Ульяну и уложив на ее колени авоську, мы с Олегой пошли позади машины, готовые всякий раз подтолкнуть или подкинуть чего-либо под колеса. Наконец «газик» свернул со взрытой дороги и буквально впритирку просунулся

между двух библейски древних ветел, растресканных и грубо сморщенных в кряжистом обножье. Сразу же за ракитами сыро, илисто очерилась придорожная канава, заставившая машину взречь и окутаться сизым угаром. Из-под колес выметнулись ошметки грязи, перемешанной с прелыми листьями и веточной гнилью, резко шибануло потревоженной затхлостью, перегретой резиной. Содрогааясь остовом, «газик» медленно, обреченно сползал по склону канавы влево, однако в последнее мгновение все же ухватился за какую-то твердь и вдруг резким скачком, оторвавшись от нас, толкавших его в задний бампер, выпрыгнул на ту сторону, оборотисто взвыл, закашлялся от не нужного теперь усердия и виновато заглох, роняя с днища пласти черного месива.

Мы с Олегой, ошмурыгав о траву сапоги, расселись по своим местам, и машина осторожно, как бы ощупью углубилась по старому следу в чащобу зобника, жестко, наждачно царапавшего и хлеставшего по окнам и брезенту грубыми, похожими на свиные уши листьями, с исподу поросшими сивой щетиной. Машина наполнилась шумом, как если бы мы ехали под проливным дождем, и мы невольно примолкли, переживая непривычное, сковывающее ощущение.

Эти неприятные, нагловатые растения с толстым, жирным и тоже волосатым стволем называют также сатанинским бурьяном, а еще — дурнишником, и это последнее прозвище наиболее соответствовало непролазному дурностою. Мне говорили знающие люди, будто этот вид, в отличие от нашего российского зобника, весьма неказистого и не столь алчного, каким-то грехом был завезен из Америки. Заморский пришелец, как бы почуяв нашу слабину и безнаказанность, из своих прежних габаритов в несколько поколений мутировался в дерзкого вездесущего гиганта. Однажды просыпавшись семенем, он в три-четыре года заполнил все места, где человек опускал руки, переставал ладить с землей и по этим зарослям, прежде всего на обиженной и заброшенной пашне, вокруг скотных дворов, манящих навозом, возле силосных ям, а затем и на уличных пустырях, на порушенных пепелищах, — по этим черным его всполохам безошибочно можно судить, что к селу подступили разор и пагуба.

— Так куда ехать-то? — повернулся к Ульяне насупленный Куприяныч, отрулив по дурнишнику порядочное расстояние. — Ты верно из этой деревни? Может, не из этой вовсе?

— Из этой, сынок, из этой! Из Чапыг я, — поспешила заверить Ульяна, не видя, что у «сынка» плещь от уха до уха, да к тому же покрывшаяся испариной от такой тряской и непроглядной езды. — Из Верхних Чапыг я, милай.

— Что, есть еще и Нижние?

— А то как же! На одной речке живем. Сперва мы напьемся, а что останется — в Нижние Чапыги течет. Зато там у них контора, сельсовет с почтой, а мы только бригада ихняя.

— Это сколько ж до Нижних-то?

— Да, считай, верст пять, не мене. Я оттуда и не добрела бы. Так что с верхов я, милай, тутошняя.

— И что, везде так вот позарастало? — ехидно дознавался Куприяныч.

— Да кто ж знает... Давно тамotka не была. Прежде дак часто бегала. Даже на доске возле конторы висела. А теперь пенсию на хлеб або открытки к праздникам почтарка заносит. Так что незачем туда. Они мне не нужны, а я — им. Во всем квиты.

— Ну так дом-то твой где? Куда ехать?

— А у меня не дом, у меня хатка. Под навозцем... Вот и гляди: как увидишь под навозцем — это и есть моя хата.

— Да куда глядеть-то? — злился Куприяныч. — Ни хрена ведь не видно. Бурьянице — аж выше крыши. Поразвели, понимаешь...

— Да кто ж его нарочно разводить станет? — противилась Ульяна. — Человек со двора — дурная трава во двор.

— Хоть бы скосили, что ли. Нельзя же так! Срамно глядеть...

— Эх, милай, кому косить-то? Никаких рук не хватает.

Наконец выбрались на открытый прогалок. Вниз, под гору, уходили побуревшие картофельные ряды, меж которых то тут, то там желтели и розовели сытые тыквенные туши. На межах торчали поникшие подсолнухи, желтые будылья кукурузы со спеленатыми початками в пазухах заломленных листьев. За картошкой, ближе к жилью, разлато дремали яблони, покрытые огрубев-

шей, неопрятной листвой, среди которой неожиданно ярко, свежо проглядывали ядренные яблоки.

Куприяныч тормознул машину, распахнул дверцу.

— Вот тут на огороде тыквы валяются. Не твои, часом?

— Не-е! — отказалась Ульяна. — Тыков я не сею. Тыквы для поросятков. А у меня теперь ничего не хрюкает. Пошабашила с этим.

— Тогда вон кукуруза на меже?

— Тоже не моя.

— Ну не знаю... — досадовал Куприяныч. — Тогда что же у тебя?

— Картошка, квасоля да так разное.

— Ну, может, дерево какое приметное?

— Дерев много. По берегу растут.

— Ну а еще что?

— А еще — дуля у меня.

— Груша, что ли?

— Ага, — заявила Ульяна. — Грушка, грушка на огороде. Уже падать начала. Приедем — покушаете...

— Фу ты!.. — поморщился Куприяныч. — Ты дело говори...

— Может, сбегать спросить кого? — готовно предложил Олега.

— Ладно, давай.

Олега вышмыгнул из машины и побежал по картошке, ребячливо перепрыгивая в своих лопухих сапогах через тыквы. Его синий вязанный петушок замелькал между яблонь и скрылся в глубине сада.

Вскоре, однако, он воротился. В подоле его свитера румянились яблоки, одно он с хрустом обкусывал и жевал, ходко двигая салазками.

— Ну чего? — Куприяныч потянулся за яблоком.

— А-а! — мотнул петушком Олега. — Нету там никого. Дверь доской заколочена. А в соседнем дворе один глухой старик, сидит под навесом, вентерь чинит. Я его спрашиваю, а он — ась да ась... Да и так ясно, что не то место, не те приметы. А яблок!.. Елки-моталки! Под деревьями вся земля усыпана! Запах — что твое шампанское! Осы роем гудят, дырки делают. Прямо чудеса: все растет, а хозяев нету. Ба Уля, хочешь яблоко?

— Не, милай, это не моя еда... — отказалась Ульяна и пояснила насчет заколоченной двери: — У нас многие ногами в городе, а руками тут. За усадьбу держатся.

Автомобильный след снова вывел нас на прежний проселок. Здесь, наверху, придорожные ракиты сменились легкими, веселыми березами с первыми желтеющими прядками в еще зеленой листве. Березы почти не затеняли подножье, и ветер беспрепятственно сквозил между белых стволов, не давая дороге киснуть. Однако все это сделало проселок жестче, чем там, внизу, под раки-тами, и потому по-прежнему пришлось пробираться исключительно на первых двух передачах.

А между тем встречный трактор, тот самый «К-700», напоминающий некое доисторическое животное, которому все нипочем, легко бежал по островерхим колчам и устрашающим промоинам, споро мелькая толстенными рубчатыми колесами. Вынесенный далеко вперед тупой лобастый урыльник с низко расставленными бельмами рифленых фар надменно плыл над дорожными препятствиями, и я вспомнил, что именно такой подслеповатый и бесчувственный ко всему, что встречается на его пути, мастодонтище когда-то наехал и раздавил Ульяниного мужика.

— Давай у него спросим, — предложил Олега.

Куприяныч, предусмотрительно отвернув в сторону, остановил машину, и Олега выскочил и замахал над головой перекрещенными руками.

Трактор черно выхрюкнул из торчащей кверху трубы, качнулся рылом и тоже остановился, утробно урча разгоряченными, разящими соляром внутренностями. На полтораэтажной высоте распахнулась оранжевая дверца, в проем высунулся тракторист, молодой, со спутанной копной модно немых битловских волос, и весело, общительно выкрикнул, промелькивая крепкими зубами:

— Закурить есть?

Олега извлек из заднего кармана трико обмятую пачку «Опала» и вложил ее во встречно протянутую руку.

— Я возьму еще парочку? — спросил парень, закурив и жадно, во весь дух, втянув в себя первую, голодную затяжку.

— Бери, бери...

— Ну вот выручил... А то весь искурился. Щас мотнусь до магазина, куплю... А ты небось с Ольшан едешь?

— Ага, на открытии были, — кивнул Олега, закуривая за компанию.

— Ну и как?

— По нулям, — кисло признался Олега.

— Что так? А я позавчера прямо с крыльца крякуху саданул! — довольно засмеялся парень. — В огород упала. Думал, утка, нет — селезень, голова зеленая. Гуманитарный доппаек кила на два! — еще пуще смеялся он, и Олеге стали видны его крепкие, в острых молодых буграх коренные зубы. — Баба тут же зажарила под стопарь. А у тебя, значит, ничего?

Олега подернул плечами: дескать, что поделаешь, не судьба.

— А я жду, когда пролетная пойдет, — сказал парень, выковыривая слезины, запавшие в уголки все еще смеющихся глаз. — Вот это охота! Северная утка — дура. Непуганая, людей не боится. Камень из кустов бросишь, а она не шарахается, как наша, думает, что рыба всплеснулась... Приезжай, если хочешь. Тебя как зовут?

— Олег.

— А я — Славка. Так приезжай, а?

— Сюда ж путевку надо, — не согласился Олега. — В населенных пунктах стрелять не положено.

— Ну, это вам, городским, не положено. А я тут живу, пруд под самыми окнами — какие еще путевки? Я здесь хозяин, понял? Ну какая, скажи, путевка: сiju, чай пью, вот тебе сели, можно сказать, в тридцати шагах от моего самовара... Когда тут путевку выписывать? Хватаю ружье, выскакиваю как есть в майке: бах-бабах! Пара есть! Да я и без ружья обойдусь... На перемет, понял?

— Но ведь это запрещено?

— Да ладно тебе! — укоризненно тряхнул кудрями тракторист. — Запрещено, не положено... Ты, часом, сам не легаш ли?

— Да пошел ты! — обиделся Олега.

— Ну тогда слушай, как я делаю, может, пригодится... Ставишь перемет, но только не со дна, как на рыбу, а поверху, на поплавах. Можно на пробках, а можно на пенопласте. На пробках, я считаю, лучше: пенопласт больно белый, не всякая утка подойдет, а пробка в самый раз, на деревяшку похожа, вроде как природная, понял? Остальное — крючки, поводки — все так же, как на рыбу. Нажива — все сгодится: лягушата, дохлая рыбеха, червяки, плавленый сырок, ну, в общем, сам пробуй. Можно даже куриные кишки... Я один раз на арбузную корку заловил! Утка все пробует, а потом, что не понравится, выплевывает, понял? А дальше так... Всю эту снасть заводишь на лодке в камыши, но не в самую гущу, а в прогалки между ними. Это обязательно! Не на чистое, а в камыши, понял? Щас скажу почему. Когда утка заглотнет, то больно шумит, крыльями хлопает. А в камышах не видно. Мало ли кто хлопает. Может, местные гуси купаются... — Парень снова рассмеялся и довольно оглядел Олегу. — Усек?

— Ну а если гусь попадется?

— Не-е! Гусь такую наживу не тронет. Брезгует! Он чистоплюй, одной травкой питается.

Тракторист снова закурил и, не закрывая дверцы, откинулся на сиденье.

— А ты чего порожняком? — спросил Олега, оглядывая мерно гудящую, подрагивающую махину «Кировца».

— Да говорю ж тебе — за куревом еду! А прицеп в поле оставил. Пока солону накидают, я успею смотаться.

Из машины коротко посигналили: мол, хватит трепаться, — и Олега наконец спросил, что хотел:

— Слушай, друг, ты не знаешь, где тут бабка Уля живет?

— Зачем тебе?

— Да так... Нужно...

— Бутылку мозгобойчика, что ли? — хохотнул Славка.

— Ну, допустим... — дипломатничал Олега.

— Бабка Уля... Бабка Уля... — Славка напрягся лицом, вспоминая. — Сухорукая такая? Правая рука плетью висит?

— Нет... Руки у нее целы. Слепая она. Темная вода у нее.

— Ну, тогда не знаю... А зачем тебе именно бабка Уля? Ты поезжай на ту сторону, спроси Кукариху, она все сделает. У тебя есть ручка — я записку напишу? А то поехали со мной, мы туда-сюда — в один момент...

— Да нет... Мне бабка Уля нужна.

— Сказал — не знаю!

— Ну как же... Ты сам-то на этой стороне живешь?

— На этой. И что?

— И она на этой.

— Наша сторона большая. Всех бабок разве упомнишь? Если бы ты про девку спросил, — Славка захохотал, смачно шлепнув себя по коленкам, — это пожалуйста! Всех от края до края пересчитаю, какие еще остались. А бабки — потайной народ. У них своя жисть, отжитая. В клуб они в Нижние Чапыги не ходят, на танцы не бегают. По своим норкам сидят. Где их увидишь? Разве когда вперед ногами через всю деревню пронесут... Ну ладно, покати я. Салют!

Он газанул на холостых оборотах, и трактор готовно выстрелил из трубы несколько черных бубликов — в знак прощального привета.

— Погоди! — спохватился Олега.

— Чего тебе? — еще раз высунулся Славка.

— Хотел узнать: низом по улице проехать можно?

— Не-е! — Славка помотал головой. — Нынче там нет сквозной дороги. Водой подлило. Были ярузки, а теперь — затоны. Так что улицу на куски порезало. Разнобоям живем, по нескольку дворов. Как лумумбы на островах! — захохотал он.

— Зачем тогда пруд, если так? — не понял Олега.

— А леший его знает! Так просто! Его уже два раза сливали. Один председатель напустит, придет другой — сольет... Третий опять плотину починяет... Бабы гундят: раньше они в магазин через луг бегали, а теперь надо кругом закределивать... Лично мне вода не мешает, даже весело. Окунуться с работы, бредешок поставить... У меня лодка резиновая. Всегда надутой держу. Надо в магазин, баба моя раз-два — и тама! Леня двигает прогрессом! — снова зубасто зареготал Славка. — Тебе-то зачем низом?

— Отсюда домов не видать, — пояснил Олега. — Говорят, у бабки Ули хата под соломой. Не знаешь?

— Да есть тут одна или две... Это на том краю, — неопределенно кивнул Славка. — Третий затон проедешь — там и смотри...

Из «газика» опять подудели протяжно и сердито.

— Ну давай, по коням! — крикнул Славка улыбочиво. — Бывай! Приедешь — мой дом белый, с мансардой, из силикатного кирпича. С дороги видно. Зарубил?

Он захлопнул дверцу, и трактор сразу же ходко заворочал огромными рубчатými колесами, давя и сокрушая горные хребты оцепеневшей грязи.

Миновав, как велено, третий затон, мы остановились перед давно не еженным, затравенелым свертком, по которому, однако, недавно проехала какая-то машина. Две полоски придавленной травы убегали вниз вдоль остатков жердяной изгороди и скрывались в темной прутьяной чашобе вишенника и бузины. На выгоревшей за лето пустошке двое пацанов распалили костерок, несмотря на куривший хилым дымком. Завидев машину, оба приподнялись, замерли столбиками, будто испуганные суслики.

— Эй, ребята! — окликнул Олега, не отходя от машины. — Подойди кто сюда!

Ребятишки продолжали настороженно стоять: меньшенький — с коробком спичек в руке, большенький — с пучком изломанных былинков.

— Не бойтесь! Спросить надо!

Большенький суслик принялся затаптывать костерок, а меньшенький, спрятав в карман спички, несмело подошел к Олеге.

— Слушай, дружок, посмотри в машину, — попросил Олега, отворив дверцу со стороны Уляны. — Не знаешь ли эту бабулю?

Парнишка, вытянув тонкую шею, уставился в сумеречную глубину «газика».

— И как? Узнаешь? — допытывался Олега. — Видел такую?

— Не-к... Не видел... — наконец сознался паренек.

— Да ты посмотри, посмотри получше! Ее бабой Улей зовут. Она тут где-то живет. Не соседка ли ваша?

— Не-к... Не видел... — повторил мальчик. — Я не здешний.

— А какой же ты?

— Я в городе живу.

— Ну-ка, милай, подойди ко мне, — попросила Ульяна. — Подойди, подойди к бабке.

Мальчонка, смущенно млея, приблизился. Ульяна, неуверенно протянув руку, сперва коснулась его лица, затем переложила ладонь на голову и огладила волосы.

— Ах ты мой хороший! Голубеночек ты мой любимый! — Она охватила его тонкое тельце, обтянутое белой футболкой с какими-то латинскими письменами. — Какой же ты не здешний? А я вот чую — нашенский ты! Дымком пахнешь!

— Не-к... Я в городе живу.

— Ну ладно, ну ладно... — согласилась Ульяна. — Стало быть, к бабушке приехал?

— Ага.

— И мамка с вами?

— И мамка. Уже восемь дней живем.

— Ну и хорошо, ну и славно! Ах ты золотце мое!

Расспрашивая, Ульяна бережно оглаживала футболочку, темными, коряжистыми пальцами ощупывала что-то сквозь одежду, и по ее лицу было видно, что делать это ей сладко и радостно.

— Бабушку-то как звать? — теплилась она голосом.

— Баба Клава.

— Так, так... А мамка у тебя Антонина? Угадала?

— Угадала! — удивился мальчик.

— Ну, голубь ты мой! — обрадовалась Ульяна. — Как же мне мамку-то не знать? Ведь я ее кресна-ая! Болявый пупок серой из своего уха мазала, соплюшки утирала мамке-то твоей! Ведь она почти дочка моя! — таяла Ульяна. — А ты мой внучек! Вот как Господь вывел!

Радуюсь, она продолжала тискать парнишку, ощупывать плечики, трогать тонкие кузнечиковые руки.

— Так-то, золотенький! Я и мамку и бабу Клаху вот как знаю... Только папку твою никогда не видела. А теперь небось и не увижу... Папка-то тоже с вами?

— Папка привез нас и опять уехал.

— Что так?

— Ему нельзя. У него — совещание.

— А бабушка Клаха все болеет?

— Ага, в валенках ходит, с палкой.

— Вот бедная! Еще не годы, а уж поизносились вся... — Ульяна мелко перекрестилась и уже спокойно спросила: — А что ж мамка-то ко мне не зайдет, не проведает? Али забыла?

— Не знаю... — потупился мальчик.

— Что делает-то?

— Книжку в саду читает.

— Ты уж, голубь мой, скажи дома: дескать, видел бабу Улю, кланяется она всем. Сама-то я добрести до вас не смогу. Теперь я и своей хаты не вижу. — И отпустив парнишку, удовлетворенно вздохнула:

— Слава те, Господи, — отыскалась я!

...Груша, будто сторож, одиноко стояла на краю некопаной залежи, перед ветхой плетневой городьбой, за которой угадывался огород.

— Ну, кажется, нашли! — определился Олега и, обратясь к Ульяне, уточнил: — Мать, тут на пустыре груша какая-то... Не твоя ли?

Ульяна встрепенулась, засуетилась, лапая дверцу, ища выход.

— Моя, моя... — торопливо запричитала она. — Дальше не надо. Спасибо, сыночки, приехала я.

Куприяныч прижал машину к придорожной канаве, выключил мотор.

Мы помогли Ульяне выйти и перебраться через канаву.

Поозиравшись, она как-то сама определилась и, став лицом к дереву, облегченно перекрестилась.

Старый дуплистый кряж крепко держался за глинистое подножье обнаженным корневищем, похожим на жилистую пятерню. На трехметровой высоте ствол был обломан какой-то беспощадной силой и теперь омертвело щерился острой щепой. Но чуть ниже облома из грубого растресканного корья сначала вбок, а затем, подгоняемая жаждой продления жизни, выбилась и круто устремилась вверх мощная молодая ветвь. На легком обдуве она помелькивала еще свежей зеленой листвой, приоткрывавшей уже созревшие плоды, похожие на желто окрашенные электрические лампочки.

— Кто ж ее так покалечил? — спросил Олега.

— Молоной разбило, — пояснила Ульяна. — Давно-о! Как случиться с моим Василием. Думала — конец, ан оклемалась, ветку выпустила. Вот диво: дули на ней еще слаже, чем прежде.

Через пустырь была протоптана белесая тропка, целившая в огородную калитку, за которой где-то в низине виднелась одна только серая, замшелая крыша Ульяниного жилья — того самого, «под навозцем»... Оттуда на тропу клубком выкатился черно-белый лохматенький песик, разогнался было навстречу, но увидев чужих, остановился и растерянно присел, метя туда-сюда пушистым хвостом. Часть его заостренной лисьей морды — лоб и поднятое ухо — заливал черный окрас, отчего было похоже, будто носил он на правом глазу темную повязку. Песик подхватился и, пробежав еще немного, снова присел, радостно страшась и нетерпеливо повизгивая, перебирая передними лапами.

— Тобик! Тобка! — признала Ульяна собачонку, и та, отринув страх перед нами, опрометью кинулась навстречу.

Счастливо урча и постанывая, срываясь на визг, Тобик истоиво подскакивал, норовя лизнуть склоненное Ульянино лицо. И в этом своем рвении кропил не сдержанной водицей ее резиновые сапоги.

— Ну будя, будя! — застала от него Ульяна. — Экий ты! Ну все, все... Нашлася я, нашлася! Жила-жила, да, вишь, на старости лет и заблукалась в своей деревне... Ну будя, сказано!

Тобик отстранился на время, суматошно обежал нас вокруг, присел, чтобы куснуть некстати донимавшую блоху, и опять запрыгал, ловя жарким языком Ульянину руку.

— Ну, спасибо вам, сыночки! — проговорила она. — Дальше я сама.

— Ну как же... — усомнился было Олега.

— И так не знаю, чем благодарить. Дульки хоть потрусите. Больше мне нечего...

Трясти грушу мы отказались: стало совестно брать даже эту бесхитростную мзду.

Для надежности следовало бы довести ее до самого порога, но и тут мы почему-то уступили, поддавшись ее твердой решимости дальше идти самой.

— Теперь я дома, — облегченно говорила она. — Тут-то я зрячая.

Ошупывая подошвами тропу, она побрела к огороду, к ветхой соломенной кровле, похожей на земляное надгробье, покато обрванное на все четыре стороны. Тобик радостно носился около, невольно мешая ей, а может быть, и помогая...

— Сейчас макаронцев наварю, — доносился ее умиротворенный голос. — Супчику с тобой похлебаем...



АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

*

ИЗ ДОВОЕННОГО ДЕТСТВА

Разговоры на даче

Сигети в восторге от Буси Гольдштейна
Клемперер поцеловал руку Брюшкову
А я больше всех люблю Льва Оборина
Нейгауз про него сочинил стишок
«Велик Оборин он и робок и Лев»
Если прочитать справа налево —
То же самое что слева направо
«Велик Оборин он и робок и Лев»
Я не знал что Нейгауз пишет стихи
Конечно Нейгауз Игумнов и Гольденвейзер
Большие виртуозы но какие-то не наши
Вот Миля Гилельс и Лиза Гилельс
Получили первые премии в Варшаве
Но самая талантливая Роза Тамаркина
Такая молодая и вдруг умерла
Оксана Петрусенко тоже умерла
Говорят неудачный аборт от Ворошилова
Знаете он в Киеве был на маневрах
Мне наркоматская массажистка говорила
Мейерхольд зарезал Зинаиду Райх
Шпиллер повесилась из-за Козловского
Теперь ему назначили спецхрану
В Кратове у дачи Лемешева в выходной
Забрали четыре машины лемешисток
Из-за него утопились Пашкова и Целиковская
Пришлось отменить премьеру у Вахтангова
«Ромео и Джульетта» постановка Охлопкова
Музыка Хренникова слова Исаковского
Неправда мы были на этой премьере
Пашкова играла Сакко — Целиковская Ванцетти
Не Сакко и Ванцетти а Монтекки и Капулетти
«Сакко и Ванцетти» это карандаши
Карандаши что-то совсем не пишут
На обложках пушкинских тетрадок вредительство
У моря из дуба выходят белогвардейцы
Вещий Олег вылитый Бухарин
А если перевернуть тетрадку с Калининым...
В учебнике истории для пятого класса
На пуговице у Ленина фашистский знак
Не верите сами посмотрите в лупу
Какая гадость кому это нужно
Мы живем никому не мешаем
Почитайте «Гитлер и Германия» Эрнста Генри

Как же почитайте ее изъяли
Вы читали окончание «Тихого Дона»?
Говорят Шолохов пишет не сам
Говорят говорят мало ли что говорят
Про других ничего такого не говорят
Правильно что писателей надо критиковать
Здорово Ильф и Петров придумали
«Критиковать значит крыть и ковать»
Старостин подковал вратаря Забору
Ему запретили бить с правой ноги
Эйзенштейна опять крыли и ковали
Любовь Орлова развелась с Александровым
Вдова Чкалова и вдова Серова
Снимаются в картине «Свинарка и пастух»
Я думала вдова Чкалова выйдет за Белякова
Правда у Серовой роман с Симоновым?
Что вы что вы подымай выше
Я слыхала что Молотов любит балерин
Давайте лучше заведем патефон
Только не Козина — тембр такой приятный
Такой лиричный и вот оказалось
Утесова не надо у самого голоса нет
А тянет за собой эту пищалку Эдит
Говорят на даче у них написано
«Нам песня строить и жить помогает»
Заметили в «Сулико» неприличное слово?
«В поисках уйдя далеко» Ничего себе
В других песнях у него то же самое
«Служили два друга в нашем полку»
«Широка страна моя родная» не лучше
«Много в ней лесов полей и рек»
Скоро будет страшно подойти к патефону
Да что вы Утесов такой душевный
Жить не могу без его «Парохода»
и «Легко на сердце от песни веселой»
Давайте поставим «Эх хорошо»
Нам ведь на самом деле хорошо
Столько молодежи все такие талантливые
Везде занимают первые места
Будем честными время ласковое.



ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

*

НУ, МАМА, НУ

Сказки, рассказанные детям

СЧАСТЛИВЫЕ КОШКИ

Жила-была одна девочка, которая как-то сказала:
— Счастливые эти кошки! Гуляют, в школу не ходят! Я бы тоже так хотела!

И она решила найти колдуна, чтобы он превратил ее в кошку.

А колдун как раз проходил мимо и мигом выполнил желание девочки.

Тут же она оказалась на полу и зашипела.

А колдун превратился в саму девочку, топнул ногой и сказал:

— Я не хочу эту кошку, фу, она противная.

Родители удивились, они думали, что это девочка тайно принесла в дом кошку.

Но девочка-колдун взяла и выкинула девочку-кошку на лестницу, а потом и из подъезда.

Долго слышалось на улице жалобное мяуканье (был мороз), но девочка-колдун упорно сидела перед телевизором и ела конфеты, и съела все конфеты, какие были в доме, а родители ничего не могли с ней поделать, потому что поздно опомнились.

Но самая большая неожиданность случилась на завтра к вечеру, когда папа с мамой вернулись с работы.

Дело в том, что колдун в образе девочки очень заскучал и пригласил к себе в гости друзей, которые тоже пришли не одни.

Короче, когда родители вошли в дом, дым стоял коромыслом, дочка пьяная сидела за столом и пела песню, обнявшись с какой-то некрасивой, немолодой красномордой тетенькой с очень черными бровями, а по квартире там и сям расположились живописными группами мужики и тетки с папиными бутылками в руках и с мамиными сигаретами в зубах.

Папа с большим трудом выгнал этих людей, дочка визжала и топала ногами, кричала, что у каждого должны быть свои друзья и что родители жадные и так далее, особенно же дочка ни за что не хотела отпускать свою старую толстую подружку, вопя, что без нее не заснет и нельзя выталкивать людей на мороз!

Дочь плакала, мама стала ей мерить температуру, папа собирал побитую посуду, короче, ночь прошла в хлопотах.

В школу девочка не пошла, мама на работу тоже не пошла, но дочка стала утром настойчиво посылать ее за бутылкой, предлагала распить это дело совместно и просила поднять.

Что касается кошки, то она провела эту ночь на улице под занесенной снегом машиной, а утром прорвалась в подъезд вслед за почтальоншей и стала мяукать у родной двери, но там работало радио, гремел телевизор, играл магнитофон и кто-то еще вдобавок громко визжал.

Кошка, голодная как волк, выбежала на улицу опять за почтальоншей и полезла в близлежащую помойку, но там хозяйничали жуткие вороны с огром-

ными, как ножницы, клювами, и пришлось опять сидеть под машиной в ожидании ночи.

Ночью же кошка была побита своими же кошками, когда пыталась схватить кусочек мерзлого хлеба из помойки.

— Ну и ну, — думала кошка, сидя в задумчивости под машиной (кошки вообще задумчивые существа), — ну и ну.

На рассвете она увидела чьи-то стариковские ноги, топтавшиеся у помойки.

У ног на бумажке лежали два рыбьих хребта.

Одна кошка, самая драчливая из ночной смены, уже присела над хребтами и трясла головой, завязнув зубами в косточке.

Наша киска мигом выскочила и тоже взяла себе рыбий позвоночник, соленый и невкусный.

Та кошка, не отрываясь от еды, с полным ртом, завывала, как милицейская машина.

Над ними стоял добрый старик с большой кошелкой через плечо.

— Кормит, — думала наша киса, так и сяк угрызая сухие и соленые косточки, — есть же люди! Ура!

Старик бросил на снег еще что-то вонючее и мягкое, и обе кошечки зарычали друг на друга, не выпуская предыдущее из зубов.

Тем временем старик, не зевая, схватил обеих за шкурки и сунул их себе в суму.

И пошел восвояси, шаркая и больно прижимая кошурок локтем.

Обе несчастные ничего не могли понять, ослепли, задохнулись и замерли.

Затем старик пришел куда надо и выпустил кошек на пол уже в собственной квартире, а сам отправился на кухню и загремел там посудой.

Наша киска огляделась и увидела висящие кое-где по стенам на гвоздях новенькие меховые шапки, серые в полосочку (под тигра), бело-черные, рыженькие...

Что-то очень знакомое было в этих шапках.

На полу валялись обрезки меха, и чем-то ужасно воняло.

Под кроватью сидело еще три кошки, они сидели пригнувшись, и глаза их смотрели как-то врозь, задумчиво — мы уже говорили, что кошки много думают о своей судьбе.

Наша страдальца решила бежать при первой же возможности, найти колдуна и сорвать с него маску девочки.

И она стала вспоминать, как превращалась в кошку, как, это было утром, не хотелось вставать и идти в школу, мама позвала папу, и они вдвоем уговаривали доченьку, а она капризничала, плакала, укрывалась с головой, залезала под кровать, цеплялась там за ножки и вдруг сказала от всего сердца: «Счастливые кошки! Как я вам завидую!»

И стукнулась два раза лбом об пол, думая при этом о колдуне.

И тут, стоя на четвереньках на полу под кроватью в виде кошки, девочка сказала от всего сердца:

— Счастливые эти люди! (имея в виду колдуна).

И два раза несчастная кошка приложилась лбом об пол.

Разумеется, ничего не произошло.

На квартире у девочки тоже было довольно позднее утро, мама срочно уехала на работу, делать было нечего, она оставила свою явно больную дочь спать после бурной ночи, а больная девочка тут же закурила, выпила из спрятанной папочкой бутылки последний коньяк, все, что осталось от сего коллекция, и свалилась досыпать у себя в кровати с сигаретой в зубах.

И, как это часто бывает (нельзя спать с зажженной сигаретой), пепел, упав, прожег простыню, задымило, поползло, а бедная больная девочка все спала, крепко держа бутылку за горлышко.

Кровать горела, а девочка (румяный ангел весь в кудрях) храпела как заматавший дворник, и ей снилось, что вокруг друзья и подруги, но некоторые подруги сильно дымят, потрескивают и кусают ее за руки и за ноги, чем дальше, тем сильнее, называется друзья, и девочка заворчала: «хорош кусаться, падлы».

И тут она открыла свои хорошенькие глаза с длинными ресницами и, кашля, увидела огонь и дым.

— Ни хрена себе, — хрипло, со сна, сказала девочка и, с трудом поднявшись, выдоила из бутылки последний глоток и отправилась к окну, чтобы как-то прыгнуть.

Но прыгать было высоко, восьмой все же этаж, прикинула девочка. К двери тоже было не пробиться, там полыхал шкаф.

Девочка решила взять две простынки, связать их и присобачить к батарее, тогда можно было бы спуститься из окна на нижний этаж.

Кашляя и нехорошо ругаясь, девочка стряхнула горящие простыни с кровати, кое-как своими слабыми детскими ручонками стала их связывать, но тут требовалась все-таки мужская сила.

Тем временем на улице забегал и заорал народ и кто-то из соседей напротив вызвал пожарных, а кто-то из знакомых позвонил на работу папе и мамочке.

Девочка выругалась злобно и длинно и превратилась обратно в колдуна, причем ночная пижамка на ней лопнула.

Колдун тут уже как следует связал простыни и стал пыхтеть, стараясь закрепить это дело на трубе батареи, причем не выпуская бутылку из мохнатой лапы.

Колдун мог превратиться в кого угодно, однако спяну он плохо соображал и не догадался стать, допустим, вороной, а то бы ворона, кашляя, вылетела из горящего окна, держа под мышкой бутылку.

Но ворона не вылетела, а пожарные уже стояли внизу, и росла лестница над их красной машиной, однако до восьмого этажа было еще далеко.

А тем временем кошка, освобожденная колдуном, неожиданно для себя вскочила на задние ноги, брякнулась спиной о кроватную сетку и выползла из-под стариковой кровати.

Она была по-прежнему в своем голубом халатике, большое счастье.

Тут же девочка схватила дедову сумку, висящую на гвозде рядом с шапками, переловила всех четырех кошек очень ловко, да они и не сопротивлялись, были задумчивы — а затем выскочила из квартиры в тапочках на снег и помчалась домой на всех парах, а кошки горестно болтались в сумке, сидя на головах друг у друга и не зная о том, что они счастливые кошки.

Итак, девочка бежала в одном халатике домой в большой мороз, вызывая интерес у прохожих, а тем временем как раз у ее дома происходило самое интересное, потому что прибежавшие мама и папа смотрели вверх из толпы, как пожарные принимают на руки с подоконника комнаты их дочери плотного волосатого мужчину, на котором из одежды был только воротник детской пижамки с висящими лоскутками.

Мужчина, однако, увидел внизу народ, увидел упавших в обморок маму и папу, выпустил из руки коньячную бутылку, в панике взмахнул руками, увернувшись от распахнутых объятий пожарника, и взмыл вверх, на лету обращаясь в дым, из которого выпорхнул толстый воробей уличного вида и тут же сел на крышу чиститься.

А дочка в халатике стояла на коленях над мамой и папой и говорила без передышки:

— Мама-папа! Мама-папа!

Однако это был еще не конец, а концом можно считать тот момент, когда все трое вошли в свою закопченную квартиру, по которой летали хлопья сажи, и дочка сказала сразу и твердо:

— Можно я уже завела себе кошку!

— Хоть двух, — плача от радости, ответили папа и мама.

— Хорошо, четырех, — ответила их дочь и вытряхнула из сумки все свое богатство — черно-белого Мишу, темно-коричневую Груню, бархатно-серого с белой салфеткой Томика и очень пушистую, черную, но с белым воротником Мусю

ПРИНЦ С ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСАМИ

Жил-был принц с золотыми волосами, вернее, он родился-то лысым, как большинство детей, и никто не знал, что к году у него появятся золотые кудряшки.

А когда они появились, королевская семья была оскорблена: откуда у мальчика рыжие волосы?

Были исследованы все королевские хроники, все портреты царствующей семьи отца (мать не принималась во внимание, мать, молоденькая королева, происходила из далекого, за горами и морями, захудалого государства, оттуда-то и почту не брали и туда не передавали, а королеву привезли, как водится, по портрету в виде самой красивой девушки мира, что, в конечном итоге, ни к чему хорошему не привело, об этом давно предупреждали все дамы королевства: руби сук, да по себе).

Короче, рыжих в роду не было, рыжим оказался только королевский го-нец, который однажды привез с войны в подарок юной королеве полкило апельсинов от мужа, трофей.

Гонец побыл во дворце один день и одну ночь, а потом снова отправился на войну, везя королю ответный дар жены — кошелек, сплетенный ею из собственных кудрей.

Этот рыжий гонец с войны так и не вернулся, то ли его убили, то ли что, а вот король благополучно пришел домой с поля боя довольно скоро после апельсинов, и сынок у него родился вроде бы вовремя — и вот теперь, когда мальчику исполнился ровно год и его вынесли к гостям по случаю дня рождения, выяснилось, что наследный принц — рыжий, как тот королевский гонец.

Короче, никто не стал ничего скрывать, дамы сказали свое слово, что черного кобеля не отмоешь добела, и к юной королеве явился новый гонец, теперь уже лысый, и он прочел ей какой-то документ с печатью.

А королева как раз кормила наследника престола и была так занята, что ничего не поняла, но ее вытолкали взашей вместе с ее пашенком и из дворца и из города, хорошо не казнили, сказали дамы.

Короля нигде не было видно, и молоденькая королева пошла от городских ворот куда глаза глядят, вернее, по направлению к горам — там, за горами, лежало море, а за морем находился город Н., где остались жить престарелые родители изгнанницы, король с королевой.

Спускался вечер, и в сумерках волосики маленького короля засветились чистым золотом, и при этом слабом освещении королева несла своего ребеночка все выше и выше в горы.

А когда она устала, то нашла и пещера, где оказалось сухое сено, и там мать с сыном и заснули.

Ночью ей снились чудеса: то ли белки шмыгают вокруг, то ли зайцы, но она так устала, что не могла открыть глаз, а утром она, причесывая сына, обнаружила, что у принца была отрублена прядка волос, один локон, причем очень грубо, как бы ножом.

Корольва, девушка умная в свои семнадцать лет, быстро смекнула, о чем идет речь, и сказала вслух:

— Если вы отрезали у моего сына три грамма золота, то по крайней мере дайте нам поесть!

Тут же из стены вывалился камень, и в образовавшейся дырке оказалась крошечная миска с горячим гороховым супом и в ней очень маленькая ложечка, как для соли.

Королева поблагодарила пещерных жителей, белок или зайчиков, за горячий суп, все съела сама, сына покормила молоком и отправилась дальше с ребенком через горные перевалы к морю.

Больше она не устраивалась спать в пещерах, предпочитала укладываться днем, а шла ночью, при свете золотых волос своего мальчика.

Она резонно опасалась, как бы неведомые горные жители не обрили налысо ее ребенка за мисочку супа.

Питалась королева ягодами и дикими грушами, которых много росло при дороге.

Когда они вышли к морю, был уже вечер

Королева села на берегу, и они с принцем стали смотреть в синюю морскую даль и слушать рокот и плеск волн.

Королева рассказывала своему сыну о том, что там, на другом берегу, их ждут бабушка и дедушка, а мальчик весь светился от золотых волос, чем ближе к ночи, тем сильнее.

На этот свет приплыл рыбак на лодке.

Рыбак во все глаза смотрел на маленького сияющего ребенка и ничего не мог понять.

Он спросил у королевы, откуда они здесь, и королева ответила, что придется ждать попутного корабля в город Н.

Рыбак предложил довести их на лодке до ближайшего города А., где есть все-таки пристань, и уж там можно будет найти попутку, а то здесь сидеть все равно что ждать морковкина заговенья.

Королева согласилась, рыбак греб два часа, неотрывно глядя на ребенка, и уже в полночь, при свете золотых волос принца, мать с сыном были приведены в хижину рыбака и уложены спать на коврик в углу.

Утром рыбак убежал чуть свет и стал лопотить в полицейский участок, крича, что он нашел ребенка с сиянием вокруг головы и что надо немедленно его задержать вместе с матерью, а то будет как в прошлый раз, люди взбунтуются и решат, что пора всех судить последним судом.

Рыбак знал, что говорил, поскольку когда один пришлый человек соорудил себе крылья и взобрался на башню, чтобы полететь, жители города приняли его за ангела, возвещающего страшный суд, и начали, не ожидая этого события, громко жаловаться на судей, полицейских и членов королевского совета и потом, плача и крестясь, поползли на коленях почему-то к городской управе.

Рыбак-то был среди бунтующих, кричал о своих бедняцких обидах и получил два года каторги, где перевоспитался, потому что его обещали в следующий раз живьем подвесить за шею.

Также рыбак подписался под обещаньем, чуть где появятся опять крылья, бежать в полицейский участок — что он и сделал.

Но тем временем мамаша рыбака, не подозревающая о его ночных приключениях (рыбак не рассказывал маме ничего, боясь ее болтливый язык), — эта мать увидела утром очень красивую девушку с рыжим младенцем, которые умывались у бочки во дворе, и немедленно выгнала их из дому, так как не хотела, чтобы сын женился на бабе с ребенком — известно, что не свой сын может вырасти бандитом, такие случаи бывали.

Она была мудрая.

У нее у самой сын вырос при постороннем папе, и как результат посидел в тюрьме.

Короче, королева с принцем пришли рано утром на берег моря и там укрылись под скалой и целый день то спали, то мать купала мальчика, то они играли в песке, искали раковины; есть было нечего, однако вечером ребенок засветился с новой силой, и мать спрятала его под скалой, чтобы с берега было не видать.

Однако с моря приплыла шлюпка с матросами, как на свет маяка, и к скале подошел бравый капитан в фуражке.

Он осведомился, чего здесь ждут эти милые люди, услышал, что они хотят попасть в город Н., и предложил свои услуги, то есть собственный корабль.

Разумеется, капитан этот уже знал про то, что здесь по всему городу целый день искали пришедшего наконец судью в виде ребенка, испускающего неземной свет.

И были подняты на ноги полиция, армия, авиация и морской флот, и именно капитан лично возглавил поиски со стороны моря.

Однако, увидев младенца и его мать, капитан решил пожалеть их и пока не выдавать; люди ведь гораздо умней, чем мы о них думаем, особенно когда речь идет о деньгах.

Капитан погрузил драгоценных пассажиров в шлюпку, предварительно посоветовав матери накрыть голову ребенка, имея в виду болтливость гребцов.

Затем пассажиры были помещены в хорошую каюту, к ним был приставлен матрос с пулеметом и слуга с горячим питанием, и после небольшого перехода корабль пришел в соседний город Б.

Тут капитан отправился при кортике и орденах на переговоры в передвижной цирк шапито, откуда к вечеру приехал вполне закрытый фургон для перевозки тигров, снабженный крепкой клеткой внутри.

И поздно вечером в сопровождении вооруженных до зубов матросов мамашу и ее рыженького в платочке на голове перевели по трапу в фургон и там заперли.

Королева ничего не поняла, но в темноте принц по своей привычке освещать все вокруг засиял, и обнаружилось сено в углу и большая миска с водой, а запах стоял как в свинарнике.

Королева села с ребеночком на сено, фургон тронулся, и началась какая-то дикая жизнь.

Сына с матерью в клетке поместили в слоновнике, туда им ставили миску с горячей похлебкой два раза в сутки, а вечером подтаскивали другую клетку в виде повозки, на королеву накидывали белую простынку, укрывавшую все ее лохмотья, а ребенка, наоборот, требовали раздеть догола — и в таком виде их транспортировали на повозке по коридору прямо в шапито, на арену, где музыка начинала играть как бы мессу (вступал аккордеон), королеве шепотом приказывали встать и нести (как бы) зрителям голого ребеночка, затем гас свет, и рыжий принц начинал по обыкновению лучиться светом, озаряя сиянием своих волос мать и часть повозки, и многие в публике начинали плакать и прижимать к себе своих детей.

Потом всю эту пьютермедию увозили до следующего вечера, а королева выполняла все, что ей приказывали: она понимала, что, если сопротивляться, наймут другую мамашу, более способную играть эту роль.

Кормили ее ужасно, тем же, чем кормили обезьян в соседней клетке, но лучше, чем слона в углу: тот питался сеном.

Королева, однако, заставляла себя есть эти размоченные в воде корки и горячие капустные листья, потому что она кормила принца своим молоком, и надо было держаться.

Ребенок, кстати, подружился со всеми — и с обезьянами, и с попугаями, и даже с дальним слоном, и ночью в помещении было спокойно и радостно — из-за слабого сияния, исходящего от волос ребенка, звери и птицы выглядели здоровыми и упитанными.

Так же они выглядели и на арене, и цирк процветал.

Но в особенности он процветал из-за последнего аттракциона с королевой и принцем.

Между тем пришло время убираться вон из города, потому что слух о светящемся младенце распространился повсюду, и в цирк начали стекаться совсем не те зрители — они не обращали внимания на танцы обезьян и шутки клоунов, не смеялись, не покупали мороженого, никому, идиоты, не хлопали, а только ждали момента, когда вывезут повозку с матерью и ребенком.

Тут они начинали тихо петь и плакать, а что это такое, когда тысяча человек тихо поет — это же волосы встают дыбом у администрации.

Были построения в стройную процессию на коленях с попыткой выползти прямо на арену.

Начались также частые осады слоновника с принесением под его стены больных и с криками «благослови!».

Полиция поставила своего человека, который скоро разбогател, разрешая некоторым целовать грязные доски стен слоновника.

Этот пост быстро стал постом номер один города, и полицейские по собственной инициативе сменяли друг друга каждые два часа, правда, эта смена караула происходила безо всякой помпы, потому что есть хочется всем и тут не до маршировки.

И когда цирк тронулся уезжать, были наняты лиловые береты с автоматами и броневики.

Директор и капитан корабля лично посетили слоновник и стали спрашивать мамашу рыжего ребенка, какие города она бы хотела посетить, кроме А. и Б.

И нет ли у нее где знакомых и родственников, которые могли бы ей как-то помочь.

Королева быстро сообразила, о чем идет речь, и повела разговор как настоящая партизанка или разведчица.

Она охотно рассказала, что дальше начинается ее родина и в городах В., Г. и дальше по алфавиту у нее живут знакомые и друзья, а родственники просто везде, только в городе Н. никого не осталось: там только могилы, которые она и собиралась посетить, дедушкина и бабушкина.

Но очень хочется — теперь уже — оказаться среди родных и близких, они прекрасно знают и любят ее и ее сына, и у всех есть их фотокарточки и даже видеозаписи.

И цирк будет переполнен везде только за счет знакомых, будут большие сборы. Но в городе Н. она этого не гарантирует.

Тут капитан и директор как-то понимающе кивнули, даже не глядя друг на друга, как будто им в голову пришла одна и та же мысль.

Короче, через несколько дней на рассвете цирк снялся с насиженной стоянки, оставив после себя спящих у кассы (теперь запертой) паломников с котомками, затоптанную землю, ямы на месте столбов и груды мусора, — и броневик в окружении конных лиловых беретов и клеток со зверями, а также фургонов с артистами погрузился на корабль, чтобы отправиться напрямик в город Н.

Королеву там снова поместили в наспех сколоченный слоновник, но она уже знала, что находится в родном городе, потому, что когда их повели по трапу на берег, она, несмотря на накинутую на голову простыню, умудрилась увидеть пляж под ногами с разноцветными камушками — агатами, аметистами и черным янтарем: такой пляж был только в ее родном и любимом городе Н.

Здесь жили ее старенькие сорокалетние родители, которые пролили много слез, когда заморский король, угрожая войной и разорением их цветущему государству, потребовал отдать в жены его сыну принцессу, поскольку о ней шел слух как о самой большой красавице мира, а чем обычно занимаются короли — они улучшают и улучшают свой род, стремясь, видимо, вывести особую породу самых красивых, самых умных и самых богатых собственных детей.

Правда, по справедливости надо сказать, что к этому стремится весь человеческий род, все семьи надеются на выведение особо ценной породы детей.

И вот у стареньких родителей — королей города Н. — как раз и вывелась такая дочка, и воинственные соседние короли решили, что раз им самим не везет (их сын родился слишком задумчивым), то надо снова и снова улучшать породу!

Что опять-таки не принесло счастья, родился почему-то вообще рыжий наследник.

Вот с такой историей замужества королева и вернулась в свой город Н.

Итак, наша пленная красавица сидела снова в клетке вся в лохмотьях и ела два раза в день корки и щи из капустных листьев.

А ребенок ее ласково сиял, разговаривая с попугаями и обезьянами на их языке, чем очень веселил уборщицу, женщину темную и неуклюжую: она смеялась, только если видела, как кто-то упал и разбил бутылку или (что еще лучше) корзину яиц, и еще она смеялась над дураками, к каковым причисляла и маленького принца: «Ну, малахольный, — говорила она, — чистая обезьяна».

Все жалованье этой несчастной уборщицы уходило на вино, а питалась она, отбирая лучшие куски из звериного корма и варя себе каждый день что-нибудь в котелке на костре.

Ворчала и ругалась она без передышки, и только при виде маленького принца она начинала смеяться, указывая на него пальцем, и даже иногда давала ему морковку или репку из своих запасов.

Причем главной мечтой уборщицы было перейти в тигрятник, в соседний сарай, уборщица которого ходила всегда домой с полной сумкой мяса, как подзревала слонятница.

Поэтому слоновская уборщица регулярно шастала к директору и жаловалась ему на воровство тигриной уборщицы, которая, однако, тоже была не промах и дружила с секретаршей директора, а эта секретарша любила своих детей тоже не хуже других и обязана была их тоже кормить мясом, мясом и мясом, как будто растила из них хищников.

Таковы были все эти закулисные интриги, и королева каждый день выслушивала уборщицны крики и проклятия и искренне ее не любила, хотя та и рассказывала ей в свое оправдание ужасающие истории о пропавшем муже, о том, как она одна воспитывала троих детей, и теперь им всем надо носить в тюрьму передачи.

Королева, хоть не очень еще взрослая, но много страдавшая, не выносила воров, хотя и понимала, что те крадут, потому что ничего другого не умеют делать, не способны.

А потом у них рождаются дети.

И приходится красть еще и для детей.

И считается, что красть для детей — это святое.

Молоденькая королева решила составить план спасения.

Она понимала, что на арене цирка под белой простыней никто ее не узнает, тем более, что директор приказывал каждый вечер до белизны пудрить ее лицо мелом, а брови ей рисовать сажей, директор считал, что так и красивей и дешевле, такой грим.

Поэтому никто в мире, даже мать с отцом, не смог бы узнать принцессу в этом белом, с грубыми черными бровями, существе, похожем на привидение.

Надежда была только на единственного человека, который обслуживал королеву, на уборщицу.

Однажды уборщица получила от королевы такое предложение: заработать себе на всю жизнь, то есть кучу золота, если она согласится принести карандаш с бумажкой и потом опустит в почтовый ящик письмо.

Уборщица долго терзалась, даже пошла было к директору, но секретарша, как всегда, ее не допустила, и уборщица тогда решила: будь что будет.

Она купила на собственные деньги бумагу, карандаш и плюс конверт, все это просунула в клетку и к вечеру опустила письмо в почтовый ящик, а сама, проклиная все на свете, стала варить себе постные щи, предвкушая, как будет наказан директор, секретарша и тигрятница, дорвавшиеся к власти.

Однако результат оказался совершенно иной: во-первых, в цирк ворвалась королевская стража, мгновенно арестовала королеву с сыном, посадила их в фургон с надписью «Хлеб» и увезла в неизвестном направлении, а уборщица по глупости стала кричать про истраченные на карандаш и бумагу денежки.

И королева с ребенком вместо королевского дворца были посажены в тюремный замок, в камеру без окна.

Во-вторых, уборщицу мгновенно выгнали с работы: ни одно доброе дело не остается безнаказанным, особенно если это доброе дело делается без удовольствия.

Тюремщик, к которому попала королева с сыном, по своей лени принес им обед только на второй день, да в первый день и не полагается, так как заключенные еще не состоят в списках на питание.

Тем не менее тюремщик, войдя с фонариком и котелком в камеру, был поражен: в этом каменном мешке было светло!

Тюремщик, поставив на пол котелок с супом, уставился на эту странную парочку — ладно еще девушка в белой простынке, худая и даже прозрачная, как привидение, это-то он видел неоднократно, — но вид золотой головы мальчика его просто потряс, тем более, что тюремщик был по обыкновению пьян.

— Не волнуйтесь, — сказала ему королева, — просто такое дело, у мальчика волосы из чистого золота. Если у вас есть с собой нож, давайте я отрежу вам на пробу один клочок волос, отнесите его ювелиру, и вам хорошо заплатят.

Тюремщик, даром что пьяный, не решился доверить этой белой, как мел, девушке нож, а сам, собственноручно, криво и грубо отрубил у ребенка большой локон, сунул его в карман и, шатаясь, убрался восвояси, не забыв запереть дверь.

Весь вечер он потом пил в кабаке, пропил все деньги, вырученные за золото, а наутро опять пошел на работу в тюрьму очень злой.

Войдя в камеру, он обрезал у ребенка с головы все его кудри, а поскольку мать начала кричать и плакать, он и у нее обрезал ее длинную косу, бросил косу на пол и с проклятиями стал уходить.

Проклятия его были такие:

— Думаешь, тебе долго осталось жить? Да завтра тебя и казнят. Вместе с пашенком. Внизу, в львиной яме. Думаешь, тебя посадили по ошибке? Нет! Тобой занимаются очень важные люди, сама герцогиня! Ее сын как раз троюродный племянник короля, он единственный наследник престола, а твой отец и мать больны, и они живут со скоростью год за один день, такие им дают лекарства, наш тюремный врач готовит, я все знаю. Завтра же вас обоих казнят, а чего пропадать золоту? Я бедный заочник, студент университета, вынужден работать как каторжный, чтобы меня не отчислили. Работаю за одну зарплату в наше время, это надо подумать! Проклятая жизнь! И никогда не пиши писем королям, эти письма читают не они!

— Да ты что, студент, — сказала королева, — ты соображаешь? Тебе же привалило богатство на всю жизнь! У мальчика на голове волосы из чистого золота, ты сам убедился!

— Ну ладно, мальчишку я не дам казнить, посажу его на цепь у себя в подполе, а вместо него возьму на улице первого попавшегося из коляски и выдам за твоего! Первый раз, что ли, — ответил пьяный тюремщик.

— Так дело не пойдет, — ответила королева, — мой сын питается только материнским молоком, отсюда у него и золотые волосы. Ты это соображаешь, болван? Мы же короли!

— За болвана ответишь, — ответил тюремщик, качаясь в дверях. — Я и сам, придет время, буду королевским судьей, это я сейчас юрист-заочник. А то, что вы важные птицы, это правда, слухи о вас ползут по всему побережью, даже готовится восстание в вашу защиту якобы от лица страдающего народа, но за всем этим стоит один такой же как я заочник. И, может, вместо сына герцогини править будет этот лысый, они победят и ваши кости вынут из львиной ямы вместе с костями других и соорудят мемориал...

Тюремщик качался, размахивал руками, и вдруг фонарик выпал у него из руки и погас.

Стало совершенно темно.

Мальчик, если и светился, то очень слабо, как очень далекое и маленькое созвездие Млечного Пути.

Тюремщик стал шарить, искать фонарик на полу, побормотал, лег и вдруг громко захрапел.

Мама-королева схватила ребенка, на прощание взяла горсть золотых волос из кармана стражника и пошла по коридору, мимо брели или маршировали какие-то люди, но никто никого не замечал, часовые лежали и храпели, то ли это был праздник, то ли обычное дело в городе Н., где король с королевой уже не правили, а герцогиня с сыном еще не царствовали.

Ворота тюрьмы были приоткрыты, и королева вышла на площадь.

Стояла глубокая ночь.

Только в небе висела и светила маленькая, но очень яркая звезда, как лампочка на конце стрелы башенного крана.

Королева, разумеется, пошла к морю.

Звезда, как это водится, тронулась следом за ней. Звезды всегда провожают человека ночью, куда бы он ни шел.

По дороге они встретили маленькую процессию: два солдата, совершенно пьяных, вели в сторону тюрьмы мужчину и женщину.

Королева в свете звезды сразу узнала их: это вели ее родителей. Отец с матерью шли, как тени, худые и безмолвные, держась за руки.

Она решительно подошла к конвою и сказала:

— Ребята, хотите выпить?

Они остановились и замаялись. Родители стояли, дрожа.

— Я вижу, вы хорошие ребята, — продолжала королева, — идите в кабак, а я пока покараулю.

— А деньги, — хрипло сказал один, а другой откашлялся.

— Деньги не проблема, — отвечала королева, — вот вам чистое золото, идите.

И она достала из рукава золотой локон.

Все кругом осветилось.

Или это звезда опустилась пониже.

Конвойные переглянулись, сплюнули, взяли золото и, спотыкаясь, побежали в кабак.

— Мама и папа, — сказала королева, — мама и папа, это я, ваша дочь. А это мой сынок. Я вернулась за вами. Пойдемте отсюда.

Разумеется, они пошли к морю, а звезда тронулась за ними.

Отец с матерью ничего не говорили, глаза их были широко открыты, но они шли как во сне.

Видимо, они были под властью тюремных лекарств.

На берегу моря королева постучалась в рыбацкий домик, сказала, что просится на ночь, а утром заплатит.

Зевающая тетка отвела их в сарай, на сено.

На рассвете королевич проснулся.

В сарае кучей лежали овцы, стояла корова, фыркал и жевал сено конь, бродили куры.

Маленький принц обратился к ним на языке, который он знал, на языке слонов, попугаев и обезьян, и все население сарая перестало жевать и ответило глубокими поклонами.

Молодая королева оставила сына разговаривать с животными, оставила спящих родителей (и во сне они держались за руки) и побежала в лавку мясн-лы, продала там один золотой волосок за кучу мелких монет, купила хлеба, сыра и молока — какое счастье было в первый раз в жизни бегать по магазин-чикам и знать, что сынок не один!

Еще никогда королева не была так свободна, как в это утро, так счастлива: всюду цвели розы, шумело море, это был ее родной город, родители и сынок имели пристанище, пусть сарай, но не слоновник, не тюрьму и не пещеру.

Королева уже забыла то время, когда у нее было сто комнат и пятьдесят слуг.

Когда она шла к своему новому убежищу, она увидела, что люди смотрят ей след, и поняла, что где-то висит объявление о побеге из тюрьмы, и скоро, наверно, их всех схватят.

Поэтому она быстро купила еще корзину помидоров, яйца и яблоки, вер-нулась к себе в сарай, расплатилась с хозяйкой своими мелкими монетами, сказала, что они со дня на день ждут рыбацкую шляпку, чтобы уехать, и боль-ше уже не выходила со двора.

Она кормила родителей, осторожно отпаивала их молоком, ее сын полю-бил сидеть на коленях у дедушки, играл с его длинной бородой, отросшей за время лечения в больнице — дедушка и бабушка ведь должны были там вскоре умереть, и им поэтому не давали ни еды, ни полотенца, ни бритвы для короля, ни расчески для королевы, а только лекарства.

А в городе происходил полный тарарам — партии боролись за королевский дворец, тюрьма стояла то настежь, то ее битком наполняли и запирали, и весь народ не работал, а добывал себе оружие и шатался в пьяном виде по улицам, иногда посылая автоматные очереди от живота и веером.

Это рассказывали королеве хозяева, которые были в ужасе, потому что везде гремели взрывы и в их домике уже вылетела пара стекол, а ведь могли явиться и забрать все — и корову, и лошадь!

Однажды хозяйка пришла в еще большем расстройстве и сообщила, что в городе считают, что настал конец света — днем и ночью на небе светит звезда, в одном и том же месте. Причем становится все ярче и ярче, как будто спуска-ется.

По этому поводу произошли сильные волнения, священник вышел к толпе и прочел проповедь о Содоме и Гоморре и пророчил, что безобразия будут на-казаны.

А молодая королева с семьей все сидела в хлеву или во дворе.

Родители помаленьку начали приходить в себя, но все еще молчали, не по-нимают, что с ними происходит.

В один прекрасный вечер хозяйка выскочила и стала говорить, что звезда снижается над самым их домом и скоро спалит все постройки.

И поэтому хозяйка просила своих постояльцев уйти, чтобы духу их не бы-ло, потому что тут что-то нечисто.

Молодая королева выпроводила родителей, вынесла ребенка и повела семью по берегу подальше от города и людей.

И она услышала крики.

Наверху, на высоком берегу, стояла небольшая толпа и смотрела в небо.

Королева тоже посмотрела и увидела прямо над собой яркую звездочку.

Королева с семьей шла вон из города — и звезда тронулась следом за ней и засияла так низко и так ярко, что песок заискрился и на море легла дорожка как от луны.

А наверху стояли и молчали люди.

Тут же в море осветился корабль, он сиял всеми своими огнями, и была спущена шлюпка, а в шлюпке кто-то стоял, пока остальные гребли.

Несчастливая королева вспомнила того капитана в фуражке, но сил убежать не было, да и некуда.

Шлюпка привезла на берег знаете кого?

Молодого короля, отца рыженького принца.

Король сразу взял сына на руки, встал на колени перед молодой королевой и сказал, что ему все равно, рыжий мальчик или зелененький, но это его сын и он его никому не отдаст.

Он сказал, что его буквально заперли в его комнатах, когда все решалось, а потом он искал жену и сына повсюду, пока не нашел однажды волшебника, который согласился помочь.

Волшебник сказал, что за это можно лишиться и королевства, но молодой король был на все готов, и тогда волшебник снял со своей волшебной палочки звезду и послал ее искать королеву, а следом за звездой поплыл на корабле и молодой король.

— Возможно, что я больше не властелин и у меня нет вообще ничего, только этот корабль, но прости меня! Твой кошелек я храню у сердца!

Так сказал молодой король, и королева простила его и поцеловала в щечку.

Они взошли в полном составе на шлюпку, и город Н. вскоре скрылся за горизонтом.

Надо ли говорить, что, разумеется, вся эта компания, приехав в королевство, не была даже допущена сойти на берег, власть давно переменялась, всем управляли уже новые молодые люди, быстрые, в кожаных куртках, и бывшие король с королевой были счастливы, что удалось уплыть и никого не арестовали.

В дальнейшем они много ходили по морям и даже основали свое собственное маленькое королевство, в котором единственным государем стал принц с золотыми волосами.

Просто они продали свою яхту и купили квартиру в зеленом районе, и коронация нового владыки произошла в детской, а корону дедушка склеил из картона и обтянул ее серебряной бумагой из-под шоколадки.

И серебряная бумажка засияла на рыжих волосах.

ВОЛШЕБНЫЕ ОЧКИ

Жила-была девочка, которая пошла и купила себе очень дешевые черные очки, вместо того чтобы купить тетради.

Что же, и так бывает, но очки оказались волшебные, как вторая пара глаз, которые видят то, что обычным взглядом не ухватишь.

Например, девочка прекрасно стала видеть вдаль и видела, как на далекой планете взад-вперед ходит поезд.

Мало того, она наблюдала те звезды, которые еще были не открыты учеными, а она разглядела эти звездные туманности отлично и даже как бы поплавала среди них.

Но, с другой стороны, девочка вдруг стала различать микробов.

Мама говорит ей: иди мой руки — а девочка видит, что в воде, текущей из крана, плавают и несутся миллионы бактерий, а на ручке крана сидят миллионы мохнатеньких микробов, кривых как огурцы и прямых как гвозди.

И на куске мыла их видимо-невидимо.

Чтобы не огорчать маму, девочка мыла руки и вытирала их полотенцем, на котором успевала рассмотреть целые города микробов!

Что уж говорить о мясной котлете, зажаренной вчера, а еще того более о колбасе, купленной в магазине!

Но девочка старалась слушать маму, особенно после того случая, когда пришлось покупать тетради еще раз (девочка соврала, что потеряла деньги или их украла и что очки она нашла на улице).

Хотя мама была все время недовольна, что дочка носит и носит эти черные очки, даже дома и даже вечером.

Короче говоря, жизнь девочки стала довольно трудной, и с течением времени девочка наконец прекратила носить очки днем, пустая трата зрения и одно расстройство, но зато она предпочитала носить их ночью, поскольку там, на далеких планетах и среди звезд, она не видела этих чудовищных скоплений микробов и бактерий, а видела дивную жизнь светил и как бы путешествовала там с помощью своих очков.

Все стали находить поведение девочки странным, и мама даже попыталась выбросить очки в мусорное ведро, однако девочка очень быстро нашла свои черные очки, потому что они начали громко звенеть в мусорном ведре, оказавшись среди невероятного количества микробов и бактерий.

Девочка смыла эти микроорганизмы с очков водой из-под крана, в которой их было поменьше миллионов на сто, но что делать!

Чтобы лучше видеть свои миры, девочка нашла путь на чердак и поднималась туда по ночам.

Днем она, разумеется, спала на ходу, на уроках отвечала невпопад, зато ночами она составляла расписание поездов далекой планеты ФУ-350 и наблюдала за таянием снегов на полюсах планеты МЕ-1500.

Там она была на своем месте.

Но в школе, если она на уроке математики пыталась рассказать о жизни на других планетах, учительница краснела, выскакивала из класса и возвращалась с директором, говоря об издевательствах.

Один раз, правда, девочка получила четверку по биологии, блестяще рассказав о десяти видах бактерий, живущих в пресной воде.

Тут учительница растаяла и сказала: «Ну вот, Катя, когда ты хочешь, ты можешь».

А четверку ей она поставила за лишний вид бактерий, появившийся в последнее время и еще не открытый учеными, и за спор с учителем по этому поводу.

Дома тоже был полный тарарам: мама жалела дочку и потому поднимала ее утром ласково, уговаривала иногда по полчаса, а папа ругал маму, что она распустила и балует девчонку, а младший брат предлагал каждое утро выливать сестре на голову чайник воды.

И в конце концов однажды утром девочка оказалась на крыше своего шестиэтажного дома, вместо того чтобы идти на занятия, потому что накануне ребята сообщили, что в школу приедут проверять всех психиатры, и кто окажется ненормальным, того переведут в школу для дураков.

А кто в этот день не придет в школу, за тем приедут домой на машине скорой помощи.

Девочка не раз слышала, от учителей в особенности, что ее место в дурдоме, и брат тоже говорил ей, что она «больная»: такие шутки были приняты в те времена, неизвестно, как сейчас.

Мало того, в школе говорили, что там, в психбольнице, у «больных» отбирают все: часы, ключи, деньги, пояса и в особенности очки, тем более черные, потому что очками сумасшедшие могут поранить себя и других, а черные очки вообще никому на хрен не нужны нормальным, не на пляже нашлись сидеть и так далее.

Там, на других планетах, люди ходили и в трех очках сразу, и в шляпах до потолка, но здесь кому это объяснишь.

Девочка решила прыгнуть с шестого этажа раз и навсегда, чтобы все поняли, кого они потеряли, в особенности папа и брат, которые были, в сущности, добрые люди и жалели других, брат вообще подбирал кошек и собак, кормил их у подъезда, домой этих помойных ему брать не разрешалось.

Папа и брат, думала девочка, стоя на крыше своего дома днем, в черных очках, папа и брат поймут, кого они потеряли, только будет поздно.

Потом девочка подумала о маме, и ей стало жалко маму, даже выступили слезы, и девочка их вытерла, не снимая черных очков.

В классе никто не заплачет, а если придут на похороны, вообще будут смеяться. Их нельзя пускать. И потом, что от меня останется, думала девочка; соберут в мешок, что ли.

Она последний раз в жизни стояла в своих волшебных очках и смотрела вверх, но ничего, кроме крупных микробов, живущих на стеклах, она не видела: днем небеса были светлые и пустые.

Потом она посмотрела вдаль и увидела на балконе микрорайона Подушкино длинноногого мальчика с биноклем, в одних трусах: он смотрел не отрываясь куда-то в чужое окно, из полуоткрытого рта ползли слюни, он их втягивал и снова смотрел...

— Возможно, — подумала девочка рассеянно, — кто-то там, куда он смотрит, ест торт.

Жить было неинтересно, страшно и тоскливо.

Чтобы не видеть слюнявого и прыщавого мальчика в трусах, девочка посмотрела вниз, на то место, где ей предстояло лежать.

Там был асфальт.

Но там стояла кучка людей, и в самой гуще кричала и рвала на себе волосы женщина, потом она упала и стала кататься по асфальту.

Чтобы упасть, пришлось бы падать на нее.

Что же такое она кричала?

В очки все было хорошо видно, руки женщины, которые колотили по асфальту, ее красное мелькающее лицо с широко открытым ртом, грязное от дорожной пыли.

Но ничего не было слышно.

Встрепенувшаяся, девочка спустилась с крыши (без очков), съехала на лифте и присоединилась к толпе сочувствующих.

Оказалось, женщина оставила коляску с ребенком у подъезда и поднялась к знакомой на третий этаж, а когда вернулась, коляску украли.

Женщина обегала все соседние улицы, вернулась к подъезду и стала спрашивать случайных прохожих, не видел ли кто ее ребенка: красная коляска, ребенок в белой кофточке, в чепчике и накрыт голубым одеяльцем в клеточку.

Бедная мать, видимо, буквально кидалась на людей и громко рыдала, потому что вокруг нее собралась небольшая толпа, и к приходу девочки в очках (без очков в данный момент) люди стали говорить, что надо вызвать скорую помощь, потому что наверняка эта женщина сошла с ума: она заболталась с подружкой, как видно, и упустила коляску.

Эта девочка без очков просто задохнулась от злости на этих злых людей, которые готовы запереть в дурдом всех, даже глубоко несчастных, как эта мамаша или некоторые люди, любящие ходить в черных очках.

Тогда девочка снова взобралась к себе на крышу и надела свои волшебные очки.

И тут же она увидела на расстоянии трех улиц одну слепую бабушку-нищенку, которая всегда просила у метро, опираясь на палку.

Бабка, зорко поглядывая по сторонам, перебежала улицу среди машин, толкая перед собой красную коляску, а палку держа под мышкой.

И девочка в очках заорала вниз:

— Эй! Алё! Я вижу! Коляску утащила бабушка и бежит к универмагу! Мимо «Орленка»! Улицу перебегает! Тетя, я их вижу!

Толпа не сдвинулась с места.

Отсюда было не так близко до «Орленка», во всяком случае рассмотреть бабушку, тем более коляску и даже сам кинотеатр «Орленок» представлялось делом невозможным.

Зато бедная мамаша сразу замолчала, вскочила, отряхнулась и со всех ног кинулась бежать в указанном направлении, не глядя по сторонам.

А девочка в очках очень быстро спустилась на улицу и бросилась за мамашей, придерживая черные очки.

Через пять минут они домчались до кинотеатра, но там уже никого не было, только стояла поперек улицы машина, которая, видно, затормозила при виде опасной бабки.

И уже милиционер записывал в блокнот данные, а шофер показывал ручкой в переулок, демонстрируя жестами, как везла бабка коляску и т. д.

— Бежим туда! — крикнула девочка в очках, и они кинулись в переулок.

Но там тоже уже никого не было.

— Минуточку! — сказала девочка. — Ждите меня здесь.

Она вошла в подъезд двенадцатиэтажного дома и на последнем этаже, не найдя входа на чердак, просто высунулась в окно, и очки показали следующее: слепая старушка, бормоча неласковые (видимо) слова, затаскивала коляску в подъезд.

Старушка волокла тяжелую коляску позади себя на манер трактора-тягача, а потом она харкнула себе под ноги, взяла коляску под мышку и тяжело пошла своим ходом, и за ней закрылась дверь.

— Алё, тетя, — крикнула девочка из окна, — вон тот дом, третий подъезд!

Мамаша тут же взяла старт, девочка еле ее догнала на углу, и они вместе вбежали в подъезд.

Бедная женщина опять приготовилась кричать свое «помогите», но девочка в черных очках приказала:

— Тихо! Будем слушать.

И они стали тихо-тихо подниматься по лестнице и прикладываться ушами ко всем дверям.

Но в одном месте прикладываться не пришлось — там кричал ребенок, а чей-то голос задрезжал:

— А вот сейчас будем молочка пить! У, проклятай! Разорвется! А ну, кто молочка хочет! У-лю-лю-лю-лю! Работать сейчас пойдем.

Женщина хотела застучать кулаком в дверь, но девочка в очках шепотом крикнула:

— Тихо! А то она ребенка в окошко выкинет!

Они стояли, тяжело дыша, и тут девочка стала якобы звонить в соседние квартиры и громко предлагать:

— В домовом комитете дают талоны на бесплатную водку, только детям до шестнадцати и пенсионерам по две бутылки. Мы пишем списки.

Разумеется, слепая старушка подслушала под своей дверью и не удержалась, высунулась:

— Мне четыре, пиши.

— Почему четыре? — спросила девочка.

— Мне и внуку

Находчивая девочка сказала:

— По нашим данным, у вас нет внуков.

— Как нет, — заорала слепая, — как это нет! Вон он, выступает.

Действительно, слышался плач ребенка.

— Не верю, — сказала девочка, — нет у вас внуков.

— Не было, а есть, привезли, а он орет. Все его бросили на меня, а у самой инвалидность да сын инвалид с детства под себя ходит. А мне с ним трудно, не прожить.

— Где внук? — строго спросила девочка.

— Вон мычит, — ответила старушка, тоже в черных очках.

Но тут ребенок замолчал, и девочке стало страшно.

Но она не подала виду и сказала:

— Так, имя, фамилия и отчество ребенка.

А ребенок все молчал, и у мамыши лицо перекошилось, вот-вот зарывает.

Что-то с ним там происходило.

Бабуля после некоторого размышления сказала:

— Как я по фамилии, так и он. А зовут его... Сейчас, дай сообразить. Николай.

— А отчество? — не отставала девочка, крепко хватая за руку обезумевшую мамашу.

— Ну и отчество... тоже Николаевич, — сказала, ничего не придумав, старушонка.

— Так. Николай Николаевич. Одну минутку, бабуля, мне надо позвонить и внести уточнение в списки. Где у вас тут телефон?

— Вон на стенке висить, — ответила слепая, утирая пересохший рот. — А водка всем нужна. Сын без водки не засыпает, гоняет меня. Уж вы запишите меня и внучка.

Девочка, взяв слепую старуху за локоть, со словами «давайте помогу» повела ее в комнату, где, разумеется, находилась красная коляска и где уже стоял во весь рост ребенок, держась за откидной верх, и смотрел во все глаза.

— Ну все, спасибо, бабушка, — сказала девочка, — мамаша, забирай своего ребеночка и больше никогда не оставляй его, а тебе, бабуля, мы посоветуем не воровать чужих детей, а то посадят тебя в тюрьму.

— Опять новости, — произнесла старушка, — это был подкидыш, тут спасаешь-спасаешь дитя, и тебя же снова в тюрьму!

Но мамаша, хватая ребенка и укладывая его обратно в коляску, ответила:

— Конечно! Подкидыш! Как же!

И на обратном пути мамаша рассказала девочке, что ей одна пьянюшка должна долг и не отдает, и приходится к ней ходить, а ребенка не с кем оставить, а к этой пьянюшке его брать нельзя, а денег нет и т. д.

Так они разговаривали на обратном пути, и девочка, познакомившись с тяжелой жизнью взрослых людей, решила больше не прыгать с крыши, а остаться жить, чтобы помогать людям.

И она даже не пикнула, когда увидела, что мамаша достала из сумки бутылочку с молоком и на рожке сидит три миллиона микробов.

— Ничего, — подумала девочка, — мы так и живем, приходится жить с микробами.

И она сняла свои очки и положила их в карман.

Некоторые вещи лучше не замечать, не все в этом мире совершенно, подумала девочка и радостно отправилась домой.

АННА И МАРИЯ

Жил-был человек, который охотно помогал всем — всем, кроме своей жены. Жена его была удивительно добрая и кроткая, и он знал, что она прекрасно справляется со всеми делами одна, и был спокоен.

И однажды он помог одной колдунье, догнал ее шляпу, которую снесло ветром.

И колдунья с улыбкой сказала: «За то, что ты мне помог, я сделаю тебя волшебником. Но с одним условием. Ты сможешь помогать всем. И только тем, кого ты любишь, ты не сможешь помочь ничем».

И она его утешила: «Так бывает. Врач же не лечит своих детей. Учитель не учит своего собственного ребенка. У них это плохо получается».

И она ушла, оставив человека в растерянности.

И скоро настало время, когда у этого новоявленного волшебника стала умирать его любимая жена, нежная, добрая, красивая Анна.

Так случается, что у человека внутри кончается завод, как у часов — все тише тиканье, все реже.

Волшебник все время проводил около своей жены, дело происходило в больнице — пришлось отвезти Анну туда, чтобы сделать ей операцию.

Волшебник стоял на коленях у кровати, а жена его почти перестала дышать.

Тогда он бросился в коридор к медсестре, но медсестра ему сказала: «Не надо ей мешать, ей сейчас и так тяжело» — и ушла.

А волшебник же просто хотел попросить еще один укол для продления жизни жены, но не получилось, как и предсказала колдунья.

А по коридору санитар вез каталку — высокие носилки на колесах, и у женщины, которую он вез, голова была вся забинтована.

Тем не менее женщина еще дышала, хотя тоже довольно редко.

Волшебник понял, что жизнь ее заканчивается, и предложил санитару сигарет.

Санитар охотно закурил и рассказал на ходу историю болезни пациентки, что та попала в автомобильную катастрофу и практически уже живет без головы, и он не надеется ее довезти на второй этаж в операционную, и это жалко, потому что внизу сидит семья этой женщины, в том числе двое маленьких детей.

Волшебник мигом сообразил, что надо сделать, тут его мастерства хватало, и он обменял тело жены на туловище этой умирающей и изо всей силы пожелал выздоровления для бедной посторонней больной: здесь он помочь как раз мог!

Но, видимо, помощь пришла слишком поздно, и санитар погрузил в лифт полный гибрид умирающего тела с умирающей головой — больная почти уже не дышала.

А тем временем на кровати Анны оказался живой человек, только сильно одурманенный лекарствами, — здоровая голова Анны и здоровое тело той, другой женщины.

Волшебник опустился на колени у изголовья своей жены и увидел, что она стала дышать немного чаще — но при этом Анна начала стонать и жаловаться, что все болит — руки и ноги.

Затем Анна открыла глаза, полные слез, и спросила мужа, долго ли ей еще мучиться.

Муж сообразил, что легкомысленный санитар не все мог знать о состоянии бедной погибающей женщины, что, возможно, и руки, и ноги у нее были переломаны — но как это лечить сейчас, в данной больнице?

Что скажут врачи, если увидят, что больная лежала-лежала в своей кровати, умирала-умирала — и вдруг оказалось, что у нее сломаны руки-ноги?

Врачи столпятся и будут думать, что налицо какое-то преступление, что больную выбросили, может быть, с четвертого этажа, или она сама выкинулась, что-нибудь в таком духе. Или ее муж побил палкой, мало ли!

И в пору бы было вызывать следователя к такой больной вместо лечения — так думал бедный волшебник.

И тут же он сбегал к врачам и попросил, чтобы больную выписали домой: что ей здесь мучиться, пусть лежит свои последние дни дома.

— Не дни, а минуты, — поправила его присутствующая тут же медсестра, — только минуты. Ей осталось жить максимум сорок минут.

И она опять сказала: «Не мешайте ей, ваша жена занята серьезным делом».

— Да, да, — ответил волшебник, — но я ее забираю.

Он взял свою громко стонущую жену под неодобрительными взглядами врачей и отнес ее вниз, в машину, а затем быстро домчал Анну до другой больницы, сказав, что его жена упала с садовой лестницы и ничего не помнит, говорит всякую чушь про то, чтобы ее добили, дали таблетку «от жизни», дали умереть, и что она неизлечимо больна и так далее, вплоть до сообщения диагноза.

Врачи тут же установили, что у больной множество ушибов, но остальное все в порядке, это вопрос двух недель, и Анна, проклиная все на свете, терпела и жаловалась только мужу, хотя по-прежнему громко и со слезами.

Она больше не требовала себя пристрелить как неизлечимо больную, поскольку после первой же такой просьбы к ее постели был вызван очень ласковый и внимательный врач, который долго расспрашивал ее о детстве, о снах и не сходили ли с ума ее папа с мамой и от чего умерла прабабушка и не в психбольнице ли.

Больная тут же прекратила свои требования насчет того, чтобы с ней кончили раз и навсегда, перестала просить пулю в лоб, а волшебник задумался: очень уж это было не похоже на его родную Анну, на его сильную и добрую жену, которая всегда больше заботилась о нем и жалела его больше, чем себя.

Остальные сюрпризы начались очень скоро — Анна, приехав домой, стала исчезать надолго, возвращалась с прогулок мрачная и все пыталась что-то вспомнить.

На все вопросы она отвечала, что ей снятся какие-то странные сны и вообще тут многое непонятно — куда девался шрам после аппендицита и откуда такие пальцы, почему родинка на плече и все такое прочее.

Анна при этом прятала глаза, не смотрела прямо в лицо, чего прежняя Анна никогда бы не стала делать, она всегда смотрела прямо в самые зрачки мужа своим печальным и ласковым взглядом. В самое его сердце.

Волшебник затосковал и пошел в больницу узнать, когда умерла та жертва катастрофы, и он очень удивился, узнав, что эта жертва нисколько не умерла, а после удачной операции чувствует себя намного лучше, можно сказать, что врачи совершили просто чудо.

Да и семья больной дежурит буквально круглые сутки около Марии — так звали женщину.

Семья — мама, папа и двое маленьких детей — чуть ли не поселилась в больнице, детей приводят поцеловать маму перед детским садиком и после него, и Мария уже может с ними говорить.

Правда, она очень изменилась, но это бывает после операции, а вот семья не изменилась.

Так рассказал волшебнику словоохотливый санитар и пустился с пустой каталкой вдаль по коридору.

Волшебник заглянул в палату и увидел молодую женщину с забинтованной целиком головой (свободен был только рот) под неусыпным наблюдением мужчины в очках, который смотрел на нее не отрываясь, как некоторые родители смотрят на своих маленьких спящих детей.

Волшебник мгновенно оказался в белом халате, в шапочке и с трубочками в ушах, как и полагается доктору.

— Так, больная, — сказал волшебник, — как сон, как страхи, как предчувствия?

Он сел с другой стороны кровати, и Мария вдруг беспокойно зашевелилась и протянула к нему руку.

Волшебник увидел эту знакомую ему до мельчайших подробностей руку, родную руку, и чуть не заплакал, поняв, что больше никогда он не сможет поцеловать эти пальцы.

— Да, — сказала Мария сквозь бинты, — меня мучают сны, что где-то недалеко мой дом, мой любимый муж, мои книги и сад, и мне снится, что я никогда больше туда не попаду. И каждую ночь я плачу.

— Бинты промокают от слез, да, — отозвался ее муж, солидный, крепкий мужчина в очках. — От этого болят раны.

— Да, она, видимо, должна измениться после катастрофы, так бывает, и бывает даже, что люди начинают выдавать себя за других. Это явление ложной памяти, я вам говорю, — сказал волшебник.

— Ничего, лишь бы она вернулась к нам, нам она нужна любая.

Волшебник не отрываясь смотрел на бинты, и ему казалось, что там, под слоем марли, как бабочка в коконе, лежит лицо его любимой Анны, лицо той Анны, которая его любит.

А Анна домашняя, которую он спас, перехитрив судьбу, — она не настоящая.

Тогда волшебник, притворившись доктором, под беспокойным, страдальческим взглядом мужа начал снимать бинт за бинтом, и внезапно приоткрылось ему совершенно чужое лицо, мелькнуло со всеми своими ярко-красными шрамами и грубыми швами.

Волшебник не стал разбинтовывать до конца эту совершенно незнакомую ему женщину и сказал:

— Еще не все зажило, операцию придется повторить через неделю.

Он уже знал, что это не Анна и что он сможет ей помочь.

— Так бывает, доктор, что даже руки изменились? — пролепетал несчастный муж.

— Да, все бывает, полное изменение. Через неделю ее возьмут на операцию и все вернется, не беспокойтесь, — сказал волшебник и удалился.

Внизу, в вестибюле, он прошел мимо испуганной, притихшей семьи Марии — двух пожилых людей и двух малышей. Он остановился, сказал им несколько ободряющих слов и тут же почувствовал, что его жена Анна где-то здесь.

Она была тут, она пряталась в больничном саду.

Волшебник отступил, стал неразличимым и только наблюдал, как Анна медленно, неуверенно, как слепая, которую ведут на веревке, движется по на-

правлению к детям, входит в больничный вестибюль, приближается к их скамейке...

Дети встрепнулись, старики зашевелились, подвинулись, и Анна села рядом.

Через несколько минут дети уже стояли, прижавшись к ее коленям, и играли ее бусами, без передышки щебеча.

Старики тоже оживились, придвинулись к Анне, причем старушка то и дело касалась ее рукой.

Стало ясно, что Анна тут сидит не первый раз.

Волшебник вернулся домой и стал читать свои книги — те, которые у него завелись после встречи с колдуньей, — но только в одной книге, в самом конце, он нашел ярко светящуюся строчку: ОБМАНЩИК СУДЬБЫ.

Волшебник перебрал всю свою жизнь за последнее время и признал, что действительно схитрил, обвел вокруг пальца свою судьбу, сделал то, чего ему было не дано: ему ведь нельзя было помогать тем, кого он любил, а он помог Анне!

И теперь маялись две несчастные женщины, не понимающие, кто они, и сам он мучился и был глубоко несчастен.

И Анна — это ясно — больше не любила его.

Волшебник долго думал, как ему быть, и наконец он пошел разыскивать свою колдунью.

Он просидел два часа в очереди в ее приемной среди детей-калек, плачущих старух, суровых мужчин и мрачно настроенной молодежи.

Счастливые сюда не заглядывали!

Очередь двигалась медленно, но никто не возвращался — видимо, существовал другой выход.

Наконец волшебник вошел к колдунье.

Она засмеялась, увидев его, и сказала:

— Не обманешь судьбу-то!

Он ответил:

— Что же теперь делать?

Колдунья, однако, пригласила следующего, а волшебнику указала на дверь в противоположной стене.

Он вышел, однако вышел куда-то не туда. Он вышел в какое-то поле, пустынное, только горы виднелись на горизонте.

Как ни вертел головой волшебник, он ничего не увидел, даже дома колдуни.

Наконец ему пришлось пойти к горам (сверху лучше видны окрестности), и он шел и шел, ночью и днем, не чувствуя ничего, ничем не питаясь, и был даже рад, что не сидит дома вдвоем с несчастной Анной, сердце которой, видимо, так и осталось любить своих детей и свою семью...

Он шел, потеряв счет дням и ночам, он не хотел колдовать, он смотрел то на облака, то на звезды, иногда рвал и надкусывал какие-то травинки.

И все больше и больше его тревожила мысль о том, что он исковеркал жизнь многим людям, пытаясь обмануть судьбу.

Он сохранил две жизни, а зачем нам жизнь без наших любимых?..

Однако всему приходит конец, и волшебник взобрался на высокую гору, увидел там дверь — совершенно такую же, как в доме колдуни, — вошел в эту дверь и через минуту выбрался на улицу своего города и пошел к себе домой.

Он никого там не обнаружил, нашел только многодневную пыль и засохшие цветы. Кроме того, со стены исчез портрет Анны, а из ящика стола все ее фотографии.

У волшебника сильно билось сердце, как от страха.

Он помчался в больницу, нашел санитаря, угостил его хорошей сигаретой, узнал много нового: оказывается, семья той молодой женщины, которая попала в автокатастрофу, заявила жалобу, что им подсунули совершенно не того человека, и они прекратили сидеть у постели больной, как только у нее сняли бинты.

Мало того, ее муж тут же нашел себе другую и увез ее.

В жалобе было указано, что больная целиком и полностью не похожа на их рию — ни лицом, ни фигурой.

Эти люди ушли очень быстро и даже не узнали, что пациентка почти слепая: именно поэтому она не узнала своих детей и мужа, а за это и ее никто не пожелал узнавать.

— А где она? — спросил волшебник.

— Да кто ее поймет, — ответил санитар, — ее выписали два месяца назад... Говорят, она сама не знала, куда идти, все твердила про какие-то сны, что нужно искать сад и библиотеку... Повредилась в разуме, что ли... На другой день она вернулась и стояла около кухни, и я вынес ей каши с хлебом... Но нам же нельзя кормить посторонних. Больше она не приходила.

Волшебник мчался домой, к своим книгам, и твердил: я не знаю ее, я ее не люблю, не люблю!

Он прибежал к себе в библиотеку, раскрыл нужную книгу и начал читать, и прочел про скамейку в соседнем парке, про женщину в мятой, грязной одежде, которая медленно копалась палочкой в урне, про то, как она близко поднесла к глазам корочку хлеба, разглядела ее и так же медленно, машинально положила в карман...

— Я ее не люблю, — громко сказал волшебник, — я могу ее вылечить!

Он схватил хрустальный шар и послал в самую его середину луч света. В центре шара задымилось, показалось дерево, под ним скамейка, на скамейке, спиной к волшебнику, скорбная, застывшая фигура с палочкой в руке...

Но все погасло.

Он опять послал луч света в свой шар.

— Не может быть, все должно получиться! — закричал волшебник. — Я ее не знаю! Я ее просто жалею, ничего больше!

Внутри шара опять задымилось — и погасло.

Тогда волшебник схватил со стула шаль Анны, ее желтую шаль, которую она сама, своими руками когда-то связала и которую не взяла с собой в другую жизнь, потому что перестала быть Анной.

Волшебник помчался в парк и нашел ту скамейку.

Он накинул желтую шаль на плечи совершенно чужой женщины, и она, обернувшись, подхватила шаль знакомым движением своей худой, бледной руки и так подняла брови и с такой жалостью и добротой посмотрела на волшебника, что он заплакал.

Но она его не разглядела, а протянула к нему руку и погладила по щеке.

— Не знаю, как тебя звать, но это не важно, — сказал волшебник.

— Мария, — ответила ему Анна своим тихим голосом.

— Пойдем домой, — сказал волшебник. — Здесь сыро, ты простынешь.

И они пошли домой.

КОТЕНОК

Одна бабушка в деревне заболела, заскучала и собралась на тот свет.

Сын ее все не приезжал, на письмо не ответил, вот бабушка и приготовилась помирать, отпустила скотину в стадо, поставила бидончик чистой воды у кровати, положила кусок хлеба под подушку, поместила поганое ведро поближе и легла читать молитвы, и ангел-хранитель встал у нее в головах.

А в эту деревню приехал мальчик с мамой.

У них все было неплохо, их собственная бабушка функционировала, держала сад-огород, коз и кур, но эта бабушка не особенно приветствовала, когда внук рвал в огороде ягоды и огурцы: все это зрело и поспевало для запасов на зиму, на варенье и соленье тому же внуку, а если надо, бабушка сама даст.

Гулял этот выгнанный внук по деревне и заметил котенка, маленького, головастого и пузатого, серого и пушистого.

Котенок приبلудился к ребенку, стал тереться о его сандалики, навевая на мальчика сладкие мечты: как можно будет кормить котеночка, спать с ним, играть.

И мальчиков ангел-хранитель радовался, стоя за его правым плечом, потому что всем известно, что котенка снарядил на белый свет сам Господь, как он всех нас снаряжает, своих детей.

И если белый свет принимает очередное посланное Богом существо, то этот белый свет продолжает жить.

И каждое живое творение — это испытание для уже заселившихся: примут они новенького или нет.

Так вот, мальчик схватил котенка на руки и стал его гладить и осторожно прижимать к себе.

А за левым локтем его стоял бес, которого тоже очень заинтересовал котенок и масса возможностей, связанных с этим именно котенком.

Ангел-хранитель забеспокоился и стал рисовать волшебные картины: вот котик спит на подушке мальчика, вот играет бумажкой, вот идет гулять, как собачка, у ноги...

А бес толкнул мальчика под левый локоть и предложил: хорошо бы привязать котенку на хвост консервную банку! Хорошо бы бросить его в пруд и смотреть, умирая со смеху, как он будет стараться выплыть! Эти выпученные глаза!

И много других разных предложений внес бес в горячую голову выгнанного мальчика, пока тот шел с котенком на руках домой.

А дома бабка тут же его выругала; зачем он несет блохастого в кухню, тут в избе свой кот сидит, а мальчик возразил, что он увезет его с собой в город, но тут мать вступила в разговор, и все было кончено, котенка велено было унести откуда взял и бросить там за забор.

Мальчик шел с котенком и бросал его за все заборы, а котенок весело выпрыгивал навстречу ему через несколько шагов и опять скакал и играл с ним.

Так мальчик дошел до заборчика той бабушки, которая собралась умирать с запасом воды, и опять котенок был брошен, но тут он сразу же исчез.

И опять бес толкнул мальчика под локоть и указал ему на чужой хороший сад, где висела спелая малина и черная смородина, где золотился крыжовник.

Бес напомнил мальчику, что бабка здешняя болеет, о том знала вся деревня, бабка уже плохая, и бес сказал мальчику, что никто не помешает ему наесться малины и огурцов.

Ангел же хранитель стал уговаривать мальчишку не делать этого, но малина так алела в лучах заходящего солнца!

Ангел-хранитель плакал, что воровство не доведет до добра, что воров по всей земле презирают и сажают в клетки как свиней, и что человеку-то стыдно брать чужое — но все было напрасно!

Тогда ангел-хранитель стал напоследок нагонять на мальчишку страх, что бабка увидит из окна.

Но бес уже открывал калитку сада со словами «увидит, да не выйдет» и смеялся над ангелом.

А бабка, лежа в кровати, вдруг заметила котенка, который влез к ней в форточку, прыгнул на кровать и включил свой моторчик, умащаясь в бабушкиных замерзших ногах.

Бабка была ему рада, ее собственная кошка отравилась, видимо, крысиным ядом у соседей на помойке.

Котенок помурчал, потеряв головой о ноги бабушки, получил от нее кусочек черного хлеба, съел и тут же заснул.

А мы уже говорили о том, что котенок был не простой, а был он котенком Господа Бога, и волшебство произошло в тот же момент, тут же постучались в окно, и в избу вошел старухин сын с женой и ребенком, увешанный рюкзаками и сумками: получив материно письмо, которое пришло с большим опозданием, он не стал отвечать, не надеясь больше на почту, а потребовал отпуск, прихватил семью и двинул в путешествие по маршруту автобус — вокзал — поезд — автобус — автобус — час пешком через две речки, лесом да полем, и наконец прибыл.

Жена его, засучив рукава, стала разбирать сумки с припасами, готовить ужин, сам он, взявши молоток, двинулся ремонтировать калитку, сын их поцеловал бабушку в носик, взял на руки котенка и пошел в сад по малину, где и встретился с посторонним пацаном, и вот тут ангел-хранитель вора схватился за голову, а бес отступил, болтая языком и нагло улыбаясь, так же вел себя и несчастный воришка.

Мальчик-хозяин заботливо посадил котенка на опрокинутое ведро, а сам дал похитителю по шее, и тот помчался быстрее ветра к калитке, которую как раз начал ремонтировать бабкин сын, заслонив все пространство спиной.

Бес ушмыгнул сквозь плетень, ангел закрылся рукавом и заплакал, а вот котенок горячо вступился за ребенка, да и ангел помог сочинить, что-де вот полез мальчик не в малину, а за своим котенком, который-де сбежал. Или это бес сочинил, стоя за плетнем и болтая языком, мальчик не понял.

Короче, мальчика отпустили, а котенка ему взрослый не дал, велел приходить с родителями.

Что касается бабушки, то ее еще оставила судьба пожить: уже вечером она встала встретить скотину, а наутро сварила варенье, беспокоясь, что все съедят и нечего будет сыночку дать в город, а в полдень постригла овцу да барана, чтобы успеть связать всей семье варежки и носочки.

Вот наша жизнь нужна — вот мы и живем.

А мальчик, оставшись без котенка и без малины, ходил мрачный, но тем же вечером получил от своей бабки миску клубники с молочком неизвестно за что, и мама почитала ему на ночь сказку, и ангел-хранитель был безмерно рад и устроился у спящего в головах, как у всех шестилетних детей.

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СКАЗКИ

1. В ДОРОГЕ

Ехали как-то клоп Мстислав и таракан Максимка в поезде и купили себе аэрозоль от насекомых, чтобы было не скучно в дороге, и начали делить.

Клоп Мстислав настаивал делить по миллиметрам, у него с собой был алмаз от расстрелянного отца.

Таракан Максимка резать баллончик не советовал, но иначе как делить?

В купе пришла муха Домна Ивановна, но и она, как ни любила жидкость от насекомых, не могла вспомнить, как ею пользоваться.

Решили баллончик выбросить из окна, а самим сойти на ближайшей станции и посмотреть, что получилось, однако муха выбросилась вместе с баллончиком, не в первый раз, и когда Максимка на попутном «мерседесе» добрался до места, Домна Ивановна уже разделась до трусов и ходила на четвереньках, а пятая и шестая ноги ей отказали, но веселиться так веселиться!

Что касается клопа Мстислава, то ему не терпелось до такой степени, что он соскочил с «мерседеса», не ожидая финала, и шел издали, нюхая аромат постепенно.

Однако, когда он домаршировал до места пьянки, все вдыхая аромат во все больших количествах, таракан Максимка уже отключился и отдышал, прислонясь к продырявленной банке, и усы у него пошли кольцами.

Рядом лежали деревенские, случайный муравей Ленька со стадом тлей, которое тоже полегло, и жук-солдат Андрейч в сцеплении с женой Веркой.

В целом пир вышел отличный, только поговорить Мстиславу было не с кем, обсудить погубленных предков, и он запел любимую «Постель была расстелена», слова Евтушенко.

2. В ДОМЕ ОТДЫХА

Как-то плотва Клава отдыхала после родов в доме отдыха и познакомилась там с молью Ниной.

Они весело проводили время, Нина иногда рассказывала анекдоты, сидя в шкафу, а Клава висела и сушилась на веревке на балконе, усталая и умиротворенная.

Слышно не было ничего, но плотва улавливала момент, когда Нина начинала беззвучно смеяться, и колыхалась в ответ.

Время от времени заходили другие отдыхающие, кондор Акоп, например, но скромная Нина сидела, закутавшись в свитер, в шкафу, а плотве Клаве вообще было ни до чего после кесарева.

Так они и провели эти прекрасные дни.

3. ВИЗИТ ДАМЫ

Червь Феофан все не давал покоя пауку Афанасию: только Афанасий все приберет, навесит занавески, тут же Феофан приползает, притаскивает на себе мусор, яблочные огрызки, шелуху (живет в конце огорода, что делать) и начинает рассуждать о вечности, о звездах, о том, зачем ему, червю, дана эта жизнь.

Афанасий злился, буквально на стену лез, но сказать Феофану правду (да кто ты такой, чтобы рассуждать, червь!) — этого Афанасий не мог, боялся обидеть Феофана, который и так про себя говорил: да кто я такой, чтобы рассуждать, червь, и все. И вопросительно смотрел при этом.

Афанасий терпел, после ухода Феофана приводил все в порядок и наконец принимался готовиться к домашнему консервированию, ожидая в гости муху Домну Ивановну: все было у него уже припасено, хрен, укроп, чеснок и лавровый лист, банки и крышки, но Домна Ивановна предпочитала Феофана и часами сидела у него в гостях на помойке, пила чай.

Афанасий много раз приглашал Феофана приходиться с подругой, но тот терпеть не мог присутствия баб при серьезных разговорах.

Однако паук ждал и надеялся и наконец дождался.

Домна Ивановна пришла к нему, она уже была сильно под мухой и в результате порвала у него занавеску, абажур и простыни, побила посуду, сломала ему нагрудный шприц и отчалила с Феофаном на помойку пить чай, а Афанасий неделю убирался и гонял по аптекам за шприцом.

4. СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА

Как-то раз комар Стасик полюбил свинью Аллу, а она его не признавала, лежала совершенно раздетая на берегу и обмахивалась ушами, так что и подлететь было боязно.

Стасик горько смеялся над своей бедой, над своей слабостью, а свинья Алла твердила одно и то же: знаем мы вас!

Стасик уверял, что питается только цветочным соком, что кровь пьют исключительно тетки из их семьи, но свинья Алла, бескрайняя, как все наши просторы, не допускала Стасика даже присесть, у нее была такая опасная манера, вздрагивать всем телом, и Стасик падал на лету как подкошенный, но не до конца, и именно это его волновало до глубины души, он все падал и падал, и все не до конца.

Наконец за ним прилетела жена Томка, хотела бить морду Алле, но была сшиблена ударом уха, и Стасик, терпеливый и настойчивый, как многие мужья, вынес комара Томку с поля боя и попутно все же присел, коснулся пальчиками ног роскошного тела Аллы и тут же вскочил как ужаленный!

Оказалось, что это была только видимость, обнаженное тело, на самом деле Алла с головы до ног заросла щетиной, и близорукий Стасик, обняв свою худенькую Томку, в который раз вернулся с ней домой, в который раз твердя: лучше семьи нет ничего!

5. ПЕДИКЮР

Однажды гусеница Николавна решила сменить пол и обратилась в госпиталь.

Там ее забинтовали, а затем выписали под именем бабочки Кузьмы.

Бабочка вылететь-то вылетела, но все шупала свои растущие день ото дня усики и с тоскою вспоминала свою земное прошлое, постоянно витая в воздухе.

Приходилось путешествовать без передышки, тягая с собой багаж; аэропорты, паспорта, чемоданы, затем бритва, трубка, кальсоны, шесть штук домашних тапочек и постоянный грим: все должно быть по-мужски красиво!

И некоторые обратили на Кузьму внимание, тот же воробей Гусейн, который предложил ему крепкую мужскую дружбу.

Но что-то не очень получалось, Гусейн слишком уж разевал пасть на друга, и робкий бабочка Кузьма даже встал подходить к телефону; и вообще, несмотря на усы и брюки, Кузьма все-таки звал себя Николавна и в минуты одиночества делал себе сам педикюр.

6. КОЗЕЛ ТОЛИК

Задумал козел Толик провести завтрашний выходной с ромашкой Светой.

Однако Света цвела в саду за забором, а Толик шатался по крапиве вокруг и напрасно ее звал, подзаборивая сходить испускаться или в кино на американский фильм про разведение коз (порно).

Света цвела на удивление спокойно и если перед кем и открывала дверь, то только перед пчелой Лелей, которая моталась туда-сюда, гремя ведрами.

В результате козел Толик пошел в лес, где его как раз поджидал волк Семен Алексеевич с бутылочкой виски.

И вместо отдыха назавтра козел Толик лежал весь день с мокрым полотенцем на голове, слушая звуки доения, а волк Семен Алексеевич, очнувшись утром, пошел в больницу, и его отправили на рентген, где у него обнаружили в желудке левый Толикин рог, неизвестно как туда попавший.

Толик долго стыдился ходить однорогим, особенно мимо сада, где цвела Света: «Получил по рогам», — объяснял он, сидя в хлеву.

Что касается Семена Алексеевича, то он на операцию не согласился, на клизму тоже не остался, а вернулся домой переваривать рог в домашних условиях.

7. РЕПЕТИЦИЯ ХОРА

Однажды гиена Зоя столкнулась с бараном Валентином в рыбном магазине, где баран покупал колготки и не знал, какой размер ему необходим. Он все уходил к зеркалу с колготками и наконец после скандала объяснил, что он желает сам надевать их как двусторонний колпак (у Валентина были роскошные рога).

Гиена Зоя, пока это все с криком обсуждалось, гуляла поблизости, потому что ей очень хотелось получить от кого-нибудь в подарок колготки (не себе, а дочери к свадьбе, Зоя знала, что на свадьбе единственные дочерины колготки обязательно порвут).

А тут такой интересный случай.

Короче, когда раскрасневшийся Валентин уже получал покупку, тут-то гиена Зоя и подставила покупателю Валентину лапу, а баран и наступил на нее.

Гиена взвыла (она была солисткой хора), Валентин кинулся прочь и, конечно, уронил покупку на пол, чем Зоя мгновенно воспользовалась, она схватила их одной рукой (помятой), а здоровой рукой взяла барана и отвела его в милицию к младшему лейтенанту медведю Володе.

Там баран отрицал все, сказал, что в первый раз в жизни видит эту драчную собаку.

Тогда гиена, ничуть не обидевшись, предъявила переднюю лапу и колготки — «а это вы разве не покупали?».

Баран, припертый к стене доказательствами, отрицал и колготки, и рыбный магазин, и тогда гиена успокоилась и сказала: «Ах простите, я перепутала, колготки я купила себе сама».

Барана отпустили, а гиене сделали предупреждение, но она положила колготки в сумочку и отправилась на репетицию ночного хора гиен как ни в чем не бывало.

8. КОНЕЦ ПРАЗДНИКА

Мухе Домне Ивановне захотелось сладенького, и она пристала к пчеле Леле, которая как раз летела с шестью пустыми ведрами в сад.

Но Леля не согласилась позвать в гости Домну Ивановну, не согласилась и сама пойти к ней в гости в помойную яму.

Домна Ивановна сказала «подумаешь!» и тогда помчалась в гости в дом, где варили варенье.

Но там ее не ждали и даже стали выгонять мокрым полотенцем.

Домна Ивановна от такого приема оплошала и шлепнулась прямо в незакрытую банку с вареньем (три литра).

Там она пошла ко дну.

Тут же эту банку отнесли на родину Домны Ивановны и похоронили муху с большими почестями в помойке, вылив на Домну Ивановну все три литра.

Тут же собрались огромные маесы детей Домны Ивановны и начались поминки, но через некоторое время Домна Ивановна высунулась из варенья и крикнула пролетавшей мимо с полными ведрами пчеле Леле: «Угощаю!»

Но пчела Леля только пожалала плечами и ответила, что вашего дерьма не надо.

Однако же через три минуты Леля вернулась с пустыми ведрами в сопровождении всего взрослого населения пасеки, тоже с пустыми ведрами.

И, несмотря на крики Домны Ивановны и многотысячной толпы ее детей, пчелы трудились как одержимые до конца рабочего дня.

— Ну и где справедливость? — спросила Домна Ивановна червя Феофана, вылезшего подышать воздухом на закате. — Я всех пригласила, даже этих уродов труда, пчел, а свинья Алла пришла безо всякого приглашения, сломала нам забор, сожрала все, я сама еле живая осталась.

— Так кончаются праздники, — заметил червь Феофан.

9. АВТОБУС

Как-то раз гадюка Аленка договорилась с кукушкой Калерией, что та поселится у нее в доме и будет показывать время, дружить так дружить!

Однако в разгар дружбы Калерия снесла яйцо в шляпу Аленки по своей привычке бросать детей где попало.

Аленка долго давала круги вокруг шляпы, но сделать ничего так и не решилась, против детей не попрешь, стала носить косынку.

Аленка по телефону всем нажаловалась на свою мягкотелость и уступчивость, Калерия сидела униженная, но куковала как обычно, пока однажды не отомстила: прокуковала утром восемь раз, девятый раз не стала.

Аленка из-за этого опоздала на важный автобус, не уехала к поезду и вообще в деревню, вернулась с полдороги домой и плакала перед неподвижной Калерией из-за погубленного отпуска.

Калерия отвечала ей строго по часам, уговор дороже денег, и только «ку-ку».

Однако тут же вылутился кукушонок, его называли Шурка, начались хлопоты, кукушка Калерия сбесилась и куковала без передышки, Шурка марался прямо в гадюкину шляпу, но Аленка проявила бесхарактерность еще раз, не съела Шурку за такие дела, хотя подруги по телефону советовали ей многое.

И в результате Аленка вышла на работу в свою аптеку как на праздник после такого отпуска, а сколько было радости, когда Шурка улетел, а Калерия отпросилась на выходные и не вернулась!

10. ИНОСТРАНКА

Волк Семен Алексеевич, прихватив бутылку, пошел погулять просто так, насвистывая фокстрот «Лесной нахал», и увидел у тропы совершенно целую баночку импортной сельди.

Он сразу постучал и услышал в ответ из баночки:

— У аппарата!

Он сказал:

— Пришел позвать выпить и закусить!

И снова постучал.

Сельдь воскликнула:

— У аппарата!

Семен Алексеевич тогда произнес:

— Тебе не замуж выходить, мне не жениться, просто время провести, есть бутылевич.

И он опять постучал аккуратно, ногтем.

Импортная сельдка ответила:

— Вызываю милицию, вот наглость. В нашей деревне все спят!

В ответ на это нетерпеливый Семен Алексеевич уже доставал свой консервный нож.

А милиционер мл. лейтенант медведь Володя тоже уже стоял перед ним, накрывшись фуражкой, и просил сдать холодное оружие (консервный нож) и следовать в отделение с такими словами:

— Это иностранная подданная куда ты покушался, понял? Исландия!

Семен Алексеевич ответил:

— Класс!

И он скоро сел на ночь в камеру предварительного заключения, где уже находились сидящие за драку комар Стасик и клоп Мстислав, которые приняли Семена Алексеевича даже слишком хорошо и радостно.

11. ТРАВМА

Однажды Домна Ивановна спала, раскинувшись в тени молочного пакета, и паук Афанасий не удержался и предложил Домне Ивановне выйти за него замуж.

Бабочка же Кузьма позавидовал счастью Домны Ивановны и стал порхать буквально перед носом у Афанасия вправо-влево, демонстрируя свою красоту, и тогда Афанасий сбегал домой за топором и проломил хрупкому Кузьме челюсть, так что тот в течение месяца питался через соломинку, а паука называл «мужик» и в результате очень подружился с Домной Ивановной, которая отвергла Афанасия навсегда за такие дела.

12. ДВОЙНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ

Однажды улитка Герасим, начитавшись художественной литературы, повел на веревке амебу Рахиль по прозвищу Муму топить в пруд, так как Рахиль по собственной инициативе очень привязалась к Герасиму, жила в его доме в конуре и ночами выла, якобы сторожа дом, а на самом деле просто на луну.

И тем самым эта Рахиль Муму не давала спать улитке Герасиму — улитки очень чувствительны.

А уходить из дому Герасим, начитавшись литературы, не хотел. он знал, чем такие вещи кончаются, станцией Лев Толстой Казанской ж. д.

Однако по дороге эту пару с веревкой (Герасим — Рахиль) встретила собака Гуляш, которая везла семью блохи Лукерьи в милицию, Лукерья хотела отселиться под крылышко медведя мл. лейтенанта милиционера Володи от своей невестки с семьей и заодно сдать Гуляша в милицию за убийство на бытовой почве Лукерьиной слепой бабки Райки, которая попалась Гуляшу на зуб, когда кормила ужином врнчат.

Гуляш, безалаберный парень, видя мучения ползущей улитки Герасима, волокшего на себе дом и веревку (амебу Гуляш не разглядел), изменил маршрут и вместо милиции побежал к пруду с изменившимся лицом (за счет торчащего в зубах Герасима и болтающейся веревки с Рахилью на конце).

Лукерье с семьей, таким образом, пришлось спасаться, она высадилась в песок на полном скаку, а Гуляш выпустил Герасима в воду и долго плавал сам, зорко глядя на песчаный берег, где Лукерья вырыла блиндаж, а ее дети занялись прыжками в длину.

Что касается Герасима, то он успокоился, качаясь на волнах, а Муму, оказалось, вообще не тонет ни при каких обстоятельствах, и она снова завыла, сторожа домик в новой обстановке, с веревкой на шее.

А ловкий Гуляш вылез на другой стороне пруда, не зная, что беременная невестка Лукерьи Марианна с семьей сидит у него на лбу и вяжет из собачьей шерсти трусы радикулитному мужу.

13. ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА

Однажды суслик Силантий и тушкан Жора отправились на историческую родину, в зоомагазин, переименовавшись для этого в Джорджа и, соответственно, в Билла.

Там их приняли приветливо, директор поил их чаем, но вечером магазин закрывался, и суслик с тушканом пошли по домам.

Угощение им понравилось, и на следующий день они опять отправились в гости, уже с женами и детьми.

Директор зоомагазина принял их опять приветливо, это был баран Валентин, и он снова поил всю компанию чаем с печеньем.

Вечером гости разошлись в приподнятом настроении, чтобы на завтра прийти к открытию уже с тещами и бабушками.

Опять был праздник, все танцевали под траляля, дети объелись канареечного корма и лежали в витринах, вызывая всеобщее любопытство и желание приобрести таких пухлых крошек на воспитание, и леопард Эдуард даже послал телеграмму, что готов всех усыновить (удочерить), и толпа моллюсков во главе с их лидером Адрианом приплыла в порт под флагами Гринписа и лозунгами в защиту прав и против торговли детьми.

Четыре дня продолжалась эта заваруха, пока семья Силантия не обиделась на барана Валентина, что он дал семье Жоры (якобы Билла) больше сухарных крошек, и начался мордобой.

Моллюски вызвали прямо из воды по рации милицию, прибыл медведь мл. лейтенант Володя при ремне и с большой дубинкой, и все пошли объясняться в отделение, но никого не арестовали, потому что в КПЗ все было занято, там сидела целиком свадьба гиен во главе с гиеной Зоей, которая откусила жениху хвост (он порвал на невесте колготки, танцуя с ней вальс-бостон).

И Зоя вынуждена была пришивать хвост обратно всю ночь в КПЗ, причем свадьба целую ночь выла из сочувствия.

И они никого туда не пускали.

14. КАРЬЕРИСТ

Клоп Мстислав устроился работать в лабораторию лаборантом, но пока что он был стажером, и его не ставили на анализ крови, а учили на других анализах.

Он страстно мечтал о повышении, воображая себе тот момент, когда будет работать со шприцом, а пока что тщательно размазывал по стеклу и переливал то, что ему доверяли.

Труд был нетяжелый, но свой талант Мстислав здесь проявить не мог и вечерами тосковал, воображая себе завтрашний день и все эти запахи.

— Хочу на курсы повышения квалификации, — твердил он.

Однако нашлись и такие, которые ему завидовали: работа легкая, аппетитная, халатик зеленый, материалу хоть отбавляй, кругом аромат, — говорила муха Домна Ивановна, — а ты просто карьерист, Мстислав.

15. СИЛА ТЕАТРА

Инфузория Ася никогда не была в цирке и упросила амебу Рахиль (кличка Муму) достать ей билет.

В цирке как раз шел порноспектакль театра зверей «Ромео и Джульетта», так сказала Рахиль, и они отправились вдвоем, но ничего так и не поняли: их посадили в первый ряд прямо в песок, рядом с ромашкой Светой, и каждый раз, когда начиналась драка, Ася и Рахиль уходили в песок, а один раз в спешке обе залезли в окуроч, как раз когда кондор Акоп, игравший Ромео, взлетел под купол и скинул оттуда на кукушку Калерию (Джульетта).

При этом Рахиль ужасно взвыла, думая, что начался конец света, а Света закрыла глазок.

В результате на обратном пути амеба Рахиль, не переставая выть, поделилась с домою к улитке Герасиму пришла вдвоем, и Герасим вытолкнул обеих в шею за разврат и хождение на порноспектакль.

Но все кончилось хорошо: инфузория Ася, сконфуженная и спектаклем, и его результатом, пригласила к себе жить крошек близнецов Ра и Хиля.

Клички у них остались при этом прежние, Му и, соответственно, Му

16. ГОЛОД НЕ ТЕТКА

Однажды кукушка Калерия вместо того, чтобы как следует накормить сына Шурку, привела его в гости к моллюску Адриану, якобы посмотреть, как у того интересно работает крышка.

Шурка два часа ждал, когда Адриан проснется, стучал к нему, даже ногами, а Калерия по своей привычке бросать детей улетела одна в лес, оставив Шурку стоять по колено в воде.

Адриан так и не открылся, смотрел у себя телевизор, пил из чайника, а Шурка, как дурак, стоял под дверью.

В это время на своей собаке Гуляше проезжала блоха Лукерья с семьей, и она посоветовала Шурке идти отсюда подальше.

Шурка, голодный и злой, вместо этого помчался к Гуляшу с намерением склонуть Лукерью, но Гуляш сам был голодный и встретил Шурку как полагаются, так что кукушонок опять помчался с бешеной скоростью обратно к Адриану в воду, а Гуляш побежал следом.

В результате на глубоком месте Шурка взлетел, а Гуляш уже обмакнулся в воду и вынужден был поплыть. Лукерья с семьей, наученная горьким опытом, надела маски для подводной охоты.

Однако все остались живы, что и требовалось.

17. РОЛЬ

Как-то раз плотва Клава захотела сниматься в кино и позвонила знакомому моллюску Адриану.

Сказано — сделано, и Адриан пригласил ее сниматься в фильме ужасов «Промышленное производство килек в томате» (триллер).

Роль была эпизодическая, но с выездом на Балтийское море, и все подруги потом видели Клаву в кино, там был кадр, как она садится (в роли обезглавленной кильки) в консервную банку, банка мягко трогает с места, набирает скорость — и вдруг взрыв, все летит в воздух, льется кровь.

Клава потом очень смеялась над своими подругами и говорила: «Это просто был томатный соус».

18. ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

Однажды баран Валентин пошел в парикмахерскую и попал к мастеру моли Нине, у которой сидела огромная очередь.

Нина стригла не торопясь, но очень тщательно, и ни мусоринки, ни волосинки не оставляла даже на полу.

Барана Валентина очень заинтересовала такая чистоплотность моли Нины, и он долго восхищался.

На этот вопрос скромная Нина, потупив глазки, ответила, что в детстве недоедала и привыкла все до крошки подчищать.

Но что теперь она никогда, никогда не будет полной.

Баран обратил внимание на серебристый ореол вокруг Нины, на ее крылья и подумал: «Ангел».

19. ТРИ СЕСТРЫ

Однажды три сестры — гадюка Аленка, крыса Надежда Пасюк (старшая) и росомаха Жанна (мл.) отправились на вокзал, чтобы ехать в деревню сажать картошку.

Денег на всех не хватило, билет был куплен один, и поэтому решили Аленку положить в чемодан, а Надежда Пасюк поехала бесплацкартным во внутреннем кармане Жанны.

Жанне в дороге было скучно, и она все время громко переговаривалась то с чемоданом, то со своим внутренним карманом, а соседи делали вид, что ничего не понимают.

Но все прояснилось, когда пришло время обеда, потому что гадюка Аленка даром времени не теряла: сидя в чемодане, она наделала бутербродов и приготовила на спиртовке кофе.

Росомаха с Надеждой Пасюк тоже влезли к ней в чемодан и там обедали, а потом там же легли спать и в результате накрылись крышкой, затянулись ремнями и захлопнулись.

Но якобы беспризорный чемодан был украден из купе ночью гиеной Зоей, которая решила поддержать свою дочь, приодеть и приобрести ее и с этой целью села в поезд, якобы торгуя хрусталем, а на деле гремя пустыми бутылками.

Каково же было удивление Зои, когда она торжественно раскрыла чемодан перед дочерью и родней дочери (муж-шакал, свекровь, свекор и пять золовок-шакалок) — а в чемодане спала пушистая крошка россомаха Жанна! (сестер не было видно под нею).

Когда, однако, Жанна привстала, тут удивлению большой семьи не было границ: показалась грозная Аленка в дорожном галифе и с хлыстиком, а за ней вылезла неприветливая крыса Надежда Пасюк в ватнике и резиновых сапогах, с лопатой в руке: ехали-то сажать картошку.

Гиена Зоя давно испарилась, и расхлебывать пришлось ни в чем не повинным шакалам, которые под мудрым взглядом гадюки Аленки раскошелились и оплатили трем сестрам три билета в мягком вагоне в Москву! (В Москву, в Москву.)

20. ИОСИП

Шикарная красotka оса Фенечка тосковала у телефонной будки после драки с отцом, который выгнал ее чугунной сковородкой из родного гнезда.

Феня размышляла, кому бы позвонить, и наконец позвонила таракану Максимке, у которого всегда сидели знакомые.

Но Максимка — такой редкий случай — только вчера опять женился и уже укладывал спать новорожденных детей.

Тогда Феня позвонила другу, бабочке Кузьме, но тот из опасений не подошел к телефону.

После этого оса Феня позвонила червю Феофану, но к телефону подошла муха Домна Ивановна и посоветовала забыть этот номер.

Тогда — что делать! — оса Феня решила без звонка ехать к пауку Афанасию, о котором шла дурная слава.

И, предвидя скорбное лицо деспота-отца, Феня отправилась в опасные гости.

Афанасий, однако, делал очередной ремонт, даже присесть не предложил, не то что выпить чаю.

Пришлось Фенечке ехать обратно в свое осиное гнездо, выслушивать снова проклятия отца, видеть мрачную мать и укладываться спать среди шума и гамы, производимого собственными Фенечкиными детьми, и это при том, что у отца и матери Феня была сто пятнадцатой дочерью.

Главное, что и у Фени рождались только девочки.

Легко понять в таком случае отца, который раздражался, чувствуя свою ответственность, при каждом следующих родах.

Его звали Иосип.

21. ЗАЩИТА НИНЫ

Однажды воробей Гусейн стал очень интересоваться молью Ниной и встречал ее после работы, глядя огненным взглядом из куста.

Нина вела скромный образ жизни и не любила таких поворотов судьбы, тем более что всем была известна репутация Гусейна (муха Домна Ивановна, то вдруг комар Томка, то, что совсем неуместно, история с бабочкой Кузьмой).

Хотя что-то привлекательное в воробье Гусейне было, красивые глаза, например, могучие крыла, которые он простирает из кустов, затем крепкие, выпуклые мужские ноги!

Короче говоря, возникла типичная картина, пока в дело не вмешался козел Толик.

Он объел весь куст, в котором обычно прятался Гусейн, — козел и раньше хотел его (куст) объесть, но мешали моллюски Гринписа.

А вот когда поднялся всенародный ропот против воробья Гусейна (приметы: усы, желтые очки) — то Толик при всеобщем одобрении стал быстро объедать куст и даже зацепил Гусейнову лапку, приняв ее за ветку, и выпал и раскрылся чемодан Гусейна, в котором тот хранил подтяжки, записную книжку,

муравьиные яйца вкрутую и разные мужские мелочи типа кулька с сухим конским навозом.

22. ЖАЖДА СЛАВЫ

Как-то раз объявили рыболовные соревнования, и карп Сережа, червь Феофан и муха Домна Ивановна получили персональные приглашения, причем с намеком на завоевание медалей.

Карп очень любил всякие блестящие штуки на груди и сразу согласился.

Требовалось немного поголодать накануне, и все.

Червь Феофан, со своей стороны, и муха Домна Ивановна также начали опять-таки готовиться к событию у себя на огороде, и все бы кончилось благополучно, но в самый день соревнований у кого-то скисла вишня, и целую кастрюлю вылили на помойку, так что ни о каких рыбалках и вообще ни о каком спорте вопрос больше не стоял, Домна Ивановна лежала на боку и никак не могла даже произнести какое-то слово на букву «ж», червь Феофан вообще исчез с лица земли, а вот карп Сережа, приготовившись к состязаниям, не удержался и второпях проглотил шнурок от затонувшего ботинка и все воскресенье провел в пруду около этого ботинка как привязанный.

Вот к чему приводит жажда славы.

23. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ

Леопард Эдуард сидел с чашкой кофе с пирожным, играя сам с собой в шахматы: полный кайф!

Однако муха Домна Ивановна заинтересовалась его игрой в шахматы и стала активно болеть на стороне Эдуарда, заняв наблюдательную позицию на его пирожном.

Эдуард, впрочем, быстро съел пирожное и выпил кофе, и тогда Домна Ивановна заняла наблюдательный пост на его носу, имея в виду крошки в бороде леопарда и неоконченную шахматную партию.

Два раза Эдуард бил лапой по Домне Ивановне, попадая себе в нос, и три раза он попал себе в глаз.

Затем, не закончив шахматную партию, Эдуард умчался в поля (скорость 160 км/час), и Домна Ивановна, не догнав его, вернулась к шахматной доске, где ползала среди фигур, ничего не узнавая вокруг, какие-то колоссальные статуи и колонны.

И тут над ней стал снижаться любезный паук Афанасий и быстро сплел ей удобный гамак.

Домна Ивановна плюнула в Афанасия, попала и, считая шахматную партию выигранной, улетела обедать в мужской туалет.

Афанасий же быстро соткал себе носовой платок и утерся, делать было нечего.

24. СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ «ДИКИХ ЖИВОТНЫХ СКАЗОК»

(При участии Федора Павлова)

КЛОП МСТИСЛАВ
ТАРАКАН МАКСИМКА
ЛЕОПАРД ЭДУАРД
ПАУК АФАНАСИЙ
КУКУШКА КАЛЕРИЯ
МОЛЬ НИНА
КОМАР СТАСИК
СВИНЬЯ АЛЛА
ПЛОТВА КЛАВА
ЧЕРВЬ ФЕОФАН
ГАДЮКА АЛЕНКА
КАРП СЕРЕЖА
МУРАВЕЙ ПАСТУХ ЛЕНЬКА

ГИЕНА ЗОЯ
СУСЛИК СИЛАНТИЙ
ТУШКАН ЖОРА
СТАДО ТЛЕЙ
РОМАШКА СВЕТА
БАРАН ВАЛЕНТИН
МОЛЛЮСК АДРИАН
КОМАР ТОМКА
КОНДОР АКОП
ГУСЕНИЦА НИКОЛАВНА
КУКУШОНОК ШУРКА
ПЧЕЛА ЛЕЛЯ
СОБАКА ГУЛЯШ
ЖУК-СОЛДАТ АНДРЕИЧ С ЖЕНОЙ ВЕРКОЙ
БЛОХА ЛУКЕРЬЯ
БЛОХА МАРИАННА
МЕДВЕДЬ МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИОНЕР ВОЛОДЯ
ИСЛАНДСКАЯ СЕЛЬДЬ ХИЛЬДА
АМЕБА РАХИЛЬ (МУМУ)
БАБОЧКА КУЗЬМА
КОЗЕЛ ТОЛИК
ВОРОБЕЙ ГУСЕЙН
УЛИТКА ГЕРАСИМ
ВОЛК СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ
ИНФУЗОРИЯ АСЯ
КРЫСА НАДЕЖДА ПАСЮК
РОСОМАХА ЖАННА
БЛОХА БАБКА РАЙКА
ОСА ФЕНЕЧКА
ОСА ИОСИП
АМЕБА РА (МУ)
АМЕБА ХИЛЬ (МУ)
МОЛЛЮСКИ ГРИНПИСА
МУХА ДОМНА ИВАНОВНА
ЕВТУШЕНКО



ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСЕЙ КИВА

*

INTELLIGENTSIA В ЧАС ИСПЫТАНИЙ

В последнее время много спорят и говорят о российской, и прежде всего русской, интеллигенции, о ее особом характере и роли в истории страны, о своеобразном ее феномене. Я не разделяю эту точку зрения. Можно скорее говорить о различных течениях в развитии русской общественной мысли в XIX—XX веках. Можно говорить, к примеру, о западничестве и славянофильстве. О войне части нашей интеллигенции против царского режима, против правительства, существовавших социальных устоев. Определенная часть интеллигенции стремилась «выпрыгнуть из истории», игнорировать уровень развития народа, навязать ему надуманные представления об идеальном обществе. Идеализм, социальный утопизм, словом, маниловщина, иррационализм в помыслах и действиях, — вот что, на мой взгляд, было, а во многом и остается отличительной чертой российских образованных классов, называемых интеллигенцией.

Впрочем, и это не совсем точно. Имеется в виду отнюдь не весь тот класс или слой, состоящий из огромной массы людей — учителей, врачей, инженеров, агрономов и т. д., — а лишь прослойка творческой интеллигенции, и не вся, а лишь та, которая отличается исключительной социальной активностью, задает тон в литературе, искусстве, журналистике, в общественных науках и обладает повышенной тягой к тому, чтобы «заводить народ». И только в этом смысле. А уж воспитаны ли сии интеллектуалы, интеллигенты или нет — это другой вопрос. По большей части, увы, нет. Да и — возьму на себя смелость сказать — не всегда являются носителями глубокого интеллекта, широкого образования, знаний своей собственной страны, ее истории, культуры и т. д. Как раз наоборот, нашим «вождям от интеллигенции» часто не хватало и не хватает высокой духовности, исторического и социального знания, понимания устремлений и возможностей собственного народа. Зато всегда в избытке было безответственности за слова и действия, безответственности перед собственным народом, историей. То зовут Русь к топору, поэтизируют революцию, насилие, то потом спохватываются, когда уже, как правило, джинн «российского бунта» выпущен из бутылки, каются, бьют себя в грудь...

Правда, нельзя не сказать о двух вещах. Во-первых, именно из среды российской интеллигенции выходили пророки, деятельность которых оставляла глубочайший след в духовной жизни народа, была ее генератором, ее облагораживающим началом. Но, к сожалению, идеи этих пророков, этих титанов передовой мысли и высокой нравственности, этих человеколюбцев, как правило, слишком опережали свое время, господствующие в обществе представления о добре и зле и воспринимались как несбыточная, утопическая мечта. Если говорить о совсем недавнем времени, то такая судьба постигла многие идеи и предложения, выдвигавшиеся Андреем Дмитриевичем Сахаровым. В том числе и предложение, высказанное им в «Меморандуме» (1968): в интересах спасения мира необходимо соединить науку, политику и нравственность. Только вот незадача. Россия практически не знала примеров, чтобы ее пророки признавались таковыми еще при их жизни. Их оплакивали, ими гордились, их идеи и наследие поднимали на щит уже после их смерти. У нас не было ни своих Ганди, ни

От редакции. В № 7 «Нового мира» за 1992 год была напечатана статья Ренаты Гальцевой «Возрождение России и новый «орден» интеллигенции». В № 2 «Нового мира» за 1993 год было напечатано письмо в редакцию Д. С. Лихачева «О русской интеллигенции». Эту тему на страницах нашего журнала продолжает Алексей Кива, чья статья в то же время связана с публикацией Виктора Ярошенко «Попытка Гайдара» (№ 3, 1993).

своих Лютеров, за которыми шли бы огромные массы сторонников. Зато были опозитизированы народной молвой, но еще больше большевистскими идеологами уголовники — «борцы за народное дело» вроде Емельяна Пугачева, Стеньки Разина и им подобных, становившиеся во главе массовых движений. Зато у нас были политические авантюристы вроде Ленина и Сталина, за которыми, как за истинными пророками, шли миллионы. В моем отечестве часто все вставало с ног на голову белое принималось за черное, добро — за зло.

Во-вторых, может быть, именно потому, что у нас «все не как у людей» что нас аршином общим не измерить, что мы не готовы довольствоваться полумерами, полушагами, промежуточными результатами, частью чего-то, а хотим все целиком, все сразу и тотчас же по принципу «все или ничего», — вполне возможно, что именно поэтому русская литература и русская культура, неоспоримый плод «профессионалов умственного труда», как кое-кто называет нашу интеллигенцию, отличаются оригинальностью и неповторимостью. Но они, по правде говоря, выходят нам боком. Мы как бы застыли в эпохе раннего романтизма. Интеллектуалы на Западе давным-давно уже занимаются «прозаическими» делами, «обустраивают», используя слова Александра Солженицына, свою страну, зарабатывают всеми возможными путями деньги, чтобы строить красивые и добротные дома, открывать свое дело, откладывая деньги на черный день, дабы дети и внуки могли «стричь купоны», не впадая в нищету в случае жизненных неудач, дабы жены могли воспитывать сами своих детей, а не отдавать их под присмотр часто полуграмотных и нерадивых воспитательниц пресловутых яслей и детских садов, как у нас; одним словом, в то время как другие позволяли себе «погружаться в мещанство», наши интеллектуалы занимались поисками «смысла жизни», «жизненной правды», пренебрегая такими «мелочами», как строительство дорог, нормальных жилищ, создание домашнего уюта, устремлялись куда глаза глядят — забрасывая свою землю, свои очаги, — чтобы строить в других странах города и заводы, поднимать целину, «делать революцию». Видимо, прав был Наполеон, указывая на нашу татарскую пуповину, ибо кочевое начало настолько живо в нас, что страна оказалась в полном запустении, словно мы собираемся жить от кочевья к кочевью.

Вместе с тем не будь «кочевого настроя», не было бы ни поисков «града Китежа», ни нашего мессианского устремления «одарить» весь мир нашими духовными «ценностями», понятиями об организации экономической, социальной, политической жизни, вершиной чего явилось стремление насадить реальный социализм и коммунизм во всем мире, а без исканий, терзаний, «мировой отзывчивости» не было бы Достоевского, Чехова, Гоголя, Толстого а возможно, и Пастернака и Солженицына.

Стоп! Допустим даже, что такой феномен, как российская интеллигенция, не имеющий аналога в европейской истории, существовал. Но о чем это говорит? О каком-то особом пути развития России? Или об особом пути формирования российского образованного класса? Или о нашей более богатой духовности? Ответы на эти вопросы вновь и вновь рождают споры в которых я не вижу большого смысла. Ибо они могут быть диаметрально противоположными и в каждом будет своя правда. Истина многогранна. Не вижу ни смысла, ни резона и в противопоставлении московского периода русской истории петербургскому, как это многие делают.

Смею утверждать, нет и в истории России чего-то специфического, уникального, что бы ее кардинальным образом отличало от истории развития большинства других наций. Русь завоевывали, и она завоевывала, ее раскалывали, и она раскалывала, ей насаждали чуждую культуру, и она подобным же образом поступала с покоренными, зависимыми от нее народами. Русский народ формировался на базе множества человеческих потоков, и прежде всего славян, германцев, тюрков, но и зарождавшийся французский народ напоминал лоскутное одеяло. Но и гордые британцы вырастали из «этнически слоеного пирога», да так до конца и не выросли, сохраняя четкие отличия между англичанами и шотландцами, не говоря уж о валлийцах. Точно так же и изолированный морями японский народ, обросший сказочными легендами о своем божественном происхождении, устами своих ученых признает, что у его основания лежат три мощных потока — китайский, алтайский и полинезийский.

Впрочем, отличия есть. Это фактор времени. Возможно, еще и фактор геополитики. Например, японцы могли позволить себе триста лет, вплоть до так называемой реставрации Мэйдзи (революции 1867—1868 годов, когда было свергнуто господство военачальников, или сёгунов, и восстановлена власть императоров), жить почти в полной изоляции от внешнего мира, что дало возможность создать монолитную нацию с высокоразвитым национальным духом, уникальной национальной спецификой. Эта изоляция обрекла Японию на от-

ставание, которое в некоторых областях, возможно, не преодолено до сих пор, но в то же время сделала японцев практически неуязвимыми перед лицом иностранного влияния и в то же время абсолютно открытыми любому влиянию, которое способствует развитию страны и нации. Ни одна другая нация в мире не заимствовала извне так много и за такой короткий срок из всех мыслимых областей бытия, а не только техники и технологии, как Япония, оставаясь сама собой. Разумеется, в чем-то при этом волей-неволей меняясь, но не комплексуя, не считая эти изменения чуждыми ей, навязанными извне. Например, и демократия, и экономический строй, и антимилитаристская направленность развития, да, по существу, и принципиально новая фаза в ее истории были навязаны стране американцами в годы послевоенной оккупации, но все это так органично вошло в жизнь нации, что мало кому в голову приходит задаваться вопросом, как и когда все это свершилось. Нация не страдает от комплекса неполноценности, чего не скажешь о нас. Но об этом ниже.

Так вот, что я понимаю под фактором времени? Всего лишь то, что мы молодая нация. Здесь есть и минусы и огромные плюсы. С одной стороны, в нашем поведении много такого, что напоминает поведение подростка, изо всех сил стремящегося к самоутверждению, подверженного эмоциональным срывам, склонного к необдуманным поступкам, шараханиям из одной крайности в другую — одним словом, проходящего через этап ломки характера, становления личности или, что тоже иногда случается, вступая в этап ее разрушения. Но, с другой стороны, у молодой нации все еще впереди. Об этом, кстати, говорили многие наши мыслители. Тысячелетие нашего государства верно в той мере, в какой мы берем свое начало в Киевской Руси. Но верно также и то, что этнос, начавший формироваться в лоне Московской Руси, — это, по существу, иной этнос, не тот, который существовал до монголо-татарского завоевания. В наших жилах наряду со славянской — с примесью германской, угро-финской — течет и татарская (тюркская) кровь. Я лично готов этим гордиться. Ибо своим величием Россия обязана именно слиянию двух мощнейших человеческих потоков — славянского и тюркского, что обеспечило молодому государству, употребляя слова Льва Гумилева, гигантскую энергию пассионарности. Из маленького Московского княжества она в конечном итоге превратилась в государство-колос. То, что большинство наших славных родов имеет татарские корни, мне еще мало что говорит, ибо если копнуть поглубже, то легко обнаружить и иные корни, например, германские, реже французские. Гораздо больше для меня значит то, что покоренная монголо-татарами Русь, оказавшись перед лицом исторического выбора, воюет с Европой в лице крестоносцев, опираясь на татар. Было это, как известно, при Александре Невском. Можно поставить столько вопросов, что на них не ответит ни один мудрец. Ну, например. Завершился ли до конца наш этногенез? Кто мы все-таки: европейцы, евразийцы или россияне как самостоятельный этносоциальный и этнокультурный феномен? Почему у нас такая стойкая тяга к Западу одних и неприятие Запада со стороны других? Это при том, что у нас есть западники, есть славянофилы, но нет тех, которых условно можно было бы назвать «восточниками». Это при том, что многие славянофилы подолгу жили на Западе и любили тамощние порядки, восторгались тамошней культурой.

Главное, на мой взгляд, заключается в позиции национальной интеллигенции. Работает ли она на интеграцию или дезинтеграцию народа, синтезирует или, наоборот, раскалывает национальный дух? Ну скажем себе честно: кто в годы перестройки, когда постепенно стала раздвигать свои рамки гласность, начал будировать вопрос о том, кто больше всего виноват в трагедии народа, связанной с революцией, гражданской войной, геноцидом? Сами русские как ведущая нация или «жидомасоны», «инородцы» и т. д.? Это начала раскручивать неославянофильская, неопочвенническая интеллигенция. Знаем мы и лично кто это делал и где это публиковалось. Большинство из нас, осмелев сказать, более 99 процентов, и в голову не приходили подобные вопросы. Однако ничтожная группа людей сумела запустить маховик национальной неприязни, посеять семена настроенности, отчуждения, вражды, способствовать появлению русского фашизма, стимулировать эмигрантские настроения, выезд из страны многих образованных людей, талантливых специалистов. Задумывались ли наши «патриоты» — сеятели национальной вражды, что такая их политика будет работать против России? Она будет ослаблять и так ослабленную ленинско-сталинским геноцидом нашу конкурентоспособность по отношению к другим нациям. Если за всеми этими акциями стоят действительно патриоты, а не карьеристы, спекулянты, человеконенавистники, то их действия по меньшей мере иррациональны, неразумны. Расчетливые янки рыщут по всему миру в

поисках «мозгов», а мы, следуя примеру «великого Ленина», спешим избавиться от них.

Говоря о проблеме интеграции или дезинтеграции национального сознания, следует отметить: и тому и другому процессу может помочь национальная мифология. Каждая нация имеет свои мифы. Это факт.

Миф — важнейший двигатель общественного прогресса. И чем больше отстает нация от передовой части мира, чем хуже дела в ее доме, тем большую компенсаторную роль принимает на себя историческая и в целом национальная мифология. Но в демократическом обществе происходит «естественный отбор мифов», и остаются только те, которые в чем-то близки реальности, в наибольшей мере отвечают духу нации. Это, как мы знаем, не наш случай. Об эпохе большевизма нечего и говорить. Не только были сохранены многие старые, угодные режиму мифы, но создано и огромное количество новых. И в царское время тот, кто покушался на систему национальной мифологии, даже на отдельные мифологемы, рисковал очень многим — общественным осуждением, тюрьмой, ссылкой, тем, что объявлялся сумасшедшим, как Петр Чаадаев.

Кстати, Чаадаев сам создал опасный по своим последствиям миф. В своем первом «Философическом письме» он, изменяя принципу историзма, игнорируя факт многовекового отставания (в силу совершенно объективных и хорошо известных причин) России от передовых стран Запада и неизбежного в этом случае (особенно когда речь идет о великой стране, ставшей уже мировой державой) синдрома «догоняющего развития», выдвинул идею аномальности развития России и, если так можно сказать, «вторичности» нас как нации.

Подобные взгляды, естественно, не могли не вызвать решительного протеста в русском обществе, что на деле и произошло. Оговорюсь только, что в мою задачу не входит анализировать философские взгляды Чаадаева, которые глубоки и не могут быть так просто отброшены без попытки их основательного осмысления. Для меня в данном случае важна реакция на утверждения философа, которые были восприняты многими как инвективы. Впрочем, важно иметь в виду, что внеисторические представления о развитии России живучи по сей день. По сей день наш бывший земляк, а ныне гражданин США профессор Александр Янов широко по миру распространяет небылицы о том, что Россия якобы ходит по замкнутому кругу деспотизма, будучи не способна выйти из него собственными силами, как не смогли выйти из него без помощи США Германия и Япония. На деле же по кругу антидемократизма ходят все или почти все страны мира, пока не достигнут определенного уровня общественного, и прежде всего экономического, развития. А как выходят из этого круга, нам буквально на глазах демонстрируют новые индустриальные страны — Турция, Южная Корея, Тайвань, Малайзия и другие. Идет поступательный процесс демократизации. Поступательный характер носило развитие демократии и во Франции, и во многих других европейских странах. Россия в канун Октября тоже уже имела зримые зачатки демократии. Да, несомненно, у России есть тяжелое наследие, условно говоря, восточного деспотизма (как, кстати, и у Японии), но если бы не большевизм, если бы революция не выбросила страну из русла естественноисторического прогресса, то по уровню зрелости демократии, уверен, она принципиально ничем не отличалась бы от других высокоразвитых стран.

Еще раз подчеркиваю: все дело в уровне общего развития страны, в том, в частности, что Россия на многие годы отстала от передовых стран Европы. Демократия — венец, а не начало прогресса.

Однако вернемся к нашему тезису, а именно: уже первое «Философическое письмо» Чаадаева резко стимулировало борьбу идей в российской общественной мысли, фактически предопределило появление того, что стало известным как славянофильство. Ибо в 1839 году была опубликована статья одного из основателей этого течения, Алексея Хомякова, «О старом и новом». Потом появились работы других литераторов, поэтов, ученых, стоявших у истоков формирования славянофильства. Не остались в долгу и те, которые считали себя западниками. Разгорелась острая полемика. Положено было начало расколу национального духа, причем этому дано теоретическое обоснование.

Так кто же виновен в том, что мы фактически до сих пор не состоялись как проникнутая единством национального духа страна, Россия? Кто виноват в той вражде, которая с таким неистовством временами вспыхивала в стране и в конечном итоге привела к Октябрю, а потом и к самогеноциду? Кто виноват в том, что до сих пор мы не можем избавиться от маниакальной страсти создавать «образ врага» в своих собственных рядах? Кто виноват, наконец, в том, что мы дошли до края пропасти, истощив донельзя страну, разграбив природ-

ные ресурсы, сделав опасными для жизни человека сотни городов и населенных пунктов? Какое наследство мы оставим своим потомкам?

Виноваты во многом именно мы, те, которые объединены понятием «интеллигенция». Я еще раз подчеркиваю — разрушительные начала скрыты в самом народе, об этом мы должны говорить открыто, отбросив в сторону извинительный тон: идеализация народа, народопоклонство, чем страдала российская интеллигенция, всем нам дорого стоили. Иван Бунин в «Окаянных днях» хорошо это раскрывает. Полагаю, известный философ Николай Лосский имеет все основания, чтобы носить высокое имя патриота, но это не мешает ему, ссылаясь на многие отечественные авторитеты, сказать: «Если же русский усомнится в абсолютном идеале (а где он, этот идеал? — А. К.), то он может дойти до крайнего скотоподобия или равнодушия ко всему; он способен прийти “от невероятной законопослушности до самого необузданного безграничного бунта”» («Характер русского народа». М. 1990, стр. 9).

Зная черты необузданности в народе, интеллигенция должна была бы их смягчать, облагораживать. Но не тут-то было! Интеллигенция чаще делала все, чтобы пробудить в русском мужике зверя. Причем, как говорится, на свою же голову. Несколько поколений российских интеллектуалов, составлявших цвет нации, своими костями прокладывали путь в то самое «светлое будущее», которым грезили не рабочие и не крестьяне и уж тем более не предприниматели или негодяи, а представители радикальной, революционной (что долгое время было синонимично), демократической интеллигенции. Едва ли не лучшая ее часть переболела марксизмом, а многие от этой болезни так и не оправались. Для многих, подчеркиваю, это кончилось летальным исходом.

Поэтому вошедшие в обиход слова о том, что интеллигенция — мозг нации, совесть нации, тоже очередной миф. Причем в равной мере это относится как к славянофильской, так и к западной интеллигенции. И те и другие раскалывали национальное самосознание в угоду своим эгоистическим устремлениям и утопическим целям, стравливали народ. И те и другие мешают естественному ходу истории, а то и становятся на его пути. Одни пытаются искусственно прищипорить прогресс, другие — ему помешать, направить общественное развитие вспять. Реакционность тех и других вытекает уже из самого факта попыток противопоставить социальное национальному, разорвать живую ткань общества. Кто такие западники? Самыми последовательными и законченными западниками были большевики. Реализуя марксистскую модель общественного устройства, делая ставку на плановую экономику, на концентрацию всех ресурсов в руках государства, они рассчитывали на колоссальный рывок вперед, на обгон Запада, с тем чтобы оказаться во главе его развития.

Конечно, реакционность реакционности рознь. Западники реакционны в той мере, в какой пытаются насильствовать историю, некритически навязывать стране утопические схемы, которые были отвергнуты народами тех стран, где эти схемы родились, как в случае с марксизмом. Западники реакционны и тогда, когда они пытаются навязать России вполне прогрессивные, цивилизованные формы организации общества, до которых она исторически еще не созрела. Для западников нет вопроса о нашем европейском первородстве. Они однозначно считают себя европейцами, не замечая, что по большей части ведут себя по-азиатски. Феномен западничества — это, в сущности, реакция общества на отсталость. Но реакция сильных людей, реакция на ее скорейшее преодоление, что на деле часто оказывается утопией.

Феномен славянофильства — это реакция скорее на прогресс, чем на отсталость. Это реакция той части общества, которая не уверена в своих силах, изначально боится проиграть в конкуренции с более сильными, с передовыми нациями, инстинктивно стремясь к самоизоляции. Здесь, в сущности, нет ничего специфически российского, это общемировое явление. Так ведут себя различные течения общественной жизни во многих развивающихся странах. Даже в Японии долгое время противоборствовали эти две тенденции.

Принято считать, что вина за большевизм лежит исключительно на западниках, в среде которых было много «жидомасонов» и представителей «инородцев». На деле же славянофилы не меньше западников поработали на большевизм. Во-первых, они сеяли в народе иллюзии о возможности избежать капитализма как общественной фазы развития, пойти каким-то иным, «третьим» путем, развенчивали «гнилой буржуазный Запад», его ценности. Во-вторых, славянофилы немало потрудились, чтобы создать в стране благоприятную атмосферу для ее вступления в первую мировую войну. Это из их лагеря исходила в канун войны призывы к объединению славянства ради противоборства германцам. Это славянофилы распространяли идею о некоей освободительной миссии России по отношению к Царьграду, то есть Константинополю (ныне

Стамбулу). Причем за этой «освободительной миссией» почти прямым текстом излагалось стремление России завладеть проливами, что, по здравом размышлении, никак не могло увенчаться успехом, ибо в конечном итоге встретило бы противодействие не только, а возможно, и не столько со стороны Германии, сколько со стороны Англии и Франции. У Сталина ведь тоже были подобные поползновения, причем уже после окончания победоносной войны, но он не дал им ходу перед лицом реальностей. Нечего и говорить, что если бы не было войны 1914 года, то не было бы в России и революции. Революция выросла из войны, это непреложный факт.

Наконец последнее. Что такое большевизм? Это, строго говоря, реакция буржуазного общества на буржуазную модернизацию. Реакция, которая нуждалась в теоретическом обосновании, что и сделано было с помощью русифицированного марксизма.

«Вшивыми либералами» назвал в печати известный драматург тех наших интеллектуалов, которые решили, что за коммунистическим тоталитаризмом сразу же последует эпоха либерализма. Я как-то опросил своих коллег — политологов, историков, журналистов, как они оценивают перспективы развития либерализма в России, а главное — что они под этим понимают. То, что я услышал, оказалось еще более безрадостным, чем я ожидал. Многие просто не могли внятно сказать, что это такое. «Либерализм в России? — ухмыльнулся Альгирдас Празиускас, доктор наук, мой коллега по институту. — Вы что, сами не знаете? Для него у нас нет пока почвы». Этот же вопрос я задал Петеру Шульце, руководителю московского представительства Фонда имени Фридриха Эберта (фонд германской социал-демократии). Он старался быть дипломатичным (это произошло накануне скорого приезда в Москву представителя другого фонда — Фонда Фридриха Науманна Германской либеральной партии (Свободная демократическая партия) Фалька Бомсдорфа, прекрасного знатока России), но по выражению лица моего собеседника я понял, что он примерно такого же мнения, что и мой коллега Празиускас. Да и будучи на международной конференции в Майнце в начале сентября 1992 года, я понял, с каким трудом идеи либерализма пробивают себе путь в странах посттоталитарного развития. Впрочем, я всегда считал: тоталитаризм может сменить некая промежуточная фаза, которая неизбежно вберет в себя элементы бытия прошлого и будущего, но отнюдь не либерализм. Прошлое же у каждой страны свое. И пока мы не поймем это прошлое, будем совершать серьезные, даже фатальные ошибки. Я больше склонен доверять художникам, людям искусства, нежели политикам и идеологам. Даже в их ошибочных суждениях подчас отражаются глубокие жизненные реалии. Вот что сказал талантливейший человек нашего времени, исколесивший в свои восемьдесят семь лет вдоль и поперек планету, хореограф и режиссер Игорь Моисеев

«Русский народ по своей природе необычайно талантлив и широк, вместе с тем он все-таки остается не европейским народом, а как бы среднеазиатским. И в связи с этим демократическая власть никогда не найдет у нас правильного места, потому что всегда будет борьба за власть. России нужна твердая, могучая и честная рука, то есть нужен Петр Великий, который сумел встряхнуть страну за очень короткий период, сумел вырвать ее из глухой азиатчины и приобщить к Европе. За какие-то 30 лет Россию нельзя было узнать. Вот мы находимся сейчас на таком же рубеже. Но если даже и найдется такой человек, то ему будет крайне трудно, потому что народ очень распущен.

Прежние чувства крепостного человека, ощущения раба при нашей нынешней демократии, вернее, вседозволенности, перерождают нас в каких-то дикарей, когда что хочу, то и ворочу. Поэтому быть Петром Великим сейчас очень сложно: его могут снести раньше, чем он обретет власть» («Культура», 13.3.93).

Что верно, то верно: мы нередко ведем себя, как вырвавшиеся на волю рабы. Раб остро чувствует слабость. От своего подневольного положения он быстро переходит к хамству и свинству и готов смириться только перед силой. Мне было больно каждый раз, когда я видел, как наши «рыцари пера» и «рыцари слова», которым Михаил Горбачев дал возможность встать с колен, стали его же незаслуженно оскорблять, грубить ему и хамить. И пошло по накатанной колее уже и по отношению к президенту России Борису Ельцину. Наверное, прав, тысячу раз прав Александр Солженицын, сказавший — если верить Станиславу Говорухину, — что с утеса тоталитаризма нельзя спрыгнуть в долину демократий, не разбившись, нужен медленный спуск.

Дело не в том, плох или хорош либерализм в принципе. Так даже вопрос ставить нельзя — он естественное явление в развитии общества, явление, сыг

равшее огромную роль. В сущности, все то, чем ныне богат развитой мир в экономике, политике, духовной сфере, так или иначе связано с феноменом либерализма. Но всему свое время и место. Это раз. А кроме того, политику либерализма не следует абсолютизировать: она то и дело корректируется политикой иного свойства — государственным регулированием экономических и иных процессов в обществе. Впрочем, есть еще один важный момент. За основу либерализма мы берем «систему естественной свободы» Адама Смита. Но, во-первых, с тех пор либерализм серьезно эволюционировал, потерпев полный крах в первой трети XX века, прежде всего потому, что не смог предотвратить глубочайшего мирового кризиса. Во-вторых, мы сейчас на переходном этапе: мы сворачиваем с искусственно навязанного большевиками пути, когда либерализм тем более бессилен. В-третьих, всякая концепция общественного развития не может не учитывать конкретно-исторических условий.

Либерализм для России — понятие не новое. Выдающийся русский мыслитель Семен Франк, прошедший сложнейший путь эволюции своего мировоззрения, будучи сам долгое время деятелем либерального направления, верно указал на изъяны либерализма. «Основная и конечная причина слабости нашей либеральной партии заключается в чисто духовном моменте: в отсутствии у нее самостоятельного и положительного *общественного мирозерцания* и в ее неспособности, в силу этого, возжечь тот политический *пафос*, который образует притягательную силу каждой крупной политической партии... Организующую силу имеют лишь великие положительные идеи, — идеи, содержащие самостоятельное прозрение и зажигающие веру в свою самодовлеющую и первичную ценность. В русском же либерализме вера в ценность духовных начал нации, государства, права и свободы остается философски не уясненной и религиозно не вдохновленной... То, что теперь называют «государственной неопытностью» русской либеральной интеллигенции, состоит в действительности не в отсутствии соответствующих *технических* знаний, умений и навыков, — которые она в значительной мере уже приобрела в местном самоуправлении и парламентской деятельности, — а в отсутствии живого *нравственного опыта* в отношении ряда основных положительных начал государственной жизни. Вплоть до самого последнего времени наш либерализм был проникнут чисто отрицательными мотивами и чуждался положительной государственной деятельности: его господствующим настроением было будирование, во имя отвлеченных нравственных начал, против власти и существовавшего порядка управления, вне живого сознания трагической трудности и ответственности всякой власти. Суровый приговор Достоевского в существе правилен: «Вся наша либеральная партия прошла мимо *гела*, не участвуя в нем и не дотрагиваясь до него; она только отрицала и хихикала» («Из глубины. Сборник статей о русской революции» М. 1991, стр. 311, 312—313).

Читая эти строки, я вдруг вспомнил — не знаю уж, кстати или не совсем — о мести истории за это «отрицание» и «хихиканье». Многим памятно, как в свое время, выступая по телевидению, Борис Ельцин упрекнул Михаила Горбачева в том, что тот якобы обманул народ. Но вот Ельцин сам стал президентом, и теперь примерно те же упреки, что он адресовал Горбачеву, адресуются ему. Причем несправедливо как в первом, так и во втором случае. Более того, Горбачев стал точно так же вести себя по отношению к реформам Ельцина и даже употреблять почти те самые слова: «Ельцин исчерпал себя как президент». Но есть горькая правда в «трагической трудности» положения любого лидера в подобной ситуации, а еще в том, что если бы в свое время устранили Горбачева, расправились бы и с Ельциным, равно как крах Ельцина усложнил бы положение центристских партий, поставивших своей целью отстранение Ельцина. Центризм еще не настолько окреп, чтобы мог один на один выдержать нарастающее давление справа. Это не говоря уж о том, что и положение самого Горбачева в случае ухода Ельцина с поста президента, потери позиций демократами в структурах высшей власти необязательно окажется более выигрышным.

Может быть, именно в отношениях между этими двумя лидерами наиболее выпукло проявляется иррационализм в российской политической жизни. Я так до конца и не смог постичь зачем Борис Ельцину понадобилось бить по Горбачев-Фонду, а заодно и по тем политическим силам, которые так или иначе связаны с этим фондом? Точно так же как и ответных действий Горбачева, когда он и связанные с ним (в прошлом или настоящем) экономисты, Н. Петраков или Г. Явлинский, начали целенаправленную борьбу против реформ Егора Гайдара, фактически ничего не выдвигая взамен. В результате весь курс реформ оказался сильно дискредитированным, усилились позиции откровенной реакции, все настойчивее слышны были голоса о привлечении к ответственности за

развал СССР и Горбачева и Ельцина. Слава Богу вовремя подошел референдум.

Но вернемся к либералам. То, что сторонники нового общественного строя, в основе которого рыночные отношения и правовое государство оказались как без объединяющей идеи, концепции продвижения вперед, так и без мощного демократического движения, немалая вина наших либералов. Став во главе движения «Демократическая Россия», либералы или если честно, псевдолибералы, либерал-большевики (Глеб Якунин, Лев Пономарев и другие) не смогли выдвинуть ничего, что могло бы увлечь широкие слои россиян объединить их в этот трудный момент. Вхождение страны в «общеевропейский дом» общемировые ценности, новое мышление — это то, что по части либерализма было унаследовано нами от перестройки. Правда, Михаил Горбачев последнее время активно пропагандирует тезис о новой цивилизации цивилизации XXI века. Но все эти идеи идут по касательной народного сознания, не более того. Что добавили к этому демократы? Принцип «обвальной приватизации» выдвинутый Ларисой Пияшевой, обвиняющей Гайдара в том, что тот ополшил либерализм? Легко представить, к каким губительным экономическим и социальным последствиям привела бы реализация этого принципа. Принцип блага частной собственности, пропагандой которого денно и нощно занимается демократ Петр Филиппов? Частная собственность действительно должна занять достойное место в обществе. Она не только основа материального благополучия, но и важнейший элемент экономической независимости человека, фундамент гражданского общества, без которого невозможна современная демократия. Более того, частная собственность, как показывает исторический опыт, еще и гарантия против деградации человека.

Однако нельзя не учитывать и сильных антисобственнических настроений в российском обществе, имеющих глубокие исторические корни, поэтому реальными собственниками может стать лишь незначительный процент российских граждан. Как известно, способностью к предпринимательству (а это синоним частной собственности) обладают 5—7 процентов всего населения. У нас же дело усугубляется тем, что в первой волне предпринимателей оказались люди с антиобщественным прошлым. Нам, к сожалению, не удалось избежать появления феномена «дикого капитализма». Если даже считать, что это практически неизбежная фаза на начальном этапе перехода от нерыночной к рыночной экономике в условиях глубокого общественного кризиса и в рамках демократической модели общественного развития (а по моему глубокому убеждению это именно так), то это ничего не меняет в отношении граждан к факту обогащения людей теми методами, которые у нас принято считать нечестными.

Сильное влияние либерализма на формирование политики демократов имеет негативные последствия двоякого рода. Во-первых, ложный тезис о том, что государство должно отойти в сторону, рынок сам все поставит на свои места, не позволил властям вовремя пресечь крайние формы спекулятивного бизнеса, что особенно возмущает россиян, не позволил играть более активную роль в экономической жизни страны. Во-вторых, принципы либерализма, понимаемого к тому же слишком упрощенно, фактически помешали формированию модели посткоммунистического развития. «Демократические вожди» посчитали хватит нам громких слов, грандиозных планов, обещаний «светлого будущего», будем жить, как живут другие, в частности на Западе.

Если все это и справедливо, то только отчасти. Да, на Западе шизофренические стенания по поводу, скажем, «многострадальной» Германии или Франции показались бы нелепыми. Если народ физически и психически здоров, а лидеры в здравом уме, зачем обрекать страну на страдания при отсутствии стихийных бедствий или мировых войн? Рациональное сознание диктует рациональный тип поведения, рациональное решение возникающих перед обществом проблем. Но и на Западе люди не чужды высоким идеалам. Даже в условиях стабильности и сытости. На переломных же этапах истории национальные лидеры непременно ставят перед страной высокие цели, грандиозные задачи призванные сплотить общество. Джон Кеннеди, например, выдвинул задачу строительства такой Америки, в которой не будет расовой дискриминации и социальной несправедливости. Генерал де Голль плачевал французов на идее «величия Франции», на борьбе за освобождение от американской гегемонии, за независимый курс страны, результатом чего стали «особые» советско-французские отношения. Лидеры ФРГ делали акцент на социальной стороне возрождения. Ну а что касается стран, находящихся на переходном этапе развития, то ради сплочения народа с целью более успешного преодоления трудностей, особенно тяжелых в начале пути, они не только выдвигают захватывающие идеи, но нередко творят множество самых разнообразных мифов.

Зачем? Чтобы поднять дух нации, вызвать массовый энтузиазм.

Некоторые влиятельные наши интеллектуалы-западники, такие, как Юрий Афанасьев, посчитали, что время политических партий прошло, наступил час движений, разного рода ассоциаций, форумов. Как на Западе. Но вот незадача. На Западе общество давным-давно структурировано, уже не один десяток лет оно существует как гражданское, имеющее тысячи, миллионы самостоятельных субъектов в сфере экономики, политики, социальной жизни, информации, самостоятельных, но тем не менее тесно связанных видимыми и невидимыми нитями. Там политические партии действительно часто находятся в анабиозном состоянии, оживая лишь в период выборов. Но этот анабиоз — результат длительной и сложнейшей эволюции, а отнюдь не плод чьих-то мыслительных операций. А в ряде стран (в той же Англии или Германии) политические партии и не так уж и аморфны.

А если не нужны партии, то нужно ли массовое демократическое движение? А если нужно, то какое? Опять дискуссии. Опять потеря времени. А в сущности, потеря ориентиров. Причем изначально, на концептуальном уровне. Надо было сразу же после провала путча в августе 1991 года, предвидя гигантские трудности переходного этапа (а опыт Польши уже давал богатейшую пищу для анализа), позаботиться о социально-политической базе реформ, завоевывать на свою сторону профсоюзы и т. д. Ничуть не бывало! наших либералов, или псевдолибералов, двигала инерция предыдущего этапа борьбы. Некоторые из них, например, Леонид Баткин, просто упивались поисками «врага», в сущности, в своем же лагере, идя как бы по следу большевиков. Они сосредоточили весь свой пыл на «изобличении» Горбачева, на «разоблачении» реформаторов, очевидно, не понимая, что провалом августовского путча не только не заканчивается политическая борьба, но еще и не предпринимается окончательный выбор дальнейшего пути развития и что разумнее не плодить противников, а завоевывать союзников. Демократы либерального направления, сосредоточив все свое внимание на «преступлениях Советской Армии» в Грузии и Прибалтике, как бы не замечали принципиально новой ситуации, когда потребовалось уже отстаивать ущемление прав русских от узколобного местного национализма. Правые силы только этого и ждали, объявив себя защитниками интересов миллионов русских в странах «ближнего зарубежья».

Молниеносный крах после путча реального социализма, развал существовавшего сотни лет государства, пусть даже в обличье СССР-империи, вызвал и глубочайший общественный кризис, и состояние шока у миллионов россиян, прежде всего старших поколений, не готовых адаптироваться к новым реалиям. В особенно тяжелом положении оказались именно русские, у которых фактически (благодаря стараниям большевиков) не было развито в достаточной степени национальное самосознание. Оно еще во многом и сейчас продолжает оставаться каким угодно (одни говорят «имперским», другие — «интернациональным», третьи — «вселенским»), но не национальным в строгом смысле слова. На обломках империи возникала новая Россия, пожалуй, менее других республик бывшего СССР подготовленная к самостоятельному развитию. И не только на уровне национального самосознания, но и с точки зрения административно-государственных структур, которые в силу особого положения России оказались крайне слабо развиты. Нужно было помогать россиянам поскорее обрести себя в новом качестве. Нужно было помогать Борису Ельцину создавать и новую государственность, и, что не менее важно, новую объединяющую идею россиян. Приходилось срочно думать о том, какие на смену коммунизму и имперскому Советскому Союзу должны прийти идеалы, сплачивающие тенденции, лозунги и т. д. Ведь мировой опыт показывает, что катаклизмы в жизни народа, когда рушатся все прежние устои, порождают чаще всего агрессивный национализм как великодержавного, так и сепаратистского свойства. Следовало упреждать такое развитие событий. К сожалению, и здесь наши либералы оказались «слабаками». Их критика государственности, патриотизма была не просто ошибочной — она вызвала мощную реакцию противодействия, помогала сплочению правых, сил контрреформы, противников Бориса Ельцина, демократических перемен.

«Какие еще национальные интересы? — упрекала меня молодая «либералка» из московского радикального еженедельника. — Есть общечеловеческие ценности, их нам и надо защищать». Полная потеря чувства страны! Вот уж истине ошалели от первого глотка свободы, потеряли почву под ногами, ударились в утопизм. Сильный налет утопизма в национальном сознании как раз и проявляется в переломные, наиболее ответственные периоды истории и, к сожалению, выражается в потере чувства реализма и здравого смысла, в безответственности.

В демократических кругах России начало происходить многое такое, что трудно понять с точки зрения логики политического процесса, здравого смысла да и этических норм. Ну как можно объяснить такое поведение? «Демократическая Россия» обеспечила победу на президентских выборах Борису Ельцину, сумела провести в народные депутаты и в Верховный Совет около половины своих сторонников. А что дальше? А дальше она как бы устранилась от ответственности за работу своего правительства, следовательно, и за ход реформ и повела себя по отношению к Ельцину — Гайдари как оппозиция. Правда, как весьма неопределенная оппозиция: хочу — поддерживаю, хочу — нет. Впрочем, «Демократическая Россия» активно подталкивала президента начать крупномасштабные реформы так, как это делалось в Польше. Либо президент решается на радикальные реформы, либо демократы встают к нему в оппозицию. Радикальная пресса — я это прекрасно помню — стала даже утверждать, что Борис Ельцин — типичный разрушитель, он якобы не способен к созиданию, готов довольствоваться тем, что стал президентом, а там хоть потоп.

Президента откровенно провоцировали. Чисто по-большевистски, по-ленински: сначала ввязываемся в бой, а дальше будет видно, что делать. Подчеркиваю: с моей точки зрения, альтернативы «шоковой терапии» в условиях полного расстройтва потребительского рынка, потери рублем функции всеобщего эквивалента и ползучего распространения примитивного средневекового натурального обмена не было. Может быть, она и была, но никто не смог такой альтернативы выдвинуть, а выдвинув — обосновать. Впрочем, альтернатива наверняка имелась, если бы страна встала на путь диктатуры или хотя бы жесткого авторитаризма и от государственного социализма стала бы медленно двигаться в сторону государственного капитализма, как это было на Тайване, в Южной Корее, как это сейчас происходит в Китае, хотя и в своеобразной форме. Но я спрашиваю: существовали ли антикоммунистические силы, которые смогли бы установить в России диктатуру, чтобы сделать переход от дорыночных к рыночным отношениям более плавным, менее болезненным для народа? Таких сил, по-моему, не было. Но тут же возникает и другой вопрос: а готова ли была поддержать подобный курс российская демократия? Да Боже упаси, ни в коем случае! Она бы стала воевать с Ельциным. Следовательно, альтернатива отпуску цен все-таки отсутствовала. Возможно, было другое. Что же именно?

Первое. Следовало более тщательно подготовиться к отпуску цен. Поработать с директорами, коллективами государственных предприятий, установить какие-то рамки возможного повышения цен на их продукцию, зарплаты и т. д. Этого не сделали, что и привело к установлению монопольно высоких цен. Команда Гайдара фактически пустила этот процесс на самотек. Что из этого получилось, мы знаем: государственные монополисты не дали развернуться конкуренции. Государство должно было бы активнее себя вести с началом «шоковой терапии».

Перед моими глазами книга, изданная в Японии и посвященная обобщению японского послевоенного опыта перехода к рыночным отношениям, а также опыта нашей «шоковой терапии»¹. Странный вывод делают авторы. С одной стороны, они говорят, что мы поспешили с отпуском цен. Следовало до этого сделать четыре вещи: раздробить крупные предприятия-монополисты; создать (в том числе за счет конверсии) многие новые предприятия, способные конкурировать с прежними монополистами; закупать крупными партиями готовую продукцию, опять же с целью создания конкурентной среды; наконец, активно привлекать иностранный капитал с этой же целью. А с другой стороны, японские специалисты признают, что на осуществление всего этого понадобятся многие годы. А где их взять? В Японии создание конкурентной среды началось и осуществлялось в условиях американской оккупации, и фактор политической борьбы не играл решающей роли, ибо политическая стабильность гарантировалась американским присутствием. Но если мы не ориентируемся на диктатуру, то нетрудно себе представить, что было бы, если бы мы сохранили тот курс перехода к рынку, который проводил Валентин Павлов. А он именно был рассчитан на постепенное создание конкурентной среды. Украина хотела поначалу пойти именно этим путем, да только время зря потеряла, резко усугубив ситуацию.

Второе. Надо было бы откровенно и честно сказать народу, что придется пройти через этап невероятных трудностей и что альтернативы им практиче-

¹«О системной экономической реформе в странах бывшего СССР — чему учит послевоенный опыт Японии». Институт внешней торговли и промышленности. Токио. 1992.

ски нет Президенту и его команде следовало прокрутить перед глазами телезрителей все возможные варианты перехода к рынку, чтобы заручиться поддержкой россиян. На деле же вместо серьезного разговора давались несерьезные обещания скорого улучшения ситуации. Хотя справедливости ради надо сказать, просчитать все заранее было невозможно. Ведь президент так или иначе оказался пленником того же Гайдара и его команды, уровень развития нашей экономической науки оставляет желать лучшего, а Запад не очень-то спешил оказывать реформам в России ту помощь, на которую рассчитывали реформаторы.

Третье Реформы нуждались в серьезной поддержке со стороны, условно говоря, партии реформ. Но такой поддержки не было. Не оказалось и такой партии. Поначалу в оппозицию реформам встали «горбачевцы» (Н. Петраков, О Богомоллов, Г Явлинский), затем «гравкинцы», «руцкисты», сторонники Аркадия Вольского и другие. Непосвященному человеку трудно разобраться, чего же хотят сторонники «Гражданского союза». Остановить рост цен? Облегчить тяготы народа? Верно. Кто же этого не хочет?! Но одновременно и поприжать «спекулянтов» «криминальный капитал», поставить заслон бегству капитала за границу, развернуть борьбу против мафии, организованной преступности и т. д. А еще — сохранить крупные государственные предприятия. А еще — пресечь сепаратизм. Если раскрыть скобки, то это значит, что нужен иной тип власти, скорее диктаторский, нежели тот, что есть. Тот тип власти, который больше всего соответствует модели госкапитализма. Но поскольку диктатура Ельцина сторонникам «Гражданского союза» вроде бы ни к чему, то и разговор не доводится до конца. Обличительных слов много, а вывод не делается, а если делается — то где-то в кулуарах. Со стороны же это воспринимается как демагогия, в лучшем случае — как прекраснотушие. Не в этом ли причина краха «Гражданского союза»?

Но «шоковая терапия» напугала и многих демроссов. Одно дело кричать «давай! давай!» а другое — видеть реальный процесс обнищания людей и самому сталкиваться с теми же проблемами, что и большинство людей. Как свести концы с концами? Первыми не выдержали напряжения «шоковой терапии» как и следовало ожидать, радикальные демократы. Они запаниковали. Ударились в критиканство. При этом никто не предлагал никаких реальных средств исправления ситуации. Не согласные с тем, что большинство сторонников «Демократической России» за поддержку правительства Ельцина, они вышли из партии и образовали нечто вроде секты.

Как тут не вспомнить Бердяева, писавшего «Русский интеллигентский максимализм, революционизм, радикализм есть особого рода моралистический аскетизм в отношении к государственной, общественной и вообще исторической жизни. Очень характерно, что русская тактика обычно принимает форму бойкота, забастовки и неделания. Русский интеллигент никогда не уверен в том, следует ли принять историю со всей ее мукой, жестокостью, трагическими противоречиями, не праведнее ли ее совершенно отвергнуть» («Судьба России» М 1990 стр. 76).

Кстати говоря, ситуацию в которой оказался Борис Ельцин, я воспринимаю как подлинную драму. Если и есть его вина в углублении нынешнего кризиса в России (а она несомненно есть) то это прежде всего вина человека, добровольно взвалившего на себя непомерную для одного ношу. То что он хотел бы сделать для своих соотечественников, он не может. Либо знает, что для этого нет реальных возможностей. Что он знает наверняка, так это то что сворачивать назад нельзя, надо идти вперед, как бы ни было трудно. Я думаю, что ему легче перед лицом нелепых обвинений правых в «предательстве» «распродаже отечества» в «геноциде против русского народа», но гораздо труднее переносить отдающие пошлостью обвинения своих бывших единомышленников, тех кто до сих пор считает себя демократами, то ли в личной, то ли в групповой корысти в служении интересам не народа, а какого-то слоя или класса. Поистине требуется огромная выдержка, чтобы не сорваться, не послать все к черту. Аналогичные чувства у меня возникали, когда Гайдар был мишенью некомпетентной примитивной и злобной критики. Думалось, зачем это ему? Куда спокойнее быть директором академического института. Слава Богу, в России не перевелись люди, готовые рисковать, нет — жертвовать собой ради блага отечества.

Четвертое Реформы в России остро нуждались в поддержке средств массовой информации. Имело ли это место? И да и нет. Пожалуй, больше нет, чем да. Я имею в виду разумеется, не коммунистические издания («Правда», «Советская Россия» и др.) и не правонационалистические («День» и т. п.), что вполне понятно, а демократическую печать, электронные средства массовой инфор-

мации. Да, были такие и газеты и телерадиоканалы, которые казались проправительственными, односторонне zaangażированными, в чем их, кстати, нередко и обвиняли. Но, во-первых, и они вели себя часто непонятно, иногда абсурдно и просто иррационально. Они, так же как и другие масс-медиа, сеяли тревогу в обществе, нагнетали психоз, в очередной раз предсказывая то голод, то социальный взрыв, то что-либо еще в этом роде. Я убежден, что благодаря средствам массовой информации, прежде всего демократической направленности, идея государственного переворота из немыслимой, невероятной постепенно превратилась в головах наших гэгачепистов не только в возможную, но необходимую и даже неизбежную акцию.

Пожалуй, верхом абсурда стало отношение демократических средств массовой информации к гэгачепистам. Чего только не было сказано в их адрес после провала путча. Они-де бездарны, ничтожны, безмозглы до такой степени, что, имея все бразды правления в своих руках, умудрились провалить дело. Непосвященный мог бы подумать, будто наши демократы высказывали сожаление, что путч не удался. Помогало прояснить позицию разве только то, что при этом доставалось по первое число и Михаилу Горбачеву, который-де окружил себя реакционерными, бездарностями, бытовыми пьяницами, предателями. Но вот прошло чуть больше года, гэгачеписты до суда сменили «Матросскую тишину» на свои квартиры, и уже один за другим московские телеканалы показывают нам этих «героев». Вместе и порознь. Странная, признаться, картина. Ограниченные люди, которые своим тупоумным шагом, продиктованным скорее эгоистическими личными и групповыми интересами, нежели государственными заботами, развалили или, скажем поточнее, ускорили развал СССР, с серьезным видом несут заведомую ложь о действиях Горбачева по подсказке из Вашингтона и Тель-Авива, о том, что президента никто не изолировал, он сам изолировался, что и войска-то в Москве появились бог знает по чьему приказу, но только не по приказу ГКЧП, и телеведущие все это глотают, а уж что в это время испытывают телезрители — лучше и не задаваться вопросом.

Большинство масс-медиа, которые принято считать демократическими, как раз наотмашь били по реформам Ельцина — Гайдара. Вы спросите зачем? Да ни за чем. Из желания быть в оппозиции правительству. Из традиционного российского нигилизма и иррационализма. Помню даже название статьи в одной московской газете. «Власть и пресса — мы не пара»

Каждая новая огульная критика реформ без реальной им альтернативы, каждый новый перебор по части бедствий народа, каждое новое фаталистическое предсказание экономического краха, социального взрыва, голода и т. д. — это не только демонстрация на практике плюрализма мнений, свободы средств массовой информации, это еще и издевательства над людьми, которые и без того сбиты с толку, потеряли ориентиры, а то и надежду на будущее, и их страдания, вызванные экономическими трудностями, удесятерятся в результате психологического срыва.

Кроме того, средства массовой информации, в том числе демократического направления, стали тяготеть к корпоративности. Они не раз демонстрировали, что их цеховые интересы выше интересов общественных. Наверное, не прав был президент Ельцин, освободив от должности Егора Яковлева в неоправданно грубой форме. Но как повели себя в ответ руководители многих средств массовой информации? Одни Ельцину открыто угрожали. Другие срывались в истерику, переходя на оскорбительный тон. Дескать, позволишь подобное — и тебе несдобровать.

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак имел все основания отстранить от работы на государственном телевидении ведущего «600 секунд» Александра Невзорова за разжигание национальной и социальной вражды, за провозглашенный им принцип деления людей на «наших» и «не наших». Но когда Собчак попытался это сделать, кто выступил на защиту подстрекателя Невзорова? В первую очередь именно средства массовой информации. «Большая пресса». Демократические масс-медиа внесли свой весьма «весомый» вклад в то, что общество стало воспринимать как нормальный факт продажу в подземных переходах, на железнодорожных станциях и Москвы и других крупных городов откровенно фашистских изданий.

Трудно себе представить другую страну, в которой сохранились хотя бы остатки власти, где можно было бы из номера в номер вполне легального (и, кажется, пользующегося субсидией государства) издания, как газета «День», оскорблять главу государства, обвинять его в предательстве, в служении иностранным разведкам, призывать население к священной войне против «окупантов», взывать к появлению новых Невских, новых Мининых и Пожарских. В

любом случае такие издания закрыли бы, и если бы редакторы оказались вполне вменяемыми, против них было бы заведено судебное дело.

Но важно даже и не это. Сама журналистская среда «выплюнула» бы работников «грязной прессы», создала бы вокруг них своего рода санитарный кордон. В нашем же случае не поймешь, где кончается «грязная пресса», а где начинается коммунистическая и околоммунистическая.

В «нормальных» странах есть грань, которую не должно переступать. Нельзя оскорблять главу государства. Нельзя подрывать власть. Нельзя разрушать страну. Нельзя издеваться над собственным народом. Нельзя глумиться над национальными святынями. Нельзя становиться поперек общественному мнению в тех случаях, когда по тем или иным проблемам уже сложился национальный консенсус.

У нас такой консенсус де-факто сложился по вопросу о гражданской войне: ее ни в коей мере нельзя допустить, если мы не хотим погубить страну. Однако наша «дикая» политическая культура не знает границ. И насаждают эту антикультуру, увы, вполне респектабельно выглядящие писатели, кинорежиссеры, журналисты, научные работники, то есть представители интеллигенции.

Далее, поддерживая в принципе президента Ельцина и его курс на реформирование страны, радикально настроенные российские интеллектуалы, в том числе работающие в средствах массовой информации, нередко оказывали ему медвежью услугу. Они подталкивали президента к несговорчивости. Когда эта статья была уже в основном написана, меня попросил о встрече американский журналист, работающий в московском представительстве своей газеты. Я опять услышал: «А нельзя ли было не доводить дело до прямого противостояния между президентом и парламентом, между президентом и спикером? Такими ли уж непримиримыми были противоречия между Ельциным и Хасбулатовым, между Ельциным и вице-президентом Александром Руцким?» Затем корреспондент изложил свое понимание проблемы, с которым я во многом вынужден был согласиться.

Американский корреспондент напомнил мне при этом линию поведения президента Рональда Рейгана. Тот, по словам моего собеседника, умел хорошо делать две вещи, которые в конечном итоге и дали ему возможность стать деятельным и уважаемым руководителем государства, позволив пробить на этом посту два срока. Во-первых, он сумел подобрать себе толковых помощников, создать эффективный аппарат. Во-вторых, регулярно выступал перед гражданами США, разъясняя им суть своей политики, раскрывая причины трудностей, призывая их к выдержке, терпению, вселяя в них надежды на скорое изменение ситуации к лучшему. Причем к каждому своему выступлению Рейган тщательно готовился, и это в конечном итоге сыграло свою роль.

Короче говоря, надо признать, что наша радикальная и в целом демократически настроенная интеллигенция оказалась не готовой выполнять роль политического и даже интеллектуального лидера после краха коммунизма. Не показала она и примера высокой нравственности. Не как отдельные личности, а как феномен. И эта несостоятельность, к сожалению, распространяется и на ту часть интеллигенции, которая считает себя центристской. Участвуя в работе форума так называемых центристских, близких к социал-демократии сил, я обнаружил ту же большевистскую непримиримость по отношению к демроссам. Я сказал Василию Липицкому, одному из лидеров народной партии «Свободная Россия» и «Гражданского союза»: «Меня очень огорчает вражда между силами, которые, по идее, должны были быть союзниками. Никакая либеральная политика демроссов в России не состоится. Так или иначе они выйдут на политику, близкую к социал-демократической. Так оправдана ли нынешняя вражда между этими двумя силами?» Мне показалось, что Липицкого беспокоит подобная ситуация. Ну а что можно сказать о «феномене Руцкого»?

Я долго присматривался к центристам, стремясь увидеть в них будущее России. Страна устала от крайностей в политике, от большевистского экстремизма прежде всего. И когда сформировался «Гражданский союз», объединивший силы, провозгласившие центристскую направленность своей политики, казалось, можно было облегченно вздохнуть. В стране, где само слово «центрист», как якобы воплощавшее в себе «беспринципный компромисс», было одиозным, почти ругательным; где великий теоретик марксизма Карл Каутский вошел в сознание миллионов советских людей со знаком минус только потому, что был центристом; в стране, где уже совсем недавно лопнула, как мыльный пузырь, затея Михаила Горбачева, его мозгового штаба сделать центризм опорой своей политики, — появление блока политических партий центристской направленности, причем партий, за которыми стоят реальные силы в

обществе (предприниматели, промышленники, силы, близкие социал-демократии, и т. д.), могло показаться рубежным в ее посткоммунистическом развитии. Можно было полагать, что наконец-то поставлен заслон напору справа, со стороны агрессивных националистических и фундаменталистских сил, появилась гарантия перерастания, в сущности, революционного (после августа 1991 года) в эволюционное развитие. Горбачев просто не смог найти в обществе те реальные силы, из которых удалось бы создать устойчивый политический центр. Да их и не было, поскольку в ходе перестройки начался и углублялся процесс политического размежевания, без которого невозможно победить силы коммунизма. Другое дело сейчас. С одной стороны, радикальные демократы, с другой — реакционный Фронт национального спасения. Не могло же общество настолько потерять здравый смысл, чтобы не выделить из своей среды какое-то здоровое ядро!

Но вот прошел VII, а за ним и VIII съезд народных депутатов. И я спросил себя: а где же центристы, если на съезде побеждают откровенно правые? Знакомый социолог ответил: «Они обиделись на Ельцина. Второй уже раз. Первый — накануне VII съезда народных депутатов, второй — накануне VIII примерно по той же схеме, но по инициативе президента срываются переговоры с «Гражданским союзом» с целью формирования коалиционного правительства». Да, действительно, лидер Демократической партии Николай Травкин как-то заявляет, что он больше не может полагаться на президента, который вначале заявляет о своем намерении добиваться согласия, а потом вдруг меняет свою позицию. При более углубленном анализе я понял, однако, что с «Гражданским союзом» на деле трудно найти общий знаменатель. Это пока еще не политический центр. Одни его силы склоняются к поддержке стремлений к самосохранению ВПК и наших крупных индустриальных гигантов, сотни раз доказавших свою неэффективность, другие, пребывая в мире иллюзий и нереально оценивая возможности России иметь военный потенциал на уровне американского, все еще во власти великодержавных амбиций, третьи грешат национализмом.

Для политического центра необходима прочная экономическая база в лице миллионов самостоятельных производителей. Их пока нет. Должна существовать мощная социальная опора в лице среднего класса, составляющего от 60 до 80 процентов населения. Его тоже нет. Для этого нужна сформировавшаяся партийно-политическая структура. Она лишь зарождается. Наконец, центристские политические силы как доминанта политической жизни страны требуют определенного типа массового сознания и политической культуры. Не конфронтационных, не большевистских. Таковых пока не имеется. Поэтому-то так неустойчив наш политический центр. Он как летающая тарелка: то появляется, ярко засветится, то неожиданно делится на части, то гаснет, на глазах исчезает. Кстати говоря, в нормальном, то есть зрелом обществе устойчивый политический центр требует тех же предпосылок, что и политика либерализма. В сущности, это две ипостаси одного и того же явления. Поэтому-то и наш либерализм не просто хилый, но еще и с сильным большевистским душком.

Я давно присматривался к Андрею Головину, лидеру парламентской фракции «Смена — Новая политика». Это тоже составная часть «Гражданского союза». Причем, как утверждает Головин, это не только самая большая, но и самая влиятельная парламентская фракция, которая якобы имела устойчивую поддержку не менее 30 процентов парламентариев, а в отдельных случаях и более половины их. Трудно было понять, чего же хочет лидер фракции с таким многообещающим названием, сам еще довольно молодой человек. Кроме, конечно, требования «долой Ельцина!». Максималистские требования, заряженность на агрессию — в этом и есть политический центризм? На одном из форумов я оказался рядом с ним за обеденным столом и стал его расспрашивать. Бывший научный сотрудник. Физик. Умен? Да. Но, как мне показалось, ум «черно-белого свойства». «Небось в вашей фракции одни бывшие комсомольцы и аппаратчики?» — «Комсомольцы и аппаратчики у демократов. У нас научные работники». Нашему центризму явно не повезло с вождями.

Ставшие уже расхожими слова, что во многих наших Советах правят бал младшие научные сотрудники академических и отраслевых институтов, обрели для меня реальный смысл. Было это вскоре после работы VIII съезда народных депутатов РФ и буквально накануне объявления президентом Ельциным о введении порядка особого управления в стране. Волей-неволей возник вопрос о том, почему съезд отверг предлагавшийся президентом компромисс. Андрей развернул целый спич о важности соблюдения духа и буквы конституции. «Сталинско-брежневской», — съезвил кто-то. «Конституции той, которая у нас есть». Спорить с Головиным было невозможно. Убеденный в своей правоте, он тоном мэтра кого-то осаживал, кого-то поучал...

Бывшие аппаратчики и бывшие научные сотрудники — не лучшая комбинация для нашей законодательной власти. Первые — пережиток прошлого, вторые — продукт случайности. «Депутаты должны понять, что многие из них случайные люди в законодательных органах власти», — сказал Григорий Явлинский после VIII съезда. Нет, Григорий Алексеевич, они этого не поймут именно потому, что они — случайные.

Когда-то вождь большевизма и основатель социалистического государства Владимир Ульянов-Ленин говорил о Льве Толстом как о зеркале русской революции. Парадоксально умел изъясняться Владимир Ильич. Увидеть в Толстом «зеркало русской революции»? Впрочем, все зависит от того, с какой стороны подойти. Попробуем последовать примеру Владимира Ильича. Перебежчики, или «диссиденты наоборот», — это тоже своего рода зеркало нашей антитоталитарной, демократической революции. Это — показатель ее противоречивости, неустойчивости, если не сказать — нечеткости, даже неопределенности ее идейно-политических позиций, колебаний ее участников, наличия в ней людей деструктивного начала, разрушителей по натуре, максималистов, «большевищников навыворот» с их неистребимым стремлением к «светлому будущему», попутчиков и просто случайных людей. Как сказала на одном из митингов «левой-правой оппозиции» (именуемой еще красно-коричневой) несравненная горянка Сажы Умалатова, «нас объединяет ненависть» — ненависть к режиму демократов. Так вот, многих в том движении, которое именовало себя демократическим, объединяла лишь ненависть, отрицание существующего порядка вещей, нигилизм как состояние души. Объединяла борьба против, но не сплачивала борьба за. Увы, борьба за осталась для многих неясной по сей день. Впрочем, понимали ли до конца последствия своей борьбы те, которые боролись против — против коммунизма?

Интересна, хотя и самостоятельна, тема нашего диссидентства. Я коснусь ее постольку, поскольку она связана с темой данного разговора. Пока существовал коммунистический строй в СССР и сам СССР, в диссидентском лагере царил относительное единство. Относительное потому, что диссиденты, на мой взгляд, не способны к тесному сплочению и единению. Они все-таки по преимуществу отрицатели, разрушители, люди конфронтационного типа мышления. И стоило задыхаться коммунизму на ладан, а еще недавно казавшемуся монументальным зданию «красной империи» покрыться трещинами, как в диссидентском (зарубежном и внутреннем) стане начался, употребим это модное ныне словечко, раздрай. Оказалось, что многие диссиденты на деле не понимали не только за что они борются (если не считать таких банальностей, как «свобода и демократия» в абстрактной постановке вопроса), но и против чего, имея в виду всю совокупность последствий их борьбы. Когда Владимир Максимов, можно сказать, один из лучших представителей российского диссидентства за рубежом, сказал, что он боролся против коммунизма, но не государства (имея в виду СССР), то меня это просто шокировало. Эдакая политическая инфантильность! Неужто не ясно было, что нельзя бороться против коммунизма, не борясь одновременно и против СССР, созданного на идеях коммунизма. Николай Бердяев это видел и, кстати говоря, отдавал большевикам должное именно потому, что те сумели сохранить в прежних или почти в прежних границах Российскую империю. Видел это и другой наш выдающийся философ, Сергей Булгаков. Видели многие российские мыслители, а наши патриоты-диссиденты, оказывается, не видели. Вот и получается: за что боролись?

Первая волна, условно говоря, ренегатства в демократическом — и диссидентском тоже — движении как раз и появилась тогда, когда пришло подлинное понимание, нет, не за что, а пока что против чего на деле шла борьба. Поэтому для меня феномен Александра Зиновьева, Эдуарда Лимонова — это в то же время и феномен Татьяны Корягиной, а в какой-то мере и Роя Медведева. Я надеюсь, мы понимаем, что это не отдельные случаи? Тут речь идет об определенном явлении. А суть его в том, что идеи антикоммунизма оказались слабее имперских настроений, великодержавных устремлений, идей национализма и просто патриотизма и были ими вытеснены.

Вторая волна «диссидентства наоборот» связана с несбывшимися надеждами тех или иных личностей нашего демократического спектра. Для них антикоммунистическая революция стала «революцией несбывшихся надежд». Они связывали с нею личную карьеру, успех, но обманулись в своих ожиданиях. Впрочем, многие добились реализации своих личных целей, стали известными в стране политиками, но только после того как перешли в другой лагерь и подняли знамя, которое когда-то топтали. В отдельных случаях — в буквальном смысле слова. Сегодня даже трудно себе представить, что, например, Илья Константинов и Михаил Астафьев, заметные фигуры Фронта национального

спасения, деятели самого крайнего фланга нашего политического спектра, начинали свою политическую жизнь как демократы.

Но обратите внимание: больше всего «ренегатов» среди вчерашних радикальных демократов. Кто знает Михаила Челнокова, тот помнит, что этот представитель технической интеллигенции был радикальным из самых радикальных демократов. При каждом удобном случае, обращаясь к президенту СССР Михаилу Горбачеву, он кричал «долой!». Правда, на думая, чтобы он понимал, как изменится политическая ситуация в стране, если бы его «долой!» было удовлетворено. Когда Горбачева, условно говоря, сменил Ельцин, Челноков быстро переориентировался и стал кричать «долой!» уже в адрес Ельцина. Не уверен, что он в состоянии просчитать последствия ухода с поста Ельцина. В чем уверен, так это в том, что свое заветное «долой!» он будет выстреливать в сторону каждого нового президента, пока либо не будет «обласкан», либо не получит достойный отпор.

Третья волна «ренегатства» связана с разочарованиями в посткоммунистической действительности, от которой интеллигенты-идеалисты пришли в ужас. Нескромность, если не сказать безнравственность, многих политиков-демократов, коррупция, борьба за власть, за место поближе к президенту, не брезгающие ничем нувориши, мафия, рэкет, грязь в прямом и переносном смысле — да разве ж такую Россию рисовало утопическое сознание радикала-интеллигента?! На меньшее, чем там, «у них» на Западе, он не согласен. Раз коммунисты уже не у власти, то где же тогда настоящие рыночные отношения? Где высококультурная политическая элита? Где подлинная демократия? Где благосостояние? Ельцинскую Россию, естественно, интеллигенты-утописты не приняли. А интеллигентов с люмпенско-популистским сознанием шокировала еще и та социальная дифференциация, которая сопровождает начальный этап перехода от дорыночной к рыночной экономике со «сладкой жизнью» одних и нищетой других.

«Чужая власть», — сказал радикальный демократ Юрий Буртин. «Чужая власть», — повторили за ним многие коммунисты и национал-патриоты, каждый имея свое на уме.

Четвертая волна «ренегатства» и набегает на третью, с ней сливаясь, и имеет свой отчетливый гребень. Часть интеллигенции — с уязвимой нервной системой, неустойчивой психикой, с непоясненным представлением об альтернативных вариантах избранному курсу — не выдержала трудностей «шоковой терапии». Растерялась. Запаниковала. А тр и сломалась, потеряв себя как личности. Что, например, случилось с Юрием Власовым? Читая его нынешние обескураживающе беспомощные опусы в газете «День», не веришь, что это тот же самый Власов, который на съезде народных депутатов СССР вызывающе заклеивал КГБ и сильно поплатился за это. Одним словом, имел мужество заклеивать все еще всемогущего монстра, наводившего ужас на людей, но спасовал перед трудностями переходного этапа.

Наконец, еще одна волна «отступничества», едва ли не самая мощная. Многие сейчас ломают голову: куда же подевались демократы? Еще в бытность Союза, в бытность доминирования во властных структурах КПСС демократы имели около половины мест на съезде и в Верховном Совете России, что и давало возможность избрать спикером Ельцина, а не Полозкова. После провала августовского путча демократы еще больше упрочили свои позиции. Но не прошло и года, как демократы стали катастрофически терять свое влияние. Причины не следует упрощать. Они сходны во всех посткоммунистических странах. Это дробление неоднородного демократического движения, потерявшего прежнюю цель борьбы с коммунистическим режимом. Это борьба за власть, соперничество. Это дифференциация позиций и интересов. Это жесточайшее испытание трудностями, когда, оказавшись на грани бедности и за ее чертой, люди больше склонны искать «виновника» их бед, «врага», нежели допытываться до истины, вникать в логику переходного этапа. Но это также и испуг многих демократов, точнее бывших демократов, их желание поскорее покинуть «демократический корабль», который, как им кажется, начинает тонуть. Есть порода людей, которые хотят всегда быть на стороне победителей. Как когда-то сказал Джон Кеннеди, у победы есть оба родителя, а поражение всегда сирота.

Многим политикам, в том числе народным депутатам различных уровней, уже давно показалось, что, взяв на себя всю тяжесть начального этапа реформ, демократы неизбежно потерпят поражение, как это уже произошло в ряде постсоциалистических стран. К тому, что уже говорилось о Хасбулатове и Руцком, можно было бы добавить следующее. Я полагаю, что в какой-то момент они тоже драгнули. Руцкой решил дистанцироваться от непопулярной полити-

ки реформ, начатых Ельциным—Гайдаром, примерно то же сделал и Хасбулатов, которому к тому же, чтобы чувствовать себя уверенно в парламенте и на съезде среди сильно поправевших депутатов, надо было самому сместиться вправо, что он и сделал. И, похоже, перестарался.

Политически активное население любой посткоммунистической страны, грубо говоря, можно поделить на демократов (сторонники тех или иных форм рыночных отношений и правового государства), коммунистов (неокоммунисты, левые социалисты, популисты-эгалитаристы и прочие) и националистов (различных оттенков) Любой, только не России И в этом легко убедиться, читая такие издания, как «День», «Наш современник», «Молодая гвардия», книги издательства «Палей» и др. У нас еще есть и фундаменталисты, замешанные на мистике, мракобесии.

Читаю газету «День», «орган духовной оппозиции», следовательно, «совети народа». Эсхатологические пророчества, предрекания скорого апокалипсиса, с одной стороны. С другой стороны, кипящая злоба, безграничная ненависть, нагнетание вражды к Западу, братание с самой отъявленной реакцией вроде режима Саддама Хусейна, нарастающие призывы к расправам с демократами, к реставрации старых порядков. Таково лицо этой «духовной оппозиции» Я долго ломал голову, что же это за феномен — «духовная оппозиция», группирующаяся вокруг газеты «День», рупора Фронта национального спасения и некоторых других изданий, отражающих точку зрения того же ФНС или сходных с ним организаций Притом что я изучал страны «третьего мира», хорошо знаю многие партии и движения, в том числе националистического и религиозного толка, лично знаком со многими лидерами и идеологами националистического и религиозного направления Те ведут себя совсем по-другому, прежде всего вполне осмысленно, — одни как националисты, другие как клерикалы. Иначе говоря, тамосние и националисты и клерикалы отражают интересы определенных слоев общества, имеют программы, реализация которых и ставит в центр внимания эти интересы Случается, что интересы националистических и религиозных сил — а часто эти силы выступают совместно — совпадают в большей или меньшей степени с интересами нации Это хорошо видно на примере Саудовской Аравии, Кувейта, государств Персидского залива, где налицо потрясающий прогресс, движение вперед, а не назад

Программу же нашей «духовной оппозиции» нельзя реализовать, не разрушив Россию Главное для наших и «духовников» и «фронтовиков» не процветание нации, а восстановление империи. Но империя уже стоила нам разорения России, истощения ее ресурсов, отравления среды обитания, обнищания людей Попытки реставрировать империю, проводить прежнюю великодержавную политику, политику конфронтации с цивилизованным миром, неизбежно приведут к новому туру гонки вооружений, к нашей изоляции на международной арене, к еще большему отставанию, голоду, а в конечном итоге — полному краху Если не к опустошительной ядерной войне, к исчезновению с карты мира нас как великой страны и великой нации Так какой же националист ради химеры готов принести в жертву собственный народ и собственную страну?!

Да в том-то и дело, что в лице «духовной оппозиции» и иже с нею мы имеем дело не с национализмом, а с фундаментализмом «российского разлива» В чем-то это явление сходно с иранским фундаментализмом, который отбросил страну на десятилетия, а в неких областях и на столетия назад, сорвал буквально на пике ее превращение в новую, индустриальную державу

Наш фундаментализм в основном носит светский характер Но нельзя не заметить, что «духовники» и «фронтовики» изо всех сил стремятся втянуть в поле своего притяжения некоторых церковных иерархов, в особенности тех, кому трудно порвать с коммунистическим прошлым Митрополит Санкт-Петербургский Иоанн в беседе с небезызвестным Владимиром Бондаренко, сетует на то, что из России сейчас все выкачивают — лес, газ, нефть — на Запад, делает вывод, что это и есть причина нашей бедности, нищеты, и предлагает: «Надо отойти в сторону, защититься от этого грабежа» «Так вы за изоляцию России?» — деланно удивляется литератор «Да, — отвечает владыка, — разумная изоляция нужна России как лекарственное средство» («День», № 1, 93)

«Умом Россию не понять...» Если мы не пойдем Россию умом, то мы никогда не выйдем из заколдованного круга того политического, социального и нравственного беспредела, которым время от времени взрывается исторический процесс в России. Если в истории России и есть действительно что-то такое, что трудно умом понять, то это именно иррационализм, носителем которого в первую очередь является интеллигенция Поистине как говорил герой

Чехова, с интеллигенцией трудно ладить, она утомляет Утомляет повторением одних и тех же ошибок. Может быть, пора остановиться? Я вновь и вновь возвращаюсь к словам Бердяева о том, что «в русском народе и в русской интеллигенции скрыты начала самоистребления»

В политическом процессе России есть вещи, которые очень пугают Пред-октябрьская история как бы повторяется заново, хотя скорее уже в виде фарса. Неизвестно откуда взялись кадеты, монархисты Агрессивно заговорило о себе славянофильство, панславизм Православие стало противопоставляться остальным религиям, в том числе в лоне христианства И все это заметьте дело рук нашей родной интеллигенции! Так и чешутся руки к бою Появляются политические союзы-симбиозы, невысказанные по составу национал-большевизм. С одной стороны, националисты, а с другой стороны, интернационалисты. По крайней мере по идее, по определению. Как это может быть? Но так уж ли это невероятно? Послушаем, что говорил по этому поводу уже упоминавшийся мною богослов Булгаков устами своего героя, дипломата, в статье «На пиру богов», построенной в виде диалогов (общественный деятель, боевой генерал, дипломат, известный писатель, светский богослов, беженец) и написанной в апреле—мае 1918 года по горячим следам революции. Парируя храброму генералу, который предпочитает решительных большевиков, разогнавших Учредительное собрание, кадетам и прочим сторонникам демократии, дипломат говорит «Фатальный ход мысли, обрекающий русский консерватизм на симпатии к большевизму конечно, ради надежды на реставрацию недаром же как говорят, в рядах большевиков скрывается столько черносотенцев И притом я уверен, что иные из них работают не только за страх, но и за совесть, все ради этого призрака В этой ненависти к европейским политическим формам, вообще к «правовому государству» и праву, есть нечто поистине азиатское, от чего мы и всегда изнемогали. .» («Из глубины» стр 108)

Я просто потрясен был этими словами, такое впечатление, что они написаны сегодня, только что В самом деле, в годы перестройки русские националисты, носители имперско-великодержавной идеологии и даже откровенные антикоммунисты потянулись к коммунистическим изданиям, к компартии России, видя в ней удобную структуру для работы в массах, их мобилизации Они этого не скрывали, даже афишировали А после восстановления компартии России и даже раньше к националистам и откровенным мракобесам, фундаменталистам потянулись коммунисты зюгановского толка Геннадий Зюганов сразу же после «восстановительного съезда» провозгласил, что коммунисты будут действовать под флагом «народности, государственности, патриотизма» Это, как известно, слегка перелицованная триада царских времен «православие, самодержавие, народность» В принципе я ничего не имею против того, чтобы провозглашать подобные лозунги наряду со многими другими Но при чем тут коммунисты? Уж им, если они действительно следуют по стопам Маркса и Ленина, должны быть не просто чужды, но и враждебны именно народность, именно государственность, именно патриотизм в общечеловеческом восприятии этих понятий, без большевистских выкрутасов в стиле антиутопии Оруэлла, когда мир — это война и т.п. Коммунистами явно движет «надежда на реставрацию», которая наверняка окажется такой же иллюзорной, как и надежда тех, кто хотел использовать в своих целях большевизм Как говорится в мудрой восточной пословице, пошли за шерстью, а вернулись стриженными

Беспокоит раскол в демократическом движении Беспокоит «невменяемость» тех, кто выдает себя за демократов Беспокоят «вшивые либералы» не понимающие что до общества, построенного на принципах либерализма, России надо сначала пройти по более близким ее традициям и историческому прошлому ступеням Одним словом, еще топтать и топтать

Но есть вещи, которые обнадеживают и которых не было в тот период, когда лучшие российские умы анализировали трагедию Октября Это наш народ. Грамотный и вполне цивилизованный Его раскачивают а он сопротивляется Его пытаются втянуть в свару между различными ветвями власти а он смотрит на все это со здоровой дозой скепсиса Дескать, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало Может конечно, все это людям и надоест тогда кончится тем, что прогонят политиков-банкротов Народ как носитель коллективного разума получил прививку против гражданской войны и я уверен, хочу быть уверенным, что эта прививка надолго навсегда.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

С. М. СОЛОВЬЕВ

*

ДЕТСТВО

Главы из воспоминаний

О СУДЬБЕ ОТЦА

Вряд ли надо представлять читателю Сергея Михайловича Соловьева — его имя встречается в книгах Андрея Белого и в его переписке, как и в переписке Блока, во всех книгах о них, о Брюсове, о «серебряном веке» русской культуры, о символизме... Жалею, что стихи, переводы, статьи С. М. Соловьева пока не переиздаются, а многое из его обширного, несмотря на утраты, наследия ждет еще своего часа. В частности, и мемуары — отец писал их в 20-е годы и не завершил по причинам, которых коснусь ниже. Из этих воспоминаний и выбран отрывок о детстве, предлагаемый читателям «Нового мира». Почему выбор пал именно на этот фрагмент?..

В детстве завязываются «узелки» личности, любое влияние здесь почти решающее — таковой и оказалась встреча Сережи Соловьева с Борисом Бугаевым (Андреем Белым). Влияние двух будущих поэтов друг на друга (Андрей Белый был старше на пять лет) было взаимно плодотворным.

Читатели могут узнать о дружбе Андрея Белого с Сергеем Соловьевым из поэмы «Первое свидание», из автобиографической трилогии Белого. В книге «На рубеже двух столетий» Андрей Белый пишет: «Считаю значение Сережи в моей интимной, а также общественной жизни незаменимым, огромным; мой маленький «друг» скоро вырос в сознании в серьезнейший авторитет, не говоря уже о любви и доверии, которые были конкретны меж нами, мальчишками, и которые — те же меж нами теперь, когда мы склоняемся к старости: тридцатипятилетие дружбы — не шутка»

В послеоктябрьское время (1921—1931) между бывшими «аргонатами»¹, несмотря на различие выбранных путей, сохранялась внутренняя, душевная связь.

В начале 1918 года Андрей Белый на несколько лет уехал за границу. Прощаясь с другом, он подарил ему свой роман «Серебряный голубь» с надписью: «Дорогому Сергею Михайловичу Соловьеву от друга в память «прошедших ужасов» от автора. 29 дек (абр) 17 года» (хранится в моем домашнем собрании). Это ответ на неопубликованные стихи Сергея Соловьева «Другу Борису Бугаеву» («Твой сон сбывается слышнее и слышней — /Зловещий шум толпы, волнующейся глухо. /Я знаю, ты готов! Пора. Уж свист камней, /Толпою брошенных, стал явственной для слуха...»).

Обратимся, однако, к некоторым вехам жизни Сергея Михайловича. Он родился в 1885 году; внук историка С. М. Соловьева, племянник философа Вл. Соловьева, троюродный брат А. А. Блока. В 1911 году окончил историко-филологическое отделение Московского университета; его кандидатским сочинением явилась «Комментарии к идилиям Феокрита». Писать начал с 1904 года, выпустил книги стихов: «Цветы и ладан» (1907), «Crurifragium» (книга стихов и прозы, 1908), «Апрель» (1910), «Цветник цариц» (1913), «Возвращение в дом отчий» (1916).

Вступительная статья и публикация Н. С. СОЛОВЬЕВОЙ. Подготовка текста и примечания А. М. КУЗНЕЦОВА.

¹ «Аргонаты» — кружок, сыгравший в культуре символизма значительную роль. Напомню читателю лучшую статью об этом сообществе: А. В. Лавров, «Мифотворчество «аргонатов»» (в сб. «Миф—фольклор—литература». Л. 1978).

Острый душевный кризис после поражения первой русской революции 1905 года привел к нервному срыву, болезни. Выздоровление пришло с женитьбой на юной Тане Тургеневой и принятием сана священника по окончании Московской Духовной академии в 1915 году. Зерно будущего служения уже было заложено в детском увлечении церковными обрядами, а раннее погружение в философию «дяги Володи» — Владимира Соловьева — укрепляло веру. Вместе с тем не прекращались занятия литературой и филологией.

После октябрьского переворота, спасая семью от голода, С. М. Соловьев осенью 1918 года уехал из Москвы и два года провел в Саратовской губернии. В поэме «Чужбина» (не предназначенной к публикации) он рассказал о жизни в селе Большой Карай, куда в 1919 году пришел военный коммунизм, голод. Общая жизнь с крестьянами в экстремальной ситуации углубила присущий отцу демократизм, чувство полного равенства со всеми, кто слаб, терпит лишения.

Сел на платформу близ нищего,
Вместе нас вдаль занесло!
Сердце, как солнце над Ртищевом,
Кровью давно изошло.

В эти годы он далеко ушел от того наивно стремившегося к опрощению Сергея Соловьева, который послужил Андрею Белому прообразом Дарьяльского в «Серебряном голубе». Позже, в стихотворении «Андрею Белому. 1905—1921 г.», он напишет:

О, да! Она была прекрасной,
Намеченная нами цель,
Но сколько сил ушло напрасно
На этот бред, на этот хмель!..

Перемены, принесенные революцией, разрушили не только литературную, научную и общественную жизнь Сергея Соловьева, но и его личную жизнь. Осенью 1920 года умерла пятилетняя дочь Мария (об этом в неопубликованной поэме «Смерть»), а горячо любимая жена встретила другого человека и соединила с ним свою дальнейшую судьбу. Отец вернулся в Москву один, без семьи.

Несмотря на тяжелые бытовые условия (до 1929 года он снимал комнату в подмосковном Крюкове), отец отличался необыкновенной работоспособностью. Он преподавал в Высшем литературно-художественном институте, основанном В. Я. Брюсовым, очень много работал над переводами классической литературы: перевел «Прометей» и «Орестею» Эсхила, все трагедии Сенеки, завершил начатый В. Я. Брюсовым перевод «Энеиды» Вергилия, переводил произведения А. Мицкевича, Гёте, Шекспира. Деятельность поэта-переводчика не была для него вынужденным ремеслом. С отроческих лет он практиковался в стихотворных переводах с французского и немецкого, позже увлекся переводами с латыни и греческого.

Благодаря глубокому познанию С. Соловьев совмещал работу переводчика с филологическими изысканиями. К переводу «Прикованного Прометей» Эсхила он добавляет «Освобожденного Прометей», восстановленного по сохранившимся фрагментам трагедии.

Сейчас уже мало кто помнит, что этот перевод лег в основу спектакля МХАТа, доведенного до генеральной репетиции и снятого, несмотря на то, что в главной роли был В. И. Качалов. «Орестея» Эсхила в переводе С. Соловьева шла в МХАТе 2-м, но недолго — трагедии Эсхила не были созвучны тому времени (1926—1928 годы).

Отец с увлечением работал на переводе «Конрада Валленрода» Мицкевича, у него было особое отношение к Польше и Литве, откуда вели свое происхождение его предки Коваленские (Ковалинские). Дороги были ему и воспоминания о Вольни, где он и Андрей Белый провели счастливое лето в семье отчима сестер Тургеневых — Аси (на ней женился Андрей Белый) и Тани (на которой женился С. Соловьев).

Трудно понять, откуда брал силы и находил время физически истощенный и житейски неустроенный человек, для того чтобы писать такие фундаментальные труды, как «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева»², совсем не предназначенные для публикации статьи на литературоведческие и богословские темы и стихи.

В 1926 году С. М. Соловьев, принявший католичество, становится вице-экзархом греко-католиков, главой официально не зарегистрированной общины

² Эта книга, которую смело можно назвать делом жизни С. М. Соловьева, впервые увидела свет только в 1977 году в Брюсселе и все еще малоизвестна на родине.

в Москве. При этом «западником» он не стал, сохраняя веру во Вселенскую церковь и особое предназначение России. В том же году он пишет стихотворение «Петербург», которое заканчивается строфами:

Как волны Стикса в мгле Эреба,
Нева не отражает звезд,
Но ангел указывает в небо,
Над городом поднявши крест,

Нет, ты не проклят, не оставлен!
Ты ждешь, прекрасен и велик,
Когда над миром будет явлен
России исполинский лик.

В 1923 году С. М. Соловьев начал писать «Воспоминания». Согласно плану они должны были состоять из трех частей и заканчиваться 1913 годом. Однако, доведя рассказ до 1903 года (смерть родителей и начало самостоятельной жизни), он ставит в рукописи слово «конец». Предполагаю, что работа над мемуарами оборвалась в 1928 году; тогда же он перестал писать стихи и статьи.

Два последних года своей гражданской жизни он отдал поэтическим переводам и религиозной деятельности, которая становилась все более опасной. Закончился недолгий период знепа, наступил «великий перелом». Знакомых литераторов приглашали на Лубянку для проверки их благонадежности; наиболее порядочные предупреждали отца: «Меня о вас спрашивали». Помню, с какой горечью отец рассказывал о том, что некий литератор, которому он посвятил одно из лучших своих стихотворений, «Иаков», на заседании секции переводчиков возмутился. «Мы держим в своей среде священника!»

За три года до смерти Андрей Белый пишет стихотворение, тогда также не предназначавшееся для печати, — «Брату С. М. Соловьеву». Оно датировано серединой февраля 1931 года — и меня не оставляет мысль о «сверхсознании» автора: С. М. Соловьев был арестован в ночь на 16 февраля 1931 года. Это дата его гражданской смерти.

После длительного ночного обыска его увезли на Лубянку. В эти годы политические заключенные еще не подвергались унижениям и физическим мукам. Квалифицированный интеллигентный следователь понял, что имеет дело с идеалистом, который не связывал церковь с политикой, но процесс над католиками требовал их наказания. Осенью Соловьев должен был отбыть в ссылку. Нравственное потрясение, испытанное во время следствия, было столь велико, что психика не выдержала. По ходатайству Горького ссылка была заменена содержанием в Троицкой психокolonии под Москвой. После годичной проверки отец был признан больным и отпущен на поруки. Болезнь выразилась в решительном отказе от какой-либо деятельности и в непрерывных муках совести — отец казнил себя за то, что, исполняя «свой тяжелый, свой Богом завещанный труд», он обрек на тюрьму и ссылку членов общины, а самая горячая из них покончила с собой еще в следственной тюрьме. В периоды обострения болезни отец терял ощущение реальности, в его воображении возникали картины конца света, появлялось стремление встретить этот конец в родных местах — у Дегова, Наговражного, где проходили счастливые летние месяцы в детстве и отрочестве.

Первые годы после выхода из психокolonии прошли между домом и больницей, в предвоенные годы отец содержался в больнице как хроник. В самом начале войны больница имени Кащенко была эвакуирована в Казань, где С. М. Соловьев скончался 2 марта 1942 года. Его могила затерялась на Арском кладбище среди захоронений тех, кто умирал в годы войны в госпиталях Казани.

Он жил дольше, чем грузья юности — символисты, которых объединяло ожидание благих перемен. А. Блока он пережил на двадцать лет. На первом издании «Стихов о Прекрасной Даме» есть надпись: «Милому, дорогому Сергею Михайловичу Соловьеву в знак памяти о прошедшем, настоящей любви и близости и будущей несказанной встрече. Александр Блок 1904 СПб Х. 29». Состоялась ли эта встреча? Не нам знать.

НАШ ДОМ

Я начинаю себя помнить в небольшом, белом, двухэтажном доме в тихом Штатном переулке между Пречистенкой и Остоженкой. Квартира помещалась во втором этаже: за гостиной, служившей также и столовой, была спальня моих родителей¹ и кабинет отца. Прямо из передней темный коридор вел в кухню, и из коридора была дверь в мою детскую и смежную с ней девичью. Окно этих комнат выходило на двор. Я больше пребывал в детской и девичьей. Из кабинета иногда выходил маленький худой человек, и я знал, что это — мой отец. По вечерам он брал меня в кабинет и, выдвигая ящики стола, показывал мне разные вещи. На стене у него висела карта Палестины. Когда мне было года четыре, отец капнул сургучом на некоторые палестинские города — Иерусалим, Вифлеем, Дамаск — и показывал гостям фокус, заставляя меня находить эти города с закрытыми глазами.

К отцу меня тянуло больше, чем к матери, впрочем, всему предпочитал я девичью и кухню. В матери я чувствовал что-то напряженное и тревожное. Она вставала раньше отца, который страдал бессонницами. Бывало, утром мать одна сидит за самоваром, перед корзиной с витым хлебом: молчит и задумчиво смотрит перед собой темным, тяжелым взглядом. Мне с ней не по себе: она рано стала давать мне суровые уроки, которые повлияли на мой характер. Но об этом дальше.

Лет с четырех отец после обеда давал мне уроки священной истории. Он приносил за чайный стол картинку, клал ее обратной стороной, рассказывал ветхозаветное или евангельское событие и, возбудив интерес, открывал картинку. Чудные то были картинки. Одежды там были ярко-алые и темно-синие, деревья зеленые и голубые, тела нежно-белые и шоколадные. Помню маститых первосвященников с серебристыми бородами, Илию в рогатой митре, положившего руку на голову мальчику Самуилу. Помню радость, которую я испытывал, переходя от Ветхого Завета к Новому: все становилось нежней, воздушней, серебристей. Очень я любил эти уроки.

Мать моя в то время писала большие иконы из евангельской жизни для одного тамбовского храма, и гостиную наполняли благоухающие свежими красками доски, на которых моя мать манерой старых итальянских мастеров изображала Воскрешение Лазаря и Тайную вечерю. Вместе с няней мы рассматривали две толстые книги из отцовской библиотеки: суровую немецкую Библию в темно-коричневом переплете, где мало было картинок (запомнились мне: дух, носящийся в виде старца над бездной, среди бурь и хаоса; заклятие Авраамом Исаака, огненный дождь над Содомом и Гоморрой), и бархатное французское Евангелие, где каждая страница была обвита орнаментами с изображениями зверей, цветов и плодов, а некоторые страницы потемнели от пролитых духов и сладостно благоухали.

Первый приход в дом священников наполнил меня ужасом. Они так загремели «Во Иордане», что я поспешил спрятаться. Крещение вообще особенно волновало меня, и по ночам мне казалось, что я вспоминаю, как меня крестили: я ощущал холод студеной воды и видел какую-то белизну. Во время прогулок церкви поглощали все мое внимание. Особенно я любил круглые иконы под куполами, изображавшие апостолов и московских святителей с белыми посохами, например, у Воскресенья на Остоженке и около Зоологического сада.

Жизнь текла тихо и однообразно. Мы с няней прогуливались по переулку, иногда встречали мою первую подругу Лилю Гиацинтову, которая была на два года моложе меня и казалась мне символом всего маленького. «Это мало, как Лиля, это мало, как Лилин глаз», — говорил я о самых маленьких предметах.

Старая толстая няня скоро исчезла: ее место заступила черноглазая и веселая девушка Таня, из деревни Гнилуши под Химками. Я к ней сильно привязался, и все дни мы были неразлучны. Она хорошо читала и писала. Бывали у нас с ней и философские споры и недоразумения. Раз я ее спрашивал, что Бог — сидит, стоит или лежит? Твердая в богословии Таня отвечала, что он не сидит, не стоит и не лежит. Я задумался: должно быть, он висит... но как же он

сам себя подвесил, не стоя и не сидя? Другой раз я утверждал, что мой папа безгрешен, на что Таня возразила: «Бог папины грехи знает, мой милый».

Кухаркой у нас была старуха Марфа, ворчливая, грязная, иступленно богомольная и свирепая, имевшая старого друга раскольника, начитанного в писании. Марфа прижилась у нас: я ее очень любил и много поучался от нее на кухне. По вечерам Марфа рассказывала мне о пришествии антихриста: «Перед концом света все лавки запрут, ничего нельзя будет купить. И затем, как придет антихрист и всем, кто ему не поклонится, будет выдергивать пальчик за пальчиком» — и т. д. Я все это запоминал.

УЖАСЫ

Странные сны меня преследовали в детстве. Иногда мне снилась какая-то старушка. Вот она идет из бани с узелком, где-то в конце Зубовского бульвара. Сердась на меня, она надувается громадным шаром цвета человеческого языка, и шар прыгает. Дело переносится в деревню. К воротам усадьбы подходит старушка: я узнаю ее и в ужасе кричу бабушке, чтобы она ее не пускала. В гневе на бабушку старушка превращается в громадный шар и прыгает по пыльной дороге. Вообще ужас всегда воплощался для меня в образе старухи, и никакая картинка не пугала меня так, как три парки Микеланджело. Пугали меня и некоторые иконы, и я даже перестал навещать бабушку, так как в Старо-Конюшенном переулке, где она жила, была церковь Иоанна Предтечи: образ Богоматери под куполом облупился, и меня пугала ее как будто кивающая мне фигура.

Но всего страшнее были погребальные процессии. От одного слова «гроб» или «похороны» меня передергивало. Помню, напугала меня лубочная книжка, выставленная в магазине на углу Зубовского бульвара. На ней было написано: «Несчастливая жертва любви» — и виделось мертвое лицо в постели. Утром мы с Таней обыкновенно гуляли на коротком и пустынном Зубовском бульваре, где было больше простонародья, чем господ. Иногда совершали прогулки ко храму Спасителя, и всегда возникал вопрос, как идти: Пречистенкой или Остоженкой. Отец мой любил широкую, прямую, аристократическую Пречистенку, мать предпочитала кривую, неровную Остоженку с ее церковками. Я уже тогда во всем держал сторону отца. Когда мы проходили с Таней по Пречистенке мимо каменных барельефных морд одного богатого дома, Таня вдруг давала мне мысль, что одна из этих морд сейчас на нас плюнет, и мы пускались бежать. Помню, раз добрались мы до Арбата. Мне казалось, что мы в неведомых краях, далеко-далеко от дома. Чем-то жутким и странным высылся передо мной большой храм Никола Явленного, и являлось опасение: не заблудиться бы в этой чужой стране.

Особой грустью веяло на меня от Зубовской площади и Девичьего поля. Недолюбливал я и Смоленского рынка с его базаром. Отталкивала меня эта азиатчина: иконные лавки, ситцы, гомон и шутки, — и как любил я спокойную и величавую Пречистенку, которой суждено было стать центральной для меня улицей в отроческие года.

БАБУШКА ДАЛЬНЯЯ И БАБУШКА БЛИЖНЯЯ

Так различал я двух бабушек, по их расстоянию от нашей квартиры. Бабушка дальняя² жила около Арбата. Она была еще свежа и бодр — черные гладкие волосы без проседи. Она любила детей, сочиняла для них сказки, входила во все их интересы, и дом ее был детским раем. Там были желтые канарейки, всегда солнце; в спальне у бабушки — серебряный рукомошник, накрытый белой кисеей. Она рассказывала мне на ночь сказку: стада бежали на покой, туманы встают над водами, падала серебряная роса. Я слушал голос бабушки: «Спи, спи. Все овечки спят, все барашки спят, спи, спи». А мне не хотелось спать, становилось холодно и тоскливо. Другое дело, когда Таня рассказывала мне перед сном про грехопадение Адама и Евы или историю Иосифа. Я

желал каждый вечер слышать опять обе эти истории, но Таня не соглашалась, и надо было выбирать ту или другую. Бабушка ближняя³ была тщедушная, кроткая и суетливая старушка. Таня уважала ее больше, чем бабушку дальнюю, потому что бабушка ближняя была богаче, привозила мне великолепные игрушки из магазина и щедро давала на чай прислуге. Но не любил я ходить к бабушке ближней. Бабушка была безопасна, но дом. Но квартира. Но высокая и насмешливая тетя Надя⁴. Уже у подъезда я ощущал робость, а дальше холодная, гулкая лестница, громадные ледяные залы (тетя Надя всегда отворяет форточки). Тетя Надя меня постоянно дразнит, и я смутно чувствую, что она не слишком любит мою мать и во всяком случае относится к ней критически. Зато я люблю ходить к тете Вере Поповой⁵, на Девичье поле, в большой красный дом Архива⁶. Правда, и там была некая торжественность, храмовое молчание и опять белый кумир дедушки, окруженный мертвой зеленью фикусов, но над всем неуловимо веял мягкий дух дяди Нила⁷ с большой бородой, а двоюродные сестры — девочки значительно старше меня — были со мной очень ласковы. Ласкова была и сама розовощекая, голубоглазая тетя Вера, всегда вкусно меня угощавшая.

Но лучше всех, конечно, дядя Володя⁸. Иногда он у нас обедает, и тогда за столом бывает красное вино и рыба с каперсами и елисками. Отстраняя руку моего отца, дядя Володя щедро льет в мой стакан запретную струю Вакха... Когда обедает дядя Володя, все законы отменяются, все позволено и всем весело. Обо всем, что меня интересует, что мне кажется непонятным, я спрашиваю дядю Володю, и он дает мне ясные и краткие ответы. Например, я спрашиваю: «Что такое герб?»

— А это, — отвечает дядя Володя, — когда русские грамоте не знали, то вместо того, чтобы писать свою фамилию, изображали какую-нибудь вещь: например, Лопатины рисовали на своем доме лопату.

Как ясно и просто. Я скорее бегу на кухню объяснять старой Марфе, что такое герб, и рассказать ей про Лопатиных, а из гостиной доносится раскатистый хохот дяди Володи. Я предлагаю ему загадку моего собственного сочинения: «Отгадай: доска с веревкой». Дядя Володя серьезно задумывается. «Картина», — в недоумении пожимает он плечами. «Нет, — отвечаю я, — отдушник». «Ха-ха-ха», — ржет и сотрясается дядя Володя.

Весь дом празднует приход дяди Володи. Он является неожиданно из каких-то далеких странствий. Звонко, Таня открывает дверь, и слышится из передней ее обрадованный голос: «Владимир Сергеевич!» Льется смех, вино, деньги... А наружностью дядя Володя похож на монаха, с большими седыми волосами и длинной черной бородой.

Кроме дяди Володи я больше всех люблю тетю Наташу⁹. Что у нее за квартира на Zubовском бульваре! Странно только, что ее толстая кухарка Праксovia — в то же время и горничная. Кроме тети Наташи там живет дядя Тяп¹⁰. Тетя Наташа — ласковая, веселая, щеголиха. Я хожу к ней почти каждый день, и дядя Тяп поет для меня «Два гренадера» и «Не плачь, дитя, не плачь напрасно»¹¹. Дядя Тяп — черный, в золотых очках над орлиным носом, служит в Управе, часто орет. Его, кажется, все у нас не очень любят. Предпочитают ему кого же: дядю Сашу¹², который ходит на костылях и всегда меня дразнит. У дяди Тяпа и тети Наташи нет детей, но у них кошка и постоянно котят в корзинке. Много дорогих книг с картинками, веселая атласная голубая мебель: у тети Наташи — шелковые юбки, все у них немного пахнет духами... И она никогда не говорит мне таких грустных вещей, как мама. Например, недавно мама мне говорит: «Нам многого хочется, но не все можно. Например, я бы хотела иметь ковер во всю эту комнату, но этого нельзя». Мама всегда что-то запрещает. Когда я отправлялся вечером к бабушке ближней, она сказала, что если я не буду там ничего есть, то по возвращении она даст мне чернослива. Я выдержал, и сколько ни соблазняла меня бабушка кистью винограда, я не съел ни одной ягоды, надеясь вознаградить себя дома. Возвращаюсь, с торжеством требую чернослива; мама, даже не улыбнувшись, даже не восхитившись моим геройством, отпирает шкаф, дает мне несколько черносливин и, кивнув мне уходит

Как мне грустно!.. Стоило отказываться от винограда...

Тихо я прожил первые пять лет моей жизни. С благодарностью вспоминаю белый двухэтажный дом в Штатном переулке, где я научился любить и почитать безгрешным моего ласкового, но строгого и иногда страшного отца, замыкавшего меня в наказание одного в своем кабинете, в кресле перед письменным столом; картинки священной истории и карту Палестины; веселую квартиру дяди Тяпа с его котятками и пенисм «Двух гренадеров» и тихую девочку Лилию перед алтарем церкви св. Троицы.

В ДЕДОВЕ

Каждую весну к дому подаются два извозчика; отец запирает двери и запечатывает их сургучом, и мы едем на Николаевский вокзал. Нас всегда провожает бабушка ближняя, и мы на вокзале едим ветчину, которую я называю «величиной». Уже у вокзала я радуюсь зеленой траве и коровам. У станции ждет ямщик Емельян — седой и румяный, с ржавой козлиной бородой и кистом, от которого пахнет «мятными пряничками». Старенький и трясучий тарантас через час привозит нас в Дедово. Зеленый двор — в пахучей траве и испещрен маргаритками.

Я просыпаюсь на другой день и смотрю на трещины белой бумаги, которой оклеен потолок: из этих трещин слагаются странные человеческие лица. Моя большая комната — в тени: два окна выходят во двор и осенены дубами, а два других выходят на проселочную дорогу, по которой каждый день гоняют стадо. В четыре часа ночи меня будит блеянье овец и мычанье коров. Здесь у меня, вместо московского умывальника с педалью, ковшик и таз, и нельзя умываться без посторонней помощи.

В этой усадьбе выросла моя мать, ее братья и сестры — теперь здесь подрастает второе поколение. Прежде всего мне вспоминается девочка с голыми руками и в кисейном платье, которая капризно восклицает: «Ах, эти несносные комары». Я вдруг понимаю, что носящиеся в воздухе существа, которые жалят меня во всех местах и, напившись кровью, валяются с моего лба, называются «комары». Девочка в кисейном платье — моя двоюродная сестра Маруся¹³ — старше меня года на три. Посреди усадьбы — большой старинный дом моей бабушки, где она живет с тетей Наташей и дядей Тяпом. Кругом дома толпятся высокие древние ели, чернея вершинами в голубом небе. В просторной бабушкиной гостиной на камине, закинув голову, улыбается белая Венера. В доме много кладовых и буфетных, а в глубине — кабинет дяди Тяпа и спальня тети Наташи. Из окна спальни видна зеленая мшистая поляна, а в конце ее, в проветах старинных елей, сверкает и переливается пруд.

Семья была тогда большая и веселая, на усадьбе стояло четыре семейные гнезда, а к завтраку, обеду и чаю все собирались в большом доме. Бабушка жила царицей с любимой дочерью Наташей и любимым зятем Тяпом в большом доме. Наш флигель, старый и тенистый, был слева от ворот. Выстроен он был еще в крепостные времена, прежде в нем помещалась контора управителя и библиотека. Когда-то имение было богато, с оранжереями и большими мифологическими картинами, со множеством сараев, амбаров и гумен. Теперь все это исчезло. Вместо гумна — зеленое поле, покрытое ромашками, а ото всех картин остались «Персей и Андромеда» у нас в передней и еще в темном коридоре прорванная картина «Геркул на распутье», между Афродитой и Афиной.

Любимая комната моей матери — библиотека. Она совсем темная, листья деревьев прикипают к оконным стеклам. Над диваном портрет моего прадеда: смуглое, немного африканское лицо с выдающимися скулами и черными глазами, с лентой и звездой на груди. А рядом из темного фона выступает голое и жуткое лицо, неизвестно чье... Я не люблю спать под этим портретом... Сбоку у окна еле виден в темноте портрет философа Сковороды¹⁴, держащего книгу с золотым обрезом... Кабинет моего отца выходит на юг. Это самая веселая комната в доме: она недавно пристроена моим отцом, в ней всегда солнце, и она выходит в яблочный сад.

За нашим флигелем — нарядный городской дом с зеленой крышей, недавно построенный дядей Сашей Марконетом. В нем живет мамина старшая сестра тетя Саша¹⁵ с мужем. Там у дверей — круглые, блестящие ручки, а в буфете — какао, хлеб с маком и расписные тарелки с немецкими надписями. Дядя Саша влачится на костылях, иногда его возят в кресле с колесиками. Он всегда весел и всегда орет, но я отношусь к нему холодно, потому что он меня дразнит. Тетя Саша — хлопотливая, ласковая, с маленьким круглым лицом, но она как-то беспокойно моргает. Если мои родители предпочитают ее тете Наташе, то я не обязан им в этом следовать. У папы какая-то страсть к Марконетам: он ежедневно пьет у них утренний чай, вместо того чтобы идти в большой дом. Но в этом случае я к нему охотно присоединяюсь, потому что только у тети Саши можно пить какао, да притом не Абрикосова, а Блокер. Но надо уже сказать и о главном обитателе Дедова, который ютится в маленьком, заглушенном плакучими ивами флигельке направо от ворот, как раз против голубятни: о младшем бабушкином сыне, дяде Вите¹⁶. Мой старший дядя Николай Михайлович Коваленский¹⁷ живет далеко, он только иногда наезжает в Дедово, и обыкновенно один.

Трудно представить, что одна мать родила таких разных людей. Дядя Коля мягок на ходу, в серой шляпе, подпрыгивает: гоп, гоп. Дядя Витя медленно выступает в белых панталонах, движенья его степенны. У дяди Коли розовое лицо, серые дымчатые волосы и голубая бородка — розовое с голубым — цвета XVIII-го века. У дяди Вити борода растет клоками, лицо его смуглое. Дядя Коля постоянно курит и говорит отрывисто, как будто воркует; дядя Витя никогда не курит, говорит мало и немного шамкает. Дядя Коля — весь огонь и движение; дядя Витя тих, как растение. Дядя Коля — художник и служит в суде; дядя Витя — математик и механик. Больше всего дядя Витя любит гонять голубей длинным шестом и, закинув голову, часами следит, как они кувыркаются в небе. Но оба дяди не любят копать землю. Все цветники сделаны моим отцом и дядей Тяпом, и оба они постоянно работают в саду, облекшись в мягкую чесунчу: дядя Тяп возделывает цветники кругом большого дома, мой отец — за нашим флигелем. Каких только они не разводят редких пород, выписывая каталог Иммера. У моего отца ирисы всех сортов, желтые лилии, высокие синие дельфиниумы, у дяди Тяпа — громадные красные маки, а в августе — флоксы, синие, красные и белые. Середина двора вся занята кустами роз, и в июне перед балконом расстилается розовое море, над которым встает облако благоуханий. Розы эти одичали, стали маленькие, но зато их тысячи. Это — любимые цветы моей бабушки. А около дома дяди Вити — только одна какая-то низкорослая, широкая лилия кирпичного цвета — тигрида.

В маленьком флигеле, направо от ворот, живет дядя Витя с тетей Верой¹⁸ и Марусей. Тетя Вера иногда сощуривает на меня большие серые глаза, и мне становится не по себе.

— Как тебя зовут? — спрашивает тебя Вера.

— Никак, — мрачно я отвечаю.

— Ну, прощай, «никак», мы идем во флигель, — с усмешкой кивает тетя Вера.

Впрочем, мне до нее все равно, а вот к дяде Вите хотелось бы подлизаться. Но как? Он терпеть не может детей: иногда за обедом останавливает на мне чуть насмешливый взгляд зеленоватых глаз — и ни слова. Когда он гоняет голубей и я приближаюсь к нему, он ворчит: «Уйди, ты мне всех голубей распугаешь», — но влечет меня к себе дядя Витя... А как они дружны с папой: постоянно хохочут.

В пятом часу все обитатели четырех домов обедают на большом балконе... Мне еще приносят обед в мою комнату, а как хотелось бы обедать с большими. С балкона доносятся шум, хохот, оранье дяди Саши, взвизгиванья дяди Тяпа. С заднего крыльца приносят на кухню стаканы с недопитым квасом. Какие странные большие: они не допивают квас!

Вечерет. Я пью молоко в моей детской, а Таня читает мне вслух сказку. Под окнами прогнали стадо, и пыль стоит столбом. На дубе дремлет черная курица.

Просыпаюсь утром. Все блестит, искрится. Через окно вижу, как Маруся у своего домика кормит скворца и чистит его клетку. Я погружаюсь в зелень: изучаю усадьбу и карабкаюсь на деревья. Березовая аллея ведет к пруду. Когда-то она была из одних берез, но березы дряхлеют, подымается молодой ельник. Направо, за ореховыми зарослями — большой сад. Когда-то он был плодовым, но теперь заглох и запущен. Остались только кусты малины да крыжовника, да клубника в густой траве, а яблони одичали. Я люблю путаться в широких полянах, отделенных друг от друга канавами и стенами елей. Налево от аллеи за поляной — темная еловая роща, из нее уже видать деревню: там в углу есть мрачный прудик с черной водой. За рощей «баня»; теперь уже больше следов бани не видно, но место славится белыми грибами. За нашим и дяди Сашиным флигелями — настоящий плодовый сад: большая китайская яблоня с маленькими горькими яблоками, две-три хорошие яблони среди множества одичавших, смородина всех цветов и крупная малина.

Любил я забрести в каретный сарай, где много было обломков старых экипажей, громадная линейка, какие-то изломанные тарантасы и дрожки. Приятно было лазить по линейке в жару, и хорошо пахло кожей и дегтем. Тогда еще только начиналось запустенье Дедова. Прекрасно было это море цветов, когда-то посеянных в цветники, а теперь одичавших и заглушенных травой. Больше всего было незабудок и маргариток; под черемухами синели безуханные печальные барвинки.

ИТАЛИЯ

I

В первых числах сентября* мы оставили Дедово. Квартира наша в Москве была ликвидирована, вещи сданы на хранение, и мы остановились на несколько дней у тети Саши Марконет на Спиридоновке. Бабушка на дорогу сшила мне маленький коричневый халат и перекинула через плечо кожаную дорожную сумку.

Дядя Саша Марконет жил в белом доме, в первом этаже. И этот, и окружающие дома принадлежали вдове его покойного брата Гаврила Федоровича¹⁹. Во дворе, во флигеле жил холостой брат дяди Саши, Владимир Федорович²⁰, толстяк с большим носом, носивший белый жилет и постоянно остриженный. Он провожал нас на Брестский вокзал, где мы встретили в буфете давно поджидавшего нас высокого и седеющего дядю Володю Соловьева.

Помню, что мы поместились одни в четырехместном купе: я и няня Таня спали на нижних местах, родители — наверху. Уже прозвонил третий звонок, когда за окном раздался веселый крик дяди Владимира Федоровича: он старался привлечь наше внимание и тыкал пальцем в молодого человека с некрасивым и серьезным лицом, в черной шляпе. Это был старший сын дяди Коли Миша²¹, приехавший с нами проститься.

Поезд двинулся. Я с интересом ждал, как мои родители будут спать «наверху»: мне представлялось, что они ухитрятся лечь на плетеные полки без вещей. Тем приятнее я был изумлен, когда вечером вспыхнул газ, верхи были подняты и образовались прекрасные постели со свежим бельем. Я прислушивался к разговорам родителей, часто произносивших непонятное для меня слово: «Варшава». Смущали меня несколько разговоры о туннелях. Мы будем ехать под землей. Как? Зачем? Никто не объяснял мне, что это будет в горах, и я представлял себе, что поезд ни с того ни с сего спустится под землю.

Помню блестящую Варшаву с ее мостами, парками и монументами. Всего больше мне там понравилась яичница. Помню великолепный отель «Метрополь» в Вене, с пуховыми перинами, в которых так и тонешь. От Варшавы до Вены мы ехали в первом классе, где вместо коричневых диванов были красные бархатные. Далее вспоминаю себя на широкой террасе отеля «Raue» в Вене-

* 1891 года. — А. К.

ции; зеленые волны плещут о ступени, скользят гондолы. Золотое великолепие святого Марка, голуби на площади, которых мы кормим маисом, разноцветные стекла в сверкающих витринах. Промелькнул Неаполь, грязный и жаркий, который понравился только няне Тане, Каstellамаре, — и вот наш экипаж подъезжает к густому апельсинному саду, и мы поселяемся в отеле «Cocumella». Мы прожили в Сорренто сентябрь и октябрь. В отеле «Cocumella» еще жива была старая, грязноватая и дикая Италия. В большом саду все дорожки были завалены гнилыми апельсинами и лимонами. Румяные и черноглазые дочери хозяина Гарджуло сами стряпали обед. Седой и маленький хозяин иногда прогуливался в саду со своей престарелой супругой. Делами заведовал метрдотель Винченцо, статный итальянец с черными бакенбардами. Общество в отеле было радушное. Мы застали несколько молодых итальянских священников, весело болтавших с американками.

В конце сада была каменная площадка, прямо над морем: оттуда были видны Капри и дымящийся Везувий, о котором так мечтал дядя Коля. На этой площадке мы часами сживали с Таней, играя в карты или читая. Таня читала мне вслух сказки Андерсена, «Книгу чудес» Готорна²² и «Тысячу и одну ночь». Иногда в ней просыпалась поэтическая тоска русских девушек, и, смотря на море, она говорила: «Была бы я птицей. Полетела бы далеко, далеко». В Италии казался в Тане природный ум и такт. Она быстро освоилась со всем окружающим, изучила итальянский язык; обедая вместе с английскими и американскими прислугами, носившими шляпы и державшими себя как дамы, Таня называла себя мисс Грач, что звучало совсем по-английски (фамилия ее была Грачева), и пользовалась успехом у итальянских лакеев.

Через пещеры, где росли кактусы, дорога вела на морской берег. Я собирал раковины и все, что оставлялось на песке приливом. Попадались морские коньки, громадные медузы. Я приносил домой полуживых существ, которые скоро протухали, так что приходилось их выбрасывать. Большое впечатление произвел на меня сбор винограда. Весь сад был в каких-то пьяных парах. В полутемном сарае свалены были снопы виноградных ветвей, на них плясали босые итальянцы, распевая веселые песни. Мутный и вспененный виноградный сок с шумом бежал по желобу.

Чудные два месяца. Солнце, море, гнилые лимоны, кожура винных ягод, персики, «Книга чудес» Готорна. Впервые передо мною всплывают чарующие образы дубравной четы — Филемона и Бавкиды, страшный Минотавр, собирающая весенние цветы Прозерпина. Родители мои сзидили на извозчике в Помпею, но меня с собой не брали. Только издали любовался я дымом древнего Везувия.

За обедом читали письмо от тети Саши: «Наташа живет так близко от меня, что я недавно шла к ней, неся дыпленка на тарелке». Бабушка еженедельно присылала четыре странички, написанные ее изящным, бисерным почерком.

К ноябрю мы уже в Риме.

II

Темный Рим. Мой любимый, любимый город. Вечный Рим. Мы прожили в нем до весны. Встают в моем уме бесчисленные фонтаны, статуи, статуи и статуи: осененный пиниями сад Пинчио, где я проводил с Таней все утро, собирая желуди и читая под бюстами древних императоров. Мы поселились в гостинице «Митель», полной англичан и американцев. Каждый день шли мы на Пинчио, мимо церкви св.Троицы на горах, под Испанской лестницей, где толпились красивые натурщицы в цветных платьях. Часто попадались нам навстречу процессии семинаристов в красных сутанах и круглых красных шляпах. В окнах магазинов постоянно прекрасный юноша Себастьян со страдальческими глазами, со впившейся в бок стрелой; статуэтки папы Льва XIII, св. Петра, сидящего на троне.

Здесь впервые я начал посещать каждое воскресенье русскую церковь. Помню, как неожиданно в коридоре посольства, где стоял седой швейцар с булавой, различил я запах ладана. Отворялась дверь, и я попадал в рай. Старый седой архимандрит Пимен так хорошо служил. Помню, что первая обедня, на

которую мы пришли, была в день святой Екатерины. Раз меня взяли ко всеобщей. Эта служба показалась мне еще таинственной и упоительней, чем обедня.

Однажды отец сказал мне, что возьмет меня в гости к архимандриту Пимену. Я испугался тогда, но как бы вы думали, чего? Жены архимандрита Пимена. У меня был страх вообще перед «дамой», «барыней». Я любил мужчин, барышень, девочек, но «дама» меня пугала. Думаю, что это чувство развилось у меня отчасти под влиянием кухни, где слово «барыня» произносилось часто с затаенным недоброжелательством. Итак, всю дорогу я боялся жены архимандрита Пимена. Как мне было приятно сидеть с этим ласковым среброкудрым старцем. Но в душе была тревога и ожидание: вот отворится дверь и покажется... его жена. Однако этого не случилось, и как я облегченно вздохнул, узнав на обратном пути от отца, что жены у архимандрита Пимена не только нет, но и не может быть.

Большим праздником для меня было посещение нас в отеле архимандритом Пименом. Он подарил мне несколько благочестивых книжек и скоро собрался уходить, говоря: «Вечером меня могут на улице тронуть». Стояли дни Карнавала.

В Риме я усиленно занялся литературой. Стряпал маленькие книжки, старался по всем правилам написать титульный лист, а на обложке помещал список других сочинений того же автора. Родители мои читали «Олимп» Дюттко²³. Они дали мне эту книгу, и Таня прочла всю ее вслух. Там было много цитат из Гомера, и тут я впервые подпал очарованию греческой поэзии. Интерес к мифологии, разбуженный книгой Готорна, был окончательно разожжен. Все боги меня волновали, и к их приключениям и борьбе я относился со страстью. Полюбил я и круглые монеты, и бородатые Гермы, но больше всех Афродиту. Я готов был проливать слезы, когда ее обижали, и ненавидел Диомеду и Артемиду. Из впечатлений церкви и «Олимпа» образовалась в моем уме порядочная мешанина. Я пытался служить на лестнице отеля «Митель» какие-то обедни и поминал все время «Геру — покровительницу брака» и «короля испанского». Когда мои родители в великий четверг отправились слушать двенадцать Евангелий, я попросил Таню:

— Прочти-ка мне двенадцать раз подряд все стихотворения из «Олимпа».

Но Таня смекнула, чем это пахнет и чем вызвано число двенадцать, и, не говоря уж о том, что перспектива читать двенадцать раз подряд одно и то же не могла ей улыбаться, сказала, что это грех, и наотрез отказалась читать.

В Риме разыгрались у меня новые ночные страхи. Должно быть, витрины магазинов, обилие мучеников, скелетов и гробниц подействовало на мое воображение. По ночам мне стало мерещиться такое, что, когда темно и вспыхивал газ в шумном и веселом отеле, сердце у меня занывало оттого, что близится ночь. А мать по ночам долго стояла над моей постелью, стараясь меня успокоить. Особенно напугали меня скелеты над гробницами в церкви Santo Pietro in Vincoli. Я возненавидел эту церковь. Зато храм ватиканского Петра, который как будто не нравился моим родителям, меня очаровал. Радужные фонтаны на площади, свет, веселая живопись, самая громадность храма — все было мне по душе... А откуда-то с хор доносилось пение вечерних антифонов...

Целым событием в отеле «Митель» было Рождество. Чем только не были уставлены длинные столы: на них высились какие-то замки из мороженого всех цветов. Лакеи блестя белизной манишек и были торжественны.

Родители мои очень дружили с обществом отеля, и у нас завелось много друзей из англичан и американцев. У матери моей постоянно бывала художница-американка с красным мясистым лицом, мисс Кросби, которую я мысленно называл мисс Ростбиф; нежная и светлокудрая англичанка Луиза с молчаливым и суровым братом, которого мои родители прозвали «кокон» и который так раз на меня заорал, когда я затрубил в военный рог около *Salor de lecture*^{*}, где кокон был погружен в чтение газет, что я его от всей души возненавидел, и меня смягчал только кроткий взор его сестры Луизы. Завелась там у меня и под-

* Читальный зал (франц.)

руга, англичанка Сесили. Обедал я у себя в комнате, а появляться в «табльдотт» побаивался. Меня пугали разные мисс и мистрис, усаживавшие меня на колени и пробовавшие забавлять меня, делая из носового платка какую-то неудачную куклу... Но настоящим наказанием для меня было появление испанского мальчика Карлоса. Необузданный, пылкий мальчишка вцепился в меня и желал быть всегда со мной вместе. Я прятался от него как мог. Для моего меланхолически-мечтательного темперамента он был невыносим своей живостью. Наконец дошло до того, что в присутствии мисс и мистрис Карлос кинулся на меня и пытался свалить. Я вступил в борьбу: быть поверженным Карлосом перед множеством златокудрых мисс казалось нестерпимым позором. Было трудно, но скоро я стал его одолевать. Помню первый в жизни восторг победы, когда до меня донеслось из рядов мисс «поо!», то есть нет, он не будет побежден, и через минуту я попирал Карлоса.

В Риме я совершил и первый нехороший поступок. Мы дружили с мужиком, зажигавшим лампы на лестнице и чистившим башмаки. Он часто рассказывал мне и Тане о своих детях, живших в деревне. Не знаю зачем, я вдруг сказал ему, что один из его сыновей умер. Лицо отца омрачилось, и он взволнованно стал мне доказывать, что я ошибаюсь. Я любил этого мужика, но мне несколько не стало стыдно. Я сделал это так, без всякой мысли, не думая ни одной минуты, что он примет всерьез. Но здорово мне досталось потом от матери, и поделом...

Однажды ночью я был разбужен. Я не мог понять, почему в коридоре светло, почему там толпится народ. Наконец я заметил, что все трясется. Это было настоящее землетрясение. Но это меня ничуть не испугало: это не скелеты...

Когда к концу февраля мы собрались уезжать из Рима, я был глубоко опечален. Идя по улице с сумкой через плечо, я кричал всем друзьям по-итальянски: «Вернусь к вам, когда буду большой». Из вспененного, шумного фонтана Треви, под колесницей Нептуна, окруженной тритонами, я жадно пил воду из почвы древнего Лациума и верил, верил, что прощаюсь с Римом не навеки. И вся моя последующая жизнь была мечтой о Риме. В него стремился я студентом, когда профессор чертил на доске место встречи Клодия с Милоном на Аппиевой дороге²⁴, и я часто твердил слова одного поэта:

Поедем туда, полетим,
Где шумит семихолмный, вечный Рим.
Ах, ночами над Палатином
Пахнет тмином...

И латинский учитель в гимназии, и латинский профессор в университете были для меня лица особенно дорогие, потому что они говорили языком того вечного Рима, где началась моя сознательная жизнь, а вместе с сознанием приблизились и первые горести, и первые испытания...

Март и начало апреля мы проводили на Ривьере.

III

В весенних сумерках мы подъехали к Бордигере, где отец уже нанял две комнаты в отеле Лаверона. В первый вечер по приезде меня взяли обедать в «табльдотт». Блеск огней, английский говор, усталость с дороги — все это меня удручало. Передо мной сидела прелестная мисс, похожая на яблочный цветок, и, что-то щебеча, накладывала себе кушанья белыми, тонкими пальцами в кольцах. Я с грустью смотрел на эти пальцы и, вспоминая пророчество кухарки Марфы, думал:

«И чему ты веселишься. Ведь придет антихрист и будет тебе обламывать эти пальцы, которыми ты накладываешь себе десерт»

Но это мрачное настроение ограничилось одним вечером. В Бордигере не было никаких мрачных снов, а одно тихое блаженство. Расцвела весна, близились Пасха, и в пальмовых рощах Бордигеры рубили ветви для отправления в Рим, к воскресению пальм. В Бордигере было много культурнее, чем в Сорренто, и чувствовалась близость Франции. Дорожки были усыпаны золотым

песком, и везде синели ковры фиалок. Мама любила Сорренто, папа Бордигеру, где пальмовые и масличные рощи напоминали ему Иудею, что «трогало его до слез», как он писал в письме дяде Володе.

Во дворе нашего отеля была лютеранская церковь. В отеле жил американский пастор Браун, веселый господин, с женой. По воскресеньям он служил. Я завел обычное дело смотреть на лютеранское богослужение в замочную скважину или откровенно в окно. Все мне там не нравилось, а сидевшие на скамьях господа недовольно оборачивались. Раз какая-то барышня при выходе из церкви начала злобно меня отчитывать на непонятном для меня языке. Потом было еще хуже. Однажды пастор Браун, надев черную мантию, направился к церкви. Я гулял по саду и вовсе не собирался за ним следовать. Вдруг пастор Браун обернулся и долго грозил мне пальцем из-под черного рукава...

Прислуга-итальянка приставала ко мне и Тане, какой мы религии. Справившись у родителей, я сказал ей: «Ortodosso greco»²⁵, — и мы с Таней перевели: «Восемь спин греческих». Итальянка начала возражать, что моя мать — католичка, что при ней она молилась в католической церкви, складывая руки на груди.

У Тани началась тоска по родине, и она решила справить русскую Пасху. Потихоньку от родителей мы откладывали по одному яйцу от моего ужина и красили их. Когда наступила Пасха, мы неожиданно христосовались со всеми, даря красные яйца, но Таня разочарованно говорила, что итальянцы не знают, что такое христосоваться.

Зато велика была радость Тани, когда, гуляя в закоулках сада, мы услышали знакомый запах навоза и сена и нашли на скотном дворе настоящую корову и козу с парой козлят. Эта корова была для Тани дороже всех чудес Италии. Мы ежедневно проводили по нескольку часов на скотном дворе, забавляясь с козлятами. Но увя. Этих козлят подали за обедом в «габльдотте» на первый день Пасхи, и конечно я не хотел и слышать о том, чтобы есть моих друзей. Да и многие англичанки, знакомые с козлятами, отворачиваясь, произносили: «Noo!»

Мы вернулись в Москву в середине апреля.

ПОБОИЩА

Семи лет въехал я в большую квартиру белого трехэтажного дома, на углу Арбата и Денежного переулка, не подозревая, что проживу здесь десять лет и покину эту квартиру одиноким юношей, у которого нет родного угла, но перед которым открыт весь свет. В квартире на Арбате прошло мое отрочество, здесь сложилась моя душа, здесь я приобрел друзей на всю жизнь. Стоит остановиться на ней поподробнее.

Сравнительно с нашей прежней квартирой она была велика и даже роскошна: во втором этаже, с двумя нависшими над шумной улицей балконами. Уличный шум так действовал на моих родителей, что они первое время не могли спать и заставляли окно на ночь деревянными щитами. Дом был угловой, через переулок виднелась большая церковь, и благовест явственно доносился в наши комнаты. Две большие комнаты были — гостиная и кабинет отца (отдельной столовой у нас никогда не бывало, не было и буфета; обедали за круглым столом, а посуду держали в шкафу). Направо от передней темный коридор вел в довольно просторную угловую комнату, а между ней и гостиной была комната проходная. Сначала меня поместили в эту проходную, но приехала тетя Наташа, возмутилась, и под ее давлением мне отвели крайнюю комнату, а в проходной устроили спальню моих родителей; дверь из спальни в мою комнату закрыли, так что я общался с гостиной через коридор. За стеною моей комнаты находилась квартира зубного врача Перуля, немца, со множеством дочерей и сыновей-подростков. Верхние квартиры в доме были занимаемы известными профессорами Янжулом²⁶ и Бугаевым²⁷: осели они здесь с самого построения дома и почитались старожилками.

Арбат в то время был тихой улицей, и если нас поразил шум, то это было лишь по сравнению с глухим переулком, где протекло мое первое детство. Магазинов было немного, все они наперечет. Прямо перед моим окном красовался

большой гастрономический магазин Выгодчикова. Были на Арбате две парикмахерские: Фельта и Брюно. Фельт был белокурый немец, а у Брюно сидели за прилавком брюнетки французского типа. Я особенно любил Фельта, кузина Маруся предпочитала Брюно. Недалеко от нас был магазинчик «писчебумажных принадлежностей» и игрушек, с зеленой вывеской, на которой было написано «Надежда». Содержала этот магазин интеллигентная дама, толстая и очень любезная: и я, и няня Таня не сомневались, что это ее зовут Надежда, хотя действительно ее звали Анна Ивановна. Часто она попадалась нам на Арбате в своей широкой шубе, и Таня важно шептала мне: «Надежда». Моя бабушка очень дружила с «Надеждой» и возила к ней меня и Марусю, покупая нам цветных бумаг, елочных херувимов и картонажей.

Конец Арбата к Смоленскому рынку был простонароднее и пестрее. Под окнами гостиной был колониальный магазин Горшкова, далее ситцевая лавка Торбина и Староносова, далеко к концу улицы виднелся колбасный магазин Зимины, и все упиралось в чайный магазин Грачева, а там уже шумел и пестрел Смоленский рынок, начиналась Азия. Наша приходская церковь стояла вся в магазинах, и наш приход почитался одним из самых богатых в Москве.

Любимым моим чтением сделался теперь Пушкин и «Илиада» Гомера. После лазурных снов волшебной «Одиссеи» я весь погрузился в золотой и кровавый мир «Илиады». Мне подарили «Илиаду» на Пасху и тогда же сшили мне новый бархатный костюм. Я любил встать пораньше, когда родители еще спали, и в новом костюме читать «Илиаду», закусывая пасхой. Яростный Ахилл, копьё и дротики, бои колесниц, нежный образ Афродиты среди грозных воинов — все это меня окончательно покорило. Хотелось все это осуществить, и к весне я приступил к военным похождениям.

Я решил образовать шайку разбойников на Пречистенском бульваре, куда ходил в сопровождении няни Тани. Она предоставляла мне полную свободу, усаживалась болтать с какой-нибудь нянькой на скамейке, а я рыскал по бульвару. Сначала дело шло плохо. Я пробовал приглашать в шайку всех встречных мальчиков, без различия возраста и костюма, но они по большей части уклонялись. Удалось все-таки уговорить двух-трех явиться на следующий день к двум часам с каким-нибудь оружием. В назначенный час я был на месте, но бульвар казался пуст. Я ходил в тоске, думая, что дело не выгорело... Но вот показался мальчик с ружьем, второй и третий... И вдруг посыпали со всех сторон: мальчики в синих матросках с ружьями и саблями, оборванцы с луками и стрелами, одним словом, все герои «Илиады». Почтенного вида, изящно одетый седой господин подошел к нам, держа за плечо маленького внука. Он деловито справился, где главнокомандующий, и с серьезным видом поручил мне мальчика. О, высокая минута! Мы составили шайку человек в десять. Войско есть, нужны враги и добыча. С каждым днем к нам приставали новые и новые солдаты. Наконец мы закрыли прием и объявили, что начнем теперь войну со всеми мальчиками, не принадлежащими к нашей шайке.

Началось сплошное безобразие. Несколько мальчиков я назначил генералами. Два брата-близнецы, сыновья доктора Ц., были поставлены во главе войска. Я воспылал к ним романтической привязанностью, помня о дружбе Патрокла с Ахиллом. Оба они были очень некрасивы, рыжеваты, одного роста и похожи друг на друга: один, Егор, — довольно тихий, другой, Алеша, — горячий и страстный. Своим Патроклом я считал Егора. Любил я еще одного бедного мальчика, который торговал на Арбатской площади пакетами и был вооружен самодельным луком. Не довольствуясь нападениями на мальчишек, мы стали нападать на всех взрослых гимназистов первой гимназии. Сидит гимназист на лавочке — мы подбегаем, дразним, изводим. Вспоминаю, что эти гимназисты относились к нам с большим терпением и благодушием: ведь каждый из них легко мог «уничтожить» все наше войско. У меня явилась мысль привлечь на нашу сторону дядю Владимира Федоровича Марконета. Он был учителем первой гимназии и обыкновенно в четвертом часу проплывал по бульвару в своей крылатке, весело шутя с каким-нибудь учителем. Когда нам случилось довести гимназиста до бешенства и он уже готов был с нами расправиться, я грозил ему дядей Марконетом. Оба дяди Марконеты были в восторге

от побоищ на Пречистенском бульваре, и Владимир Федорович уверял меня, что он на моей стороне против своих учеников и делает им за уроком строгие внушения. Дело у нас процветало около месяца. Чем же все кончилось? Чем обыкновенно кончаются подобные истории. Два хорошо одетых мальчика играли около кучи песку, при них находился преданный им оборванец. Я приказал немедленно уничтожить это скопище. Несколько солдат без труда атаковали и взяли в плен эту компанию, а так как оборванец пробовал защищать нарядных мальчиков, я велел его расстрелять под деревьями. В него палили песком из ружей, и песок безжалостно сыпался в его лохмотья. Генералы издевались над этими лохмотьями, отчего меня несколько коробило. Но расстрелянный оборванец стал в воинственную позу и закричал на меня: «Подойди-ка, подойди-ка ко мне». Я немедленно подошел и... когда я открыл глаза, не было ни оборванца, ни его нарядных товарищей. Генералы вели меня к скамейке, а на лбу у меня быстро вспухала огромная красная шишка. На этот день все боевые затеи были кончены. Я пришел домой в неприличном виде, слышал, как жестоко досталось Тане от мамы за мою шишку на лбу, и был глубоко возмущен такою несправедливостью. Не могла же Таня меня позорить. Не мог же я командовать войском под надзором няньки. И как я был ей благодарен, что во время боев она ступевывалась на другом конце бульвара.

На другой день пришло новое потрясающее известие. Мой любимец, первый генерал Егор, нещадно избит. Родители запретили мне и моим друзьям Ц. продолжать военные операции на Пречистенском бульваре. Но всего больше возмущал меня дядя Саша. Он заставлял меня без конца повторять перед каждым гостем историю моего поражения оборванцем, причем оборванец казался ему героем, молодцом, а я дураком, которому поделом влетело.

После избияния Егора я весь закипел: я вспоминал Патрокла и Ахилла. «Мстить. Мстить», — повторял я, шагая по комнате. Эти слова «Мстить, мстить» разлетелись по всем родственным домам. Розовое апрельское солнце озаряло квартиру, когда раздался звонок и я услышал в передней тревожный шепот бабушки: «Он хочет мстить» — и затем всеобщее шушуканье. Но мой отец оставался равнодушным и хранил упорное молчание. Наступил первый день Пасхи. Отец вышел к чайному столу и, поздравив меня с праздником, подал мне ружье и красную книжку с надписью «Кориолан»²⁸.

— Вот тебе чем мстить, — сказал он, подавая ружье, — а здесь ты прочтешь, как надо мстить, — закончил он, подавая «Кориолана».

Я был в восторге. Как всегда, мой непогрешимый папа принял мою сторону, все родные замолкли, а моя мстительность как-то потухла сама собой.

Пречистенский бульвар был для нас закрыт. Но я познакомился с семьей моих любимых генералов Ц. и ежедневно ходил к ним на позеленевший двор в одном из арбатских переулков. Военный зуд не давал нам покою, и мы нашли ему самый подлый исход. Мы стали втроем травить одного мальчика, жившего во дворе. Он был совсем не воинственным, носил черные чулочки и туфельки. Раздраженный нами, он поднял большой кирпич и угодил им в самую грудь Алеше Ц., так что тот подался всем телом назад. Но тут Алеша показал все свое геройство и ловкость. Устояв на ногах, он схватил очень маленький камешек и метко попал им своему врагу прямо в икру, обтянутую черным чулочком. Враг завизжал как ужаленный и, рыдая, запрыгал на одной ноге к своему крыльцу.

Конец апреля прошел у меня в романтической дружбе с братьями Ц. Мы говорили друг другу стихотворения, в восторге рассказывали о своих родителях. Мне издали они показывали толстого доктора, которого называли «папаном», и, когда уезжали на дачу в Петровско-Разумовское, обещали мне писать.

НОВЫЕ ТОВАРИЩИ И ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

I

Был канун Рождества Богородицы. Мы с Таней пришли в церковь до начала всенощной. В храме было пусто. Церковный сторож что-то делал у свечного

ящика. Но вот медленно вползает какой-то китаец в рясе. Узкие глаза, обрюзг-
лое лицо с бородавками, клоки седых волос на подбородке и оттопыренная гу-
ба. Тяжело ступая, он проползает в алтарь. Мы садимся в ожидании службы.
Вечернее солнце освещает образ Благовещения на царских воротах, сделанный
из сплошного золота.

Китаец оказался дьяконом. Когда началась служба, он вышел из царских
врат весь в серебре, расшитом розами и зелеными листьями, и был совсем по-
хож на идола из кумирни. В дрожащей руке он косо держал высокую свечу, и
со свечи капало. За ним шел прекрасный старец, высокий и несколько полный.
Под фиолетовой камилавкой волосы его были совсем серебряные. Он величаво
плыл, благоухая кадилом, и голос его был тихий и певучий. Роскошной показа-
лась мне эта Богородичная всенощная после убогих служб сельского храма. Се-
доватый дьячок с мясистым красным носом, похожий на мокрую мышь, очень
чувствительно читал шестопсалмие и присюсюкивал: «Яко ты еси помосесьник
мой».

Мы с Таней стали перед самым амвоном. Служба уже кончалась. Китаец
вышел говорить последнюю ектению, как вдруг взор его упал на меня. Он
взмахнул орарем и вместо молитв шипел мне какие-то угрозы. Потом повер-
нулся к алтарю и начал ектению. В чем было дело? Я этого никогда не узнал.
Но испуган я был здорово, и на другой день мать сама пошла со мной к обедне.
Я в ужасе указывал ей на дьякона и старался быть от него подальше. Мы сели в
ожидании обедни на скамейки «для чистой публики». Роскошно одетая полная
дама села рядом с нами, с улыбкой приветствуя мою мать. У дамы этой были
прекрасные голубые глаза, точеный нос, но она была далеко не первой молодос-
ти. Встреча с этой дамой, жившей, как я потом узнал, в одном доме с нами,
этажом выше, была началом многозначительного для меня знакомства.

Желание самому совершать богослужение во мне росло, пение тропаря и
кондака в епитрахили из газетной бумаги меня не удовлетворяло. Но вечером
мы собирались втроем в моей комнате: я, няня Таня, которая теперь стала гор-
ничной и больше не спала в моей комнате, и старая кухарка Марфа. Таня чи-
тала вслух жития святых и «Училище благочестия». Мой отец шутливо назы-
вал эти собрания «всенощными». Слово «всенощная» навело меня на мысль
присоединить к чтению некоторые обряды. Это очень не понравилось кухарке
Марфе, она покинула вечерние собрания и подолгу молилась у себя на кухне,
ужасаясь и трепеща перед адскими мучениями, о которых она умела очень яр-
ко рассказывать. Между прочим, она берегла свои остриженные ногти, чтобы
облегчить себе восхождение на стеклянную гору в аду: она намеревалась бро-
сать эти ногти по дороге и цепляться за них ногами. Вероятно, этому научил ее
старый друг раскольник, начитанный в Писании.

Бабушка всегда лучше всех угадывала мои желания и шла им навстречу. В
прошлом году она подарила мне сшитые ею самой шинели для моих деревян-
ных солдат. Теперь, утром в день моего рождения, как бы вы думали, что она
мне привезла? Целый ящик церковной утвари: красную бархатную епитрахиль
с золотыми крестами и такой же орарь и множество восковых свечей. Можно
было начинать облачаться, кадить, справлять все службы, но решительно за-
прещено совершать таинства и служить обедню. Дело стало за богослужебны-
ми книгами. На первых порах у меня был Марусин учебник богослужения, мо-
литвенник и подаренная отцом славянская Библия. Скоро отец подарил мне и
настоящий синенький служебник, и коричневую псалтирь с серебряной лирой
на переплете. Таково было скудное начало моего храма. Не хватало стихиря и
канонов, то есть именно того, в чем особенно рельефно выступает физиономия
каждого праздника. Здесь мне помогали маленькие книжки — о двенадцятих
праздниках, где было приложено несколько стихир и канонов. Но в дни вели-
ких святых я был в безвыходном положении. Помню, как перед днем Михаила
Архангела я искал в «Сотруднике школ» книжку «Служба Михаилу Арханге-
лу», но такой книги совсем не существовало, и вопрос мой только раздражал
приказчиков. В Чудовом монастыре мне удалось купить «Канон Андрея Крит-
ского», и сторож храма подарил мне несколько кусков росного ладана, вынув
их из своего кармана. На Смоленском рынке я купил «Ирмологий». О существ-

вовании синодальной лавки на Никольской я не знал, а ведь это очень упростило бы положение. Но, может быть, родители намеренно скрывали от меня этот источник, боясь, что я потребую покупки всего круга церковных служб. Нашу квартиру я обратил в храм. Кабинет отца был главным алтарем, дверь из его кабинета в гостиную — царскими дверями, перед этой дверью кстати висела занавеска на кольцах, которую можно было отдергивать. Темный коридор и моя комната были сделаны приделами, где служились будничные службы. Отец, работая за письменным столом, никогда не мешал мне служить перед его носом, требуя только, чтобы служба совершалась вполголоса. Иногда среди всеощной в большом храме, то есть в кабинете отца, раздавался звонок и приходили гости. Я в отчаянии хватал облачения, свечи и книги и скрывался в свою комнату. Служба обыкновенно в таких случаях оставалась незаконченной, так как я не находил возможным служить перед большим праздником в приделе...

Опасаясь развития во мне чрезмерной экзатичности, родители запрещали мне по будням ходить к ранней обедне, и даже в праздники я имел право ходить в церковь только раз: или к обедне, или ко всеощной, — и конечно я выбирал всеощную, так как в ней больше движения, стихир и канонов, меняющихся каждый праздник. Сначала я завел обычай перед всеощной во храме служить ее предварительно у себя на дому, но отец нашел, что я переутомляюсь, и посоветовал служить всеощную на дому в другие дни, так что я, побывав в субботу вечером в церкви, служил у себя субботнюю всеощную на другой день.

Ризница нашего приходского храма была очень богата. По Богородичным праздникам служили в серебряных ризах с розами и зелеными листьями (теперь такие ризы совсем вышли из употребления и дотлевают в ризницах старых московских церквей). По воскресеньям служили в золотых, несколько поношенных ризах. На Рождество — в светло-золотых, сиявших как солнце; на Николин день — в темно-золотых, отливавших апельсинным цветом. В канун Рождества надевали серебряные ризы, блестящие как снег и сверкавшие голубыми искрами; в Крещение — литые серебряные ризы, сиявшие как зеркало; в царские дни — красные бархатные; в праздники Креста — синие; в воскресенье Великого Поста — зеленые. Но всего более увлекали меня высокие свечи, которые носил дьякон. В надовражинском храме не было дьякона, не было и высоких свечей, а только одна на весь год толстая свеча в тяжелом подсвечнике, которую, переваливаясь, таскал мужик. В московском храме была целая батарея свечей, которые, как я узнал потом, стояли за жертвенником, воткнутые в отверстие доски. Обычно дьякон носил свечу, перевитую золотым узором. Великим Постом свечи были сплошь белые, безо всякого золота, в пасхальное время — красные. Эти свечи заострялись кверху и казались мне райскими лилиями. Всему этому великолепию я подражал по мере сил. Бабушка ближняя дарила мне иногда полтинники, и я их сейчас же тратил на закупку свечей: белых, белых с золотом, красных и зеленых. Я умножал епитрахили, покупал дешевый ситец и галуны и отдавал их шить обыкновенно тете Саше.

Первый Великий Пост в нашем храме оставил во мне неизгладимое впечатление. Все служители были в черном. В храме была какая-то таинственная тишина и сосредоточенность. Посредине возвышался черный аналой. Под скорбное пение «Помощник и покровитель» священник в черной камилавке выплывал из мрачно закрытого алтаря и начинал чтение канона Андрея Критского. Я мало понимал тогда в сложной символике этого канона, но он меня потрясал и зачаровывал. Наш священник читал его особенно певуче и проникновенно.

На Страстной я начал особенно усердно посещать громадные службы, но к середине недели разболелся. В великую пятницу я уже не пошел вечером в церковь, а читал службу дома, зажегши свечи. Что-то громадное, какая-то сияющая бездна, полная ужаса и света, раскрывалась передо мною из канона «Волною морскою»: лоб мой горел, температура подымалась к 39-ти, звон из соседних церквей смутно доносился... Ночь я провел в полубреду и слышал, как перед рассветом звонили колокола, и думал: «Вот теперь несут плащани-

цу»... На другой день я уже поправился, но не выходил из дома и не был у пасхальной службы.

Все больше разгоралось во мне желание свести знакомство с нашим причтом и проникнуть в алтарь. Когда церковный двор зазеленел, я просил у родителей позволение ходить туда на прогулку. Они нашли, что для этого нужно разрешение батюшки, и к великой для меня радости в один апрельский вечерок мать пошла со мной в одноэтажный дом батюшки, стоявший в глубине церковного двора. Нам открыл дверь мужик в белом фартуке.

— Дома батюшка?

— Батюшка отдыхает.

— А можно видеть матушку?

— Можно.

К нам навстречу вышла, любезно изгибаясь, приземистая матушка с серыми волосами, карими глазками, круглым носиком и сдобным голосом. Она не только позволила мне гулять на церковном дворе, но сейчас же позвала своего сына и вверила меня его попечению. Она высказывала радость, что у Коли²⁹ будет товарищ:

— А то, за недостатком благородных на нашем монастыре, Коля принужден дружить с сыном трапезника.

С благоговением смотря на батюшкиного сына, я едва верил чести быть его товарищем и проникнуть, так сказать, к самому сердцу нашего храма. Коля был старше меня на год: я часто видел его выносящим из алтаря серебряное блюдо с просвирками. Был он очень носатый, с маленькими серыми глазками, смотревшими сосредоточенно. С первого же раза я в смущении понял, что наши с ним интересы и вкусы совсем противоположны. Коля любил механику и химию, читал только Жюль Верна и Майна Рида. Он сразу принял со мной покровительственный тон и начал объяснять совершенно новые для меня вещи. Слова «трубка», «поршень» не сходили у него с языка. При этом он заикался и долго, не находя слова, твердил: «Берем это... это... это... поршень»... Я слушал, старался понимать и только твердил: «Да, да, да».

Первое впечатление Коли от меня, как я узнал потом от его сестры, было самое отрицательное.

— Понравился тебе новый товарищ? — спрашивала его сестра.

Коля сморщился и только проговорил:

— Девочка.

Но всего более поразило меня в Коле то, что, интересуясь машинами и всякими экстрактами, он всего менее интересовался своим папашей и тем, что делалось в церкви. К папаше он относился столь холодно, что когда мы раз ставили баллы знакомым, он поставил почтенному протоиерею 3 с минусом. Батюшка редко выходил из своего кабинета, а для меня Коля был прежде всего мостом к батюшке. Но как-никак мое полное смирение, готовность поучаться и проникнуть в неведомые для меня области расположили Колю ко мне: он сделал из меня покорного раба и ученика и скоро очень меня полюбил. Церковный двор зеленел, и мы обедались липовыми почками. На несколько лет я весь принадлежал церковному двору и проводил в нем каждый день время от завтрака до обеда.

Церковный двор, или, как называли его обитатели, «монастырь», был целым поселком. Дом батюшки с мезонином был окружен тенистым садом, куда никто не ходил, кроме семьи священника. Но любимым нашим местом был закоулочек в конце сада, за забором, куда сваливали кочерыжки, корки и лили помои. В этом закоулке мы чувствовали себя царями. Серебряный, пухлый, изливавший благость и тишину, о. Василий редко сам гулял в саду. Иногда только он со старшим сыном таскал бревна на плечах и тогда казался мне подобен святому с иконы. Ближе к воротам находился чистый домик старшего дьячка Митрильича. Это было лицо весьма солидное и уважаемое: молитвы он читал так, что старушки плакали, а осенью являлся к батюшке солить огурцы и капусту. Человек это был исключительно жестокий и меня раз и навсегда возненавидел.

Кругом храма был большой сад, и в глубине его жили два самые бедные члена причта: ранний батюшка со множеством дочерей, разводивший китайские розы и полувашивший ровно 30 рублей в месяц, служа ежедневно ранние обедни. Он был худенький, востроносый, с жидкими косичками седых волос. За воскресной обедней он все время вынимал просвирки, стоя перед жертвенником, а за всенощной под большие праздники робко крался из алтаря с тонкой кисточкой в руке, чтобы сменить отца Василия, уставшего помазывать и подставлять для лобзания свою пухлую руку. Там же в саду был бедный дом трапезника, чернородого, робкого человека, который никогда не надевал стихаря, ничего не читал и только пронзительно-тонким голосом возглашал: «Изведи из темницы душу мою», «Хвалите Господа вси языци». Получал трапезник, вероятно, еще меньше тридцати рублей в месяц. За батюшкиным домом был дом дьякона, и китайское лицо иногда грозно смотрело на меня из окна. Во дворе дьяконовского дома жили городовые. Далее следовал дом второго дьячка, Николая Николаевича. Это был человек маленький, юркий, с шапкой курчавых волос, совсем из другого теста, чем Митрильич. Митрильич был человек безупречный и солидный, Николай Николаевич — несколько либерал, почитывающий газеты. Пьян он был почти всегда, лицо красное, гланды вздуты, звериные глазки дико бегают. Голос у него был хриплый, и он постоянно на клиросе сосал мятные карамельки. Во всем его покривившемся доме, в его семье чувствовалось глубокое расстройство и неблагополучие. Двор был грязный и подозрительный, все соседние собаки избирали двор Николая Николаевича для самого неприличного времяпрепровождения. Ко мне Николай Николаевич относился довольно покровительственно.

Итак, весь апрель, до отъезда в деревню, был озаменован для меня сближением с «монастырем». Конечно, я скоро познакомился с сыном трапезника, общество которого не нравилось матушке. Ваня был на несколько лет старше нас. Принадлежит к обездоленной части причта, он был уже несколько озлоблен и завистлив и видел в Коле прежде всего батюшкиного сынка, а позлословить насчет батюшки было его любимой темой. Был он развитее товарищей и гораздо романтичнее, чем Коля. Эта низшая часть причта — трапезники, ранний батюшка и отчасти дьячок Николай Николаевич чувствовали себя со мной как со своим, с отщепенцем церковной аристократии, изгоем на «монастыре», где тон задавал Митрильич. Сближала меня с Ваней и любовь к побоищам, к которым Коля оставался совершенно равнодушен, уткнувшись в свою химию. Ваня был несколько фатоват, насмешлив и самоуверен, я видел в нем героя, не признанного и оскорбленного Митрильичем, и стремился подражать ему во всех манерах.

Наступило время отъезда в деревню. Я уезжал, весь охваченный миром церковного двора, и просил Колю писать мне. У него была сестра, старше его на несколько лет, полная и черноглазая. Хотя у меня не было к ней никакого чувства, но я решил, что влюбитесь в дочь протоиерея и лелеять брачные мечты — необходимо входит в мои клерикальные обязанности, и, приехав в Дедово, вырезал ее имя на коре дерева. Мы начали с Марусей издавать журнал. Маруся писала миленькие, гладенькие повести из идиллической жизни сельского духовенства, с кузовками, грибами и желтыми купальницами. Я написал рассказ, начинавшийся словами:

«Я был женат на дочери священника».

Далее я описывал моего шурина Колю в виде болезненного молодого человека, который умирал на третьей странице. Отец Василий «задыхающимся от слез голосом» произносил: «Ныне отпускающи»; начиналось чтение псалтыря над умершим, и я выписывал подряд псалом за псалмом. Приступил я и к большому роману под названием «Бешеные страсти». Начинаясь он так: «Красавица полудежала на кушетке. Взошла горничная и доложила: — Барыня, Владимир Владимирович пришли». На этом все кончалось, очевидно за недостатком жизненного опыта. Стихи я писал только клерикальные и гробовые, например:

Тело в землю опустили
И землею завалили.

Плач и стон —
Со всех сторон.

Или:

Петров день

Блещут куполы церквей,
Народ из храма вон выходит.
Священник по амвону ходит
С кадильницей в руках.
Заутрени к концу приходит,
Уже священник меньше ходит
С кадильницей в руках.

Нахожу теперь, что в этом стихотворении есть два верных наблюдения: одно, что к концу заутрени священник «меньше ходит», а другое, что православный наш народ имеет странную привычку «выходить» из храма, когда священник ходит с кадильницей, то есть в самые торжественные моменты.

Я заказал Арсению два стола: престол и жертвенник, накрыл их глаzetом и совершал ежедневное служение. Иногда я совершал его на балконе, и если батюшка грохотал в телеге мимо усадьбы, быстро спасался в дом, захватив все вещи. От батюшки тщательно скрывал мои служения и всегда боялся, что он спросит меня об этом на исповеди. Когда тетя Саша шила мне на машинке новую епитрахиль и являлась матушка с визитом, ситец мгновенно прятался. В то время по проселочным дорогам странствовали так называемые «князья» — татары с коробами ситца. Когда князь раскладывал на ступенях свои товары, я спешил туда, в толпу горничных и девчонок, чтобы купить себе новый материал для ризы. Маруся насмешливо мне кивала и говорила: «Бертальда³⁰. Девочка ты», — хотя ситец был мне нужен совсем не для женского дела.

Марусе очень хотелось кадить и служить, но родители ей запрещали. Перед ладаном у дяди Вити был панический страх, как перед запахом мертвецов. Но раз, когда Маруся была одна дома, я принес ей ладану и соблазнил подыметь: вся комната наполнилась фимиамом. Вернувшийся дядя Витя раскричался. Ворча и ругаясь, он распахнул все окна. «Ты мне скоро сюда покойника притащишь», — кричал он на Марусю.

Маруся принялась плакать и, капризно пожимаясь от холода, воскликнула:

— Папа, да мне холодно.

— Убирайся на гумно, если тебе холодно, — рявкнул дядя Витя.

«Гумно» было каким-то умпостигаемым местом, куда дядя Витя отправлял всех, когда был в гневе. В имении давно не было ни амбаров, ни гумна, а на том месте, где это когда-то было, расстилалось зеленое поле.

Долго ждал я письма от Коли. Раз тетя Саша кричит: «Тебе письмо, письмо». Я думаю: от Коли, бегу, распечатаваю, оказалось — от братьев Ц. Какое разочарование. Братья Ц. давно вышли из моды. Наконец к середине лета пришло письмо и от Коли. Оно было на двух страницах и все состояло из изложения какого-то рецепта.

Лучшими часами для меня были посещения храма по воскресеньям. Родители не позволяли мне вставать раньше семи и требовали, чтобы я одевался как можно тише, чтобы их не разбудить. Вот пробило семь, я радостно вскакиваю и тороплюсь, чтобы застать хоть кончик заутрени. В храме еще пусто, только дочери священника стоят рядом на коврике. Под высоким голубым куполом тепло и прохладно. Зеленые березы шелестят о стекла. Отец Иоаким служит в поношенных коричневых ризах. Дьячок, вытаращив глаза и поднимая свои белесоватые брови, так что весь его лоб покрывается морщинами, гудит:

«Отверзу уста моя и наполнятся духа».

Иногда в приделе стоит детский гробик, и над ним теплится свечка, и мне немного жутко.

В Петровки я приступил к говенью. В течение недели я усердно справлял службы и перечитывал четыре Евангелия. Но во время этого чтения со мной бывали тяжелые состояния. Вдруг образ Христа в Евангелии Матфея начинал казаться мне злобным и грозным, я не мог любить этого Христа и успокаивался только на нежном и светлом Евангелии Иоанна. Во мне пробуждалось желание и самому исповедовать. Я бродил со свернутой епитрахилью по поляне, улавливал где-нибудь Настьку, спрашивал, почитает ли она отца и мать, быстро накрывал епитрахилью и отпускал ей грехи. Из Настюшки мне удалось сделать своего дьячка, и я облекал ее в зеленый стихарь. Иногда я служил всенощно на воздухе, поставив аналой под елями. Сквозь черные ели краснела заря, жужжали насекомые, в саду поднимался туман. Пробежавшая вдали Настюшка, бывало, крикнет:

— Как ты долго сегодня служишь!

И опять все тихо, и медленно тянется всенощная.

Но больше всего любил я молиться в грозу. Когда подымался ветер, срывал и крутил дубовые листья, я стремительно бежал на проезжую дорогу, в пустое поле. Надо мной все чернело и клубилось, гром гремел, мерцала молния, пыль крутилась по дороге, а я, подымая руки в небо, шептал: «Иже херувимы»... Первые капли дождя прогоняли меня в усадьбу, я проводил всю грозу на большом балконе и каждому раскату грома, каждой молнии отвечал особым, предназначенным для того молитвенным стихом. Гроза стихала, тучи расходились, лучезарная радуга опоясывала небо, и молитва принимала иной, радостно-умиленный характер.

Недостаток литургических книг ощущался все мучительней. Я начал сам сочинять службы некоторым святым, придумывая всякие риторические украшения. Так, в службе митрополиту Алексею я называл Москву его третьей матерью:

«Первая бо мать твоя — твоя родная мать; вторая же мати — земля Российская, а третья убо мати — град твой Москва».

Родные начинали коситься на мой образ жизни и мыслей. Дядя Саша трунил, дядя Витя наставительно говорил: «Читай Робинзона».

Впрочем, дядя Саша вдруг сделался религиозен. Он пожелал исповедаться и причаститься, постился всю неделю и с мучением для себя воздерживался от курения перед причастием. В конце августа Марконеты праздновали свою серебряную свадьбу. Была заказана торжественная обедня в Надвразном. Дядя Саша сидел в своем кресле посреди храма, окруженный родными. Священник начал возглашать многолетие супругам, но неожиданно сбился и вместо «и сохрани их на многая лета» начал: «И сотвори им»... и едва не dokonчил: «вечную память». Не знаю, испугало ли кого-нибудь это происшествие, может быть — прислуги шептались о нем на кухне. Что касается до самого дяди Саши, то он поднял глаза в купол и, казалось, едва удерживался от смеха. За обедом все много смеялись над ошибкой священника.

Когда родственники посещали храм, я чувствовал свое глубокое-глубокое превосходство и легкое к ним презрение. Я переходил в белом стихаре с клироса на клирос, снимал нагар со свечей, раздувал кадило, иногда подымал глаза в небо, и стоявшие внизу родные казались мне жалкими дилетантами. Бабушка, бывшая, по меткому слову отца Трифона³¹, до известной степени «евангеличкой» и даже немного «вольтерианкой», была недовольна моим настроением, а дядя Витя только рукой махал и иногда со своей беззлобной иронией отзывался обо мне:

— Этот совсем готов.

Я слышал разговоры о необходимости начать меня учить латинскому языку. Это подымало во мне гордость и чувство превосходства над тетками, не знающими латыни. С осени решено было пригласить ко мне учителя. И вот в один солнечный сентябрьский вечер, когда мы только что кончили обед и на столе лежали арбузные корки, раздался звонок и в нашу московскую гостиную, всю завешенную картинами и изящными драпри, вошел высокий юноша. Глаза его искали иконы, он перекрестился. У моего учителя было румяное и свежее лицо, голубые глаза и русые волосы. Он был одет во франтоватый студенческий

сюрчук с золотыми пуговицами. Голову держал высоко, подбородок его подпирали туго накрахмаленные воротнички, и сквозь них виднелась растительность на шее. Взгляд его был ясный и пронизательный.

Учитель мой, Василий Константинович, должен был обучать меня по вечерам, по два часа, четыре раза в неделю. Субботние вечера я просил оставить свободными для всенощной. Главным предметом у нас была латынь, кроме того мы занимались математикой, которую я сразу возненавидел, русским и географией. Скоро мы очень сблизились с Василием Константиновичем. В присутствии моего отца, бывшего его учителем в гимназии, он несколько стеснялся; вдвоем со мною был очень прост и весел. Два года мы проводили вдвоем с ним вечера, от 6 до 8 вечера. Поражал он меня своею аккуратностью и чистотой. Он следил, чтобы ногти у меня не были черные, действуя в таких случаях насмешкой, рекомендовал мне особое душистое мыло. Василий Константинович был очень набожный человек и консерватор: о студенческих забастовках говорил с презрением. При этом он был большой народник: из писателей предпочитал Достоевского и Некрасова, узнав, что я читаю Диккенса, сказал, что совсем не любит этого писателя. В начале моих занятий с новым учителем я совершил первый большой грех в моей жизни, оставивший в моей памяти неизгладимое впечатление. Учитель задал мне сверх обычного урока повторять к каждому разу по одному старому параграфу латинских слов. Я забыл об этом, а он меня не спрашивал. Но раз Василий Константинович неожиданно задает мне вопрос:

— Ну, какой же параграф вы повторяли сегодня?

Я растерялся и мгновенно солгал:

— Я всякий раз все параграфы повторял.

Пронизательно глядя мне прямо в глаза, Василий Константинович спрашивает:

— Верно это?

Я, чувствуя, что все глубже тону в трясине, отвечаю:

— Верно.

Василий Константинович не проверяет меня больше, а с чуть насмешливой улыбкой говорит:

— Ну, к следующему разу не повторяйте все, а повторите параграф 8-й.

Урок продолжается. Я почти ничего не слышу, лицо у меня горит, перо бесцельно скользит по бумаге: Василий Константинович следит за мной и улыбается.

На другой день было мое рождение.

«Боже мой, что со мной», — думал я, просыпаясь.

Никакой радости, никакого праздника. Я бесповоротно упал в какую-то яму, нет больше радости, нет свободы, нет и не может быть: грех связал меня. Долго я мучился и до сих пор не понимаю, почему не пришло мне в голову облегчить душу чистосердечным признанием и раскаянием.

Скоро я заметил, что мой учитель особенно любит приводить примеры из Священного Писания. Когда мы проходили сокращенные придаточные предложения, Василий Константинович принес мне свои собственные гимназические тетрадки, очень чистенькие и аккуратные, и первым примером там стояло: «Подойдя к ящику, куда клали деньги на храм, Христос увидел вдовицу» — и т. д. Василий Константинович помогал бедным и был членом попечительства. Узнав, что у Тани нарыв, он принес ей целительной мази и, когда я возвращал ему баночку, покачав головой, заметил:

— Однако как она мало взяла.

Это внимание к Тане, которую я считал несправедливо гонимой в нашем доме, меня особенно к нему расположило.

Так проводили мы с Василием Константиновичем вечера в течение двух лет.

II

Та полная и красивая дама, которую мы повстречали в церкви, была женою профессора Николая Васильевича Бугаева³². Они жили в нашем доме, в третьем этаже, но не над нами, а над квартирой доктора Перуля. (Во второй

симфонии Андрея Белого есть фраза, озадачившая многих читателей: «В нижнем этаже кому-то вырвали зуб») Мадам Бугаева, пышно одетая и благоухающая духами Брокера, иногда заходила к нам. Моя мать восхищалась ее наружностью и пожелала написать ее портрет. Мадам Бугаева много рассказывала нам о своем единственном сыне Боре, обучавшемся в пятом классе Поливановской гимназии. Однажды она передала мне приглашение от своего сына. Я не без волнения поднялся на верхний этаж и долго не решался позвонить. Борю я никогда не встречал на лестнице, но раз я видел, как у нашего подъезда соскочил, весь красный от мороза, приземистый человек с брюшком и, распахнув шубу, рылся в кармане, а очки его блестели. Несомненно, это был один из «верхних профессоров». Я колебался только: кто из двух — Янжул или Бугаев.

Но Янжул как будто был громаднее и толще и похож на буйвола. Таня подтвердила, что господин, соскочивший с извозчика, был Бугаев.

Итак, я стоял перед дверью Бугаевых. Из квартиры доносилось собачье тьяканье. Наконец я собрался с духом и позвонил. Под ноги мне кинулась отвратительная моська, а из столовой вышел мальчик с шапкой курчавых волос и в высоких сапогах. Он был прекрасен. Несмотря на высокие сапоги, и в его лице, и во всех движениях была разлита какая-то женственная нежность и грация. Милая улыбка оживляла его небольшой, изящно очерченный рот и играла в серых, девственно-восторженных глазах, опущенных длинными ресницами. Голос у него был мягкий, грудной и немного шипящий, совсем без жестких, мужских нот. Говорил он торопливо, захлебываясь от вежливости и деликатности. По чертам он был, собственно, очень похож на мать, которая считалась красавицей. Но у нее была холодная и грубоватая красота, тогда как лицо Бори было все зажжено мыслью, нежностью, энтузиазмом. Подлинный «вундеркинд» стоял передо мною, и он был старше меня на пять лет. Мне оставалось только восхищаться, благоговеть и тянуться вверх. Разговор завязался сразу. Боря говорил, я слушал. И все, что он рассказывал, было сказочно интересно: новый мир открывался передо мною и покорял меня. Сначала речь шла только о Поливановской гимназии и об учителях. Боря предупреждал меня о трудностях греческой грамматики, и особенно глаголов на *ми*.

«Латинская грамматика по сравнению с греческой покажется вам совсем совсем маленькой», — воскликнул Боря. Он был очень прилежным и влюбленным в науки учеником и каждый день проводил за приготовлением уроков около четырех или даже пяти часов. Начитанность его меня поразила. Он не только проглотил всю литературу, которую читают подростки, от Жюль Верна до Вальтера Скотта и Диккенса, но знал множество мелких английских романистов и всю беллетристику, печатавшуюся в русских журналах. В пятом классе гимназии он увлекался Верленом, Бодлером и особенно Бальмонтом. Квартира Бугаевых была значительно меньше нашей. Боря жил в ней с рождения. За столовой, где помещалось пианино, была гостиная, и в той же комнате, за ширмой, спала Александра Дмитриевна Бугаева. Из передней через темный коридорчик мы прошли в маленькую комнату Бори. За ней находился довольно просторный кабинет профессора математики.

После чая мы занялись игрой в солдат. Система Бори сильно отличалась от моей. У него были только оловянные солдаты. Он строил их в два полка и потом расстреливал шаром, скомканным из бумаги. По коридору иногда проходил его папа, Николай Васильевич Бугаев.

Боря с каждой минутой все более и более мне нравился. Мы ели тающий во рту шоколад «Миньон», играли в прятки, к чему привлекли толстую кормилицу Бори, а в заключение новый друг принялся рассказывать мне страшные истории. Видя, что рассказы производят на меня сильное впечатление, он сыпал историю за историей, и все страшнее и страшнее. Началось с привидения мертвой девушки, являвшейся родным с восковым крестом в руке; кончилось громадной и запутанной историей Тристана, где ужас громоздился на ужасе и описывались потаенные комнаты замка с окровавленными мертвецами на постелях. Эту историю Боря явно импровизировал и всегда рассказывал ее с новыми ужасными подробностями³³

Я вышел от Бугаевых и очарованный и утраченный. Долго, улегшись в постель, думал я о своем новом друге. Через несколько дней он в послеобеденное время явился к нам с визитом. Впоследствии Боря рассказывал мне, что он также долго стоял перед дверью, прежде чем позвонить, и даже подумывал обратиться в бегство³⁴. Матери моей он сразу очень понравился; отец на первый раз нашел его слишком вылощенным и неестественно вежливым и говорил: «Ему надо поступить в пажецкий корпус». Вообще мой отец из посещавших меня товарищей в то время явно предпочитал Колю Маркова; мать, почти совсем не говорившая с Колей, обожала Борю. На Рождество была очень веселая елка, на которую мы пригласили Борю, Колю и трапезникова сына Ваню, вообще не бывавшего у нас в доме. Мы изображали ведьм: я ездил на Ване, Коля — на Боре. А дядя Саша Марконет весело гикал. На святках у меня еще была неожиданная радость. Меня вызвали на кухню, и там оказался сам Григорий Арендатель³⁵, в большом тулупе, с сыном Егором. Егор остался у нас на праздники, и я забывал для него всех друзей. Мы рядились в картонные латы: я был Дюнуа, Егор — Дю-Шапель. Вместе с деревенским приятелем мы ходили с визитами по всем родным. Няне Тане, конечно, также было весьма приятно общество Егора.

III

Весну и лето наша семья, как обычно, жила в Дедове. В августе отец подзвал меня к окну и сообщил мне, что он с мамой уезжает на два осенних месяца в Италию, а я буду жить с бабушкой Александрой Григорьевной. Я испугался, что меня поместят в дом дяди Вити, но оказалось, что бабушка переедет в нашу квартиру и мы будем жить с ней вдвоем. Это показалось мне довольно заманчиво. В первых числах сентября родители мои уехали, а бабушка водворилась в спальне моей матери. Прощаясь с родителями, я порядочно загрустил, но пришел Василий Константинович и развлек меня чтением латинского Геродота. К вечернему чаю пришел дядя Витя. «Что же, нравится тебе Геродот?» — спросил он, делая гримасу. «Нет, нет», — поспешил я сказать, чтобы не уронить себя в глазах дяди Вити.

Потекла наша жизнь с бабушкой, однообразие которой нарушалось частыми приходами Бориса и Коли. С Борисом проводили вдвоем каждый вечер: или он приходил ко мне, или присылал записку, которую неизменно подписывал: «готовый к услугам Борис Бугаев», — и тогда я подымался к нему в третий этаж. Бабушка обожала Бориса и подолгу рассказывала ему истории из прошлого, которые он внимательно слушал. К Коле, как к сыну священника и к химику, бабушка относилась довольно презрительно и давала ему односложные реплики.

Сравнивая наш быт с бытом соседей — Бугаевых, я смутно тогда сознавал, что наши отцы принадлежат к разному кругу. У Бугаевых получались «Московские ведомости», у нас «Русские ведомости»³⁶. Николай Васильевич принадлежал к консерваторам и националистам: в нашей квартире казалось ему очень подозрительно, так как дух дяди Володи, известного либерала, западника и «католика», в ней царствовал. Боря скоро стал поддавать под влияние моего отца, и это возбуждало глухой протест в Николае Васильевиче, питавшем панический страх перед всем, что пахло «романтизмом».

Сам он был математик, и жизнь его была построена математически точно. К четырем часам он приезжал из Университета и садился за обед; часок отдыхал после еды, затем работал, читал книги по географии или философии и к 8-ми часам выходил к чаю, часто принося с собой в столовую толстый том и отмечая ногтем то место, где он остановился. За чаем он любил предаваться шутству. Ставил в тупик горничную, важным тоном задавая ей вопрос:

— Поля, вы уважаете Платона?

Горничная краснеет, потупляется. Николай Васильевич заливается визгливым хохотом и кричит:

— Что? Что она говорит? Нет, не уважает. Ну, а может быть, Аристотеля?

Иногда его остроты принимали непристойный характер, вращаясь около вопросов пищеварения. Жена его, Александра Дмитриевна, с негодованием восклицала в таких случаях:

— Что это, Николай Васильевич!

А Боря густо краснел и принужденно смеялся.

Погруженный в теорию чисел, Бугаев иногда впадал в какое-то мистическое иступление. Вдруг он начинал изучать Апокалипсис, приносил его за чайный стол и, впиваясь в страницу маленькими черными глазками и подняв палец, возглашал:

— «И ангелу Филадельфийской церкви напиши».

После чая Николай Васильевич неизменно уезжал в клуб и возвращался домой очень поздно, часу во втором. Жизнь Александры Дмитриевны протекала совершенно независимо от мужа. Это была одна из известных прежде московских красавиц. Николай Васильевич вступил с ней в брак по соображениям теоретическим. Являясь сам воплощенным интеллектом, Николай Васильевич решил, что жена его должна быть противоположностью, то есть воплощением телесной красоты.

— Я сделаю предложение той барышне, у которой найду идеальный нос, — объявил Николай Васильевич.

Александра Дмитриевна была молодая красавица из разорившейся семьи, моложе Бугаева лет на двадцать. Когда он ей сделал предложение — она отказала. Николай Васильевич несколько лет занимался теорией чисел за границей, и, вернувшись, повторил свое предложение. Тронутая его постоянством, молодая красавица изъявила согласие. Но что за пыткой для обоих оказался этот брак. Если Аполлон и Дионис заключили когда-то в Дельфах плодотворный мир, то Николай Васильевич оказался совершенно раздавлен тем вакхическим вихрем, который принесла в дом молодая супруга, вся увлеченная танцами, музыкой, Фигнером³⁷. Постепенно Николай Васильевич совершенно изолировался в своем кабинете, а накопившуюся горечь изливал в пронзительных криках по адресу либералов и западников, мечтателей и поэтов, а главное, «жидов». Жиды были идефикс Бугаева. Он всегда имел при себе записную книжку, куда вносил возмутительные факты из жизни Израиля и разные обиды, чинимые русским за границей. После жидов он больше всего ненавидел англичан.

— Надо разгромить Лондон, — кричал он, бегая по комнате.

Подрастающий Боря был весь пропитан русским национализмом, и вот он попадает в наш дом, где моя мать ежедневно прочитывает по английскому роману, дядя Володя приносит смешанный запах ладана, Ватикана и «Вестника Европы», а мой отец работает над Ламменэ и Ренаном³⁸. Но еще более, чем русским бытом, квартира Бугаевых была насыщена духом Индии. Вся семья зачитывалась Блавацкой³⁹, Боря посвящал меня в тайны йогизма и спиритизма, учил устраивать фокусы и китайские тени. Если я был всегда неуклюжим мальчиком, то Боря был прекрасный танцор, фокусник и скоро стал брать уроки фехтования. Он умел держать палку на носу, и сам профессор, задрал голову, пытался подражать сыну. Скоро мы с Борей занялись представлением китайских теней. Мы повесили занавеску в его комнате и изображали на тенях сцену: странник и черт. Я в роли странника клал на пол дорожную сумку, ложился и засыпал: надо мной подымалась тень Бори и делала страшные жесты.

Скоро мы перешли к театральным представлениям в нашем доме⁴⁰. Осенью, когда мои родители были за границей, мы сыграли сцену из «Макбета» после убийства Дункана: Макбет был Боря, а я — леди Макбет. Затем следовала сцена явления мертвой графини Герману, по либретто «Пиковой дамы». Спектакль этот был очень плох, и играли мы в моем темном коридоре, почти без публики. Потом я пригласил с церковного двора Колю и Ваню, и мы играли сцену трех ведьм. Боря учил нас жестикуляции, сам великолепно играл третью ведьму и, поднявши палец и весь съезжившись, с испуганными глазами шептал: «Леший свистнул...» — на что Коля подавал реплику: «Кот мяуканул». Вообще Коля был совсем неспособен к игре, но он был единственным третьим актером, и когда матушка не пускала его на репетицию, наступало полное расстройство. Грандиозный спектакль затевался на Рождество. Боря подал мне мысль инсце-

нировать «Капитанскую дочь» Пушкина. Первый и третий акты он написал сам, второй и четвертый поручил мне. Первый акт был в доме Гриневых, второй — у капитана Миронова, третий — в ставке Пугачева, четвертый — во дворце Екатерины. Актеров не хватало: я играл мать Гринева в первом действии, капитана Миронова во втором, разбойника Хлопушу в третьем и Потемкина в четвертом. Я был тогда увлечен «Видением мурзы»⁴¹, которое слышал в превосходном чтении Южина⁴², и вставил от себя роль Потемкина в последний акт. Перед приходом Марьи Ивановны Потемкин разговаривает с Екатериной и сыплет ей комплимент за комплиментом. На роль Екатерины мы пригласили кузину Марусю.

В октябре начались считки и репетиции. Сначала роль Потемкина дали Коле, но у него ничего не выходило. По вечерам из моей комнаты в гостиную доносились звуки заикающегося Колиного голоса, пытавшегося воспроизводить сочиненные мною комплименты великолепного князя Тавриды, а бабушка в гостиной, под лампой, насмешливо смотрела и покачивала головой.

О, как хорошо прожили мы с бабушкой два месяца. В первые недели по вечерам на меня находила иногда тоска по родителям и страх за их судьбу, но бабушка хорошо умела разогнать эти страхи и печальные мысли. Бабушка читала со мной по утрам французские книги Сегюр, мы прочли «Memoires d'un âne» и «Un bon petit diable»⁴³. На весь вечер почти ежедневно приходил Боря, охотно слушавший бесконечные бабушкины рассказы о старине, о житье на Кавказе и т. д. После обеда бабушка читала мне вслух «Онегина», несколько удивляясь, что родители позволяют мне читать эту вещь, и вставляя свои комментарии. Так, прочитав стихи:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей, —

бабушка заметила: «Это не так». После «Онегина» я пожелал читать «Арапа Петра Великого». Бабушка долго не соглашалась, но когда я убедил ее, что в школьном издании Поливанова мне позволено читать всего Пушкина, и даже «Египетские ночи», бабушка принялась за чтение. Но дойдя до фразы: «Молодой африканец любил», — бабушка с негодованием захлопнула книгу.

— Что это мы, без папы и мамы все про какие-то страсти читаем, — воскликнула она и тут же принялась читать мне невинную книгу об американских школьниках.

Бабушке казалось, что меня преследуют ночные страхи в моей угловой комнате, и она увешала всю стену над моей постелью бумажными ангелами из снежного серебра, купленными у «Надежды». Но потом, не удовлетворившись этим, она перевела меня спать в свою комнату, и это было громадное удовольствие.

От родителей приходили частые письма из Венеции, Флоренции и Неаполя: мать писала мне особенно ласково и нежно, письма отца все были полны острот, издевательств над мамой и надо мной. В каждом итальянском городе мне покупали брелоки, я тогда только что начал носить часы и весьма возмущал знакомых дам, говоря, что главное удовольствие от часов — это возможность вынимать их на клиросе. Мне хотелось пускать пыль в глаза Митрильичу и мальчишкам, это было начало моей эмансипации от церковного двора. Но пока что я пребывал на нем от завтрака до обеда.

Но самым приятным в жизни моей с бабушкой было то обстоятельство, что бури на кухне совершенно стихли за эти два месяца. Таня пользовалась особым благоволением бабушки, и [кухарка] Афимья была бессильна. Однажды Таня отпросилась в гости. Узнав об этом, Афимья решила использовать свою силу и сейчас же явилась проситься в гости вместо Тани. Бабушка очень строго ей отказала. Я торжествовал: наконец луч справедливости озарил нашу кухню и Афимья почувствовала в доме твердую и справедливую власть. Я отдыхал душой и перестал ждать возвращения родителей. Особым торжеством для меня были посещения нашего храма бабушкой. Когда я подавал дякону кадильницу в начале Херувимской песни, я гордо смотрел через царские двери на бабушку. Она стояла перед самым алтарем, сложив руки на груди и подняв глаза к небу, как молятся католики: я предупреждал бабушку, чтобы она была осторожнее с дяконом, и опасения мои отчасти оправдались. Бабушка таки не успела посто-

рониться, когда он проходил, но тут случилось совсем не то, чего я ждал. Дьякон добродушно улыбнулся и сказал: «Простите, у меня ноги больные».

Между тем родители мои приближались к Москве. По словам матери, отец страшно тосковал обо мне, даже не получил ожидаемого удовольствия от Италии, и стремился назад. В середине ноября стол был уставлен закусками, лампа весело горела. Вот стукнула внизу гулкая дверь, и через мгновение раздался сильный звонок. Я потонул в громадной енотовой шубе отца. В его строгих голубых глазах были слезы. Все ликовали. Мама, всегда говорившая с Таней сурово и без улыбки, на этот раз сказала ей несколько приветливых слов. Бабушка, которую горячо благодарили мои родители, уехала ночевать домой.

ПРИМЕЧАНИЯ

Воспоминания печатаются по машинописной копии рукописи, хранящейся у дочери, Наталии Сергеевны Соловьевой. Ряду имен и топографических названий, измененных С. М. Соловьевым, возвращена их оригинальная огласовка, что было и в намерении автора (свидетельство Н. С. Соловьевой).

¹ Родители С. М. Соловьева: Соловьев Михаил Сергеевич (1862—1903) — переводчик, педагог, редактор сочинений Вл. С. Соловьева, и Соловьева Ольга Михайловна (урожд. Коваленская, 1855—1903) — художница, писательница, переводчица.

² Коваленская Александра Григорьевна (урожд. Карелина, 1829—1914) — детская писательница, двоюродная бабушка А. А. Блока, собственница имения Дедово вблизи станции Крюково Николаевской железной дороги бывшего Звенигородского уезда.

³ Соловьева Поликсена Владимировна (урожд. Романова, 1828?—1909) — жена историка С. М. Соловьева (1820—1879).

⁴ Соловьева Надежда Сергеевна (1851—1913) — дочь историка С. М. Соловьева.

⁵ Попова Вера Сергеевна (урожд. Соловьева, 1850— после 1914) — старшая дочь историка С. М. Соловьева, жена Н. А. Попова (см. прим. 7).

⁶ Архив министерства юстиции на Большой Царицынской улице, нынешний «архивный городок» (ЦГАДА, ГАРФ и др. на Большой Пироговской улице).

⁷ Попов Нил Александрович (1833—1891) — историк-славяновед, архивист, профессор Московского университета.

⁸ Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, богослов, литературный критик, поэт.

⁹ Дементьева Наталья Михайловна (урожд. Коваленская, 1852—1900) — дочь «бабушки дальней» А. Г. Коваленской, старшая сестра матери С. М. Соловьева. По свидетельству современников, в детстве Сережа Соловьев «любил ее больше матери»; см. об этом в письме М. А. Бекетовой Андрею Белому от 24 января 1931 года («Литературное наследство», т. 92; Александр Блок. Новые материалы и исследования. Книга первая. М. 1980, стр. 324).

¹⁰ Муж Н. М. Дементьевой Остап Дементьев (другими сведениями о нем публикатор и автор комментария не располагают).

¹¹ «Два гренадера» — баллада Р. Шумана на слова Г. Гейне (русский перевод М. Михайлова), «Не плачь, дитя...» — ария Демона из оперы А. Рубинштейна «Демон».

¹² Марконет Александр Федорович — муж тетки С. М. Соловьева А. М. Коваленской (см. прим. 15).

¹³ Коваленская Мария Викторовна (1882—?) — старшая дочь В. М. Коваленского (см. прим. 16).

¹⁴ Скворода Григорий Саввич (1722—1794) — философ, поэт, педагог, «украинский Сократ», предположительно приходится троюродным прадедом по матери С. М. Соловьеву, автору настоящих мемуаров. Выше С. М. Соловьев пишет о портрете прадеда по матери — Владимира Павловича Романова (1796—1864), военного моряка, контр-адмирала, кавалера ордена Св. Владимира 4-й степени, автора научных и литературных трудов по географии.

¹⁵ Марконет Александра Михайловна (урожд. Коваленская) — дочь А. Г. Коваленской, жена А. Ф. Марконета.

¹⁶ Коваленский Виктор Михайлович (? — 1924) — младший сын А. Г. Коваленской, математик, приват-доцент на кафедре механики Московского университета.

¹⁷ Коваленский Николай Михайлович — старший сын А. Г. Коваленской, юрист, председатель Виленской судебной палаты.

¹⁸ Коваленская Вера Владимировна (урожд. Коншина) — жена В. М. Коваленского (см. прим. 16).

¹⁹ Марконет Гавриил Федорович — брат А. Ф. Марконета (см. прим. 12).

²⁰ Марконет Владимир Федорович — брат А. Ф. Марконета, учитель истории в гимназии.

²¹ Коваленский Михаил Николаевич (1874—1923) — историк, сын Н. М. Коваленского (см. прим. 17).

²² Хоторн (Готорн) Натаниел (1804—1864) — американский писатель, автор романов и рассказов с мистической окраской, испытал на себе влияние «готического романа» и группы «трансценденталистов». «Книга чудес» — пересказ Н. Хоторном греческих мифов для детей, изданный им в двух томах (1852, 1853).

²³ Популярная иллюстрированная антология греческих мифов, составленная Ф. Дюттко.

²⁴ Аппиева дорога между Римом и Капуей, целиком сохранившаяся, на которой произошло покушение на вождя римского плебса Публия Клаудия (52 г. до н.э.); организатором заговора был его противник демагог Тит Анний Милон.

²⁵ Игра сходных по звучанию итальянских выражений: *otto dossi grechi* — «восемь греческих спин», и *ortodosso greco* — «греко-православный».

²⁶ Янжул Иван Иванович (1846—1914) — экономист, профессор Московского университета; вместе с женой Екатериной Николаевной Янжул проявлял дружескую заботу о Вл. С. Соловьеве, познакомился с ним в Лондоне; см. об этом в кн.: Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Кн. I—IV. М. 1990 (репринтное издание I—III кн. 1916—1921 гг.). В книге «Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 гг.» (СПб. Вып. I — 1910, вып. II — 1911) немало страниц отводится знакомству с Вл. С. Соловьевым, семье М. С. Соловьева.

²⁷ Бугаев Николай Васильевич (1837—1903) — математик, профессор и декан физико-математического факультета Московского университета, отец Андрея Белого.

²⁸ Трагедия У. Шекспира; отдельное русское издание вышло в издательстве А. С. Суворина в 1892 году.

²⁹ Имеется в виду Николай Владимирович Марков — сын «либерального протоиерея» церкви св. Троицы на Арбате Владимира Семеновича Маркова (?—1918), о котором говорится в этой главе (отец Василий). О В. С. и Н. В. Марковых см. в воспоминаниях Андрея Белого «Начало века».

³⁰ Персонаж из сказки для детей.

³¹ Отец Трифон (Туркестанов, 1861—1934) — митрополит, известный проповедник, один из персонажей картины П. Корина «Русь уходящая».

³² Мать Андрея Белого — Александра Дмитриевна Бугаева (урожд. Егорова, 1858—1922).

³³ Читатель может сравнить описание этой встречи, состоявшейся в 1895 году, с воспоминанием о ней Андрея Белого в книге «На рубеже двух столетий», в главе «Годы гимназии» («Семейство Соловьевых»).

³⁴ Эпизод упоминается там же (см. прим. 33).

³⁵ Григорий Арендателев (Арендатель) — зажиточный крестьянин из села Надворажино, знакомый Коваленских—Соловьевых в Дёдове. (Сообщила Н. С. Соловьева.)

³⁶ «Московские ведомости» — газета консервативного направления (с 1863 года редакторами были М. Н. Катков и П. М. Леонтьев). «Русские ведомости» — орган либеральной общественности. Оба издания были закрыты после октябрьского переворота. «Московские ведомости» в ноябре 1917 года, «Русские ведомости» пятью месяцами позднее.

³⁷ Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — русский певец, модный тенор конца прошлого — начала этого века, знакомый Бугаевых (см. об этом в книге Андрея Белого «На рубеже двух столетий», в главе «Боренька»).

³⁸ Де Ламменэ Фелисите (1782—1854) — французский публицист и философ, сторонник христианского социализма. Ренан Жозеф Эрнест (1832—1893) — французский либеральный мыслитель, писатель, драматург, востоковед, автор книг по истории христианства, в которых он десакрализует события, изложенные в Новом завете. На рубеже двух веков переводы трудов Ренана и Ламменэ получили широкое распространение в России.

³⁹ Блаватская Елена Петровна (псевдоним Рада-Бай, 1831—1891) — писательница-теософка, основательница Теософского общества. О том же см. в книге Андрея Белого «На рубеже двух столетий» (глава «Годы гимназии»).

⁴⁰ Об этом же см. в воспоминаниях Андрея Белого «На рубеже двух столетий», в главе «Годы гимназии» («Семейство Соловьевых»).

⁴¹ Ода Г. Р. Державина (1791), посвященная Екатерине II.

⁴² Южин Александр Иванович (Сумбатов-Южин, 1857—1927) — князь, драматический актер, драматург, почетный член Петербургской Академии наук, играл в Малом театре, был управляющим этого театра, в советское время директором.

⁴³ «Записки осла», «Добрый маленький чертенок» (франц.) — повести Софьи Федоровны де Сегюр (урожд. Ростопчина, 1799—1874); произведения популярной детской и религиозной писательницы, русской по происхождению, переводились и широко издавались в России. Ср. в связи с тем же в воспоминаниях Андрея Белого «На рубеже двух столетий» (глава «Боренька»).

В МИРЕ ИСКУССТВА

Предварительные итоги XX века

ОЛЕГ СЕМЕНОВ

*

ИСКУССТВО ЛИ — ИСКУССТВО НАШЕГО СТОЛЕТИЯ?

Статья Т. Чередниченко «Новая музыка № 6»¹ завершается подытоживающей фразой: «Вот хотя бы это и надо иметь в виду, слушая Новую музыку XX века». «Хотя бы» — это неизбежность и закономерность перерождения классической музыки в Новую, это альтернативные концепции пространства и времени, это «принципиальная непонятность задуманного и осуществленного» в такой музыке или, как точнее формулирует автор, «предпонимание» ее. В подтверждение приводится название пьесы композитора Ч. Айвза «Вопрос, оставшийся без ответа».

Этот безответный вопрос правомочен не только по отношению к Новой музыке, но и к Новой живописи, литературе, кинематографу. В самом деле, кто может объяснить осуществленное К. Малевичем в «Черном квадрате»? Он ведь и сам не сумел, хотя и многое написал о «царственном черном младенце». Или же в «Т.1955 — 16» Г. Хартунга? Или же в «Материнстве» Х. Миро? А уж вся прелесть хэппенингов и бесчисленных инсталляций в том, что никому, включая авторов, ничего в них не понятно, а в лучшем случае «предпонятно». Правда, искусство во все времена в чем-то непостижимо и тем более необъяснимо. Но Новое искусство непостижимо принципиально.

При восприятии произведения классического искусства у зрителя, читателя, слушателя — психологи называют их реципиентами — всегда порождается иллюзия адекватности его собственных познавательных способностей информационному «заряду» произведения. Диапазон «понятности» и прозрачной «Грачи прилетели» и таинственной Моны Лизы обусловлен, как нам кажется, количеством усилий и времени, которые мы можем и хотим уделить им. Причем сам процесс восприятия идет «многослойно». Мы как бы снимаем один пласт информации за другим, углубляясь уровень за уровнем и постигая истинный смысл произведения.

Вот этого-то интеллектуального, эмоционального, временного ресурса у зрителя модернистского произведения и нет. Вы увидели тот же «Черный квадрат» и должны мгновенно определить свое отношение к нему, дать ответ — гениальное это произведение или чушь, то есть мгновенно «снять» практически всю информацию, заложенную в картине, если голосуете «за», или отказать ей в информативности вообще, если голосуете «против». А раз так, следовательно, бинарность мгновенной реакции зрителя — только «плюс» или «минус», только «единица» или «ноль» — заложена в сущности любого модернистского произведения, тем самым как бы изначально лишеного смысла, точнее, «глубокого» смысла, даже если вы на это произведение откликнулись положительно. Оказывается, что его принятие и его понимание, тем более объяснение — вещи разные. И принять совсем не значит объяснить.

Ну а как же с Филоновым? Безбрежное, в принципе, бесконечное богатство цветовых, пространственных, образных, ассоциативных модуляций исключает кавалерийский метод восприятия, требует от зрителя таких же, в принципе, бесконечных усилий, какие потратил художник на создание картины. Или

¹ «Новый мир», 1993, № 1.

пример из другого вида искусства. В достопамятные времена информационного голода я с громадными усилиями и раз, и два, и три продирался сквозь мудросплетения «Улисса» Дж. Джойса, а когда наконец уяснил себе всю виртуозно-равновесную систему художественного мира романа, наткнулся на поразившее меня высказывание великого писателя: «Чтобы понять «Улисса», его надо прочесть пять раз, — утверждал он. — А если не стоит читать, то не стоит и жить». Гордыней Джойс превзошел даже Леонардо. Но к тому времени я уже почувствовал, что и читать роман и «жить стоит».

В музеях, созерцая картины Пьеро дела Франчески, Тициана, Халса, Рембрандта, Ватто, я всегда повторяю любимую ахматовскую строчку «И было сердцу ничего не надо...». Тут я, как мне кажется, даже могу объяснить, почему сердцу в данную минуту «ничего не надо». Но как объяснить, почему такое же ощущение счастливой полноты наступает перед картинами Филонова, Матисса, Моранди, Фалька, во время чтения Джойса, Кафки, Платонова, просмотра лент Феллини и Антониони? Как объяснить то, что принципиально необъяснимо? Только путем объяснения того, почему оно необъяснимо. Или, другими словами, без понимания того, что вы не понимаете современное искусство, нельзя это искусство понять. А истинное понимание современного искусства заключается в понимании того, почему вы его не понимаете и что именно вы не понимаете.

1

Загадка без разгадки...

Н. А. Римский-Корсаков.

В самом деле — почему? Зачем создавать еще одну загадку в нашем и без того непостижимом мире? Почему с таким фанатическим упорством вот уже почти столетие художники творят свою тайну? Зачем она нам, когда априори известно, что она непрояснима? Мы ведь не можем забыть, что одна из важнейших задач, вставших перед искусством Нового времени XIV — XIX веков, — а именно оно являлось, да во многом является для нас и сейчас, нормой и образцом европейского искусства — заключалась в прояснении, упорядочении, гармонизации реального мира и преобразении его в Мир художественный.

А художники-модернисты Новейшего времени отказались не только от этой благородной задачи, но практически от всего того, чем определялось искусство вообще.

От его информативности и мудрости (вместо этого: «Простое, как мычание»);

от его красоты и гармонии (издевка: «Сделайте нам красиво!»);

от логичности и последовательности (отныне: «Если в первом действии есть ружье, то во втором оно должно исчезнуть»);

от традиционности и преемственности («Бросить Пушкина... с Парохода современности»);

от безупречного вкуса и полнозвучия («Есть еще хорошие буквы: Эр, Ша, Ща»);

от здоровья и оптимизма («Мною опять славословятся мужчины, залежанные, как больница, и женщины, истрепанные, как пословица»);

от сострадания и человечности («Идите! Понедельники и вторники окрасим кровью в праздники!»);

от веры в прогресс как мирную эволюцию («Клячу истории загоним»);

от надежды на коммуникабельность и отзывчивость («Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?»);

от гуманистического идеала человека («Вытечет по человеку ваш обрюзгший жир»);

от воспевания природы («Отбросив белье до последнего листика, сады похабно развалились в июне»);

от Бога, наконец («Я думал — ты всемогущий божище, а ты недоучка, крохотный божик»).

Да что там говорить, уйдя в лелеемые Джойсом «молчание, изгнание, мастерство» или напялив желтую кофту и вывалившись на подмостки, от всего этого отказался «Пустая страница» Малларме, «4' 33"» тишины композитора Джона Кейджа, самоубийство режиссера Гвидо Ансельми из «8 1/2», как отказ самого Феллини от съемок фильма, пустой холст, время от времени как фантом возникающий на модернистских выставках, — вот в пределе их идеал. 5 октября 1920 года на собрании секции монументальных искусств ИНХУК под

председательством В. Кандинского всерьез обсуждался вопрос — «является ли художественное произведение реальным тогда, когда оно только задумано, но не воплощено, и может ли быть эстетическое восприятие без участия внешних органов чувств, то есть может ли быть произведение искусства нематериальной субстанцией?». Если мог возникнуть такой вопрос, то ответ на него уже искать не надо — он роли не играет.

Причем от всех непреложных эстетических установок модернисты отказались категорически и прилюдно, заявляя об этом в широковещательных манифестах, кредо и программах, практически заменяя произведение его теоретической платформой. И дело даже не в теоретическом антураже, а в теоретичности самих произведений. Все крупнейшие художники XX века, да и мелкота тоже, сами себе теоретики, а все великие и невеликие произведения одновременно являются и теоретическими манифестами. Теория в идеале становится самодовлеющей и в сочетании с другой магистральной тенденцией искусства Новейшего времени — стремлением к «потере качества», к отказу от концепции «совершенства» приводит к логическому финалу — невозможности выявить и «научно» обосновать разницу художественных уровней различных произведений, а в пределе к невозможности отличить произведение от непроизведения, то есть к все той же пустоте, но в силу наличия рамы, цоколя, пьедестала, рампы, эстрады, экрана и т. д. — с приставленным к ней восклицательным знаком — внимание: тайна!

2

Бесконечное пространство
человеческого черепа...

К. Малевич.

Искусство как средоточие тайны — отнюдь не изобретение XX века. Непостижимое для нас египетское искусство, вероятно, было достаточно непостижимым и для самих Древних египтян. Оно представлялось им как некий герметичный феномен Вечности². Но и в те времена искусство было тайной с восклицательным знаком, вспомним хотя бы космический размер пирамиды. Произведение не соотносилось со зрителем и не апеллировало к нему. Оно только утверждалось. Идеальный пустой холст XX века слишком нагл, чтобы невозможно утверждаться. Восклицательный знак его очень похож на вопросительный. Он — апеллирует. К кому? По-видимому, прежде всего к нам, к зрителю. И здесь модернизм обнаруживает свою типологическую близость со средневековым искусством.

Европейское средневековое искусство по своей сути суггестивно, держится на внушении. Оно не только открыто реальности, оно в нее активно вторгается. Отсюда непревзойденная синтетичность его, экспрессивность и светоносность основных видов — мозаики, витража, иконописи, миниатюры. Отсюда же плоскостность изображения, в которой обратная перспектива преобладает над прямой, что наряду с фасовой ориентацией на зрителя центральных персонажей обуславливает своеобразный эффект излучения изображения в реальное пространство.

Все модернистское искусство XX века так же суггестивно и так же синтетично, как средневековое, и так же таинственно, как египетское. Именно в XX веке возникает такой принципиально синтетический вид искусства, как кинематограф, а «важнейшим» искусством становится дизайн. Истинный дизайн — это даже не вид искусства, каким было, скажем, прикладное искусство. Это нечто всеобъемлющее, вбирающее в себя все, что способствует организации новой среды. Суггестия и одновременно стремление к организации крайней среды характерны уже для произведений, с которых начинается летоисчисление модернизма, скажем, для «Авиньонских девушек» Пикассо 1907 года, знаменующих начало новой кубистической эпохи. Плоскость холста кубистических или фовистских картин перестает быть плоскостью отсчета, с которой прямая линейная или световоздушная перспектива как бы под давлением человеческого взгляда углубляет пространство. Она становится своеобразным экраном, от которого исходит излучение вовне. Организуется, преобразуется, претворяется пространство не «за» картиной и даже не «на», а «перед» ней —

² Безукоризненный геометризм формы пирамиды, исключительное для истории архитектуры слияние массы и объема в ней, замкнутость и нерасчлененность скульптуры, абсолютная плоскостность рельефа и живописи обуславливают герметичность художественного мира египетского искусства.

непосредственно в реальном пространстве. И в то же время нам не дано охарактеризовать его с той степенью определенности, с какой мы характеризуем пространство Репина и Рембрандта, Манэ и Мантеньи. Мы можем охарактеризовать его только негативными определениями. В нем нет герметичности, а значит, Вечности, моделируемой в египетском искусстве. В нем нет конца, края, глубины, центра и периферии, структурной незыблемости и материальности, а значит, нет и Космоса в античном смысле этого слова. В нем нет концептуального противопоставления низа и верха, мира дольного и мира горнего и безудержной устремленности вверх, столь характерной для средневекового искусства. В нем многого, а может быть, даже ничего нет. В нем сколь угодно малая точка принципиально равновелика бесконечности. («...язык пространства, сжатого до точки» — О. Манделштам.) Но в нем есть ритм.

Ритм во все эпохи является одним из мощнейших средств организации произведения. Но если в классическом произведении он никогда не был самодовлеющим и всегда органично, вплоть до незаметности, вплетался в ткань произведения, то в модернистском ритм выявлен, подчеркнут, а зачастую абсолютизирован. Именно он обуславливает магическую силу воздействия полотен Клее или «решеток» Пита Мондриана, в которых ничего, кроме локальных пятен «натуральных цветов» и черных линий, заковывающих их в одну плоскость, нет. Оголенный многовариантный ритм разноцветных квадратов, кружков, ромбиков строит картины родоначальника оп-арта Вазарелли. Одним из самых поразительных примеров «силовой» ритмической организации художественной ткани является метод Джойса, который, работая над «Улиссом», подчеркивал разноцветными карандашами каждую фразу и каждое слово в необъятной рукописи романа, чтобы выстроить изощренную ритмическую конструкцию создаваемого Мира. Если можно было бы окинуть единым взглядом все искусство XX века, прежде всего, думается, был бы прочувствован пронизывающий его ритм, всеобъемлющий, я бы сказал, тотальный, не соотносимый не только с человеческими масштабами в пространственном плане, но и с человеческими измерениями во временной протяженности. Какое расстояние между иллюзорными плоскостями в картине Пикассо «Арлекин» — сантиметры, метры, километры, световые годы — не скажет никто. Но при первом же взгляде на картину каждый чувствует их нерасторжимую взаимную ритмическую соотнесенность. Можно сказать, что в данном произведении, впрочем как и во всех остальных, самодовлеющий абстрактный ритм строит Вселенную.

Эта Вселенная умозрительна. Но так же умозрительна психологическая трактовка большинства персонажей литературных произведений модернизма. Уже в первые десятилетия XX века наблюдается тенденция к их обезличиванию. Писателей теперь, кажется, не интересует не только исключительная личность, но и личность вообще. Она перерождается в абстрактную особь, в кафкинианское «никто-никто», в «человека без свойств», в «массовидного» и «усредненного» человека. Апофеоз этой тенденции — центральный персонаж «Улисса» Блум, предельно обезличенные персонажи Кафки, Ионеско, Беккета, Хармса.

В изобразительном искусстве образ персонажа играет несравнимо меньшую роль, чем в литературе, и все же можно говорить, что личностный уровень персонажей, скажем в картинах Филонова, значительно ниже, чем в картинах любого художника классического искусства. У Филонова они, в сущности, стоят в одном ряду с соседствующими образами лошадей, коров, собак, рыб и другой живности. Это относится и к персонажам картин Малевича постсупрематического периода, у которых вместо голов яйцевидные болванки, картин Де Кирико, Карра, Пикассо, Ларионова, не говоря уже о человекообразной протоплазме Бэкона или же то ли людям, то ли мухам Ильи Кабакова. Вата, тряпки и всякая дрянь, плавающая в аквариуме с евангельским названием «Се человек» на позолоченной табличке, представленном на выставке дадаистов в Цюрихе в 1916 году, ведь отнюдь не предназначались только для осмеяния человека. Дадаисты, равно как и все модернисты, низводили человека до ультрапримитивного уровня не издевательства ради, а, с одной стороны, констатируя его «минимальность», а с другой — для всемерного и безграничного расширения понятия человеческого вообще, обнимающего все живое, все чувствующее во Вселенной, в том числе и зверье и даже инфузории. Это вселенское единение, требующее от человека уже не опрошения до «округлого» хлебопашца Платона Каратаева, а упрощения до амебы и тифельки, вселяет надежды в Маяковского («Все мы немножко лошади», «Где капель льешься с массами») и ужасает Манделштама:

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

3

Вбегает мертвый господин
и молча удаляет время.

А. Введенский.

Все сказанное о новой концепции художественного пространства должно иметь отношение и к концепции времени, тем более что, говоря о всеисилии ритмической организации в искусстве XX века, я тем самым утверждаю исключительное значение категории времени в нем; ведь где есть ритм, есть и время.

Время — молох человека XX века, по словам Т. Уильямса, «наш общий враг». Время неоднократно воспринималось человеком как убегающий поток, в котором будущее иллюзорно, а настоящее мгновенно. Вспомним хотя бы то, что древние греки считали золотым веком не время их собственного расцвета, а время древней мифической страны Архайи. Но никогда еще трактовка времени как энтропии не являлась темой такого множества произведений, как в наше столетие. Более того, в романах «Жизнь Арсеньева» И. Бунина, «В поисках утраченного времени» М. Пруста, «Шум и ярость» У. Фолкнера, «Волшебная гора» Т. Манна, в фильмах «Приключение» Антониони и «8 1/2» Феллини идея энтропии определяет самую их структуру. Но это не время старения. Ведь трагичность старения может быть преодолена и переплавлена даже в счастье, — вспомним хотя бы Рембрандта. Нет, это время энтропии человеческих чувств уже только в силу того, что сам феномен Хроноса нам чужд и не соотносим с нашими жизненными ритмами.

Эту концепцию времени современного искусства мы опять-таки можем обозначить только негативными определениями. Оно не непрерывно. В живописи, где категория времени выражается опосредованно — через процесс восприятия, дискретизация временного потока начинается уже в картинах кубистов и футуристов. Зритель видит в них не сам объект, а как бы его грани, его проекции на изолированные временные отрезки. Апогея эта тенденция достигает в геометрическом абстракционизме, который пришел к остановке времени или даже к утверждению вневременности. Впоследствии эта антипродолженность времени будет еще и еще раз утверждаться во всех течениях модернизма. Оно не целенаправленно и не течет от прошлого через настоящее в будущее, то есть не обладает перспективностью. Оно не имеет ни начала, ни конца, ни экстремальной точки, которая может трактоваться как кульминация. Оно характеризуется только бесконечным превращением одного в другое или в третье, четвертое, пятое и так до бесконечности. Оно принципиально монотонно. Эта монотонность составляет концептуальную суть таких течений, как оп-арт, кинетизм, хэппенинг, инсталляция. Но не только в них, а в каждом без исключения произведении модернизма эта, по словам Гегеля, «дурная бесконечность» сочетается с диаметрально противоположной концепцией «остановленного мгновения». Показателен тут опять же «Черный квадрат». В нем остановленное мгновение, вневременность сосуществуют с безгранично продолженным временем монотонных превращений — зритель видит то черный квадрат на белом фоне, то белую раму черного «фона», помещенного в центре полотна. Крупнейшие оп-артисты Вазарелли и Агам в своих новациях будут опираться на геометрический абстракционизм и развивать именно эту тему единства мгновенного и бесконечно монотонного. Закономерно, что эта тема станет основной в творчестве их прямых продолжателей — кинетистов.

Концепция «мгновенности», сведения временной продолженности к вневременной «вспышке», утвержденная в геометрическом абстракционизме в те же годы (может быть, даже в те же месяцы и дни), нашла воплощение в произведениях прямо противоположной стилистической направленности — в абстрактном экспрессионизме В. Кандинского, а через четыре десятилетия — в ташистских полотнах Поллока, Де Куунинга, Хартунга, Кляйна, где как будто бы беспорядочные пятна цвета — след мгновенного спонтанного выплеска творческой энергии артиста. Но и в ташизме при ближайшем рассмотрении «мгновенное» равновелико «всегдашнему». Так на наших глазах беспредельно набухают, расширяются до вселенского масштаба, а потом суживаются, чтобы опять разбухнуть, цветовые туманности ташиста Ротко.

Концепция равновеликости точки и безграничного пространства, сколь угодно короткого мгновения и бесконечной временной продолженности не только лежит в основе модернистского произведения, но определяет нечто значительно большее — побудительную причину возникновения множества очень близких по характеру картин, складывающихся в обширнейшие серии, создаваемые в течение всего пожизненного творческого цикла художника.

В классическом искусстве доминировала идея самоценности одного отдельно взятого произведения, принципиально равновеликого миру. Это «Давид» и росписи в Сикстинской капелле Микеланджело, «Тайная вечеря» и «Джоконда» Леонардо, «Афинская школа» и «Сикстинская мадонна» Рафаэля. К середине XIX века эта концепция начинает самоисчерпываться. Теперь о создании «равновеликого миру» произведения можно только мечтать. Вспомним барбизонца Теодора Руссо, всю жизнь мечтавшего писать только одну картину-шедевр и вынужденного ради пропитания постоянно рисовать маленькие прелестные пейзажи. Почти так же презирал свой «портретный промысел» Энгр, полагая, что только большие глубокомысленные академические картины — достойный удел гения. То, что ни тот, ни другой не создали ни одной «великой картины», а вошли в историю множеством своих прекрасных, но непритязательных пейзажей и портретов, виновата не их бедность, а исчерпанность идеи «единичной картины». Одна из величайших заслуг импрессионистов заключается в том, что они поняли это и начали, поспевав за солнечным светом, писать сериями. Каждое полотно Моне — это фрагмент мира во временном плане, каждая картина Дега — в пространственном. Импрессионисты завершали искусство Нового времени, и поэтому обоснование серийности своего творчества они выводили из принципа бесконечной изменчивости внешнего мира. Уже постимпрессионисты обосновывали свой серийный метод бесчисленностью вспышек творческого волеизъявления художника. А в XX веке, можно без преувеличения сказать, все художники, кроме соцреалистов, работают только серийным методом. Творческий путь — это пожизненная серия. Каждая картина, в идеале, — мгновенная вспышка творческого волеизъявления, а вся серия — как бы никогда не начинавшаяся и не кончающаяся даже со смертью — модель безграничной дискретной монотонности, о которой я уже говорил.

Подобный пространственно-временной континуум характерен не только для изобразительного, но для всего искусства эпохи модернизма. Уже в классической литературе XIX века, так же как и в живописи, начинает исчерпываться концепция «единичного романа». Не случайно и Бальзак и Золя создают обширные («Человеческая комедия» и «Ругон-Маккары») романские циклы, а к концу столетия разбивается новеллистика Мопассана и Чехова. Не случайно уже в самом начале XX века девальвируется категория историзма («История — это кошмар, от которого я хочу очнуться» — Джойс), родины («Родина — это свинья, пожирающая своих детей» — Джойс), народа как единого целого, коллектива и, наконец, семьи. Если семья и есть, то, как в «Улиссе» или в «Счастливых денечках» Беккета, это антисемья, а о концепции человека я уже говорил.

Мир отныне предстает безграничным и бесструктурным во временном и пространственном плане. Так, в романах Кафки, в принципе, нет ни начала, ни конца и даже смерть лишается привилегии быть концом. Именно поэтому два из них не закончены. Такие произведения и не могут быть закончены, они могут быть только оборваны. Демонстративно оборваны фильмы Антониони «Затмение» и «Красная пустыня», а «Приключение» и «Ночь» имеют только формальный — так сказать, в эмоциональной партитуре, а отнюдь не в событийной и смысловой канве — конец. И вообще конец произведения теряет отныне значение финала. Можно даже сказать, что само понятие финала теряет смысл, становится архаизмом. Нельзя же в самом деле назвать финалом завершающее эпопею «Улисс» и семнадцатистраничный поток сознания Марион последнее слово «Да», несмотря на всю ту символическую нагрузку, которую концентрирует автор в этом слове. Да и сама ткань романа, сплетенная из внутренних монологов героев, как бы проецируется на бесконечность благодаря вкрапленным в нее бесчисленным реминисценциям, скрытым и явным цитатам из античной мифологии, средневековых баллад, саг, поэм, канцелярских документов, учебных пособий, руководств — всего, что было когда-либо создано человеческой цивилизацией.

4

Язык — это дом бытия.

М. Хайгертер.

А теперь перейдем к эстетической реакции, то есть реакции взаимодействия произведения с реципиентом. Его образ запрограммирован в произведении. Но прояснить его можно, только охарактеризовав тот язык, на котором произведение и реципиент говорят друг с другом.

Обращаясь к изобразительному искусству модернизма, надо заметить, что для него куда важнее примитивизации персонажей примитивизация самого

языка живописи и скульптуры. Уже на ранних этапах художники-модернисты программно обращались к примитивному, народному, вульгарному искусству. Пикассо еще в 1906 году, восторгаясь деревянной африканской статуэткой, утверждал, что она лучше Венеры Милосской. Великие примитивисты — таможенник Руссо и Пирсmani — становятся кумирами художественной молодежи. Исходными импульсами для Клее и Миро оказываются детские рисунки, для Ларионова — заборная живопись, для Билибина — народный лубок, для Мавриной — аляповатая роспись подносов. Такие группировки, как «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», программно заявляют о своей приверженности площадному, вульгарному искусству. Можно смело утверждать, что все новаторские явления XX века отличало предельно активное и творческое отношение к вульгарному искусству и китчу. Именно китч явился для модернизма питательной средой, импульсом и даже некоторым прообразом идеального произведения. «Массовидный человек» не только персонифицирует произведения, он играет более значительную роль, определяя образный и пластический язык самого произведения. Так кто же он такой, каково его отношение к художественному миру и к его создателю, каково его место во Вселенной?

На вопрос — кто он такой — мы можем ответить недвусмысленно. Он — это я, зритель, читатель, слушатель. Я — лицо страдательное. Мощный импульс, излучаемый произведением, сотрясает меня. Цвет в современной картине интенсифицируется, ритм обостряется, пространство излучается, образ упрощается, символ перерождается в знак. Само произведение из сложной, самозамкнутой и самоценной системы, каким оно было в Новое время, становится ныне всего лишь своеобразным генератором импульсов — простейших, острейших, вседостигающих. Застигнутому импульсом реципиенту почти гипнотически навязывается уже описанная выше пространственно-временная концепция. Но одновременно, и в этом вообще специфика эстетической реакции, под влиянием импульса обостряется и его собственное самоощущение.

Начнем с того, что наше восприятие мира, да и сама внутренняя жизнь, может протекать только в форме процесса. Удовлетворительное определение понятия «процесс» напрасно искать в словарях, но и так ясно, что это переход одного качества в другое. Процесс обязательно имеет свое начало, экстремальную точку и конец. Сразу же бросается в глаза, что все составляющие реального жизненного процесса являются опорными пунктами той композиционной системы, которая лежит в основе произведений временных искусств классического периода — экспозиция, разработка темы, кульминация, финал. В пространственных искусствах они находят опосредованное выражение, во-первых, через восприятие произведения, которое тоже имеет форму процесса, а во-вторых, через перспективную систему. Эта система моделирует в художественном пространстве ряд важнейших опорных пунктов: «точка отсчета» — место самого зрителя картины, с которой начинается «углубление» пространства; «этапы углубления», как бы разработка темы, — иллюзорная плоскость холста, первый план, второй, дальний план; экстремальная точка, в эпоху Раннего Возрождения обычно совпадавшая с главным персонажем картины, чаще всего Христом или Марией, а в эпоху Высокого Возрождения — с Человеком, который трактовался как «центр» Вселенной; и, наконец, — угадывающаяся за ним как бы финальная точка схода, лежащая на линии горизонта, ограничивающего видимый, а значит, сущий мир. И движение взгляда в перспективном пространстве всегда, как и процессивное время, идет в одну сторону — от начала к концу, всегда обладает непрерывностью и всегда проходит экстремальную точку — своеобразный философский, этический, информативный «центр Мира», сконцентрированный в образе Богочеловека или Человекобога.

Таким образом, «процессовидность» является чувственным и смысловым аналогом пространственно-временного континуума, воплощенного в классическом искусстве и базирующегося на концепции «естественного», как бы «реального» ощущения человеком такого континуума. Именно в этом залог единства двух миров — чувственного и духовного, реального и «художественного» и естественной иерархии их: духовное как бы вырастает из чувственного, вбирая его в себя, «художественное», в полном согласии с эстетикой Возрождения и всего искусства Нового времени, является квинтэссенцией реальности, реальностью, возведенной в некую высокую степень.

А в XX веке застигнутый модернистским произведением зритель с небывалой пронзительностью вспоминает классическое искусство и вновь необычайно обостренно переживает такое прекрасное, так естественно воплощенное в нем иерархическое единство двух Миров. А вспоминает зритель его обязательно, потому что без знания классического искусства модернистского искусства просто не существует. В самом деле, что такое «Черный квадрат», если вы не знае-

те Венецианова, Вермера, Тинторетто, Мазаччо? И по контрасту с этим воспоминанием о «естественном» искусстве с его концепцией «естественного» пребывания человека в Мире потрясенный зритель ощущает свою нынешнюю неравнозначность, несопричастность Миру с его принципиально чуждым человеку пространственно-временным континуумом. Человек ощущает, что он, как говорил Хайдеггер, «заброшен в мир», что он тотально одинок. Более того, что он уже не он, и теряя все свои личные качества, катастрофически «сужаясь в размерах», он превращается в некую, по терминологии В. Кандинского, «точку», в нечто меньшее, чем точка, в «отрицательную бесконечность» Гегеля, в «точечный центр»³. Быть может, все сосредоточено в этом центре, быть может, таких центров бесчисленное множество, но в пространстве и времени не обладающими мерностью, продолженностью и расстоянием, между ними не может быть связи и, значит, сама концепция связи абсурдна. В силу катастрофически возросшей индивидуализации особи, как бы замыкающейся на самой себе, сигнал для связи из такого «центра» не может быть подан, как не может быть подан сигнал из астрономической черной дыры в силу катастрофически возросшей гравитации. Но в том-то и дело, что «центр» не дыра, а нечто живое, по традиционной терминологии, скажем, сердце или душа. («И стонет точка болевая, которую еще зовут душа» — В. Долина.) Душа, сотрясенная от соприкосновения с тем чуждым миром, который ей открыт и навязан модернистским произведением. Но неужели только ощущение тотальной некоммуникабельности внушается реципиенту произведением? Если так, то зачем оно создавалось? И воистину — к чему оно?

5

Читателя! советчика! врача!

О. Мангельштам.

Однако существует не только «сигнальная связь» между произведением и реципиентом, но и не менее мощная связь между реципиентом и произведением. «Потрясающее» произведение XX века, в принципе, как я уже отмечал, — произведение «пустое». Это как бы некая полая емкость, некий сосуд, в который реципиент может и должен влить свое вино. Конечно, любое произведение любого периода «дополняется» реципиентом, но все дело в пропорции и «разбросе» этого дополнения. Пропорция «дополнения» в XX веке настолько велика, что ее можно квалифицировать как «заполнение», а разброс попросту безграничен. Многозначность трактовки — показатель глубины любого классического произведения. Но все же есть определенные границы этой трактовки. По отношению к модернистскому произведению этих границ принципиально не существует. Более того, я уже говорил о бинарности его восприятия и оценки — от полного отрицания до полного принятия — и о допущении этих обеих взаимоисключающих позиций как равнозначных.

Картина, таким образом, всего лишь некий экран, на который проецируются галлюцинации зрителя, возбужденного сигналом, пришедшим с того же экрана. Она сама по себе как бы не имеет «содержания». Она его ждет, взыскует, чуть ли не алчет — она ведь не просто пуста, она вызывающе пуста, как пуста утроба, ждущая семени. И все это относится, конечно, не только к живописи. В литературе характерным примером может служить процесс создания «Поминок по Финнегану», когда Джойс предлагал своим гостям вносить в рукопись романа все, что им придет в голову.

Следовательно, реципиент в XX веке не только лицо страдательное, но в равной степени лицо воздействующее. При этом он тот самый предельно субъективный «точечный центр», о котором я уже говорил, потому что модернистское произведение допускает безграничное количество равноправных трактовок.

Складывается парадоксальная ситуация — зритель как объект излучения «из картины», становясь субъектом излучения «на картину», посылает произведению в принципе ту же самую информацию, которую он только что принял. Чтобы прояснить этот вопрос, опять обратимся к модернистскому произведению и к его возможностям «жить в контексте».

³ Сравнение зрителя с «точечным центром» было подсказано автору Р. Климовым.

И тут я должен отметить, что трактовка произведения как своеобразного экрана, обращенного только в одну сторону — к реципиенту, не исчерпывает его потенции. Одновременно оно обращено и в сторону прямо противоположную — к автору. Произведение должно трактоваться как явление значительно более сложное, чем экран, как мембрана. Ведь именно мембрана является средоточием приложения разнополярных сил, их преобразователем и обменником.

Позиция автора в классическом искусстве достаточно изучена. Автор своей творческой волей создает новый Мир. Творит его по образу и подобию Божьего мира, но все же несколько упорядоченней. Автор может относиться к этому Миру и к его героям по-разному — с предельным пиететом, как Рафаэль к им созданным мадоннам, или же с брезгливой отстраненностью, как Брейгелъ к слепым, но в любом случае он все же выше их. Они плод его воображения, даже если кто-то из них «ударет» с ним какую-либо штуку. Так, Лев Толстой — полновластный хозяин мира, им созданного, и даже самые его любимые персонажи ощупью выходят именно на тот путь, истинность которого заранее известна автору.

Во второй половине XIX века происходит, так сказать, «обмирщение» образа автора, девальвируется его бывшее величие. В импрессионизме автор не выше, не значительнее, не умнее милых персонажей — танцующих в Мулен де ла Галет, гуляющих по Большим бульварам, жуирующих, выпивающих, жующих, почесывающихся молодых французов и француженок. Он точно такой же, как они, но только умеющий остро увидеть и свежо запечатлеть на холсте увиденное. Снайперская характеристика, данная Моне: «Моне только глаз. Но какой глаз!» — может быть с таким же правом переиначена: «Какой Моне глаз! Но только глаз».

А сразу вслед за импрессионизмом образ автора как демиурга чуть ли не самоуничтожается. Разве Сезанн, Ван Гог или Гоген являются «хозяевами» тех почти космогонических сил, которые на их картинах вздымают в геологических катаклизмах землю, струят в страстном порыве оливковые деревья в ночное звездное небо, растворяют цивилизацию в древнем и вневременном мифологическом рае? А в это время в России с такой же богатырской силой, с какой последний раз в истории Лев Толстой утверждал всемогущество автора-демиурга, Достоевский выстраивал противоположную структуру художественного Мира, которая отнюдь не подчиняется воле автора, а живет собственной самостоятельной жизнью. Полифонический, как его называл Бахтин, роман Достоевского предоставлял каждому персонажу возможность вести свою партию, развивать свою идею, принципиально равноправную с идеями других персонажей и не скорректированную универсалистской концепцией автора. Автор перестал быть демиургом — начинался XX век.

Как это ни парадоксально, автор-модернист, несмотря на широковетвистую саморекламу, на нарциссическую самовлюбленность, — вспомним поживший роман с самим собой Сальватора Дали — относится к себе самоуничижительно. Отныне он не «проводник» Бога и даже не представитель общества. Он богема. Он презирает общество, а его искусство есть акт эпатажа, как у дадаистов или русских футуристов. Зато и общество выбрасывает его из своей среды. Он изгой и не представляет никого, кроме самого себя. Он тотально одинок. А его искусство — акт самовыражения, и только.

Однако и самовыражение нуждается в адресате. Кто, кроме нас, то есть реципиента, может им быть? И автор сквозь свое же произведение с яростью, ликованием и жаждой общения, походя разрушая изобразительность, сюжетность, фальшивую как досадные преграды, бросается к нам. «Ты царь. Живи один...», «Нет, весь я не умру...», «И не оспаривай глушца...» — это XIX век, впрочем, и Возрождение, а в чем-то и еще глубже — античность, по крайней мере римская. А вот XX век: «И каждый читатель как тайна, как в землю закопанный клад, пусть самый последний, случайный, всю жизнь промолчавший подряд». Именно мы, читатели, теперь наделены дарами бессмертия и безграничности, которые раньше были прерогативой автора: «Наш век по земле быстротечен и тесен назначенный круг, а он неизменен и вечен — поэта неведомый друг». А в кульминации невыразимое счастье общения с этим другом, которого еще недавно называли глушчом: «Так исповедь льется немая, беседа блаженнейшей зной». Невозможно более ясно сформулировать новые принципы взаимоотношений автора и читателя, чем это сделала А. Ахматова, но лаконичнее и трагичнее можно: «Читателя! советчика! врача! На лестнице колючей — разговора б!» Именно в такой агонизирующей последовательности разыскивает еще не примиренный с потусторонним холодом умирающий, именно так он жаждет общения, которое еще удерживает его в земной юдоли. Автор складывает с себя полномочия демиурга — уже не только в реальной бытовой сфере, как во времена Пушкина, а в творческой и духовной «быть может, всех ничтожней он». Лишь в реципиенте он видит своего спасителя. Разница потенциалов со-

храняется, однако потенциалы меняют знаки на обратные. И этот принцип одинаково просматривается во всех видах искусства. Поразительный по чистоте осуществления его пример — фильм Феллини «8 1/2». Здесь герой картины Гвидо Ансельми находится принципиально в том же самом положении, что и его автор — сам Феллини. Ансельми, не понимая смысла жизни, не зная, что сказать людям, тянет с началом съемок фильма, а сам Феллини, тоже не зная, что дать людям, в это время снимает фильм о том, как он на месте главного героя не решается начать съемку. Вопрос, адресованный зрителю, идет одновременно и от героя и от автора. Только он, зритель, возможно, владеет тайной бытия или, по крайней мере, находится ближе к ее разгадке, чем автор. Сходная концепция лежит в основе уже упомянутых мною «Поминок по Финнегану» Джойса, «Шума и ярости» Фолкнера, «В ожидании Годо» Беккета.

Ну, а что касается изобразительного искусства, то можно сказать, что все модернистские картины в каком-то плане создавались не художником, а зрителем. Как уже сформулировано выше, картина — это мембрана, почти прозрачная для прямого взаимодействия автора и зрителя (отсюда феномен абстракционизма, хэппенинга, инсталляции, уничтоживших преграды между ними — фигуративность, сюжетность, «идейность», качественность и даже вещественность), и при этом принципиально «пустая», обуславливающая извержение духовной энергии от зрителя к произведению и через произведение к автору. Вновь устанавливается разница потенциалов как необходимое условие возникновения эстетической реакции и зарождения «новой реальности».

Эта разница потенциалов как бы приподнимает образ реципиента, делает его значительнее, правда, не утверждая, а лишь допуская его большую приближенность к истине, чем автора. Другими словами, эти черты реципиента — гипотетические, они обозначаются только как возможность. Реальное же соотношение реципиента, автора и персонажа может быть проиллюстрировано сравнением таких популярных произведений, как «Шинель» Гоголя и «Превращение» Кафки. Преемственность одного по отношению к другому, их близость бросаются в глаза. Но в результате чтения первого у читателя рождается ощущение своего и, конечно же, авторского превосходства над героем, в результате же второго — ощущение равновеликости странного насекомого с собой и с автором, который, кажется, с себя-то и писал.

Устанавливается своеобразное равноправие трех «образов», трех компонентов эстетической реакции. Такое равноправие мы уже наблюдали в истории искусства. Я имею в виду опять-таки «Джоконду». Выявленное недавно портретное сходство Моны Лизы с Леонардо подтвердило наблюдение, что она есть и герой, и автор, и Человек, и его Творец. Но вместе с тем она — и ты, зритель. Правда, в том случае, если ты воспользуешься единственным раз предоставленной тебе возможностью и, отбросив присущие тебе комплексы человека XX века, сумеешь в процессе эстетической реакции встать вровень с нею и с величайшим творцом, ее создавшим. У Кафки такая возможность не предоставляется, а навязывается. Причем вровень ты становишься теперь не с Человеко-Богом, а с Человеко-тварью. И никого в мире, кроме этих тварей, не существует. Образ автора создается по твоему, реципиент, образу и подобию. А может быть, и наоборот, что не играет существенной роли. Он такая же «отрицательная бесконечность», как и ты, он так же ни к чему не прикреплен и ничего не олицетворяет. И истина ему так же неведома, как и тебе.

Но я до сих пор приводил примеры самоуничтожения автора, а искусство XX века богато и прямо противоположными примерами, когда автор присваивает себе некую мессианскую, как Джойс, роль. Хлебников, как известно, назначил себя «председателем земного шара», а «Казимир Великий» — Малевич — и того пуще — «председателем мирового пространства». Масштаб Пушкина, да и самого Леонардо был превзойден ими на много порядков.

Но эти художники, равно как и их единомышленники, имели на то своеобразное право, потому что «земной шар» и «мировое пространство», о которых они говорили, были их шар и их пространство. Я бы даже сказал — личный шар и личное пространство. Это чисто умозрительное пространство спроецированное в пустоту волеизъявлением одной творческой личности, и поэтому оно может с одинаковым успехом трактоваться и как всеобъемлющее и как точечное. А «Черный квадрат» — только знак этого пространства. Им художник «метит» его, как животные метят свою территорию. Но если это так, то одновременно предполагается, что владеть земным шаром и бескрайним пространством может и любой другой человек, в том числе реципиент. Он тоже имеет право поставить свое клеймо на пространстве, как Малевич или сложить, как Хлебников, собственную систему мироздания, которая, соотносясь с «музыкой сфер» или «магией чисел», все же будет одной из бесчисленных альтернативных и равноправных систем, чьим «председателем» станет тот кто се-

бя таковым назначит. Следовательно, реципиент и в данном случае уравнивается в правах с автором.

Так для чего все же писали картины Малевич и Кандинский, романы Кафка и Джойс? — повторю я свой вопрос. Только для того, чтобы, утверждая равномасштабность реципиента, персонажа и автора, еще и еще раз констатировать нашу реальную мизерность, слепорожденность, единичность, изолированность, «заброшенность в мир»? Стоит ли эта констатация сил, потраченных на ее утверждение и на ее восприятие? Нужно ли все это?

6

Трагедия космична, а потому прекрасна. Реальность же страшна.

П. Филонов.

Нужно, даже необходимо, почему-то отвечаем мы. И залогом этой необходимости является не только наконец пришедшее осознание того, что XX век — отнюдь не время падения искусства, а время его чрезвычайного подъема, воплотившего энергию небывалого духовного взрыва, но и ощущение, что эти картины, стихи и кинофильмы нам дают что-то, чего не может дать сама действительность и без чего мы не в силах жить.

Прежде всего, раз картина или роман существуют, значит, какая-то связь между «точечными центрами» подразумевается. Этот факт уже способен вселить надежду на преодоление самозамкнутости центров, одиночества человека в мире, мертвой однородности и безграничности пространства-времени. Сама возможность коммуникации, эта, по словам Экзюпери, «роскошь человеческого общения», уже высшая благодать. Но коль скоро она подразумевается, то встает вопрос о том, кто соучаствует в обмене информацией и каков характер самой информации.

О том, кто соучаствует, я уже писал, — все те же «точечные центры». Но ведь они не математические понятия, а сгустки живого, и поэтому они самоощущаются. А так как это самоощущение предельно обострено и примитивизировано, то оно может быть только ощущением боли, причем боли, которая при определенных условиях может трактоваться как блаженство.

Для иллюстрации мне хотелось бы сравнить две общеизвестные строчки разных поэтов, живших в начале XIX и в начале XX веков. Одна из них: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Мыслить это, конечно, не значит думать. Это значит «мыслью весь мир обнять». А страдать не значит болеть. Это значит иметь и использовать такой ресурс страдания, который адекватен всему «вселенскому горю». А вот строчка, написанная уже поэтом XX века: «Забвенье боли и забвенье нег — за это жизнь отдать не мало». Забвенье — нечто прямо противоположное мышлению, но, как мы видим, столь же желанное и прекрасное. А почти космогоническое «страдание» заменяется на почти физиологические «боль» и «негу». Причем в надежде на обретение этих радостей немолодой, уже уставший поэт «хочет жить», а молодая прекрасная поэтесса готова «жизнь отдать», тем самым утверждая высшее блаженство только этого одного, промежуточного между жизнью и смертью, мгновения.

Оксюморон «радость — страдание», так блистательно воплотившийся в поэтике Пушкина, а еще ранее — французского классицизма, поэзии Возрождения и т. д., целиком сформировал диапазон полярных ощущений человека XX века, низводя все их до почти физиологического уровня и одновременно возводя в ранг высокой духовности. Вся жизненная «боль, знакомая, как глазам ладонь» перерастает рамки самой жизни, оккупируя бесконечность: «И только боль моя острее — стою, огнем обвит, на несгорающем костре немислимой любви». «Душевная боль — единственная реальность, которая есть у человека», — услышал я недавно от Софии Губайдулиной. В искусстве XX века душевная боль приобретает остроту физической, а физическая становится аналогом душевной. Знаменательна в этом плане фраза Кафки из письма к Милене: «Что касается моей болезни, то мне иногда кажется, что это вышедшая из берегов душевная болезнь». Человек XIX века сказал бы наоборот. Душевная боль, она же ликование, преобразуется в единственную доступную для человека XX века форму чувственности в искусстве. Боль, она же блаженство, становится мировой субстанцией, привилегией каждой ее точки.

7

Сострадание тоже страсть.

Г. Грин.

...наши страдания потонут в
милосердии...

А. П. Чехов.

Но если так, то становится понятен и характер информации, которой «отрицательные бесконечности» могут обмениваться. Ближе всего ей соответствует некое чувство, которое я бы мог назвать со-чувствием или со-страданием. Именно так — через дефис. Не сострадание, а со-страдание — совместное страдание. Сострадание, доброта, жалость, милость, любовь — все это находило выражение еще в классическом искусстве, особенно русском («...и милость к падшим призывал» — Пушкин), и все это предполагало разность потенциалов. Жалеть может только сильный слабого, здоровый больного, богатый бедного, свободный поработанного, счастливый несчастного. Кто-то кого-то. Но мы уже знаем, что именно этой-то разницы и нет в искусстве XX века. Кто-то не только не отличается от кого-то, но полностью ему адекватен и даже, может быть, занимает его место. Всеобъединяющее со-чувствие не исходит ни от кого, не направлено ни к кому. Оно исходит от всего сущего и распространяется на все сущее: на людье и зверье в картинах Филонова и Пикассо, в поэмах Маяковского и Хлебникова, романах Кафки и Платонова, пьесах Чехова и Беккета, кинофильмах Феллини и Антониони. Именно оно — небывалая, невозможная, неизъяснимая сверхдоброта составляет ту ауру, тот свет, который излучают модернистские произведения.

Не любовь, не привязанность, не уважение, а именно со-страдание испытывает Гвидо Ансельми ко всем людям, его окружающим, и поэтому после самоубийства соединяет их всех в одном всемирном хороводе. Со-страдание испытывает к нему Феллини, это ведь его мука запечатлена в фильме. Со-страдание в свою очередь испытывает Феллини и к нам — жертвам утекающего времени и мертвого пространства, и только это жаркое чувство оправдывает дерзость создания им «полого» фильма. Со-страдание — это то, чем одаряет нас Кафка, приобщая к собственным безмерным мукам существования, внушая нам ощущение, что эти муки всеобщие, и тем самым как бы даже утешая нас, хотя утешить нас нечем и некому.

Все живое со-страдает всему живому. Но все живое, хотя бы в силу своей смертности, настолько несчастливо, включая и автора, и персонажа, и реципиента, что этого со-страдания ему явно не хватает. Другими словами, вселенский масштаб страдания, его взрывная острота не соответствуют не только масштабу того ресурса со-страдания, которым обладает единственный человек, но и того, которым могут обладать все люди и даже все живое на земле. Именно эта несомасштабность предопределяет структуру произведения. Так, кошмарному событию, о котором повествует Кафка, не соответствует бесстрастный, даже какой-то канцелярский стиль его рассказа. Это противоречие создает коллизию, свидетельствующую о том, что у человека нет ни слов, ни эмоций, соразмерных с громадой его страдания. И неутешаемость, или, точнее, по аналогии с «предпониманием», «предутешаемость» этого со-страдания как бы подразумевает наличие еще более мощного генератора со-страдания, неизбежного, как само страдание, который уже в силу этого не может иметь источником человека. Он вне человека и человечества, может быть, даже вне сущего. Надежда на него есть надежда на чудо.

Именно эта невозможная надежда продиктовала А. Тарковскому знаменитый эпизод в фильме «Сталкер». Больная недвижимая девочка, живущая напряженной духовной жизнью в таинственном мире, вдруг на наших глазах пошла. Звучит «Ода к радости» Бетховена, и нас захватывает волна счастья. Со-страдание низвергается от зрителя к персонажу и к автору точно так же, как в «8 1/2» Феллини, «Приключении» Антониони или в «Процессе» Кафки. Но в данном случае оно к тому же зримо реализуется — больная девочка идет. Следующий кадр удостоверяет, что это не так. Девочка всего лишь едет на плечах у отца. Но счастье от испытанного мощного чувства со-страдания, от мелькнувшей уверенности, что кто-то всемогущий может ответить и отвечает на него сострадательным актом, остается с нами навсегда. Чуда в реальности не произошло, но в духовной «иной реальности» оно состоялось.



Кругом возможно Бог.

А. Введенский.

Но надежда на чудо, граничащая с верой в него, предполагает сакральное сознание, указывает, что в произведении запечатлен некий тип религиозного мироощущения. Так оно и есть. Давно и много сказано об элементах религиозной мифологии и символики в произведениях большинства творцов XX века. Классические примеры этого дает творчество Шагала, Руо, Филонова, Кафки, Маяковского, Губайдулиной, крест в супрематических полотнах Малевича и Чашника. Недавно я встретил определение М. Кузмина как «религиозного модерниста» и подумал, что в некотором смысле так можно назвать практически любого творца нашего столетия. Правда, мы в большинстве случаев можем говорить только об элементах мифологии в современном искусстве, причем из разных религий. Так, в творчестве Кафки, как отмечал еще его друг и исследователь Брод, нашли одновременное воплощение догматы иудаизма и христианства. Еще нагляднее это «синтезирование» проявляется в творчестве Шагала, Пикассо, Джойса, Хлебникова. Здесь есть и язычество, и христианство, и иудаизм, и мусульманство, и буддизм. Художники как бы нивелируют концептуальное своеобразие различных религиозных систем, приводя их к своеобразному религиозному синкретизму.

Знаменательно, что этот синкретизм сочетается с крайне субъективным использованием элементов религиозной мифологии и символики. Зритель и читатель вынужден все время как бы разгадывать ребусы, расшифровывая для себя каждый символ в отдельности, сводя их, если удается, в некую систему. Причем иногда семантика символов у одного и того же автора кардинально различается в зависимости от контекста. Хрестоматийный пример — образ Минотавра у Пикассо. В разных картинах он несет на себе совершенно различную, иногда даже противоположную, смысловую нагрузку. Следовательно, мы опять-таки наблюдаем характерную для модернизма противонаправленную взаимоисключаемость задач с одной стороны, создание как бы универсальной религиозной системы, в которую на равных входили бы все когда-либо существовавшие религии, с другой — выстраивание крайне субъективной религиозной системы, «пригодной» только для одного человека — самого автора, и принципиально непонятной всем остальным. Сверхсоборность причудливым образом сочетается со сверхинтимностью. Но есть еще одна грань религиозного самосознания художника-модерниста, и воплощается она в имперсональности его произведений.

Художник Возрождения, создавая произведение, руководствовался объективными, как он полагал, представлениями об устройстве мира. Художник XVII — XVIII веков — установками Больших стилей: классицизма или барокко. Художник XIX века — законами своего индивидуального стиля (именно в это время родилось выражение «стиль — это человек»). В XX веке концепция индивидуального «личного стиля», с одной стороны, перерождается в концепцию «личного почерка», не означающего ничего более чем запечатление индивидуальных психомоторных импульсов, что наиболее последовательно воплотилось в практике ташистов, с другой стороны, вообще самоуничтожается. Художники путем отказа от категории стиля стремятся к анонимности и стилистической имперсональности. Отныне произведение как бы не создается автором. Оно, как средневековая икона, вдохновляется, внушается. Тогда — Богом, Духом Святым. Теперь кем-то, кому не может быть никакой персонализации.

И вот здесь мне хочется вернуться вспять и сказать о том, о чем я сознательно умалчивал. Когда я утверждал, что информация, передающаяся от автора через произведение к реципиенту, и наоборот, является со-страданием, я приводил примеры, в основном взятые из, так сказать, экспрессионистской сферы, как бы игнорируя колоссальные пласты современного искусства конструктивистского направления. Но, во-первых, даже в них иногда наличествует мотив со-страдания. Так, в конце «Улисса» — самого конструктивистского романа XX века, в том месте, где должна быть кульминация, повествуется, как главный герой Блум подбирает Дедалуса, избитого и выброшенного английскими моряками из паба, и несет его к себе домой. Из со-страдания. Но при всей важности подобных эпизодов еще большее значение имеет сама совершенная конструкция романа. Она могла родиться только в результате неизбывной ненависти к реальности, аннигилирования ее на наших глазах и собирания ее осколков в некую новую гармоническую реальность, в которой нет пространственно-временной энтропии. В конечном итоге этот акт творчества нового Мира продиктован тем же со-страданием к себе и ко всем нам. В еще более чистом

виде все это проявляется в творчестве супрематистов и конструктивистов — живописи Малевича, Татлина, Поповой, Кляона, Родченко, Матюшина. Пит Мондриан так остро ненавидел реальность, так со-страдал человеческому сознанию, «заброшенному» в нее, что не только без усталости конструировал на полотне свои «решетки», но и разливывал ими стены, пол, потолок мастерской, свою кровать и даже любимые голландские тюльпаны. Русские авангардисты разрисовывали уже не мастерскую, а стены домов, площади и улицы Петрограда, Москвы, Витебска.

«Предпонимание» играет определяющую роль в восприятии именно конструктивистских произведений — их гармония является отражением какой-то непостижимой и необретаемой мировой гармонии. Эти произведения самим фактом своего существования намекают на нее, свидетельствуют о ней, являясь ее «следом» в реальной действительности. Это своеобразные Новые фетиши.

Два потока возбуждаются таким произведением. Один, со-страдательный, идет от нас и от того, кто, неопознанный, стоит за нами, к автору и к кому-то еще за автором. Другой идет от автора через произведение, через нас к кому-то подразумеваемому. А может быть, к чему-то. Неизбывность и несомасштабность человеческих мук человеческим интеллектуальным и эмоциональным возможностям заставляет апеллировать к чему-то, что вне человека и человечества. Ненависть к реальности заставляет разрушать ее образ и на месте его утверждать образ «новой реальности». Но что это за реальность?

Я все время употребляю вопросительную форму. Но это не показательная неуверенность в формулировании концепции модернизма. Вопросительная форма является определяющей чертой самой этой концепции. Средневековый художник ни в малейшей степени не сомневался в истинности сакрального Мира, им воссоздаваемого. Он всегда утверждал. Художник XX века только предполагает и допускает возможность этого Мира. Но он, как и мы, не может жить без него. И поэтому он взыскует его. Создавая произведение, художник апеллирует к Богу, который, однако, не может быть Богом в общепринятом смысле. Он не может быть единственным, сердцевиной, центром, потому что любая точка из множества себе подобных, являясь центром, тем самым девальвирует саму концепцию центра. Он имперсонален и поэтому не может быть изображен⁴. Он не может быть воплощен и в сонме богов, как когда-то во времена многобожия. Сонм предполагает существование определенной сферы, коллектива, космоса. Эти категории были самоисчерпаны еще до возникновения религий единобожия. Поэтому он уже, чем личность, и шире, чем общность. Он одновременно везде и нигде, всегда и никогда. Сарабьянов пишет: «Черный квадрат» оказался «свидетельством своеобразного богоискательства, символом некой новой религии. Одновременно это был рискованный шаг к той позиции, которая ставит человека перед лицом Ничего и Всего». Но я переставил бы фразы в этом пассаже: именно потому, что Малевич поставил человека перед лицом Ничего и Всего, он сумел создать символ Новой религии.

Символом Новой религии является не только «Черный квадрат», но любое произведение модернизма. Это религия без Бога, но с верой в то, что он должен быть. Эта религия — не утверждение, но апелляция. Эта религия — не молитва, но действие, шаг, жест: хэппенинг или инсталляция. И искусство есть единственная форма этой религии. В этом суть модернизма. В этом его цель.

Искусство XX века — это религия атеистов, для которых, однако, высший смысл существования заключается в утверждении его духовной сущности. Один из крупнейших религиозных деятелей нашего столетия П. Флоренский в искусстве видел доказательство существования Бога. «Если есть «Троица», то есть Бог», — утверждал он, имея в виду икону Рублева. Но в XV веке, когда создавалась эта икона, сказали бы наоборот: если есть Бог, то есть и «Троица». Этой фразой Флоренский заявляет не о своей вере, а о страстном и действенном желании веры.

Если концептуальные основы искусства Нового времени формулировались исподволь, начиная с Проторенессанса, то уже в первые десятилетия XX века определились цель, задача, структура модернистского искусства, которые потом вплоть до 70-х годов будут без существенных изменений воплощаться в тысячах произведений. Однако еще в 90-е годы прошлого столетия Чехов все это предвосхитил. Он знал, что искусство — это вера. Об этом говорит его любимая героиня Нина Заречная: «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уметь терпеть. Умей нести свой крест и веруй⁵. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании,

⁴ Академик Д. Сарабьянов справедливо утверждает, что «супрематическая картина не изображает ничего и никого, а икона всегда имеет роль представителя божества в нашем видимом мире».

⁵ Разрядка моя. — О. С.

то не боюсь жизни». В 1901 году Чехов в финале «Трех сестер» с гениальной краткостью сформулировал вопрошающий, апеллирующий характер этой веры: «Если бы знать, если бы знать!» И все модернистское искусство бесчисленное множество раз каждым новым произведением повторяет вслед за Чеховым: «Если бы знать!»

В подтверждение того, что новый апеллятивный характер веры, безответно, но неуклонно стремящейся к Богу, был осознан множеством художников уже на заре модернизма, хотелось бы привести три текста разных поэтов, настолько ясно выражающих это стремление, что не требуется комментария. Первый принадлежит Верхарну:

Ночь в небо зимнее свою возносит чашу,

И душу я взношу, скорбящую, ночную,
О господи, к тебе, в твои ночные дали!
Но нет в них ничего, о чем я здесь тоскую.
И капля не падет с небес в мои печали.

Я знаю — ты мечта! Но все ж во мраке ночи,
Колена преклонив, тебе молюсь смиренно...
Но твой не внемлет слух, твои не видят очи.
Лишь о самом себе я грежу во вселенной.

Второй — Рильке:

Ночное небо тускло серебрится,
на всем его чрезмерности печать.
Мы — далеко, мы с ним не можем слиться, —
и слишком близко, чтоб о нем не знать.

И третий — Маяковскому:

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

Во всех трех человек наедине с небом. Во всех он апеллирует к нему. И во всех оно безответно. Но он все равно будет обращаться к нему вновь и вновь, стремясь если и не расшифровать тайну, то, по крайней мере, войти с нею в соприкосновение.

На закате модернизма Тарковский воплотил эту надежду в финальном эпизоде «Жертвоприношения». Герой фильма сажает в землю посох, твердо веря, что если его постоянно поливать, то он обязательно зацветет. Чудо свершится. Непонятно почему, непонятно кем, но свершится непременно, надо только верить. Памятниками этой взыскующей веры ушли в историю творения модернизма.

Модернизм (равно как и соцреализм) самоисчерпался в 70-е годы. Наступила новая эпоха в искусстве, которую от растерянности назвали постмодернизмом. Что это такое, пока никто еще не может точно сказать. И немудрено. По закону ритмической парности после взрывного становления модернизма и почти мгновенного его концептуального самоосознания в первые десятилетия XX века искусство следующей стадии (чьим эпизодом, возможно, является нынешний постмодернизм) должно выкристаллизовываться и самоосознаваться крайне медленно. Зная закономерности эволюции искусства, можно предсказать, что следующий художественный этап попытается разрешить ту трагическую коллизию, в какую попал модернизм: искусство, принципиально создававшееся для всех и направленное ко всем, в действительности оказалось в высшей степени элитарным; искусство, стремящееся преобразовать действительность, оказалось бессильным это сделать. И, конечно же, художники будущего попытаются создать не взыскующую, но утверждающую Новую веру. Какая это будет вера? Если бы знать, если бы знать!

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АЛЕКСЕЙ ПУРИН

*

ОПЫТЫ КОНСТАНТИНА ВАГИНОВА

1

Слово — душа нареченной вещи. Кажется, и человеку не избежать тайного воздействия данного ему имени. Константины в России не царствуют. Само Провидение словно бережет российский престол от воцарения на нем Константина. Есть Константин Великий и целый выводок константинопольских императоров, есть «константиновский рубль» 1825 года, но нет и не может быть реализованного российского Константина Первого. Имя виновато в том, что Константину Павловичу империя метафизически не по плечу, царствование не с руки. Он не в состоянии воцариться в декабрьской зимней атмосфере России, метаморфоза воспрещена, куколка не превращается в бабочку в силу гипноза самого имени — археологического, антикварного, нумизматического, навязанного Византией. Это имя символ архаичной мечты — мечты о Царьграде.

Сказанное имеет прямое отношение к другому Константину — Вагинову. И не потому только, что для него весь эллинистический и византийский антиквариат был поистине родными пенатами, а прежде всего потому, что сам этот художник — пользуясь термином М. М. Бахтина, оказавшего на Вагинова огромное влияние, — предельно амбивалентен. Ощущение этой амбивалентности возникает сразу, стоит взять в руки его главную поэтическую книгу — «Опыты соединения слов посредством ритма» (1931) — и увидеть усеченное авторское имя, неуместно конструктивистский переплет М. Кирнарского, анонимное предисловие, тенденциозно истолковывающее следующие за ним загадочные стихи. Все это, однако, несущестственные детали. Амбивалентна сама стилистическая позиция Вагинова. Более того, хочется сказать, что в русской поэзии с Константинами приключилось примерно то же, что и в российской истории: они в ней не царствуют, но обозначают собой какое-то очень значимое междоцарствие, переходное состояние, превращение. Они загадочны и двусмысленны.

Речь, разумеется, идет не о поэтически сомнительных Константиных — Фофанове или Бальмонте. Речь — о Батюшкове и Вагинове. Вот две мерцающие звезды, чья поэтика не поддается легкому толкованию. Недаром лучше всего о Батюшкове сказано в мандельштамовском стихотворении. И можно ли логически объяснить, почему Батюшков любимей Жуковского? Почему, даже «косноязычный», он — «наше мученье и наше богатство»? Почему у него есть «виноградное мясо», а у Василия Андреевича — вот и нет?.. И что же такое Вагинов? Почему он (несомненно!) — настоящий поэт? В чем подлинность его странной поэтики? Как эти стихи могут оставаться стихами, утратив рифму?

Наивно думать, что мы дадим здесь окончательные ответы. Мы лишь построим то метафорическое пространство, которое уже начали очерчивать, зафиксируем те объекты поэтического универсума, с которыми гравитационно взаимодействуют вагиновские «Опыты...». С о п ы т ы и начнем.

Опыты

Еще составитель первого посмертного Собрания стихотворений поэта Л. Чертков отмечал, что Вагинова сближает с Батюшковым его отношение к античности. На самом деле, конечно, диапазон сближения здесь значительно шире, а в основе его лежит некое стилистическое и историческое подобие. Может быть, это именно те поэты, чье творчество в наиболее чистом виде предъясняет нам одно из главных свойств всякой поэзии — неразрывность архаистического и новаторского, ее янусово двуличье. Название знаменитой тыняновской книги — «Архаисты и новаторы» — и должно быть прочитано не как э т и и т е , а как т а к и е и , одновременно, с я к и е . Само по себе такое двуличье ничего не значит; оно было свойственно и акмеистам и футуристам,

вышедшим из символизма в разные стороны. Важна именно высокая степень чистоты этого свойства, гармоническая амбивалентность, когда противоречащие друг другу стремления уравновешены. Покой тут кажущийся, а равновесие неустойчивое. Энергия расходуется не на динамическое движение, а на внутреннее химическое превращение. В случае Батюшкова таким превращением было возвращение широкого классицистического дыхания и высокого трагедийного смысла в облегченную карамзинистами речь. А Вагинов имел полное право считать себя «символистом... пережившим становление», потому что он как бы синтезировал символизм из элементов его распада.

Элегическое замирание Батюшкова не было, однако, возвращением к оде. Оно было шагом к Пушкину. Точно так же и восстановленный Вагиновым «символизм» не содержал в себе подлинного символизма, а был одной из разновидностей нового грандиозного искусства XX века, для которого пока не придумано пристойного имени. Это не должно нас смущать, ведь барокко, например, открыли в начале прошлого столетия. Можно только сказать, что этот большой стиль — акмеистического, а не футуристического оттенка, если понимать акмеизм как «тоску по мировой культуре» (Мандельштам по существу и имел в виду этот большой стиль, а не компанию литераторов 1912 года).

Исторические параллели многое проясняют. Само название вагиновского сборника корреспондирует с батюшковскими «Опытами в стихах и прозе» (1817). Слово «опыты» — колеблющееся и неуверенное; оно утверждает эстетическую ценность незавершенного, пребывающего в развитии, зреющего. Это не «Творения» Николаева или Хлебникова. Но и не карамзинско-дмитриевские «Безделки». Колебание живой мысли сростается здесь с аналитической трезвостью. Вагинов не случайно интересовался исследованиями и теориями ОПОЯЗа, дружил с младоформалистами; «опыты» — еще и отражение стилиобразующего интереса нового искусства к приватному — к аналитической прозе, психологической записке, эссеистике, мемуару, письму. Не нужно быть словолюбом-бюджетянином, чтобы заметить: «опыты» и «пенаты» — почти синонимы. Батюшков ввел жанр дружеского послания.

О них — Батюшкове и Вагинове — и писали как бы в одной тональности — начиная с Пушкина, приглашавшего Рылеева «уважить» в Батюшкове «не созревшие надежды». Показателен отзыв о Вагинове Г. Адамовича в парижском журнале «Звено» (1927): «Резко своеобразен Вагинов, беспутный, бестолковый, сомнамбулический поэт, которому едва ли суждено оставить какой-либо след в русском искусстве, кроме бархатных виолончельных звуков, кроме удивительной певучести, этого «дара неба»». Едва ли не то же говорит о «нежном» Батюшкове Мандельштам: «Ни у кого — этих звуков изгибы... / И никогда — этот говор валов!..» И еще: «Ты, горожанин и друг горожан, / Вечные сны, как образчики крови, / Переливай из стакана в стакан». И еще — в черновом наброске к «Разговору о Данте»: «Батюшков (записная книжка нерожденного Пушкина) погиб оттого, что вкусил от Тассовых чар, не имея к ним Дантовой прививки».

Вероятно, это касается и Вагинова: какой-то «Дантовой составляющей» в нем недоставало. Он не царствовал. Но он вкусил от «Тассовых чар». Что такое «итальянство» Батюшкова, «галлицизмы» Пушкина, «латинский синтаксис» Тютчева, «эллинизированное слово» Мандельштама, «герметизм» Вагинова — констатация реальных иноязычных влияний или эвфемизмы для обозначения поэтической новизны? Что же касается «Тассовых чар», то они рождают во мне подозрение. Оно относится к поэтике Вагинова. Стихи его «Опытов...» почти лишены рифмы, но довольно часто в них появляется как бы плавающая, заблудившаяся «терцина»:

И появившись вдалеке,
В плаще багровом, в ризе синей,
Седые космы распустив,
Она исчезла над пустыней.
И смолкло все. Как лепка рук умелых,
Тристан в расщелине лежит...¹

Итальянцы здесь скорее всего ни при чем. Но мне хочется назвать эту иредрека встречающуюся в «Опытах...» и якобы случайную рифму следом псевдо-терцины, ибо на самом деле она не случайная, а реликтовая. Полубелые вагиновские стихи — вовсе не девственная «белизна», кое-где прорастающая первыми побегами рифмы, а сжатое поле, разрушенный город, крушение и распад рифмы. Точнее, это декоративные парковые руины русской рифмы. Но об этом ниже.

Чем достигается великолепиие, завораживающая гармония и смысловая акустика вагиновских стихов? Чем обеспечен этот волшебный, единственный в русской поэзии («Я хочу работать один», — многозначительно пишет Вагинов в

¹ Здесь и далее курсив в цитатах мой. — А. П.

одном из писем 1922 года) опыт гармонической просодии, эмансипировавшейся от рифмы? Прочтем, например, стихотворение 1926 года «От берегов на берег...» о сказочной птице (Филомеле, сирене, Сирина), под конец оказывающейся воробьем:

От берегов на берег
 Меня зовет она,
 Как будто ветер блещет,
 Как будто бьет волна.

(От реки нас зовут к морю, ветер слепит глаза, рябит блещущую поверхность. Почти акмеистические стихи.)

И с птичьими ногами
 И с голосом благим
 Одета синим светом
 Садится предо мной:
 «Пльвем мы в океане,
 Корабль потонет вдруг,
 На острова блаженных
 Прибудем, милый друг.
 И музыку услышишь,
 И выйдет из пещер
 Прельщающий движенье
 Сомнамбулой Орфей.
 Сапфировые косы,
 Фракийские глаза,
 А на устах улыбка
 Придворного певца.
 В стране Гипербореев
 Есть остров Петербург,
 И музы бьют ногами,
 Хотя давно мертвы.
 И птица приумолкла.
 — Чирик, чирик, чирик —
 И на окне, над локтем
 Грани куст возник.

В этих стихах — как по существу и во всех стихах Вагинова — нет никакой герметичности, нет даже особенной смысловой сложности. Но здесь есть семантическая стереометрия, смысловый объем, который делает эти стихи частью материи мировой культуры — многовековой, но прозрачной и подвижно играющей толщи, где разновременные события, просвечивающие друг сквозь друга, оказываются взаимосвязанными, вступают в неожиданные взаимодействия, становятся обратимыми, отбрасывают проекции в единый вневременной срез — в бессмертие. Культура и есть элизиум, а искусство — в некотором смысле Бог, ибо обещает бессмертие. И только поэтому городская реальность, проступающая в трех заключительных строчках, сопряжена с иронией и геранью.

Арханка улыбчивых (то есть допсихологических) греческих курсов просвечивает сквозь архаику улыбчиво допсихологического русского XVIII столетия — с шубинским бюстом льстящего Ломоносова, с «забавным русским слогом» Державина, с «Ездой в остров Любви» Тредиаковского. Но стихи Вагинова «прельщают движенье» не только этого архаического тандема, но и той новейшей русской поэзии (поэзии архаистов-новаторов — Кузмина, Бродского), которая загнипнотизирована таким сращением Овидия с Кантемиром. Есть, оказывается, вполне реальная культурная территория, где античность изохронна заржавленной анакреонтике певца Фелицы и где «Александрийские песни» и «Письма римскому другу» льнут к силлабике молдавского Антиоха. Карту этой страны набрасывает еще Волошин, пронизательно говоря — применительно к творчеству Кузмина — о «радостной Греции времен упадка, так напоминающей Италию восемнадцатого века», и об «александрийском рококо».

«Струна гудит, и дышат лавр и мята /Костями эллинов на ветреной земле», — это волошинская Киммерия в исполнении Вагинова.

Между прочим, для вступления на эту вневременную славяно-греко-латинскую территорию существует даже специальный пароль — слово «новый»: «Новый Ролла» и «Новый Гуль» Кузмина, «Новый Жюль Верн» и «Новые стансы к Августе» Бродского. (Существенна и сюжетная связь вагиновских стихов с этими произведениями о «плавающих и путешествующих»: «Пльвем мы в океане, /Корабль потонет вдруг».) Что может быть архаичней этого прилагательного? Показательно, что и стихи Мандельштама напомнят нам вагиновские как раз тогда, когда в них прозвучит этот пароль:

И как новый встает Геркуланум
Спящий город в сияньи луны,
И убогого рынка лачуги,
И могучий дорический ствол!

Банально, но новое всегда делается из старого. Правнук похож на портрет прадеда. «Узнай, что Ахейнкам, /Прославленным толико /Омиром и тобою, /Оне не уступают<...> /Хоть в темноте родились /Полугодичной ночи /И выросли при свете /Гуманистого солнца». Это не Вагинов. Это из стихотворения «К Анакреону» Елизаветы Кульман (1808—1825).

«Видны друг другу едва, как мухи в граненом стакане, /Как виноградные косточки под виноградной кожей». Это тоже не Вагинов. Это Елена Шварц, очень похожая на Вагинова (у него: «С лицом, как виноград, полупрозрачным» и «Я стал просвечивающей формой, /Свисающей ветвью винограда»), который в свою очередь очень похож на Мандельштама («виноградное мясо» и «Виноград, как старинная битва, живет»).

«Виноград созрел. Изваянья в аллеях синели. /Небеса опирались на снежные плечи отчизны...» И это не Вагинов. Это незарифмованно-брошенное двустипие из «Дара», приписанное Кончееву — персонажу, к которому лирический герой نابокского романа относится «с лихорадочной завистью».

Искусство прежде всего самодостаточно. И главное достоинство поэзии Вагинова, по существу, состоит в том, что она заставляет задуматься над вопросом «что такое поэзия?» и содержит ответ. «Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только», — записывает Блок в дневнике о стихах мандельштамовской «Tristia», особенно отмечая стихотворение «Венецкой жизни, мрачной и бесплодной...». В блоковском подчеркнутом инверсией «только» отчетливо слышен укор. Но уже не раз указывалось на связь этого мандельштамовского стихотворения с «Шагами командора» — и получается, что блоковский укор как бы возвращается его же собственным лучшим стихам. На самом деле укоризне здесь нет места, а сказанное Блоком следует считать одним из самых правдоподобных определений поэзии вообще. Так можно было бы сказать и о Вагинове, ибо высокая поэзия и есть нечто, происходящее на «мнимом острове» — то есть в искусстве, где все переключается, аукается, избегает статических состояний, перетекает.

Дневник П. Лукницкого: «А. А<хматова> <...>: «Оська задыхается!» Сравнил стихи Вагинова с итальянской оперой, назвал Вагинова гипнотизером. Восхищался безмерно» (запись от 23 марта 1926 года).

Лидия Гинзбург («Записи 1920—1930-х годов»): «... <Эйхенбауму> в час ночи позвонил Мандельштам, с тем чтобы сообщить ему, что:

— Появился Поэт!

— ?

— Константин Вагинов!

Б. М. спросил робко: «Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова?» Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно: «Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня!» В записи Лидии Гинзбург сквозит ирония, но она совершенно напрасна.

Соединение слов

«...протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами», — пишет Вагинов в романе «Козлиная песнь». Но этот мнимый мир вполне узнаваем, вполне соотносим с нашим. Вот стихотворение «Психея» (1926):

Любовь — это вечная юность.
Спит замок Литовский во мгле.
Канал проплывает и вьется,
Над замком притушенный свет.
И кажется солнцем встающим
Психея на дальнем конце,
Где тоже канал проплывает
В досчатой ограде своей.

Этот шедевр можно рассматривать как своеобразную эстетическую шарладу, где первая строчка — как бы Блок, вторая — как бы Жуковский, где зазеркаленная концовка тоже как бы из Блока (сравните с его стихами «Ночь, улица, фонарь, аптека...»), но где целое — нечто эстетически совершенно другое. Романтические кубики вдруг образуют неромантическое сооружение. Загипнотизированные романской банальностью первой строки, мы заглатываем и якобы балладный Литовский замок, помещенный, кроме того, в романтическую облатку усыпляющей мглы и инверсии. Но вдруг смысл этого словосочетания начинает топорщиться, преобразуя все семантическое поле стихотворения.

Литовский замок — тюрьма в Петрограде. Происходит мгновенная аккомодация зрения: мы как бы перескакиваем через три столетия — от Лжедмитрия и Марины Мнишек («любовь», «литовский замок») на Крюков канал с его отчетливой топографией. Стихотворение оказывается математически выверенным, уравновешенным, как весы.

Выворачивая наизнанку Литовский замок, текст Вагинова как бы совершает внутриутробный повтор эволюции русской поэзии «серебряного века»: от драматургического героя Блока — к приключениям слова в лирике 20-х годов, от двомерно разнесенного символа — к психофизической символике Анненского и мандельштамовской ассоциативной «психее-жизни». Центральной фигурой этой эволюции был, конечно, Мандельштам, поэтому он все время и просвечивает сквозь текст Вагинова. «Опыты...», как и «Tristia», — прежде всего книга о словах, книга о слове. Эти поэты работают в рядом лежащих пластах. (Хлебников, кстати, работает очень далеко от них — в пласте словарной утопии; но и Вагинов и Мандельштам напряженно прислушиваются к стуку этого отдаленного молотка — потому что хлебниковская примитивизация касается слова.)

«Вкруг Аполлона пляшем мы, /В высокий сон погружены» («Песня слов»). «Слова из пепла слепок». «Любил я слово к слову /Нежданно приставлять, /Гадать, что это значит, /И снова расставлять». «И я вошел в слова, и вот кружусь я с ними». «В одежде из старинных слов». «Под чудотворным, нежным звоном /Игральных слов стою опять». «Как изваяния, слова сидят со мною, /Желанней пиршества и тише голубей». «В книгохранилищах летят слова. /В словохранилищах блуждаю я. /Вдруг слово запоем, как соловей, — /Я к лестнице бегу скорей, /И предо мною слово точно коридор, /Как путешествие под бурною луною...». «Давно я зряч, не ощущаю крыши. /Прозрачен для меня словесный хоровод. /Я слово выпущу, другое кину выше, /Но все равно, они вернуться в круг. /Но медленно волов благоуханье <...> /И солнце виноградарем стоит».

Разве все это не перетекает в мандельштамовские «хороводы теней», «легионы ласточек», в его Армению и Тавриду? «В ее глазах дрожала глубина /И стук сиял домашнего вязанья», — говорит, например, Вагинов. К этим простым и ясным словам подведено высокое семантическое напряжение, почти безграничная ассоциативная сеть. Достаточно вспомнить рильковское стихотворение о слепой кружевнице, как бы отдающей кружеву (и шире — Богу, седьмому — кружевному — небу) узор своего зрачка, — стихотворение, толкующее о соотношении индивидуального имени и средневековой всемирной соборности, о творческом даре и долге, ниспосланных человеку. Достаточно прочесть статьи Мандельштама начала 20-х годов, чтобы увидеть, насколько его занимала подобная проблематика, — и его стихи, исполненные неустанным вниманием к необозримым семантическим полям, связанным с женским нитяным рукоделием. «Мастерица виноватых взоров <...> /Наш обычай сестринский таков». Этот интерес не случаен. Он — стилиобразующий, имеющий прямое касательство к тому большому стилю искусства, который развивается на протяжении нашего века и который никак не покрывается бердяевским «новым средневековьем» или теорией «постмодернизма», хотя и они дают о нем некоторое представление.

Стихи вагиновских «Опытов...» очень значимы для понимания этого большого стиля. У них поразительная акустика. Например, в процитированных строчках несомненно «стучит» мандельштамовская «прылка» («Ну, а в комнате белой, как прылка, стоит тишина»). Значимы и все парадоксальные оговорки этих поэтов: зачем нужна прылка, если мандельштамовская Пенелопа вышивает, тогда как ей по мифу надлежит ткать? Почему вязанье стучит? Зачем слова и явления проникают друг друга?

Отыскание таких тяжей, существующих между поэтами, можно длить бесконечно. Не стоит лишь расценивать их как влияние большего поэта на меньшего. Поэтическая гравитация — процесс, во-первых, взаимный, а во-вторых, всеобщий.

Не менее значительны и гравитационные силы, связывающие Вагинова с поэтикой позднего Кузмина. В стихотворении «Да, целый год я взвешивал...» (декабрь 1924 года) поэт пишет:

Иногда
Больница для ума лишенных снится мне,
Чаще сад и беззаботное чириканье,
Равно невыносимы сны.
Но забываюсь часто, по-прежнему
Безмысленно хватаю я бумагу —
И в хаосе заметное сгущенье,
И быстрое движение элементов,
И образы под яростным лучом —
На миг
.....
Пастушья сумка, заячья капуста...

Или в драматической поэме 1925 года:

Дитя, пусть тешит он себя,
Но жаль, что не на Шпрее, не на Сене
Сейчас. Тогда воспользоваться им всецело
Могли бы мы.

.....
Аллеи здесь прямы, и даже школы Алкамена
Я видел торс, подверженный отбросам
Ребятчих тел, сажаемых заботливою няней, —
Не мудрено, затем услышали вы море
В домашней передраге.

Здесь несомненно родство с белым стихом поздних Кузминских книг — «Новый Гуль» (1924) и «Форель разбивает лед» (1929): «Стояли холода, и шел «Тристан». /В оркестре пело раненое море...», «Брюссельская капуста /Приправлена слезами...» Вообще «Опыты...» полны кузминскими реминисценциями: Тристан, луна, плаванье, остекленные комнаты и библиотеки, двоящаяся за окном свеча; друг, глядящий в зеркало; Эрот, играющий бородой; магнетически притянутый взор, патетически перенятый плач. «...на великолепном раскояченном столике лежали сонеты Шекспира», — пишет Вагинов в «Козлиной песни». Но дело, разумеется, не в том, что оба поэта встречались с одними и теми же людьми, посещали одни и те же дома... В том числе — и дома особого рода: «На Вознесенском дом скандальный» (Кузмин) и «Пред вознесенской Клеопатрой /Он опьянение прервал» (Вагинов)... Дело, конечно, не в златном Вознесенском проспекте и не в денди, читающих шекспировские «Сонеты», а в звездной механике, поэтической гравитации.

Эта блуждающая звезда заходила и в созвездие ОБЭРИУ. Вагинов принимал участие в знаменитом обэриутском вечере «Три левых часа», прошедшем 24 января 1928 года в ленинградском Доме печати. А в декларации ОБЭРИУ о нем сказано: «...фантазмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная в туман и дрожание». В его стихах можно обнаружить своеобразное предвосхищение поэтики некоторых обэриутов. Вот строчки, напоминающие Олейникова:

Фонтаны бьют и музыка пылает,
И nereиды легкие резвятся перед ним...

Не в звуках музыка — она
Во измененье образов заключена.

Вот строчки, напоминающие «Столбцы» Заболоцкого:

А на столе сиял, как перстень,
Еще не допитый глоток...

И каждый маму вспоминает,
Вспотевший лобик вытирает...

Слова на полочках стоят —
Одно одето, точно граф.
Другое — как лакей Евграф.

.....
Здесь стук жуков,
Как будто тиканье часов.
Здесь время снизу жрет слова,
А наверху идет борьба.

Но зрелая поэзия Вагинова все-таки очень далека от свойственного обэриутам пародирования и уязвления мира. В отличие от искалеченных лирических «я» обэриутов лирический герой Вагинова остается физиологически целым и самодостаточным — даже тогда, когда его поэзия станет трагически расщепленной.

Вернемся еще раз к взаимодействию Вагинов — Мандельштам. Такое впечатление, словно Мандельштам отдает капитал своей «Tristia» (1922) в рост Вагинову-банкиру. Вагинов пишет в стихах 1924—1925 годов:

Свое лицо я прятал поздней ночью
И точно вор звук вынимал шагов
По переулкам донельзя опасным...

И выступает город многолюдный,
И рынок спит в объятьях тишины.
Средь антикваров желчных говорю я:
«Пустынных форм томительно ищу».

Сходство этих стихов с мандельштамовскими, написанными семь лет спустя, поразительно:

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кашеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи,
Дивлюсь рогатым митрам Тициана...

Вагинов словно извлекает позднего Мандельштама из Пушкина, из его величественных белых стихов. В этом плане особенно значимо уже упоминавшееся вагиновское стихотворение «Да, целый год я взвешивал...», как бы разнесенное между прошлым Пушкиным, сегодняшним Кузминым и завтрашним Мандельштамом:

Готовятся спокойно управлять
До наступленья золотого века.
И принужденье постепенно ниспадает,
И в пеленах проснулося дитя,
Кричит оно, старушку забавляя,
И пляшет старая с толпою молодой.

Нет, это не простой слепок пушкинского «Вновь я посетил.», хотя — и у Вагинова и у Мандельштама — появление пушкинской интонации несомненно связано с чувством трагедийного примирения — и с трагической экзистенциальной двойчаткой жизни и смерти, и с земной неправедной властью. Не случайно и в стихотворении «Я стал просвечивающей формой.» (1925) экзистенциальный ужас — как бы предчувствие ожидающей поэта смертельной болезни (с ее «просвечиваниями») — мешается с политическим. Не случайно и стихотворение «У трубных горл, под сенью гулкой ночи...» (1923), в котором прорезывается едва ли не баратынская мощь («Ласкаем отблеском и сладостью могил, /Вспоминаньями телесными томимый»), заставляет вспомнить «сталинские» стихи позднего Мандельштама — «Внутри горы бездействует кумир...», «Как дерево и медь — Фаворского полет...», [«Оду»].

Но путник тот, кто путать не умеет,
Я перепутал путь — быть зодчим не могу
Дай силу мне отринуть жезл искусства,
Природа — храм, хочу быть прахом в ней.
И снится мне, что я вхожу покорно
В широкий храм, где пашут пастухи,
Что там жена, подъямлющая сына,
Средь пастухов, подъямлющих пласты.

Как и гениальные мандельштамовские покаяния, это уже на грани самоубийственного растворения в мифологии. Отказ от жизни «на культурную ренту» неумолимо ведет к желанию стать прахом, взгромоздить геологическое напластование язычества, пантеизма и христианства, заставить пастухов пахать.

Но, с другой стороны, такие прорастания и напластования — неотъемлемое свойство вагиновского искусства. Ибо всякий стиль — порождение своего времени, отражение фактуры исторического отрезка «Он донельзя чувствовал пародийность мира по отношению к какой-то норме «Вместо правильного метра, начертанного в наших душах, — сказал бы поэт, — мир движется в своеобразном ритме»» («Труды и дни Свистонова») Мысль вовсе не символистская или обэриутская, а совершенно набоковская Вернее, бахтинская Бахтинская «полифония» и может быть понята как попытка снятия соборно-индивидуалистического рассечения: индивидуальные голоса пребывают в неслиянно-нераздельном состоянии, общее не формируется внеположной идеей (формой собора), а пульсирует в зависимости от всякого индивидуального голоса, находится в становлении... Для нас важно, что «полифоническое», если угодно, искусство — не пародийно, а синтетично.

В стихах Вагинова и происходит постоянное синтезирование, сплетение реминисценций, перетекание и превращение: Жуковский («Поэзия есть Бог в священных мечтах земли») превращается в пушкинский монолог Самозванца

Поэзия есть дар в темнице ночи струнной,
Пылающий, неожиданный и глухой.
Природа мудрая всего меня лишила,
Таланты шумные как серебро взяла.

Здесь нет ни грена пародии; той улыбки, с какой мы читаем стихи Олейникова, здесь не возникает. Осознание читателем литературных реминисценций приходит потом, в ходе анализа, а на первом плане оказывается семантическая, языковая, фонетическая работа текста. Она перманентна, идет постоянный процесс отмывания слова от беллетристической грязи и окиси, вспоминания

слова и его объемного осмысления. Разве не удивительно, скажем, последняя процитированная мной строчка? Слово «галант» начинает мерцать в нашем сознании, перемежая свое прямое значение с переносным. Вот Вагинов отмыкает топоним: «Смотри, на лодке, *Пряжку серебра*, /Плывет заря». Вот он разворачивает рутинный метафорический штамп: «оперенье крылатых туч», «стоящий вихрь развалин теневых». Важнее всего то, что мы все эти языковые расширения способны осмыслить, сверить с собственным опытом. «Скипетронощный прибор» — не только синтез пушкинских «полнощных стран» и «порфиرونской вдовы» из «Медного Всадника», но и гениальный зрительный образ. Еще важнее то, что зрительные образы, как бы блистательны они ни были, для Вагинова не самоцель; он не впадает в имажинизм. «Фонари, стоящие как слезы», понуждают читательский глаз не только к моделированию зрительных ощущений...

Вагинов — поэт в классическом, платоновском понимании этого слова. Он — «подражатель подражателей». Он создает некое подобие амальгамы, растворяя в своей — пусть! — ртути чужое благородное золото. («Чужое — мое сокровище» — называется одна из тетрадей Батиошкова.) О золоте что ж говорить. Но ведь и ртуть — волшебный живой металл — исключительна, неповторима.

Посредством ритма

Остается вопрос: каким образом эти стихи существуют вне рифмы, возможно ли соединение слов лишь посредством ритма? В названии вагиновской книги есть несомненное преувеличение. Все дело не в ритме, а в амальгамоподобии этого стихотворного текста. Золото в амальгаме утрачивает кристаллическое состояние, становится жидким. В амальгамах Вагинова рифма — важнейшая энергетическая связь стихотворения — вырождается, оказывается ненужной, отмирает. Отмирает только по той причине, что прочие энергетические связи стиха — фонетическая, ритмическая, семантическая — подняты на очень высокий уровень.

Еще в 1922 году Вагинов писал в прозе: «Что есть дыхание стиха? Рифмы, на концах растворенные». Как ставни? Или как соль в воде, как золото в ртути? Вот стихи 1923 года, в которых мы можем уже заметить существенные смещения:

Вы скрылись, дни сладчайших разрушений,
Унылый визг стремящейся зимы
Не возвратит на низкие ступени
Спешащих муз холодные ступни.
.....
Спи, лира, спи. Уже Мария внемлет,
Своей любви не в силах превозмочь,
И до зари вокруг меня не дремлет
Александрий башенная ночь.

Молодой Вагинов не любил точной рифмы, рифма вообще ему нравилась как бы безобразная. Но переход от расхлябанной рифмы невышедшего сборника «Петербургские ночи» к свойственному «Опытам...» отсутствию рифмы связан, как мы можем видеть по приведенным выше строфам, с отчетливым усилением дисциплины стиха. Рифмы — в первом четверостишии — остаются неточными и бедными, но преобразуется весь звукоряд. «Ступни» рифмуются не столько с «зимой», сколько со «ступенями»; «дремлет» — не столько с «внемлет», сколько с «Александрией». Дальше делается следующий шаг:

Над аркою коням Берлин двухбортный снится,
Полки примерные на рысках лошадях,
Дремотною зарей разверчены собаки,
И очертанье гор бледнеет на луне.

Обратим и здесь внимание на звукоряд, на то, как играют и перекликаются хотя бы *эр* и *эн*. Даже одна фонетическая нить, выдернутая из ткани, производит сильное впечатление. Звукоряд лучших стихотворений Вагинова таков, что правая опалубка рифмы им уже не нужна. Повторю: это исключительный и даже, если угодно, противостественный случай в русской поэзии, ставший возможным лишь в силу беспрецедентного свойства вагиновской амальгамы и не имеющий ничего общего с обыденным аморфно-разваливающимся русским белым стихом и верлибром. Опыту вагиновских «Опытов...» подражать бессмысленно.

На мой взгляд, растворение рифмы у Вагинова — стилистическая реакция на другое столь же исключительное, но по-настоящему еще не оцененное явление русской поэзии начала века... Но тут мы сделаем отступление и вспомним еще одно вагиновское стихотворение 1926 года, попутно обратив внимание на звукоряд:

Напротив, из развалин,
 Как кукиш между бревен
 Глядит бордовый клевер
 И головой кивает,
 И кажет свой трилистник,
 И ходят пионеры,
 Наигрывая марш.

Слово «трилистник» после 1910 года (существовало ли оно в стихах до этого?) — заведомая аллюзия, отсылающая к Анненскому. Имя Анненского не случайно оказывается и в анонимном предисловии к «Опытам...». Дело не в том, что оба поэта осознавали себя эллинистами. Дело в том, что Анненский, по словам Ахматовой, «во всех вдохнул томлень», «был предвестьем, предзнаменованьем /Всего, что с нами после совершилось», то есть всего того, что совершилось с русской поэзией XX века; он стоит у истоков большого стиля.

В данном случае прямые созвучия — не самое главное. Главное, на что реагирует вагиновское растворение рифмы, — это головокружительная версификационная виртуозность, феноменальный звукоряд Анненского, у которого рифма не только постоянно совершает экспансию в глубь строки, не только аукается по вертикали и диагонали, но иногда прорастает всю строку справа налево:

Твои мечты — менады по ночам,
 И лунный вихрь в сверкании размаха
 Им волны кос взметает по плечам.
 Мой лучший сон — за тканью Андромаха...

Хочу ль понять, тоскою поджираем,
 Тот мир, тот миг с его миражным раем...

Ясен путь, да страшен жребий,
 Застывая, онеметь, —
 И по мертвом солнце в небе
 Стонет раненая медь.

У Анненского рифма утрачивает функцию скрепки, коробки, подпорки. Весь звукоряд заряжен и заражен рифмой. Рифма естественно порождается самим развертыванием звукоряда. Она перестает быть «сигнальным звоночком», паузой; стихи уже не разламываются в этом месте. Стихотворение из стопки строк превращается в прихотливо пегляющую, интонационно богатую, полную неожиданностей недискретную линию. Оно становится фонетически выпуклым; рифма увивает его, словно плющ:

«За чару ж сребролистную
 Тюльпанов на фате
 Я сто обеден выстою,
 Я изнурюсь в постел!»
 «А знаешь ли, что тут она?»
 «Возможно ль, столько лет?»
 «Гляди — фатой окутана...
 Узнал ты узкий след?»

Разрастание и совершенствование рифмы у Анненского ведет к размыванию ее прежнего функционального качества, к растворению в звуковом поле текста. В идеале каждый элемент звукоряда становится рифмой, рифмуется со всем звуковым полем.

В этом смысле можно сказать, что стихи Вагинова — рифмованные. Только рифма в них такая — а, b, c, d, e ... n. Он как бы реализует и это «томлень» общего учителя постсимволистов, заполняет собой подступившую стилистическую лакуну.

Среди стихотворений поэта, написанных в последние годы жизни, есть одно, которое, на мой взгляд, тоже стилистически и семантически связано с Анненским (и еще с Тютчевым); даже двусмысленность в выборе личного местоимения для авторского лирического «я» как бы отсылает читателя к постоянной теме Анненского — «я и он»:

В разноцветящем полумраке,
 В венке из черных лебедей
 Он все равно б развеял знаки
 Минутной родины своей.
 И говорил: «Усыновлен я,
 Все время ощущаю связь
 С звездой, дышащей высоко
 И, может быть, в последний раз».

2

«Опыты соединения слов посредством ритма» несомненно входят в число самых значительных поэтических книг уходящего века, — быть может, даже в их первую дюжину. Как такой литературный памятник мы ее и рассмотрели. Но это тонкая книжка, включающая менее пятидесяти стихотворений — малую часть написанного поэтом. Феномен «Опытов...» не может быть правильно понят в отрыве от общей картины жизни и творчества этого поэта и прозаика. Пора, подражая жизни, которая сперва вручает нам поэтический текст, перейти к биографическим комментариям.

Константин Вагинов родился 4 (16) апреля 1899 года в Санкт-Петербурге. Его отец Константин Адольфович Вагенгейм, русифицировавший в 1915 году немецкую фамилию своей семьи, служил жандармским офицером. Мать поэта, Любовь Алексеевна, была дочерью состоятельного сибирского промышленника, владела несколькими домами в столице. Свое в материальном смысле благополучное отрочество — с гувернером, с увлечением нумизматикой и старинными картами, с головокружительным погружением в мир многоотного сочинения Эдуарда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи», обнаруженного в отцовской библиотеке, с обучением в престижной и передовой частной гимназии Я. Гуревича — сверстник Набокова опишет позже в романе «Козлиная песнь».

Еще будучи учеником гимназии, мальчик стал сочинять стихи. «Начал писать в 1916 г. под влиянием «Цветов зла» Бодлера. В детстве любил читать Овидия, Эдгар По и Гиббона», — записывает он в автобиографии 1923 года. Сюда следует добавить книгу Томаса де Куинси «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум», имевшуюся в библиотеке отца, и «Воображаемые портреты» Уолтера Патера (Пейтера), переведенные П. Муратовым и схожие со стилизованной прозой Кузмина. Юношеское чтение во многом определило эстетические пристрастия молодого поэта, в существе своем сохранившиеся на долгие годы: Аполлон для него не отличим от Диониса, творчество романтически связано с «опьянением», эклектизм поздней античности и символизм особенно привлекают его внимание.

В 1917 году Вагинов окончил гимназию и поступил на юридический факультет Петроградского университета. Но проучился он там всего несколько месяцев, так как был, по его собственному выражению, «взят в Красную Армию». Он служил на польском фронте и за Уралом, а в 1921 году был переведен военным писарем в Петроград. Демобилизован он был лишь в апреле 1922 года, но служба не мешала ему принимать самое активное участие в литературной жизни бывшей столицы.

Он, разумеется, не мог не чувствовать вкуса «чечевичной каши», как сказано в его стихах той поры: после демобилизации в университете его не восстановили — из-за непролетарского происхождения (в 1923—1926 годах он, впрочем, занимался на курсах Института истории искусств). Но в то же время эти годы были эстетически как раз по нем, недаром впоследствии такое большое влияние имел на него Бахтин — философ «карнавальной культуры», знавший толк в «переодевании», «стоянии у дверей» и «мениппее». Время было как раз «карнавальное» Вагинов ходил в непомерной для него отцовской шинели и, страшно бедствуя, почти не имея денег, покупал на Александровском рынке или на Литейном драгоценные книжные раритеты, античные монеты, антикварные перстни и безделушки.

Он посещал едва ли не все литературные студии, кружки и объединения, существовавшие тогда в городе. Он принадлежал к постэгофутуристическому «Кольцу Поэтов имени К. М. Фофанова» («Аббатству Газров»), куда входили С. Нельдихен, Б. и В. Смиренские, К. Маньковский и художник Н. Жандаров — автор обложки к первой книге вагиновских стихов «Путешествие в Хаос», которая и вышла в 1921 году под маркой «Кольца Поэтов». Он входил в группу «Островитяне» (Н. Тихонов, С. Колбасьев, П. Волков) и публиковал свои стихи в сборниках этой группы. Его стихи печатались в сборниках «Ушкунники» (1922), «Город» (1923), «Звучащая Раковина» (1922). Последний был издан одноименным кружком, собиравшимся у сестер Напфельбаум и состоявшим из слушателей студии Н. С. Гумилева, которую тот до своей гибели в августе 1921 года вел в Доме искусств. Вагинов был участником этого гумилевского семинара, а летом 1921 года был даже принят во второй «Цех поэтов» и в Петроградский Союз поэтов, тоже возглавлявшийся Гумилевым. Его стихи были опубликованы в альманахе «Цех поэтов» (1922). Он контактировал с петроградскими имажинистами и даже посещал собрания пролетарских писателей.

Все эти связи, разумеется, сказывались на его творчестве, развивая те или иные стороны его эклектичного дарования. Но, пожалуй, наиболее значимыми для Вагинова были знакомство с членами кружка эллинистов-переводчиков «А. Б. Д. Е. М.» (Болдырев, Доватур, Егунов, Миханков) и сотрудничество в альманахе «Абраксас» (1922—1923), выпускавшемся группой «эмоционалистов», исповедовавших по-кузмински смягченный, увлажненный и очеловеченный

экспрессионизм. В «Абраксаме» печатались стихи и ранние прозаические произведения Вагинова. Позже определяющим для писателя стало общение с Бахтиним и его окружением.

В 1924 году Вагинов подготовил и пытался издать второй поэтический сборник — «Петербургские ночи», однако и Госиздат и кооперативное издательство «Круг» книгу издать отказались. Только в 1926 году при материальной поддержке нескольких литераторов вышла в свет тонкая книжечка «Константин Вагинов», посвященная Александре Ивановне Федоровой, на которой поэт женился в том же 1926 году. Название этой книжки, большинство стихов из которой затем вошло в «Опыты...», неожиданное. Но это именно название, использующее своеобразный минус-прием для своего рода двойного синтеза — во-первых, искусства и жизни, во-вторых, словесности и изобразительного искусства (обычно так называются альбомы художника). Вероятно, здесь сказалась и свойственная Вагинову неуверенность при определении жанра своих стихотворных произведений, которая логически вытекает из самой его амальгамной поэтики.

Во второй половине 20-х годов стихи Вагинова продолжают изредка появляться на страницах ленинградских сборников и альманахов: «Ковш» (1925), «Собрание стихотворений» (1926), «Ларь» (1927), «Костер» (1927), «Звезда» (1930); их несколько раз печатает журнал «Звезда».

В «Звезде» же были опубликованы журнальные варианты вагиновских романов — «Козлиная песнь» (1927), «Труды и дни Свистонова» (1929), «Бамбочада» (1931). В 1928, 1929 и 1931 годах вышли и отдельные их издания.

В начале 30-х годов Вагинов пишет книгу стихов «Звукоподобие» и четвертый роман — «Гарпагоны», которые остались в рукописях.

3

Начальная пора Вагинова, период поэтического ученичества, без которого не обходится ни один настоящий поэт, простирается от 1916 года, когда, по его собственному признанию, он начинает писать стихи, до 1922 года, когда он завершает работу над сочинением «Петербургские зимы». Юношеские стихи, написанные под непосредственным влиянием символистов, разумеется, отличаются от стихов «Путешествия в Хаос», ориентированных на эгофутуристически перетолкованного Бодлера, — так же как эти последние отличаются от стихов «Петербургских зим», в которых царит революционно-романтическая эстетика литературы, как бы внезапно лишенной стилистической памяти, растущей как бы на пустом месте и слышащей лишь в горизонтальной плоскости, — литературы, связанной с именами Тихонова, Багрицкого и — как справедливо заметил в свое время Л. Чертков — Бориса Поплавского. Несмотря на имеющиеся различия, существенно прежде всего то, что ранние стихи Вагинова представляют собой конгломерат неслитых, невзаимодействующих влияний, лишены связующей стилистической энергии. На протяжении 1916—1922 годов в вагиновской ргуги плавают не могущая в ней раствориться щепка русской поэзии предыдущего десятилетия.

В 1922 году вагиновская поэтика претерпевает качественное превращение, изменяется ее агрегатное состояние, рождается амальгама. В этом состоянии она пребывает до 1928 года, когда в творчестве писателя наступает стихотворная пауза. В 1930 году Вагинов начинает писать совершенно другие — рифмованные и формально-классические — стихи. Сказанное не означает, что в период «Опытов...» не происходит никаких изменений и превращений в вагиновской поэтике. Уже одно отсутствие даты «1925» в книге 1931 года как бы сигнализирует о стилистически значимой лакуне. И действительно, 1925 год делит «Опыты...» пополам, начинаются своего рода обратные сдвиги, которые, однако, до 1928 года не выводят вагиновские стихи из состояния амальгамы.

Более того, экстремум 1925 года, о знаке которого можно спорить, следует считать самым значительным переломом в творческой жизни писателя. Изменения произошли не на стилистическом уровне, а в глубинных пластах авторского сознания, в экзистенции. Эти изменения связаны с написанной в 1925 году драматической поэмой и началом работы над прозаической тетралогией. В 1925 году Вагинов родил Тетелкина. И родил его из собственной головы.

Существует отчасти справедливое мнение, согласно которому вагиновские романы спровоцированы социальным заказом на покаяние, отречение от прошлого и демонстрацию социалистической ангажированности. Литература, порожденная этим заказом, огромна, достаточно вспомнить диалогию Ильфа и Петрова, «Зависть» Олеси. Романы Вагинова могут и должны быть прочитаны как жестокая сатира на вымирающую интеллигенцию, на знаменитое пастернаковское «пустое счастье ста», как битье лежачего, становящееся раз за разом все более свирепым и сюрреальным. Интеллигентский садомазохизм не оставявляет даже фигура отца, которая видится в «Козлиной песни» не иначе как развалившейся на диване в провинциальном публичном доме. В мире назревающего соцреалистического абсурда «красное словцо» из поговорки делается

животрепещущим и кровавым. Причем все это вполне осознается писателем, который сам изображает некий элизийский суд над собой: « — «Не обижал ли ты вдов и сирот?» — «Я не обижал, но я породил автора <...> я растлил его душу и заменил смехом».

Но это лишь первый — и не самый страшный — смысловой срез замечательной вагиновской тетралогии. Не страшный, ибо вызывает смешанное, амбивалентное чувство. С одной стороны, ужасает какая-то неадекватная и с каждым разом увеличивающаяся доза наркотической ненависти. С другой стороны, останавливает соображение о несомненных основаниях этой ненависти. Ведь именно мыслящий класс России — западники, славянофилы, эсеры и символисты — выпестовали человека в кожаной куртке. Именно интеллигенция, на манер Данко вырвавшая свое сердце, завела страну в терра инкогнита, навела «сон золотой». Но она, следовательно, мертва, совершив ритуальное самоубийство посредством революции. Для чего же изображать неправду, живописуя, как она умирает от старческого слабоумия?

Парадокс литературы «непролетарского покаяния», к которой несомненно относятся романы Вагинова, в том, что и заказчик, и исполнитель заказа, и проверяющий качество исполнения заказа критик — все прекрасно понимают, что их занятие беспредметно, как беспредметны, например, знаменитые судебно-политические процессы 30-х годов. Но все ведут некую абсурдистскую игру, перерастающую либо в соцреализм, либо в зеркально отражающее его «реальное искусство» сюрреалистов и обэриутов. Поэтому обэриутская «фантазмагория мира» реализуется как раз в вагиновской прозе, а не в его стихах.

Говоря все это сегодня, мы не имеем права на осуждающую интонацию, ведь перед нами — трагедия всех современников Вагинова, за исключением двух-трех счастливиц вроде Кузмина и Набокова, — трагедия даже не одного, а нескольких поколений русских писателей — трагедия Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Платонова, Булгакова, Бахтина... Последствия тут зависели от степени честности и, быть может, от наличия «Дантовой прививки». Имею в виду прежде всего художественные последствия.

Самый страшный и самый глубинный смысловой срез вагиновской тетралогии — экзистенциальный, там он совершает своего рода метафизическое самоубийство, дифференциацию я. Ибо, будучи предельно честным, декларации нужно реализовывать, выпуская «ржавую» зараженную (Багрицкий) кровь, расплывая «прокаляете» гены. Что происходит? В поэме 1925 года целокупное я «Опытов...» раскалывается на «верх» и «низ», на «небесную» и «ползущую» составляющие — на возвышенного Филострата и низменного Тептелкина. Собственно говоря, Вагинов проецирует на я невиннейший символизм, а затем продельвает с я логически вытекающие отсюда операции, удивительно напоминающие процесс самоизмельчения модернизма в искусстве. От романа к роману происходит как бы метемпсихические перерождения расщепляющихся и мельчающих частиц я: поэты и ученые сменяются хваткими беллетристами, милыми глуповатыми коллекционерами, наконец — безумцами, продавцами и классификаторами сновидений, мусорными мыслителями, бессмысленными убийцами... Прогрессия неумолимо стремится к нулю, к концу жизненных перерождений — в ничто. За финальной строчкой последнего вагиновского романа стоит безличней и никакой лирический герой Франца Кафки.

Вагинов вообще схож с Кафкой по некоторым внешним и внутренним событиям их жизнью. Но главное, разумеется, в том, что оба писателя отражают трагичность человеческой экзистенции, смертельный дефект бытия. Кафкианский монограммист К., заключенный в «процесс» приближения к смерти (туберкулезный аналог этого «процесса» изобразил еще Томас Манн), воспринимается ведь как я лирическое, то есть соотносимое с я автора. Только это лирическое я — никакое. Нас не оставляет впечатление, что и прозаический опыт Вагинова произведен прежде всего над его собственным я. Парадоксальным образом попытка приобщения к «счастью сотен тысяч» чревата здесь не только утратой небесной музыки, даже не только утратой себя — это было бы хотя бы самоотверженно, но утратой того человека, ради счастья которого все и затеяно. Людей больше нет, есть обезьяны — как в позднем вагиновском стихотворении «В повышенном горе...». Мы пошли к людям, бросив высокое, непонятное им искусство, — и обезьяна пришла к обезьянам. Послушаем самого Вагинова:

Прекрасен мир не в прозе полудикой,
Где вместо музыки раздался хохот дикий.

А где? Для нового Вагинова — нигде. Его проза разрушила амальгаму его «Опытов...», стихи «Звукоподобия» пишет совсем другой человек — человек, лишившийся части себя, — или хотя бы иллюзий, что не менее страшно.

Орфея погребали,
И раздавался плач,

В глянцере и перчатках
 Серьезный шел палач.

Они ходили в гости
 Сквозь переплеты книг,
 Устраивали вместе
 На острове пикник.

Искусство, на первый взгляд, остается тем же «мнимым островом», только ударение, прежде блаженно размытое и сдвинутое к второму слову, теперь упрямое, тязко и твердо стоит на первом; оно уязвляет это мнимое, кончившееся и безблагодатное искусство. Орфея убили.

Возможно, конечно, более простое объяснение случившегося: поэт узнал, что болен неизлечимой болезнью — туберкулезом. Но оно все-таки мало что объясняет, ведь все смертны.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что стихи «Звукоподобия» плохи или что они хуже стихов «Опытов...». Но они безысходны. Достаточно прочесть стихотворения «Уж день краснеет, точно нос...», «Русалка пела, дичь ждала...», «Черно бесконечное утро...», чтобы ощутить авторское чувство непоправимой утраты, горечи и разочарования.

И робость милая, и голоса друзей,
 Как звуки флейт, уже воспоминанье.
 Вчерашний день терзает, как музей,
 Где слепки, копии и подражанья.

Неверно было бы думать, что «Звукоподобие» — возвращение к классическому искусству, к поэзии XIX века, столь отчетливо слышной в этих стихах, к Тютчеву, Баратынскому... Туда вернуться нельзя. В прекрасной последней книге Вагинова «дышат почва и судьба», но в пастернаковском манифесте эти слова не зря связаны с концом искусства и с рабством — почти из пушкинского «Анчара». Искусства нет, остаются слепки и копии. В сущности, Вагинова мы могли бы назвать первым русским «постмодернистом», если бы этот термин не был столь злободневным.

В последней книге Вагинов разрушил модернистскую амальгаму «Опытов...». Можно лишь гадать, насколько осознанно это было сделано, но постфактум он все понимал. Он писал в марте 1931 года

Перед судилищем поэтов
 Под снежной вьюгой я стоял,
 И каждый был разнообразен,
 И я был, как живой металл.
 Способен был соединиться,
 И золото, вобрав меня,
 Готово было распусться
 Цветком прекрасным.
 Пришла бы нежная пора.
 И с ней бы солнце появилось,
 И из цветка бы, как роса,
 Мое дыханье удалилось.

Нет, вагиновская амальгама сохранна. Сохранна хотя бы потому, что очевидна — что соображение о жидком сплаве приходит в голову раньше знания этих поздних стихов. Но никто не вправе запретить поэту попробовать превратить ее в чистое золото. В 1933 году Вагинов сдал в издательство рукопись «Гардагонианы» и уехал в Крым на лечение. Там им были написаны стихи, которые могли бы стать началом нового — алхимического — периода его творчества. Но тотчас после возвращения в Ленинград наступило обострение болезни; он провел в больнице около трех месяцев и умер 26 апреля 1934 года. Его похоронили на Смоленском кладбище.

Санкт-Петербург.

Литература и искусство

ВЕК XX КАК УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Фридрих Горенштейн. Избранное в трех томах. М. «Слов». Том I. Место. Роман. 847 стр. 1991. Том II. Искупление. Повести, рассказы, пьеса. 543 стр. 1992.

Фридрих Горенштейн. Яков Каша. Повесть. «Дружба народов», 1992, № 5, 6.

Фридрих Горенштейн. Псалом. Роман-размышление о четырех казнях Господних. «Октябрь», 1991, № 10, 11, 12; 1992, № 1, 2.

Фридрих Горенштейн. Чок-Чок. Повесть. «Искусство кино», 1991, № 6, 7.

Фридрих Горенштейн. Споры о Достоевском. Драма в двух действиях. «Театр», 1990, № 2.

...наиболее сложная и тонкая русская метафизическая мысль вся протекает в русле, проложенном Достоевским, вся от него идет.

Н Бердяев.

I

В конце века в пору вести речь о ренессансе недавно минувших десятилетий. О 60-х в частности. Вроде бы их духовный багаж своевременно взвешен критикой, специалистами-отраслевцами. Но оприходованный этот объем пополняется из скрытых (прежде) резервов.

После 1985-го многое извлечено из-под тоталитарных глыб: книги Г. Владимова, А. Солженицына, В. Аксенова, В. Максимова, А. Синявского, Ю. Даниэля... Из того же ряда и Фридрих Горенштейн, начинавший в 60-е, но до читателя-соотечественника добравшийся на пороге 90-х.

Заметим, что новые извлечения из запасников не просто прибавляют дополнительные штрихи к облику десятилетия, но и существенно меняют этот облик. Прочитав «Раковый корпус», «В круге первом», «Верного Руслана», уже не слишком впечатляешься ни раскованностью тогдашних Аликов или Вить, пригубивших Ремарка с Хемингуэем, ни фрондерством повествователей об Аликах. Все было серьезней, чем можно судить по оживлению на площадках молодежной культуры.

При всех стеснениях и стрессовых нагрузках, отечественная культура сознавала, как для нее опасно сосредоточиться на прямом — лоб в лоб — противостоянии политсистеме: за ближними хлопотами позабудется многое из того, что превышает злобу дня. И недаром в ранней повести Ф. Горенштейна «Зима 53-го года» (1966) судьба вчерашнего школяра сложилась вопреки аксеновско-гладилинскому канону

Нет здесь и слабого намека на возмужание инфантильного героя, его подъем по ступеням гражданского роста, нет и бережной опеки со стороны автора («Сам таким был»). Вместо подъема — крутой спуск в кротовьи рудничные норы (юный герой успел слегка повздорить с режимом и отправлен на перековку в шахтерский коллектив), вместо сердечной короткости с автором — холод одиночества, душевное бесприютство и телесные корчи при внезапных осыпях либо обвалах. Горняку-стажеру некогда разстрогать читателя неискушенностью и наивом, ибо аврал следует за авралом и душевным перееливам почти нет места. Что же до повествователя, то он бестрепетно-эпичен и укрупненно подает не оттенки внутренних состояний, а моменты сверхнапряжений (сюжет повести, заметим, автобиографичен), когда близок край, обрыв вот для этого комочка жизни, перетираемого жерновами Системы. Пожалуй, для познавательных задач писателя сложившийся уклад партдиктатуры особенно важен в одном своем качестве — как дезорганизатор, разладчик внутреннего строя личности.

Человек, взятый Системой в оборот, — вроде суденьшка без навигационных средств, Бог у него отнят, историческая память замусорена бутафорией, моральное чувство ущемлено державным целеуказанием. И хотя, по Ф. Горенштейну, Системе мало что известно о сопротивлении человеческого «материала», штамповка девственных умов ей удастся неплохо.

«Мой отец погиб за родину, чтоб я могла хорошо жить...» — девиз-рефрен школьницы-переростка Сашеньки, по-

следней в учении, но начиненной агит-лексикой (повесть «Искушение»); «Я из первых стахановцев. Я при Сталине в партию вступил...» — разорется, приняв защитную стойку, пенсионер Яков Каша из повести, озаглавленной его именем; «Мой отец был генерал-лейтенантом и останется им» — козырная реплика Гоши Цвибышева, перед которым извинились за расстрел отца (роман «Место»).

Предполагается: парольные слова из политексикона — ключ к сердцу социума, ибо раз они у тебя на языке, ты «свой» и место твое — в строю. У Горенштейна, однако, и строевые возгласы доверены мнимым строевикам. Просто панцирь оборонительно-наступательных формул успел врасти в их плоть.

В повести про Якова Кашу (она написана уже на Западе в 1981-м, на другой год после эмиграции писателя из Союза) шутовская его фамилия не раз обыграна. С уклоном в некую притчу (жанру притчи отведено в этой прозе не последнее место). «Какая каша?» — спрашивают у Якова при знакомстве. Обыкновенная, снятая с огня (по логике притчи — с пламени энтузиазма). Сверху — тонкая корочка «идейности», а если корочку проткнуть, под нею — вязкое крупяное варево. Человек по фамилии Каша примерно так и устроен.

Вообще внутренняя бесформенность, «кашеобразность» питомцев партократии — одна из устойчивых психологических тем у Горенштейна. И зона его художественного риска — потому что возня с «кашей» необязательно привлечет аудиторию, которой подавай загадку скрытых структур. Но поскольку политрежим мял и крошил человеческий «материал», не позволяя окрепнуть внутренним структурам, от такой небывалости искусству отмахиваться грех. Ф. Горенштейн и не отмахивается. Взыскав с политрежима абсолютно нештатную ситуацию, он занялся ею с такой пристальностью, что и перепады сюжетного напряжения не сбивают его с принятого невозмутимо-аналитического тона.

2

Когда речь у Ф. Горенштейна заходит о подробностях чувств, почти непременно из лексического потока выныривает слово «состояние». К нему лепятся эпитеты «новое», «подавленное», «размягченное» и т. п.; оно может и отрываться от определений, подчинять себе глагол, требуя усиления. или немедленной смены, если успешно надоесть, или возобновления после какого-то интервала (персонажу случается «соскучиться» по недавнему состоянию).

Зарисовки состояний тут похожи на метеосводки при неустойчивой погоде, повздорившей с календарем. Про Сашеньку из «Искушения» мы узнаем, что ей случалось грезить о прекрасном, видеть завлекательные сны с пейзажем «какой-то местности, в которой не была ни когда, залитой лунным светом», а после приятных снов оставалось сожалеть о

краткости тех «счастливых состояний». Станем искать за такими подробностями восприимчивую душу? И напрасно. Перед нами образцовая «стервочка», доносчица и дебоширка, родную мать упекающая в тюрьму. По праву ли ей достались сновидческие картинки?.. Нечто похоже отыщем и в жизнеописании Якова Каши, где туповатому и приземленному партактивисту подарены моменты чистого, даже возвышенно-поэтического любования юной женщиной, чем-то напомнившей ему покойницу жену.

Быть может, нам предложено оценить невостреманные ресурсы характеров? Нет, вряд ли. В мире Ф. Горенштейна характерам не дано лидировать и сверкать острыми гранями. Грани как раз нечетки. За сменой психологических казусов, контрастных состояний их не всегда и разглядишь.

Впрочем, уже на исходе прошлого века в русской классике, которую привычно славил за галерею бессмертных типов, намечился некий сдвиг к импрессию, размытости портретных очертаний, запечатлению скорее ауры, энергополя вокруг группы персонажей, чем резкой неповторимости каждого. Исследователи Чехова и в застойные годы дерзали заявлять, что удельный вес характеров в его поэтике совсем невелик (следы чеховского воздействия у Горенштейна встречаются часто).

И справедливо: в характеры всегда впечатан портрет времени, которое над ними потрудилось. Когда во множестве распространяются яркие характеры, это означает, что время любит себя, неповторимым. А если время бесхарактерно (недаром чеховскую эпоху окрестили «безвременьем»)? Или ему почему-либо тошно разглядывать свои отражения?..

Георгий Федотов отметил в 30-е, что «человек, стержень мира, разбился на поток переживаний, потерял центр своего единства, растворился в процессах». А раз человек, «стержень мира», раздроблен, значит, и оттиски времени повреждены.

Если с портретных галерей XIX века перевести взгляд, допустим, на персонажей рассказов Кафки или его «Процесса» — резко ли проступит лица? Не резче ли выражения лиц как бы отдельно от них? Вот уж где персонаж «растворился в процессах»!

Думаете, таков удел особо утонченных натур? Совсе нет. Горенштейна, к примеру, раньше всего занимает «сложность простоты», так сказать, модернистский сумбур вместо музыки при ее исполнении на балалайке.

Маятник психических состояний Сашеньки из «Искушения» (1967) колеблется между визгливой истерикой, пароксизмом ненависти к матери, соседям, сопернице Заре — и «необычной благодарностью» доброй женщине (приютившей Сашеньку после ссоры с матерью), которую «ей даже захотелось обнять и поцеловать». В ряде случаев взгальная Сашенька кажется изощренной эстеткой, которой неприятно глядеть на блеклые

черты своей неженственной покровительницы, и она — заметим! — ловит себя на этом дурном чувстве, даже стыдится его. Так, значит, юной героине известна разница между добром и злом? Ни в малейшей мере. Подобно очень многим персонажам Горенштейна, она морально дика и перед собой кругом права. А как же стыд, верный спутник совести? Нечаянно нагрянув, он через минуту исчезнет без следа. Казус здесь в том, что при выбитом духовном центре чувство стыда так же беспризорно, как и весь пестрый набор Сашиних эмоций, среди которых оно заблудилось.

Хорошо, допустим, Сашенька — дерганое, отчасти истеричное дитя войны. Отнесем ее внутренний сумбур за счет расшатанных нервов. И взглянем на пригосужую Веру Копосову из города Бор, женщину ровного нрава, работающую, примерную жену (мужа-солдата честно прождала всю войну) и мать двух дочерей (роман «Псалом», 1975). Поначалу фигура эта почти статуарна. В мухинском вкусе. Но лишь до встряски и неурочного испытания. А встряской стала встреча Веры с захожим инородцем по имени Дан (он же Антихрист, о чем речь дальше). Без всяких допущений с его стороны дробопорядочная Вера воспылала страстью. И прежняя скромность, боязнь пересудов — побоку. Домовитая горожанка преображается в вакханку, и мы наблюдаем распад ее личности.

Уж не спор ли тут с официозом о «просто советском человеке»? Нет, оспаривать казенную мифологию автору «Псалма», повторяю, скучно да и недосуг. И советский человек для него — нормальный представитель рода людского, оказавшийся в сдвинутом мире тоталитаризма, чей «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат».

С ковкой булата, правда, дело обстоит неважно (сберечь, даже закалить духовную основу у Горенштейна удается не многим — по преимуществу женщинам), зато дробленого стекла хоть отбавляй. Ну, не стекла — треснувших зеркал, разбросанных осколков эмоционального мира, в которых причудливо отражается... Россия. По Тютчеву, умом ее не понять. Так вот они — «датчики» чувств, набор эмоциональных зеркал.

Эмоция-распорядительница может до поры дремать где-то в закутках души, дожидаясь востребования и раньше срока не напрягая фавулу. Так, самая многостраничная из книг Горенштейна, роман «Место» (1972, 1976), поначалу читается как быто- и правописательное повествование о титанической борьбе полунцищего честолюбца Гоши Цвибшьева за койко-место в общежитии. Но стоило забрезжить свету в конце туннеля (хрущевская оттепель принесла нашему коечнику россыпь мелких льгот — как сыну посмертно реабилитированного) — и резкая смена курса: теперь затюканный Гоша — бунтарь и мститель, которым движет одна, но пламенная страсть — сквитаться со всеми обидчиками. И по возможности — с государством.

Откройте оглавление и пробежите взглядом названия частей этого романа. Первая — «Койко-место», затем — «Место в обществе»... Эпизод: «Место среди живущих». Торжествует принцип — «все шире, и шире...». Это не Гоша (ходячая узость души и мыслей) — застрявшая в нем эмоция ищет пугачевского разворота во всю российскую бескрайность. «Степная славянская натура, — размышляет автор, — запаянная подобно буиной реке в плотину-государственность... почувствовав малейшую щель, начинает рваться и бушевать, стараясь хоть недолго пожить хмельно и беспощадно».

Ну хорошо. Допустим, бесталанному Гоше на роду написано пыхтеть и раздуваться, повинувшись бродильной силе страстей и страстишек. Но вот Сергей из более поздней повести «Чок-Чок» (1987) не в пример Гоше всем взял: красив, душевно чуток и тонок, восприимчив к наукам, пользуется успехом у женщин. Последнее его и сгубило. Детское сексуальное любопытство с годами переросло в эротоманию, которую не удается обуздать, ибо гормоны, как и у многих персонажей Горенштейна, сильнее ума и воли. Вновь своевольничает избранная страсть, на которую нет управы, и рискованные (на аскетический вкус) эпизоды здесь не отдадут клубничкой, потому что писатель-аналитик вплотную занят природой страсти. Как, впрочем, и в других вещах, где введены духовно безопорные люди, по словам автора, «запутавшиеся в многоклеточном своем организме» («Место»).

3

Ф. Горенштейн-психолог очень многим обязан Достоевскому. Это видно невооруженным глазом. Но автору «Идиота» и «Бесов» писатель-восприимчик предъясляет очень серьезный философский да и эстетический счет.

В 1973-м он создал весьма глубокомысленную драму «Споры о Достоевском», с которой режиссеру вряд ли проще справиться, чем с диалогами Платона: сплошь теоретические словопрения при ослабленной сюжетной пружине. Да и словопрения ничуть не увлекательны в тех случаях, когда рот открывают бюрократы от литературоведения или издательского дела, жующие казенную жвачку.

В пику бюрократам высказываются два интеллектуала, явно доверенные лица автора (те же идеи щедро рассыпаны и в его прозаических текстах). С персонажей, впрочем, велик ли спрос, даже если они съезжают на уровень любительства и вкусовщины? Драматург, однако, ревностно оберегает репутацию умников, да и всерьез спорить с ними тут никому. А надо бы. Например, слишком уж рискованно совместное, по сути, заявление этого мыслящего дуэта, будто после Родиона Раскольникова большинство героев-идеологов у Достоевского похожи на персонафицированные тезисы (утверждается, что в его «последующих мировых романах руки и ноги множества персонажей инго-

да остроумно, а иногда и неостроумно делятся за ниточки»).

Да и с Раскольниковым, на взгляд двух теоретиков, не все ладно. А конкретнее? Их абсолютно не убеждает его «малохудожественное риторическое “воскресение”», его «тушик» и «выход из этого тушика, предлагаемый Достоевским». Значит, Достоевский-художник отступил перед Достоевским-моралистом? Так ли оно на деле? Вопрос не для этой статьи. Здесь для нас важнее другое: досада самого Горенштейна на классика, который вроде бы нарушил заповедь тружеников духа — не позволять себе остановок. Такая досада по-своему исповедальна: только вперед!

Многократно и по ходу пьесы, и в повествовательных текстах Ф. Горенштейна встречаются ссылки на Поэму о Великом инквизиторе, содержание которой вызывает у нашего автора внутренний отпор. Коробят его сатирические ноты, вроде бы различимые в Поэме, мало убеждает фигура Христа, «загримированного и передоетого князя Мышкина», вдобавок «безмолвного, а значит, кастрированного».

Отчего же «значит»? — спросим мы. Можно ли одним щелчком отбросить прочь другое мнение, согласно которому «безмолвие» Христа при монологе старца — один из высочайших примеров красноречивого молчания в повествовательном искусстве?..

Легенда, рассказанная Иваном Карамазовым, — едва ли не самый значительный философско-поэтический завет минувшего века нынешнему. Как он понят восприимчивыми? Вопрос не праздный.

Особый вес в монологе Великого инквизитора получило рассуждение об «основной тайне природы человеческой», а конкретней — о людских метаниях под бременем личного выбора. По мысли старца из Севильи, людей испокон веку гнетет ответственность за себя и свою судьбу подмывает нетерпение расстаться с этим грузом, найти сильную личность, готовую принять на свои плечи моральные тяготы многих в обмен на их безропотность и поклонение.

Такие речи вложены автором «Карамазовых» в уста персонажа задолго до массовых беснований на площадях и стадионах, изъявлений верности нацистским, большевистским, китайским, мусульманским лидерам нового века.

Но вот современник припадочных клкушеств во славу вождей и фюреров Стефан Цвейг в книге 1936 года («Совесть против насилия. Кастеллио против Кальвина»), подхватив откровения Великого инквизитора о нашей нестойкости перед приманками рабства, продолжает: «Эта мессианская тоска по освобождению от проблем бытия и есть та первоначальная сила, которая прокладывает путь всем социальным и религиозным пророкам... Ведь тот, кто дарит людям новую иллюзию единства и чистоты, прежде всего высасывает из них самые святые силы...»

Искусству и людям искусства просто на роду написано следить за приливами-откатами массовых возбуждений, игрою

то ли «самых святых сил», то ли несложных стадных инстинктов, включая сюда мессианскую тоску по предводителю-полубогу.

Важнейший мотив монолога старца-инквизитора, с которым тот обращается к Христу: оставь нас и оставь все как есть, потому что мы, папстыри, успеха исправить твою ошибку, переняв у «многочисленных, как песок морской, слабых» непосильное для них бремя свободы.

Великий инквизитор еще и великий казуист, а близкие к нам по времени мирские инквизиторы, обольстители людской совести, — те и как казуисты мизерны рядом со старцем из Севильи. Вряд ли способные со-мыслить с ним на метафизическом и онтологическом уровне, они перехватывают его логику на спуске от метафизики к практике обольщивания миллионов. Однако интуиция новейших диктаторов в чем-то проникает в изощренного ума инквизитора. В чем же?

Оспаривая Христа, Великий инквизитор заметно накренил свою диалектику на одну сторону. Правда ли, что людям не терпится свалить с плеч бремя духовной свободы? Часть правды, приманчивая своей обличительной едкостью. А есть и другая: живую душу, несмотря ни на что, манят к себе источники бытия, его запрятанная тайна. И если сила отталкивания от вечных вопросов — союзница диктаторов, то силу притяжения они вынуждены подстергать и глушить (отсюда карантинный режим для философии, психологии, искусства).

Носитель необуженной правды о «тайне природы человеческой», Христос Поэмы молча хранит в себе истину и о севильском старце, который сейчас насилует собственную духовную природу, отрекается (не с болью ли?) от любви к «малым сим», дабы сберечь безлюбивый, безблагодатный, но удобный (старость живет привычкой) порядок.

Требует ли невыявленного второй план речи инквизитора ответного слова Христа? Не вернейший ли тут ответ — молчание?..

Отчего же Горенштейну не хватило терпения дослушать Достоевского? Ответ как будто на поверхности: у нашего прозаика уже оскомина во рту от идейных пристрастий классика, который со своим багажом вторгся в XX век; родственен ему апокалиптической мировосприимчивости, однако «религиозную проблематику подменял национальной», «всю поэму о втором пришествии густо наперчил сатирой в духе Вольтера», любовался «низшим классом как единым божеским небесным существом»... Но главная причина некоторой даже запальчивости Горенштейна при встрече с миром Достоевского лежит, по моему, за ближним порядком «идей». Конкретней — в области художественной гносеологии: какой именно подход к познанию человека верней в свете новейшего опыта кризисов и катастроф?

Если держаться осевой линии этих споров о классике и с классиком, вот вкратце их итог: замечательные открытия (и метод) Достоевского-аналитика, более чем со-

мнительна его метафизика. «Он требовал от человеческой жизни самоцели и самоконструкции, — формулирует близкий автору персонаж «Споров...». — Но человеческая личность, которую всю свою творческую жизнь конструировал Достоевский, лежит на иных, противоположных путях, Достоевскому недоступных».

Тут видно, как прозаик второй половины XX, ничуть не оробевший перед громадой проклятых вопросов, оборудует для себя строительную площадку, вынося от туда ненужное. Что же в первую очередь? Аксиомы авторитетного классика, будто личный выбор, нравственная инициатива — организаторы человеческой судьбы, по крайней мере участники ее формирования («самоконструкции жизни»). Во всяком случае, в сюжетах Горенштейна ум и воля персонажей мало что значат рядом с заведенным ходом вещей и анархией подкорки, болезненно отзывчивой на тектонику века. Тут словно фатум античных трагиков странным образом поладил с постулатами психоаналитической школы. И при такой комбинации спор с классиком XIX попросту неизбежен: сохранила ли «тайна природы человеческой» свое духовное измерение и прежнюю полноту или обернулась дробностью загадок «о свойствах страсти» под давлением на людские души небывалых перегрузок?..

4

С захватывающей силой выразительности рассказывает Ф. Горенштейн о полосе народных бедствий: голоде на юге России начала 30-х, сиротах и беженцах на дорогах войны («Псалом»), о первой послевоенной зиме («Искушение»). Читателю дано войти в ту самую реку времени, где много воды утекло. Восстановительных трудов автора не видно, но перед нами все, как было: предметы, лица, веяние тогдашнего «воздуха».

Что до людских лиц, на них печать блоковской «тоски дорожной, железной» и некоторой заторможенности. Чувства по отдельности обострены, но на фоне душевной вялости, почти оцепенения сильные страсти уже вроде бы не в подъем. Поэтому когда о трагическом здесь говорится с эпической ровностью и расстановкой, это выглядит продолжением психологической характеристики персонажей или даже стилизацией их внутренней речи. Хотя на деле автор и в слове и в тоне всегда — невозмутимый аналитик, обо всем в ровной манере.

К какому именно случаю стянуто действие «Искушения»? Вскоре после захвата города нацистами, когда настала очередь решать еврейский вопрос, у оккупантов появились помощники-добровольцы. Из местных Один, особенно рыжий, по имени Шума, деловито прикончил семью соседа — зубного врача. Кирпичом, завернутым в газету И побросал тела на помойку. А зимой сорок шестого место побоища посетил сын и брат убитых, летчик-фронтвик, задумавший перезахоронить родных по-людски. Здесь-то для центрального лица повести Сашень-

ки, перед окнами которой происходит эксгумация, и началось самое главное, ибо она влюбилась без памяти в приезжего летчика, показавшегося ей киногероем по плоти.

Удивительное дело: от истории про лютые убийство и вскрытие могил ждешь взрывной волны по всем сюжетным направлениям. Но взрываться тут нечему (кроме гранат и мин, оставшихся с войны) да и некому. Сашенька того случая в упор не видит; летчик, конечно, в шоке, но его чувства здесь погоду не делают. Вдобавок он более других зажат и подавлен; прямые участники эксгумации всякого видались и не слышим впечатляются, возясь с покойниками; сам автор. Тот, как уже сказано, ровно-эпичен. К тому же вносит в свой эпос библейскую ноту: мир катастрофичен, как и тысячелетия назад. А где же, спрашивается, катарсис?

Кто-то из писавших о Горенштейне нашел оправдание заголовка повести в ее финале, где Сашенька — кормящая мать: дескать, раз юная героиня зачала от того летчика дитя, то вот, пожалуй, и момент искупления. Не слишком ли благодушно?

Но финал «Искушения» и по фактологии и по тональности совсем не благоден: летчик, отец Сашиней девочки, успел где-то стинуть, в доме скопилось несколько грудных младенцев (мать Сашеньки на склоне лет подарила ей сестру, а рядом, за печкой, и нищая постоялица родила), составивших голосистый хор, сама же Сашенька уже созрела для новых свар, возможно — доносов (что-то выкрикивает о «врагах народа»). Так что в мажорном хоре новорожденных можно расслышать вест из глубин «всемирного хаоса», про который тут немало толков.

Замечательная эта повесть (на мой взгляд, пока лучшее из всего написанного Горенштейном), где царит эстетика жизнеподобия, словно бросает вызов повествовательным канонам: центральной героине дела нет до происшествия (расправа над семьей дантиста и последствия), ставшего центром фабулы. Нельзя сказать: «Ее глазами читатель видит...» Сашины глаза обращены на красивого летчика, ненадолго пережившего близких. На него одного. Девственница Саша, чуть ли не силком уложив любимого на койку (тот в рассеянии называет Сашу «девушкой»), ныряет к нему под одеяло и... Сказка-грёза, вынесенная из кинозала, где крутят трофейные ленты, стала былью. Пиком судьбы. Вдобавок — сюжетной кульминацией.

Действующее лицо тут особенно интересно сменой мимических выражений: мстительная злоба — размягченная мечтательность — любовный пыл и эйфория. Вся апокалиптика сорок шестого, наследника сорок первого — сорок второго, — жаркая окрестность страсти, которая бурлит словно в колбе, меняя цвета.

От своих героев Ф. Горенштейн не ждет духовной инициативы. Внезапных и капризных перескоков с пути на путь (по указке фантазии, порыва, шкурного инс-

тинкта) — да. Но не выстраданного и не взвешенного решения.

Помните недовольство Горенштейна финальным «воскресением» Раскольникова? Там ведь, у Достоевского, подведен внятный итог инициативы персонажа-волюнтариста: сам поставил опыт, сам и душу надсаживает после неудачи. Не слишком ли широко персональное поприще в мире жестких детерминант? XX век, по Горенштейну, — плохое поле и для таких опытов, и для вдумчивых самоотчетов. В его прозе, всегда ориентированной на классику, некому пройти по следу хрестоматийных персонажей-правдолюбив (с их вопросами к себе и о себе, очередностью кризисов, переломов, озарений), которые по точности самооценок и с автором способны потягаться. У Горенштейна личная воля человека, столь тревожившая старого инквизитора из Поэмы, по сиротски притулилась между властным ходом вещей и анархией страстей.

Но ведь это большой грех — человеку, образу и подобию Божьему, безбожно себя запускать. Верно.

И вот Господь отправляет в большевистскую Россию специального порученца по имени Дан (он же Антихрист), по земному облику — молодого еврея. Дабы тот... чем занялся? О задании Дана чуть ниже. А пока оценим необычность жанра этой книги Ф. Горенштейна, названной «Псалом», с уточнением ниже заголовка: «Роман-размышление о четырех казнях Господних». Нам сразу же обещаны выходы в религиозную метафизику и символизация всех слагаемых романного действия. Удачно ли сотрудничают Горенштейн-богослов и Горенштейн-эпик? Помоему, с переменным успехом.

Один из них погружает меня, читателя, в поток драматических событий, перипетий людских судеб, другой выдергивает оттуда, устраивая моему сознанию просушку пафосными комментариями к Библии, монологами пророков или самого всевышнего. Но меня все же вновь тянет в ту стихию, где Ф. Горенштейн — художник, а не теолог, потому что под обаянием авторского таланта я стал на время глубоко воден, дышу, так сказать, жабрами и доверяю течению действия. Когда же меня снова вытягивают наверх, «жабры» мои пересыхают и я теряю свою читательскую устойчивость, даже право на вопросы по ходу дела, ибо с моей стороны вдруг да выйдет святотатство.

Допустим, на первых же страницах романа сообщается, что Господь задумал подвергнуть Россию, где «все грехи небесные были отменены новой властью», четырем казням (мечу, голоду, зверю похоти, моровой язве) и направил сюда «для Проклятия» Антихриста. Но к моменту его прибытия на Харьковщину стихия голода уже свирепствовала всюду, и мне, наввному читателю, не отстрелиться от недоумения: отчего же силы небесные стали активны задним числом (да и в промежутке от 1917-го до 1933-го ведь не единжды вершилась «кара»!); кто же проклял Россию до поручения Антихристу ее проклясть?

Спрашиваю я так не из врожденной дерзости, а по причине моего доверия к автору, который в своем мире — истинный демиург и ответствен за полную проработанность мотивировок.

К созданию романа «Псалом» прозаик приступил в 1974-м, когда еще не улеглось общее возбуждение после публикации «Мастера и Маргариты», где сам Князь тьмы — визитер в большевистскую Россию. Только у Булгакова две как будто несводимых реальности (Москва 20-х — древний Ершалаим) соединены — прочнее некуда — логикой скрытых связей-перекачек. И на стиливом стыке между фантазмагорией и ретроспекцией из евангельской старины четкий пограничный порядок.

У Горенштейна же реалистические картины (где прослушиваются отголоски платоновского сказа) как бы настаивают на полноте саморазвития, их разворот по-немногу отнимает у Антихриста волю к злу, гасит черные молнии из-под век, и тот уже на грани обрусения, странник среди странников, готовый раздавать «хлеб изгнания». У Булгакова фантазмагория, бурлеск и мистика запрятаны внутри исходной ситуации. А при чтении «Псалма» весть об отправке Антихриста для Проклятия туда, где и без того сущий ад, воспринимаешь как Божий недосмотр. Или авторский?..

Одна из последующих глав содержит новость о целях Антихриста: «Не как исполнитель он был послан, но лишь как свидетель Господен...» Ладно, поморщившись, примем поправку. В последний ли раз? «Понял Антихрист, что не для Проклятия он прислан сюда Господом, но чтоб самому быть проклятым» — подобная информация в свой срок нагоняет прежнюю. Но затевая с публикой сложные богословско-метафизические игры, можно ли в самый их разгар менять правила?..

Насчет же Дана-Антихриста впечатления таково, что перемена целей тут связана не с умозрениями, а с поэтикой. персонажу удобней, когда над ним и его земными спутниками — единый повествовательный закон. Точнее говоря, над ним и его спутницами.

Во вступительной статье к публикации «Псалма» на страницах «Октября» Вячеслав Вс. Иванов отмечает у Горенштейна «явное неравенство мужских и женских ролей»: последние преобладают. Именно так. Женщина тут в определенном смысле скрытая псалмопевица. И в грехе и в кухонном кураже она сокровенна Хранит тайну. Личной судьбы? России? Не отделишь. Едина тайна «мгновенного взора из-под платка».

Об одной из юных героинь, чей путь пересекается с Антихристовым, читаем: «Изсмотрела на Дана, Аспида, Антихриста, Тася, увидела его библейский облик, и тоже ощутила биение своего сердца, и не удивилась этому...» Страницы, домовитые хозяйки (вроде Веры Колосовой из Бора, о которой уже упоминалось), девочки-подростки словно сторожат сигналы из

тех мест, где вершилась Священная история.

Для встреченных Даном мужчин важной не библейское — еврейское в его облике. Веянием Священной истории они никак не задеты. А для женщин оторванность родных просторов от земли пророков, отчужденность от всей библейской первоначальности — некий ущерб. И грустному страннику-инородцу достается даже роль пассивного донжуана среди озбоченных россиянок, и потомством коекто из них его дарит — мотив, прочнее всего соединяющий метафизику «Псалма» с картинами мира дальнего. Притом этому мотиву романские границы тесны.

Через десять лет после «Псалма» в повести «Улица Красных Зорь» (1985) вновь протянется знакомая нам сюжетная нить: коренная россиянка, да еще из глухого таежного угла (где этнической пестроты сроду не видывали), Ульяна полюбила пришельца из далеких краев, рыжего Менделя, прижила с ним двух детишек и погибла вместе с мужем под ножами бандитов. «Все ей чего-то особенное в муже своем виделось». Что там, за спиной «особенного» Менделя, — возможно, земля обетованная?..

Мирская реальность у Ф. Горенштейна скудна памятью. В «Псалме» он круто поворачивает ее лицом к библейской старине. В «Улице Красных Зорь» легко намечает такой поворот. А в «Искуплении»? Там важен свой акцент: ассириец Шума, будто вынырнув из придоний Стикса, с лютой жестокостью истребляет семью иудеев. Вздорная же Сашенька неведомо по чьей воле принимает в себя иудейское семя, мешая полному истреблению рода. И, кстати, навлекает на себя ярость семьи ассирийцев. Короче, жанр «Псалма», сюжет странствия по России божьего порученца — то и другое намечено уже в паутинке библейских ассоциаций реалистического «Искупления» Россия, по Горенштейну, — в поле притяжения ветхозаветных преданий, о чем лучше мужиков и парней знают молодые россиянки.

5

Мегатекст Ф. Горенштейна, где очередной сюжет наследует от прежних целый клубок тем, в середине 70-х взбухает толстенным романом «Место». Помыслы героя-повествователя здесь то упираются в койко-место, то землю всю (российскую) охватывают разом. Если вы вспомните, что в сюжетах Горенштейна пути исканий, кризисов, переделов персонажам заказаны, легко вообразить ряд затруднений при знакомстве с этой книгой, где всякое событие прощупано через восприятие нравственно туповатого (почти немняемого) рассказчика Гоши.

От его общества устаешь. И потом, судьба и личность такого повествователя — слишком хрупкий каркас для романной постройки. По ходу дела автор вынужден этот каркас укреплять, наделяя героя собственной зоркостью, доверяя ему ряд серьезных мыслей, совершенно

неподъемных для его ума (да к тому же нередко сверкающих стилистической отделкой), из-за чего центральный образ постоянно двоится.

Когда из потока Гошинных припоминаний или наблюдений встают узнаваемые типы наших сограждан, а сверх того встает очень точная картина хрущевской поры, трудно отделаться от впечатления, что линия за линией, штрих за штрихом старательно выводит автор, держа руку Гоши-рисовальщика в своей руке.

Если центральное лицо в чем-то выглядит неподотчетным автору, то раньше всего — в поминутном самоподглядывании. Любопытный все же казус: жадное рефлектирование при моральной глухоте. Оно становится подобием компьютерной погоня ума за мелькающими оттенками чувств, регистрацией суегадливых мыслей да внутренних столбняков при сюрпризах страстей.

Прежде Сашенька из «Искупления» была не вовсе пуста — пустовата. И, зондируя механизм Сашенькиных эмоций, автор задевал библейский слой ее прапамяти. Здесь же психоаналитические нажимы дают прободение в пустоту, а по-рабочему упорно и ровно жужжат мелкие бурвачки Гошинских рефлексий.

Доверив слабосильному герою держать, подобно Атланту, весь романский свод, страхуя его в этой позиции, писатель нетнет да и сомкнется с ним в уровне суждений. Особенно если задета тема «партократия и народ». Потеснив своего героя-оратора, он сам произносит тирады, будто позамыслованные у либеральных публицистов наших дней, — о «молодой сталинской деспотии», якобы рожденной «из общенародной справедливой борьбы против кучки угнетателей», о «прежней чистоте революционных помыслов... людей честных».

Такие-то затертые штампы в авторском речевом обороте? Да, как ни странно. Но я о другом. Снова о споре с Достоевским. Ему вменялось в вину «воскресение» Раскольникова как некий тупик творческой мысли. Сам же Горенштейн шел на таран любых тупиков. Отчего же он не рискнул прощупать психическую подоснову «общенародной справедливой борьбы» и «чистоты помыслов»? Но ведь это означало бы, что писатель уже в середине 70-х стянул с себя в с.ю. розовую пудру официоза.

Спор с классикой, тем паче гносеологический, дело не простое, особенно для питомца (пусть и строитивого) идеократии, наслушавшегося про «чистоту помыслов».

Впрочем, пассажи вроде приведенных и в «Искуплении» и «Псалме» примерно так же немыслимы, как канцеляризм в элегии или духовных стихах. А «Место» намного социологичней остальной прозы Горенштейна, близко по жанру к запискам Видока (недаром путь Гоши Цвибышева лежал через службу в ГБ), и не случайно именно здесь выныривают штампы агитпропа в ущерб авторскому аналитизму

Наименее социологичны те страницы «Места», где речь заходит о юдофобстве — сквозной у Горенштейна теме.

Мало кто из его критиков на нее не отзывался. Но когда, например, Вячеслав В. Иванов мягко укоряет автора «Псалма» в назойливости («навязчивых повторениях») его отповедей юдофобам, тема берется лишь в обиходно-житейском повороте. Однако у Горенштейна за разговорами персонажей о «железнодорожном» или «трамвайном» антисемитизме, о его насаждении сверху угадывается нечто иное — бессознательная тяга России связать свою молодую историю с ветхозаветной древностью. Или, напротив, лелеять наличный объем памяти, оберегая этническое ядро от разрыхления или примесей.

Некогда один персонаж раннего Горького был сильно уязвлен, не отыскав на страницах Библии упоминания о русских, и утешал себя тем, что они там скрыты под другим именем. Похожая эмоция обиды (нас не заметили!) заставляет учащенно биться сердца героинь Горенштейна при взгляде на чей-то «библейский облик». А на полюсе антигероев вспыхивает лютость: инородец! не-на-вижу!

Нынешняя картина межэтнических конфликтов наглядней прежнего удостоверяет: глубинные их истоки — в клеточном составе, придонной (хочется сказать — поддонной) мути шовиниста. Уберите с линии его прицела такую пристрелянную мишень, как еврейство, — он найдет сколько угодно запасных. Сейчас в связи с массовым оттоком евреев из горячих очагов юдофобии шовинист принужден к маневру, ибо растет дисбаланс между числом оставшихся объектов ненависти и ее расширяющей силой.

Эту силу Горенштейн очень удачно замерял в «Искуплении», еще пристальнойей — в «Месте», где собраны «идейные», вдобавок конкурирующие между собой националисты, заикнувшиеся на своей «русскости» и воспаленной юдофобии. При царящей кругом расхристанности душ каждый из них близок к некоему идеалу внутренней цельности, ибо подстегнут страстью.

Быть может, тут и скрыта сверхзадача пылких юдофобов, погребенная под ворохом дежурных словес? К подобному допущению склоняет нас и ровно-академический тон прозаика, который не позволяет себе гневных нот и для которого ультрапатриот, либо сталинист, либо «очиститель» ленинизма, либо иной социальный романтик — паникеры перед угрозой внутреннего хаоса.

Когда Ф. Горенштейн берется за «теорию» нацвопроса, он часто непоследователен и категоричен, пребывает рассуждающего персонажа, мешая нам толком разобраться, кому же принадлежит очередная сентенция. В одном месте национальный характер у него объявлен «истинным поработителем» человека, а страниц через двадцать появляется афоризм уже с наклоном в другую сторону: «Подлинная родина человека — это не земля, на которой он живет, а нация, к которой

он принадлежит» («Псалом»). Спросим: не затруднителен ли в свете последнего изречения выбор «подлинной родины» для людей смешанной крови? И потом: что такое верность (измена) родине, уразуметь можно, а что есть верность (измена) нации?.. Впрочем, спускаясь с высот метафизики и разглядывая шовиниста в упор, Горенштейн не допускает подобных обмолвок в его пользу.

Первична ли идеология при разбухании этнических фобий? Занимаясь их резкими формами, прозаик акцентирует «идеологию какой-то тяжелой, лежащей в основании силы» или запрятанной субстанции, для которой он ищет обозначение поверней. Вот вроде бы найдено: «биологическая слизь», «первородная слизь». Броско, метафорично, хотя не так уж ново. Кажется, и без упорных разысканий понятно, что не из умственных причуд рождается то же юдофобство толпы, скорее из причуд печени, желчного пузыря; что ненавистник инородцев раньше всего — существо плотское, «мясное», ему надо облегчиться, сбросить шлаки, дать волю своему плечу: раззудись! Дело в принципе ясное.

Но Горенштейн и не ставит точку на «биологической слизи». Идет дальше: «Слабая многоклеточная жизнь так ненавидеть не способна. Так ненавидит сама цельная ясная смерть, тающаяся в изначальном одноклеточном зародыше» («Место»).

Выслушав подобное, мы, можно считать, продвинулись следом за Горенштейном в глубь шурфа, или ствола, откуда рвется наружу первородная страсть. Ее имя — этническая ненависть? В последнем случае — да. Но мы же помним, как велик интерес Горенштейна к первоисточкам и саморазвитию страстей: жгучая ненависть Сашеньки к родной матери, затяжной приступ мстительности у Гоши Цвибьшева, любовное неистовство жительницы Бора Веры Копосовой... Этнические фобии — из того же ряда.

Но они залегают особенно глубоко и угрожающе эпидемичны. Так что не станем корить прозаика за обилие примеров юдофобства: его мысль кружит возле бойкого места нашей психики — там, где скрыт заряд саморазрушения жизни.

6

Искусство нашего века вплотную занялось танатологией. По наблюдению остро-современного Горенштейна, его соотечественник кожей ощущает холод «цельной ясной смерти». Отчасти в отпор этому холоду растет температура страстей. Писатель, кажется, вовсе не верит, что под прессом нынешних глобальных угроз и на фоне апокалиптических предчувствий возможно классическое самостояние личности. В его сюжетах если она и не в затяжном дрейфе, то движется силой перемешанных страстей либо устойчивых фобий.

Удивительно ли, что фигура интеллигента у Горенштейна всегда служебна или эпизодична? Ведь оказалась она в центре, писателю пришлось бы иметь дело не с

«многочисленным организмом», не с какой-либо из дробленых психических зерен, а с духовной реальностью, способной к саморазвитию. Но как быть, когда к принципу саморазвития большого доверия нет, а первородна страсть с личинкой смерти в основе?

Ф. Горенштейн остро чувствует затейливость невызыскательной простоты с приставшими к ней чешуей и щетиной совбыта; очень ярко чувствует сам быт и рядовых его страстотерпцев. А ядро духовной сложности остается у него не задетым. Подступы к ядру есть. Их два: с одной стороны, интеллигент представлен своими закругленными фразами, книжным багажом и умственной диалектикой, с другой — домашней подкаблучностью (или рабским заглядыванием ему в рот) и набором чудачеств. Между красноречием и повадками «большого ребенка» просто пробел.

Он не слишком бросается в глаза, когда речь идет о чудаковатом профессоре из «Искупления», чье место — на самом краю сюжета, к которому он прикосновенен как лицо, рассуждающее о Библии. А вот когда к концу «Псалма» действие переносится в Москву рубежа 50-х и появляются столичные книжники, «христианиствующие философы» с богословской тирадой на устах, тут разнобоя мнений или полемических позиций недостаточно. Надеешься, что автор постарается их вочеловечить, выведя не из головной лишь комбинаторики — из внутреннего уклада личности: ведь и без того теология «Псалма» заметно отслаивается от его эпической основы. И надеешься зря.

Фигуры московских золотоустов обрисованы в очерково-фельетонной манере, и пожелай автор перераспределить между ними реплики, ему не пришлось бы подправлять «портреты». Особенно беспощаден прозаик к искусствоведу Иволгину — одной из жертв антикосмополитской кампании. «И поделом, не будь подонком!» — как бы приговаривает автор по ходу экзекуции над персонажем, окуная его по маковку в кислотину коммунального быта, надевая рвотным набором пороков. А между тем выясняется, что печататься Иволгин начал еще при старом режиме и сейчас некий плагиатор тиснул за своей подписью его статью. Да и застрельщики кампании треплют имя искусствоведа вместе с именами крепких профессионалов. Как же он попал в один ряд с Юзовским, Кроном, Таировым, этот слизняк, в чьих устах внятная фраза — уже диво? Загадки тут никакой нет. Рисуя несимпатичный ему тип интеллигента, писатель и техникой дела способен пренебречь. Так, значит, всякий интеллектуал-книжник советской выковки ему антипатичен? Нет, конечно. Участвовал в остальных обрисован молодой летчик из «Искупления», о котором известно, что на войну он пошел студентом-философом. Судя по тому, что летчику доверены зрелые мысли о феномене палачества, о невинности либо виновности (метафизической) жертв, в выборе факультета он не ошибся. Но моно-

логи или реплики летчика на отвлеченные темы — лишь визитные карточки его интеллекта, как и во многих сходных случаях, когда персонажи Горенштейна вольно теоретизируют.

Все сходится к тому, о чем уже шла речь: в прозе Горенштейна нет места отдаленному преемнику Пьера Безухова, Константина Левина, Ивана Карамазова, ибо, по наблюдению автора, катастрофичней век XX разрушил либо резко искривил духовный стержень личности, отняв у нее способность партнерствовать с широким миром, к которому она теперь повернута дробностью страстей и капризных состояний.

По сути, спор со старой классикой ведется о самой природе человека, как бы не устоявшей под ударами новейших катастроф.

Перед нами эстетический парадокс: вытекающий из логики этого спора писатель, всегда занятый вскрытием подоснов, обнажением истоков людских побуждений, мало что выводит из единого уклада личности, зато очень многое — из «клас-точного состава» материи, где берет начало туго свернутая страсть, тогда как по классическому канону все эмоциональные пути сбегаются к духовному ядру вот этой индивидуальности и расходятся от него.

Неужели именно на наш век пришелся столь крутой антропологический сдвиг, что всякая страсть децентрализована, мечется по отдельному каналу? Допустим, век XX всем другим не чета. Но ведь и молния, расщепляя древесный ствол, не достигает корней. И быть может, слова инквизитора из Севильи о «тайне природы человеческой» вовсе не утратили силы? Ф. Горенштейн думает иначе. По его логике, не один лишь ствол личности расщеплен — повреждены корни, и сокровенности человеческой природы теперь затеряны где-то в теснинах плоти.

Аудитория 60-х, растревожная робким веянием «свобод», вряд ли была готова отозваться на такой радикализм прозаика-дебютанта: про свою былую пыгливость, интерес к сфере онтологии подцензурное искусство и думать позабыло. А пробейся в ту пору (или в 70-е) крамольный Горенштейн к массовому читателю — сквозь крамольность его прозы проступили бы черты апокалиптики XX столетия, перелившейся в мироощущение писателя-аналитика, несравненно более жесткое, сумрачное, чем у сограждан, встреченных «по весне» (хрущевской).

Теперь видно, что самому XX уже тогда не терпелось сосредоточиться на своей апокалиптике, в такой-то концентрации и впрямь незнакомой минувшим векам.

За последние десятилетия поводов для подобной сосредоточенности не было. И вполне естественны диалоги новейшего искусства с художественной классикой, умевшей заглядывать далеко вперед. Длящийся спор Ф. Горенштейна с провидцем грядущих катаклизмов Достоевским — в этом ряду.

Виктор КАМЯНОВ.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДЕТИ ГЛАСНОСТИ

С одной стороны, в нас говорит злость. Злость за то, что теперь слишком хорошо видны ошибки, сделанные 75 лет назад. Злость за то, что мы живем не в коммунизме, как нам обещали, но даже и не в социализме, а вообще в чем-то непонятном. А с другой стороны, нами властвует зависть. Дело в том, что у человека революции была идея. Была цель в жизни, было за что умирать. Теперь же умирать не за что. Теперь все мечтают побыстрее эмигрировать и уповают либо на случай, либо на знакомства. Теперь никто не умеет мечтать, нет романтиков, теперь мечтают реалистически — только о материальных благах.

Я не обвиняю людей, живших в то время. Им просто очень умело и продуманно затуманили мозги. Теперь мне предстоит жить в полуразрушенной стране, где люди ни во что не верят и ничего не хотят. Естественно, они во что-то верят и что-то хотят, но в любой момент ждут подвоха, обмана и стараются всегда быть готовыми к ним. И меня не будет мучить совесть, если какой-нибудь негодай, пытавшийся меня ограбить, умрет от моего ножа: ведь меня некому защитить.

Из сочинений старшеклассников 1992 года.

Душевный разброд, смятение сердец коснулись и школы. Не только учеников, но и учителей. Привычная система ценностей рухнула. Как жить? Во что верить? Чему учить? Кого воспитывать?

Жизнь подвела преподавание литературы в школе к крутому повороту. Впервые за послереволюционные годы явилась возможность постигать литературу полно, всесторонне, объективно, естественно, в школьном преломлении этих понятий. Но на крутых поворотах, как известно, заносит, и можно свалиться в кювет. Увы, все чаще и чаще убеждаешься, что подобных опасных заносов в преподавании литературы избежать не удалось. Сплошь и рядом переосмысление, глубокий анализ подменяются простой сменой знаков — плюсов на минусы, перекрашиванием белого в черное, а черного в белое, точнее, красного в белое.

Слишком часто в последние годы мы сталкиваемся не с переходом от монологического преподавания к урокам диалогическим, а с заменой одного монолога другим, чаще всего прямо противоположным. Вчера монографии, учебники, методические пособия ставили Маяковскому отличную оценку за поведение, ибо он хотел к штыку приравнять перо и осознавал себя бойцом стрелочного фронта. Сегодня на том же основании его обвиняют в сталинизме. Автор одной из методических статей сочувственно цитирует сочинение старшеклассника, который «не удержался от иронического обращения к поэту: “Что же это Вы, Владимир Владимирович! ...Такая громадина, такой пророк, и не почувствовали нарастание трагедии, приближение ГУЛАГа...”».

Не буду сейчас обсуждать эту тему по существу. Перечитайте хотя бы «Клопа» и «Баню», и вы убедитесь, что Маяковский чувствовал нарастание трагедии. «Он все понял раньше всех. Во всяком случае, раньше нас всех». Это Анна Ахматова. Но сейчас речь о другом. Допустим, что в данном случае и Ахматова не права и я не прав, соглашаясь с ней.

Судьба Маяковского трагична. И он оплатил по всем счетам самой дорогой ценой — жизнью. С Маяковским можно не соглашаться, спорить, его можно не принимать, не любить его поэзию. Но когда современный старшеклассник, пользуясь дарованной ему свободой, иронизирует, обвиняя поэта в том, что он не почувствовал приближение ГУЛАГа, а педагог от этого умиляется, мне становится не по себе. Тем более, что у нас уже есть обширный опыт того, как старшеклассники учили уму-разуму Достоевского и обличали Толстого.

Давно, когда я интересовался историей преподавания литературы в русской школе, я приобрел несколько так называемых темников — сборников тем гимназических сочинений с развернутыми планами ко многим из этих тем и сборники гимназических сочинений, не гимназических, конечно, а для гимназистов написанных. Сейчас такие сборники вновь появились на книжном рынке. «Вступительное сочинение получится, если вы проработаете эту книгу!» — так рекламируется один из этих сборников в «Книжном обозрении».

Первые издания такого рода были выдержаны в лучших канонах нашей застойной методики. Здесь были и партийность литературы и руководящая роль партии в социалистическом переустройстве деревни по роману Шолохова «Поднятая целина». И это вовсе не в силу консервативности составителей, а от хорошего знания конъюнктуры: ведь и летом 1990 года в вузах предлагались те же темы, что и двадцать лет назад.

На репетиционном сочинении в мае 1990 года два мои ученика пали жертвами такого сборника. Оба писали о Маяковском. «Поэт уверен в том, что советский народ построит новое, светлое будущее, где жизнь будет еще счастливее, еще прекраснее. И если бы сейчас Маяковский мог взглянуть на нашу страну, то радостно бы забилося сердце великого поэта. Он увидел бы свою Родину такой, какой она грезилась ему в его мечтах Мы сделали мечту наших дедов действительностью» Из другого сочинения: «Родина! Никогда ты не была так прекрасна, как сегодня, так свободна и величественна, так могущественна и сильна. Воспевая революцию 1917 года, революционный порыв народа, Маяковский вызывает у меня любовь к нашим дедам и прадедам, к новой, социалистической Родине, к партии большевиков».

Отрадно хоть, что класс грохотал, когда я читал эти пассажи вслух.

Но очень быстро составители (или сочинители) этих сборников зашагали вполне в ногу со временем. Вот как рекламируется одно из пособий в трех выпусках: «1-й — в основном сочинения по программным произведениям; 2-й — здесь больше сочинений по современной литературе: «Дети Арбата», «Плаха», «Жизнь и судьба», «Белые одежды», романы В. Пикюля и целый ряд других; 3-й — это обзор новинок литературы, сочинений о перестройке, о молодежи, об экологии, антисталинская, нравственная и другие темы в современной литературе».

Так что не беспокойтесь, все будет в порядке — появятся на страницах школьных сочинений и колючая проволока, и ГУЛАГ, и культ личности, и гибель Арала, и изуродованная земля, и прочие необходимые атрибуты постперестроечного времени.

Нет, дорогие товарищи, а если угодно, уважаемые господа, давайте все-таки пойдем другим путем...

Главное сейчас для уроков литературы и вообще для школы — это перейти от одномерной системы оценок к глубокому постижению, пониманию, изучению. Это задача не только учебная, но и нравственная. Мы живем в атмосфере нетерпимости, не умеем слушать и слышать других. Вот почему так важны в школе уроки толерантного отношения к разному мнению. Важно уже в юности учить видеть жизнь во всем многообразии ее связей, сцеплений. И нет другого пути преодоления душевного хаоса, смятенности ума и сердца.

Лет десять назад десятиклассница попросила меня на экзамене принести том поэм Твардовского. (Как известно, на сочинении выпускники могут обращаться к текстам художественных произведений.) Я принес большой однотомник поэта, выпущенный громадным тиражом специально для школьников. Через несколько минут ученица вернула мне книгу: в поэме «За далью — даль» отсутствовали нужные ей главы — «Друг детства» и «Так это было».

В 1991 году я купил изданную «Советской Россией» книгу «Под созвездием топора. Петроград 1917 года — знакомый и незнакомый». Книга стала для меня и открытием и откровением. Много я читал впервые, о чем-то раньше даже не слышал. Но вот в чем дело: в книге изничтожающие «Двенадцать» Блока страницы Бунина, но самой поэмы нет. Как нет ни строчки Маяковского, Есенина, не говоря уже о прочих разных Демьянах Бедных. Так что незнакомый Петроград 1917-го представлен интересно и полно, а знакомый вообще отсутствует. А между тем новые книги и новые страницы прошлого должны быть прочитаны не вместо старых, а вместе с ними...

Несколько лет назад я читал в Вильнюсе лекции учителям-словесникам. И вот на второй день работы мне на стол положили двухгодичной давности журнал «Литература в школе» с моей статьей, в которой целые абзацы были подчеркнуты: «Ведь вот вчера вы говорили о Маяковском не то, что писали два года назад». Это было сказано с упреком, пожалуй, даже прозвучало как обвинение.

— Дело не только в том, что в напечатанной статье я и сегодня не вижу ничего такого, от чего нужно откреститься, — сказал я. — Главное в другом: почему вы мне отказываете в праве постигать глубже, видеть полнее? Почему вы отказываете мне в праве расти, становиться умнее, двигаться вместе с жизнью?

Конечно, если говорить о честном искании истины, о постижении правды, то здесь преодоление себя и даже в чем-то отречение от себя прежнего — процесс хотя и естественный, но мучительный. Я был потрясен, прочитав недавно сверхсекретное письмо Ленина об изъятии церковных ценностей и беспощадной расправе с духовенством: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удается нам по этому поводу расстрелять, тем лучше...»

А через некоторое время в одной статье встретил цитату из письма Ленина к Горькому, где речь шла о судьбах всего народа, всей страны. Слова эти ошеломили меня: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие». Война... полезной штукой... сие удовольствие...

«Да, — подумал я, — какие неожиданные документы открываются сегодня». Подумал, но на всякий случай открыл книгу «В. И. Ленин и А. М. Горький» (М. 1969). В ней я обнаружил это самое письмо. Значит, я внимательно прочел его уже тогда, более двадцати лет назад, ибо всю эту переписку я тщательно проштудировал. Читал и не увидел в ней ничего ненормального.

Май 1992. Последнее, не считая экзаменационного, сочинение в одиннадцатом классе.

«Кому же верить, где искать правду? В этом году мы кончаем школу. А что дальше? Либо честно работать, приносить много пользы людям и жить в бедности, или воровать, обманывать, но жить в роскоши и богатстве. Я, например, хочу прожить жизнь в свое удовольствие, и что же мне делать? Сейчас очень много вопросов и мало ответов. Так когда же мы получим оставшиеся ответы?»

Школа не может и не должна дать ответы на все вопросы. Ее задача помочь самому находить их. А для этого нужно научить думать, сопоставлять, анализировать, понимать мир и себя. Научить видеть, воспринимать и чувствовать. И познакомить с фактами, явлениями, событиями, другими словами — дать определенный круг знаний, без которых невозможно думать и анализировать.

Между тем представления о прошлом и настоящем, о ценностях жизни у большинства сегодняшних старшеклассников сумбурны, хаотичны, порой просто дики. «После того, как прошли страшные годы революции, были уничтожены все сомнения и сомневающиеся». Это уровень понимания, к сожалению, достаточно распространенный. Конечно, не все так думают. Я имею в виду не конкретную оценку, а тип осмысления, уровень понимания.

«Я считаю, что в любой ситуации нужно уметь трезво и серьезно подумать, прежде чем выносить суровый приговор прошлому. Зачем же сегодня все это отвергать и лицемерно говорить, что это не наше? Наше! Наше! Если вы считаете, что настоящее страны ваше, то и прошлое ваше. Нельзя ничего вычеркивать. Это история, какой бы она ни была. Мое отношение к событиям семнадцатого года резко отрицательное. В этой стране я ни во что не верю, но если вы считаете эту страну своей, то не надо чернить страницы ее истории, какими бы черными и кровавыми они ни были».

У меня сотни выписок из сочинений старшеклассников за несколько десятилетий. Таких, увы, немного.

Наступает время понимания и постижения. Трудное для всех, для школы тем более, для уроков литературы в особенности, а для изучения литературы послереволюционной эпохи прежде всего. Но если в первые годы перестройки желание узнать, что же все-таки с нами произошло, было огромным (вспомним хотя бы фантастический успех «Детей Арбата» А. Рыбакова, вот уж воистину была своевременная книга), то сейчас видишь не только падение интереса к этому кругу проблем, но в какой-то мере и отталкивание от него.

Любопытная деталь. В девятом классе ближе к концу года провожу сочинение на одну банальную и вместе с тем необходимую тему: «Кем быть?» Ведь через считанные недели всем предстоит сделать первый выбор в этом направлении. Одна из учениц пишет о том, что хочет быть кинорежиссером: «В наше сложное время все люди озлоблены, жестоки, они просто устали от серой и однообразной действительности, но, вместе с тем, люди очень хотят добра, тепла, спокойствия, благополучия. И я хочу развеять холод души наших людей,

приобщить их к прекрасному. Я хочу, чтобы мои фильмы создавали уют и помогали людям забыть о мире действительности лучшим образом». Отдадим должное этой девочке: она хорошо почувствовала требование времени и настроения людей.

Существует мнение, что сегодня все всё знают и ничего ничем не удивишь. В этом году я убедился во всей глубине незнания того, что не знать нельзя.

В мае 1992 года, на последних уроках, я предложил минут за десять двум своим девятым классам небольшое задание. Одновременно по моей просьбе эту же работу провели и мои коллеги в третьем девятом, трех восьмых и двух десятых классах. На вопросы отвечали 62 восьмиклассника, 56 девятиклассников, 35 десятиклассников, всего 153 человека. Мы продиктовали пять слов и попросили после каждого из них ответить на вопрос: с чем в вашей памяти связано каждое из них? Слова такие: Освенцим, Бабий Яр, Хиросима, ГУЛАГ, Нюрнберг.

Об Освенциме знают (все цифры округлены до целых чисел) 27 процентов восьмиклассников, 98 процентов девятиклассников и 77 процентов десятиклассников.

Бабий Яр. О том, что это связано с войной, с фашизмом, с уничтожением людей, знают 18 процентов восьмиклассников, 80 процентов девятиклассников, 48 процентов десятиклассников. Но знание это у большинства самое общее, приблизительное: «там расстреливали», «расстрелянная и сожженная деревня», «место массового захоронения наших людей», «расстрел мирных жителей», «расстрел нашего народа во время Великой Отечественной войны», «там произошли зверства».

О том, что это «место массового уничтожения евреев», сказали 3 процента восьмиклассников, 21 процент девятиклассников и 26 процентов десятиклассников. Украину как место действия назвали 20 процентов девятиклассников и 3 процента десятиклассников. Киев — соответственно — 11 и 6 процентов. В восьмом классе — никто. Напомню, что как раз в начале того учебного года отмечалось пятидесятилетие расстрела в Бабьем Яре.

Хиросима. Что название это связано со взрывом ядерного оружия, сказали 68 процентов восьмиклассников, 93 процента девятиклассников и 80 процентов десятиклассников. Но многие ответы более чем приблизительны: «испытание водородной бомбы», «атомный взрыв», «ядерная катастрофа», «то, что было в Чернобыле, то же приблизительно было в Хиросиме», «город, в котором был ядерный взрыв» и даже: «там японцы взорвали атомную бомбу».

Самый простой и точный ответ: «Город в Японии, на который была сброшена американская атомная бомба» — встречался не часто. О том, что Хиросима в Японии, упомянули 22 процента восьмиклассников, 55 процентов девятиклассников и 46 процентов десятиклассников. О том, что бомбы были американские, — соответственно 19, 39 и 23 процента.

ГУЛАГ. Здесь я хотел бы остановиться подробнее. Каждый раз, когда я подхожу к книжной полке, на которой у меня стоят семитомник Александра Солженицына и отдельное издание «Архипелага», двухтомник Варлама Шаламова, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского, книги Евгении Гинзбург, Олега Волкова, Льва Разгона, сборник стихов, написанных в лагерях, у меня возникает чувство некоей ирреальности. Когда я узнал, что Лидия Чуковская сказала исключавшим ее из Союза писателей собратьям, что у нас будет площадь Солженицына и проспект Сахарова, я горько улыбнулся. А недавно на проспекте, который виден из моих окон, появилась табличка «Проспект Сахарова» (правда, через некоторое время она почему-то исчезла). И сколько обо всем этом сказано в газетах, журналах, по радио, по телевизору. Казалось бы, уж тут-то всем все давно ясно. Ан нет.

Более или менее знают о том, с чем связано слово «ГУЛАГ», процентов 40-восьмиклассников. Об уровне этих знаний судите сами: «место, где во время сталинских репрессий держали так называемых “врагов народа”», «лагеря, в которых во времена сталинских репрессий держались чуждые Сталину люди», «концлагерь для русских, примерно то же, что Освенцим»... Это высший уровень понимания и знания. В ряду других — «архипелаг», «произведение Солженицына», «книга, написанная Брежневым».

О ГУЛАГе слышали 68 процентов девятиклассников. Что же они знают об этом? «Лагерь особого режима для репрессированных», «советский концлагерь», «место ссылки репрессированных», «лагерь заключенных в 1937 году», «система сталинских концлагерей», «советский концлагерь для политических заключенных», «система колоний в тридцатых годах», «сталинские лагеря в Сибири». А кроме того: «книга Солженицына».

Десятый класс. Отвечают на вопрос 82 процента бывших в тот день в школе учеников. «Лагерь для репрессированных», «колония, в которую ссылали при Сталине», «система советских-концлагерей», «тюрьма, в которую ссылали врагов народа» и т. д. И опять: «книга “Архипелаг ГУЛАГ”».

Нюрнберг. О Нюрнбергском процессе слышали 22 процента восьмиклассников, 34 процента девятиклассников, 60 процентов десятиклассников. В одном из ответов: «Нюрнберг — немецкий город, в котором судили фашистов. Это правильно, но, по-моему, таких людей надо истреблять без суда и следствия». В другом: «Если не ошибаюсь, то там проходил процесс по делу ленинградской девочки (кажется, Тани Савиновой), которая в блокаду писала свой дневник и умерла вскоре после войны. Или этот дневник служил свидетелем на этом процессе». А было и такое: «немецкий концлагерь», «германский город, где особо зверствовали фашисты». В большинстве же случаев полное неведение.

Из 153 отвечавших на эти вопросы 12 не ответили ни на один из них: «не знаю», или просто прочерки, либо еще проще: «я ничего не знаю»; 22 не ответили на четыре вопроса из пяти предложенных. Итого: 36 человек, или 23,5 процента, другими словами, почти каждый четвертый. Все это данные только по одной московской, вполне приличной, как я считаю, школе.

Но дело не только в знании или незнании, хотя мерой незнания я был поражен. Дело все-таки не в знании самом по себе, хотя и в нем тоже. Дело в осознании, в том, что вошло или не вошло в личный духовный опыт.

Хорошо помню, как после знаменитого закрытого доклада Хрущева на XX съезде партии собрались мы у моего одноклассника, уверенные, что со всем этим покончено и начинается новая жизнь. «Не спешите, — сказала нам тогда мудрая бабушка моего школьного друга. — Все еще вернется». Люди могут многое не знать, думал я тогда, не соглашаясь с ней, но не могут же они забыть то, что узнали, то, что уже знают! Вскоре и на моих глазах будет происходить атрофия исторической памяти.

«Пройдет не так много времени, — говорил мне лет пятнадцать назад Василь Быков, — и у людей будет столь же искаженное представление о войне Отечественной, какое сегодня почти у всех о войне гражданской». К счастью, в данном конкретном случае Быков ошибся. Но он оказался прав, когда говорил о постоянной угрозе мифологизации прошлого и даже настоящего.

Но забыть 1941-й и 1942-й, коллективизацию и 1937-й, Освенцим и Бабий Яр, Хиросиму и Чернобыль, депортацию народов нашей страны, Будапешт 1956-го, Прагу 1968-го, Афганистан (а что даже сегодня большинство наших людей знает об Афганистане?) — это значит дать возможность повториться пройденному. Тут лучше Твардовского не скажешь:

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вред ли с будущим в ладу.

Откуда же это неведение у вступающих в жизнь? Я не снимаю вины ни со школы, ни в данном случае с себя, как учителя литературы в двух девятых классах. (Понятно, почему я не предлагал все эти вопросы в одиннадцатом классе. К тому времени мы уже прошли через «Реквием» и «По праву памяти», прочли «Бабий Яр» А. Кузнецова, познакомились с Иваном Денисовичем и «Верным Русланом».)

Но есть тут обстоятельства и более общего порядка. Борис Любимов в интервью «Независимой газете» весьма остроумно сказал недавно о выпускниках школы 1992 года: «В этом году в вузы поступал 1975 год рождения. Рожденным в 75-м посчастливилось пойти в 1-й класс при Брежневле, а закончить при Андропове; пойти во 2-й при Андропове, а закончить при Черненко; пойти в 3-й при Черненко, а закончить при Горбачеве; в 4-м пережить Чернобыль, в 5-м — возвращение Сахарова; в 6-м — Нагорный Карабах; в 7-м — I съезд народных депутатов, в 8-м — освобождение Восточной Европы и публикации Солженицына на Родине; в 9-м — Ельцина в роли президента России, в 10-м — ГКЧП и СНГ... За 10 лет пережить семидесятипятилетие». Для Любимова за этими изменениями — благие перемены в духовном опыте юного поколения. Недаром он говорит — «посчастливилось». Скорее всего это действительно так. Но успевают ли при этом наши ученики переварить, или, как говорит Любимов, пережить, стремительно меняющийся жизненный опыт? Не рождает ли бег времени, это постоянное разрушение только еще сегодня созданного, желания отстраниться от несущегося исторического потока? Вчера миллионы, прильнув к телевизору, следили за заседаниями I съезда народных депутатов. Сегодня — за тем, как богатые тоже плачут. Летом я был в Эстонии в санатории

Эстонцы смотрели свой телевизор, «русскоязычные» — свой. Объединяла лишь одна передача, «Богатые тоже плачут», в зависимости от которой назначалось время ужина (в Эстонии разница в час по сравнению с Москвой).

Но есть и другая причина. Распад страны, разрыв экономических связей, кризис производства, кровавые межнациональные столкновения, беженцы, катастрофическое падение жизненного уровня, постоянный рост цен, разгул преступности, крушение верований и надежд, страх перед завтрашним днем — все это отодвигает трагическое прошлое, будь то Освенцим или Бабий Яр, Хиросима или ГУЛАГ; не до них. Больше того: все чаще и чаще видишь ностальгию по тем временам, которые окрестили застойными. В том же санатории после очередной порции «Новостей» с убитыми на экране, разрушенными домами, остававшимися заводами слышал я не раз сказанное: «Сталин нужен. Пора ему вернуться». Вот та атмосфера, в которой живут наши ученики.

Наше время — время крушения идеалов, разочарования в идеях, духовного кризиса, сумятицы ума и сердца. Для школы все это особенно тяжело. Ведь именно в юности так важно обрести нравственные ориентиры в отношении к миру, обществу, людям. Но самое горькое даже не в этом. Слишком часто столь необходимый духовный поиск, трезвый анализ прожитого людьми и страной, неизбежная переоценка многих ценностей подменяются привычным для нас шараханьем из одной крайности в другую, о чем мы уже говорили, когда речь шла об отношении к литературному наследию. Но то же самое происходит в отношении к духовному опыту, этическим критериям и ориентирам.

Вчера нас убеждали и мы убеждали, что интересы родины, страны, партии превыше всего, и клеймили тех, кто думает о себе, о личном как первостепенном. Сегодня всюду звучат другие речи: не надейся на государство, думай сам о себе, зарабатывай, вертись, живи для себя. Еще вчера на нас смотрели плакаты с привычными словами: «Пионер — всем ребятам пример!» Но вот одно из юношеских изданий помещает иной призыв: «Миллионер — всем ребятам пример!» Вчера мы гордо пели: «А я остаюсь с тобою, родная моя сторона, не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна». Сегодня мы все чаще поглядываем вслед перелетным птицам и даже на Африку. Вчера интерес к своей национальной самобытности квалифицировался как национализм и мог привести и приводил в места не столь отдаленные. Сегодня под знаменами гордо поднятого национализма все чаще вспыхивают национальная непримиримость, вражда, кровавые конфликты. Вчера торжествовал непристойный, бесчеловечный, так называемый воинствующий атеизм. Сегодня быть неверующим почти что непристойно.

За всеми этими метаниями искреннее желание обрести новые путеводные маяки в смятенном мире — и укоренившийся догматизм старого мышления, пытающийся дать ответы в русле привычного двухцветного, монологического, плоскостного миропонимания, и исконная привычка стремительно поворачиваться по требованию новой команды, и угодливое усердие живущих по принципу «чего изволите?».

Мне кажется, что путеводными для учителя-словесника, изучающего литературу послереволюционной эпохи, могли бы стать слова Бердяева, который сказал так: для того, чтобы понять ложь большевизма, нужно понять его правду. Недавно жена Солженицына так охарактеризовала суть подхода писателя к осмыслению прошлого: «Сам А. И. формулирует свой метод исследования так: чтобы понять всякую ложь, надо понять, из какой правды она исказилась».

Думаю, что дело тут не только в отношении к литературе. Если отправным пунктом была правда, то, может быть, попытаться отделить правду от исказившей ее лжи?

...Закончены уроки по роману Николая Островского «Как закалялась сталь». Есть ли смысл писать сочинение о том, что было сказано на уроке? Классное сочинение. На доске: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества». Так вчера ответил на вопрос герой Островского Павел Корчагин. А мы сегодня? Тема сочинения: «...и прожить ее надо так, чтобы...» Это чтобы и должны раскрыть авторы сочинений. Они при этом могут обращаться, а могут и не обращаться к роману. Сочинение не о романе, а в связи с романом. Оно продолжает раздумье его героя применительно к другому времени и к самому пишущему. В любом случае это диалог с книгой, даже если о ней самой в сочинении нет ни слова. За последние три года я провел это сочинение в четырех классах.

Некоторые одиннадцатиклассники писали, что «Павел был прав для своего времени, но другое дело сейчас» и что потому «нельзя сказать, кто прав: он или мы, — мы живем в разное время». «Роман «Как закалялась сталь» в данный момент учебником для молодого поколения быть не может». «Да, безусловно, жизнь дается один раз, но, с моей точки зрения, это не вечная борьба за освобождение человечества, а именно жизнь, которой живут, а не в которой борются». «Я, например, считаю, что сейчас намного важнее не умение бороться, а умение любить, жалеть. Мне этих качеств как раз не хватает, а умение бороться у всех и так развито с самого рождения». «Я не хочу, умирая, знать, что вся жизнь отдана войне за детский сад, за квартиру, за новую дорогу, за новый химкомбинат, а потом против него за чистоту среды».

Такого рода высказывания в той или иной форме преобладали.

При этом несколько человек написали не только о своем неприятии ответа Корчагина на извечный вопрос о смысле жизни. Они сказали и о другом: «Главное — жить интересно, разнопланово, чтобы не было каких-то постулатов или законов о жизни. У каждого жизнь своеобразна, а Островский всех подвел под одну гребенку. Нельзя говорить за всех, такая практика слишком насильственная. От нее надо отходить». «Жизнь — это жизнь, а идея — это идея. И я не могу согласиться с Корчагиным, который считает, что если ты живешь по-другому, то твоя жизнь подлая и мелочная». «Нас учили жить так, как жил Павел Корчагин. Но ведь нас заставляли так жить. А это насилие над личностью. Для того, чтобы жить так, как считаешь нужным, необходима свобода».

Думаю, что мысль эта — об опасности насильственного втискивания многообразных человеческих жизней в единую и обязательную для всех догму, схему — мысль правильная.

Если кратко обобщить то, что было написано одиннадцатиклассниками, можно было бы сказать так: их волнует не переустройство жизни человечества, а устройство своей собственной жизни во всей полноте ее проявлений. Не далекое, а близкое. Не будущее, а настоящее. Не классовое, а человеческое.

«У кого-то, как у Корчагина, цель жизни — борьба, а у многих, в том числе у меня, смысл жизни заключается в самой жизни. Польза, которую я принесла людям; люди, которым я помогла; дом, семья, друзья, интересная работа, уверенность в том, что моя жизнь не прошла бесследно и кому-то на своем пути я сделала добро, кто-то, а особенно мои дети, помнят меня. А самое главное для меня — мои будущие дети, какими они будут, как их воспитать, чтобы они были честными, умными, искренними».

Но вот что еще интересно. Даже те, кто спорят с Корчагиным, не принимают его жизненное кредо, нередко, тем не менее, ощущают какую-то притягательную силу его идеалов — как идеалов высокой направленности жизни, той направленности, которая, по мнению почти всех, полностью ушла из жизни современной.

«Среди моих сверстников не популярны люди увлеченные, отстаивающие свои убеждения. Я заметила, что когда разговор идет о чем-то серьезном, принципиально, мои друзья отворачиваются и всем своим видом показывают, что им это надоело, неинтересно. Многие так и говорят: «Когда ты кончишь свое занудство?» Меня не устраивает только последняя фраза в сказанном Павлом. А в остальном с ним согласна: жизнь должна быть яркой и красочной, на пределе возможностей человека, его воли, таланта, духовных сил. «Как закалялась сталь» я прочитала два раза. Первый — в классе шестом, второй — недавно. В первый раз у меня не возникло никаких противоречий ни с автором, ни с романом. Второй раз я открыла книгу с каким-то предубеждением, но потом зачиталась. Да, есть вещи, с которыми я не могу согласиться. Но в целом я, быть может, даже завидую тем людям. Они знают свою линию в жизни, горячо убеждены в ее правильности».

И в каждом классе есть два-три человека, которые подходят к пониманию того, что устройство тебя в мире зависит от общего устройства мира и связано с ним.

«Я хотела бы обрести чувство уверенности в себе, а также уверенности в стабильности в будущем моих родных, моей семьи, уверенности в том, что ни один из катаклизмов, которые сейчас потрясают мир, и в частности нашу страну, не коснется моей семьи, если только это возможно».

«У нас война на Кавказе, неспокойно в Молдавии. А в Москве спокойно, идут уроки, дети учатся, гуляют, развлекаются, взрослые ходят на работу. Ужас. Но, с другой стороны, чем я могу помочь? Как помочь людям остановить вражду и вернуть их к жизни, к нормальному, человеческому? Я смеюсь, улыбаюсь, хожу к друзьям, но в душе неспокойно».

Меня печалит, что так рассуждают только два-три человека в классе. Можно не принимать ответы Маяковского и Николая Островского. Нельзя не принять отношение к проблемам мира и века как к своим кровным: «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем».

Особо хочу сказать вот о чем. Сегодня, когда переосмыслиется весь пройденный нами после 1917 года путь, в том числе и этика и эстетика этих десятилетий, все чаще встречаешь выступления против утверждавшейся нашим искусством, добавлю — и педагогикой, апологетики жертвенности. Совершенно резонно при этом говорят о том, что подобная этика и эстетика порождалась кровавой практикой и, вместе с тем, эту практику оправдывали и утверждали. Все это так. Но одновременно часто ставится под сомнение любое самопожертвование. По ведомству тоталитарной морали зачисляются и самопожертвование, и подвиг, и героизм. И с этим я согласиться не могу.

Убежден, что человек, для которого существует только он сам, еще не человек. Не потому ли мать является для людей символом человечности? И не в том ли притягательность жизни и судьбы Христа не только для верующих, но и для неверующих, к коим я сам отношусь, что не может не отозваться в сердце способность судьбы людей поставить выше своих мук и страданий?

11 апреля 1970 года Василий Александрович Сухомлинский писал мне: «Нам надо воспитывать людей стойких, негибаемых, готовых пойти скорее на смерть, чем примириться с неправдой. Это красная нить нашей практики воспитания». Потом я не раз встречу эту мысль в печатных выступлениях этого большого, настоящего педагога. При всем своем почтении и уважении к Сухомлинскому сейчас (сейчас, не тогда) я думаю несколько иначе.

Учитель не должен посылать своих учеников на подвиг, на жертву, на заклятие, на плаху, на распятие. Не должен потому, что для этого у него должно быть нравственное право. У меня, к примеру, в отличие от Сухомлинского, прошедшего войну, такого права нет. Но дело не только в этом. Учитель, как я думаю, вообще не вправе распоряжаться жизнью своих учеников. Вот почему я не обращаю лично к своим ученикам знаменитые некрасовские строки:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.

Но учитель обязан показать своим ученикам, на что способен человек и в чем состоят высшие проявления человеческого духа. «С гениями туго у нас, но герои-то, слава тебе, Господи, не перевелись. Нельзя ни от кого потребовать героизма, но научиться его уважать можно?.. Торопясь изъять героическое из нашей жизни, мы себе уготовляем вечное поражение». В устах Георгия Владимова, автора «Верного Руслана», слова эти звучат особенно убедительно.

Вообще сегодня перед лицом жестокости, насилия, озлобленности, хищничества, рвачества, цинизма, нравственного беспредела, как никогда, нужны душевная стойкость, мужество и даже отвага, чтобы сохранить себя, остаться человеком. И зачем литература и уроки литературы в школе, если они не помогают выстоять?

И прежде всего мужество ума и сердца, душевная стойкость нужны самому учителю. Охваченные первоначальной перестроечной эйфорией, разве не уверовали и мы в то, что есть чудотворные методы преподавания, способные сразу перевернуть всю школу? И разве не бросились в далекие и близкие города, дабы узреть секреты эти, которыми владеют тамошние маги и кудесники от педагогики, чтобы и самим приобрести к ним?

В черновиках «Бесов» у Достоевского есть такая запись: «...прыжка не надо делать, а восстановить человека в себе надо (долгой работой, и тогда делайте прыжок).

— А вдруг нельзя?

— Нельзя. Из ангельского дела будет бесовское».

Все это звучит достаточно злободневно. И как это ни покажется на первый взгляд странным, имеет прямое отношение к нашим педагогическим баталиям и методическим страстям.

Поэтому не будем себя обманывать, не будем уповать на чудо. Впереди годы и десятилетия повседневного подвижнического труда. Важно при этом ясно сознавать, что и во имя чего ты делаешь. Ибо и здесь, если уж воспользоваться образом Достоевского, бесовское все больше и больше искушает душу.

* * *

В начале апреля 1990 года в школу, где я работаю, пришла большая комиссия самого высокого уровня — Государственного комитета СССР по народному образованию. Это не была обычная проверка. Комитет решил приступить к аттестации школ, и на нашей школе отработывалась методика такой аттестации.

Сегодня, когда от проверки знаний учащихся будет зависеть аттестация и, следовательно, заработок учителя, сюжет, о котором я сейчас расскажу, приобретает особое значение.

Члены комиссии ознакомили меня с тестами, по которым на следующий день должны были проверяться знания одиннадцатиклассников по литературе. План проверки предусматривал срез знаний в последнем классе, который, как считали, и дает возможность судить о преподавании словесности у выпускников. Логика достаточно простая и в чем-то вроде убедительная: о работе автомобильного завода судят по выпускаемым автомобилям, о столовой — по качеству блюд, об обувной фабрике — по ассортименту и добротности обуви; о школе тоже нужно судить по качеству выпускаемой ею продукции. Качество же это измеряется знаниями.

То была первая проверка за всю мою жизнь (десять лет я сам был одним из главных проверяющих преподавание литературы в Москве и много о методах таких проверок размышлял, когда учитель, его знание и понимание литературы, его уроки, интерес учеников к предмету никого не волновали). У меня на уроке присутствовали потому, что я сам на этом настоял, а в десятом, где изучается русская классика, никто из членов комиссии вообще не был: их интересовал итоговый срез знаний.

Одиннадцатиклассники отвечали на вопросы тестов. В каждом из вариантов 15 заданий. Кроме этого ученик получал листок, на котором проставлены номера заданий, а рядом цифры, обозначающие вариант ответов. В каждом из заданий следовало обвести кружком цифру ответа, который ученик считал правильным.

Вот некоторые из тестов.

«Произнесенное метко, все равно что написанное, не вырубливается топором». В каком произведении Н. В. Гоголя мы встречаем эти слова? 1. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 2. «Тарас Бульба». 3. «Мертвые души». 4. «Шинель».

Что, по мнению Чехова, основная причина превращения Дмитрия Старцева в Ионыча (рассказ А. П. Чехова «Ионыч»): 1. Всесилие обывательщины. 2. Условия тогдашней действительности. 3. Личная нравственная позиция человека.

Чем замечательны рассказы Шукшина? 1. Современностью, остротой проблематики. 2. Близостью к народной жизни, народному языку. 3. Юмором.

О чем роман «Мастер и Маргарита»? 1. О любви. 2. О вере. 3. О мастерстве. 4. О нравственном выборе».

После уроков проверяющие спросили меня, что я думаю о предложенных тестах. Сама по себе проблема проверки знаний учащихся по литературе — проблема для меня не новая. Не только как для учителя.

Десять лет, с 1963 по 1973 год, работая учителем в школе, я одновременно служил в Московском городском институте усовершенствования учителей. В наши обязанности входила ежегодная проверка уровня знаний учащихся по русскому языку и литературе. Два-три раза в год по итогам ревизии мы представляли в городской отдел народного образования объемные справки. Одна из них, опубликованная в журнале «Литература в школе», была переведена на английский и опубликована в США.

Но скоро мы поняли, что многое тут абсолютно не ясно. Что значит знать литературу? Как проверить эти знания? Можно ли судить о знаниях по литературе, основываясь на показателях школьной успеваемости, даже если считать, что отметки выставляются объективно? Мы не раз убеждались, что ученики, у которых пятерки по этому предмету, не в состоянии самостоятельно разобраться в достаточно простых литературных текстах. Проработав шесть лет в институте, перепробовав самые разные задания по проверке знаний, я написал методическое письмо по этому поводу, и в 1969 году это объемное, в четыре печатных листа, письмо было издано в Москве и распространено во всех школах города. Книжка уже во многом устарела. Но в главном, основном я остался верен тому, что утверждал и защищал в ней.

Позволю себе привести одну небольшую выдержку: «На каждые десять книг, изученных по программе, придется добрая сотня книг, в школе или после

окончания ее по собственному выбору для себя прочитанных. И, очевидно, задача наша не просто заставить знать эти десять книг, а на них, через них научить понимать и чувствовать то, что нынешний ученик сегодня или потом в жизни прочтет без учителя... «Дай человеку рыбу, — гласит восточная пословица, — и он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу — он будет иметь еду до конца жизни». Используя этот образ, можно было бы сказать, что задача школы — научить ловить рыбу, а потому и проверять нужно прежде всего, как ученик умеет ловить ее». Так я писал почти четверть века назад, так думаю и теперь.

И поэтому сказал, что подобные тесты принять не могу. Не только потому, что многие из них, скажем, о «Мастере и Маргарите», «Ионыче», Шукшине и другие, просто некорректны. Не это главное. Можно составить задания, к которым не придерешься. Дело в их направленности.

Можно ли судить, говорил я, на основании предложенных заданий о понимании учащимися литературы? Возьмем такое задание: «Кому принадлежат слова «всякий человек сам себя воспитать должен...». 1. Рахметову. 2. Инсарову. 3. Базарову». Не буду говорить о том, что «Накануне» в школьную программу не входит. Дело в другом. Слова эти мог бы произнести каждый из перечисленных литературных героев. Ведь именно о том, как Рахметов сам себя воспитывал, мы и говорим на уроке. И так ли уж велик грех, если в данном случае ученик ответит неправильно?

Переубедить, однако, я никого не смог. А через два дня мне передали итоги тестирования: шестерым поставили тройки, всем остальным двойки. Я достаточно трезво смотрел на знания своих учеников, а главное, на их интерес к предмету, к серьезному чтению. И те два опуса из сочинений о Маяковском, сданные с печатной шпартгалки, которые я приволил, были написаны в этом классе. Но были и ребята, которые много и серьезно читали, интересовались литературой, хорошо чувствовали ее, свободно и интересно писали о ней. Начатый разговор я попытался продолжить через несколько дней на совещании, на котором собрались учителя литературы, администрация школы, работники районного отдела народного образования, проверявшие преподавание словесности, а также руководившие проверкой начальники из Госкомитета.

Разве цель урока литературы только в том, чтобы сообщить определенную сумму знаний, хотя, естественно, и в литературе существует нечто, что знать необходимо. Но что важнее: дабы ученик знал, что Пушкин чувства добрые лирой пробуждал, или чтобы эта лира отозвалась в юной душе? Осознаем ли мы, как глубоки деформации исходных нравственных первооснов, как заражен сам воздух нашей духовной жизни, которым с ранних лет дышат ученики?

Поэтому нельзя сводить все лишь к знанию отдельных фактов, к заучиванию тезисов, положений и сведений. Разве, к примеру, выставленные нами красными чернилами отличные отметки за всякого рода сочинения о нерушимой дружбе народов, пролетарском интернационализме не перепроверены кровью Сумгаита, Ферганы, Оша?

— Наша школа, — возразила мне руководитель комиссии, — выполняет социальный заказ общества. И мы должны судить о ее работе по итогам. Обществу важен результат. Необходимо разработать такую методику проверки знаний учащихся, чтобы, придя в школу, судить о социальной зрелости учащихся, не глядя учителю в глаза. В конце концов, хороших результатов от нас требуют родители учащихся. Поэтому о каждом ученике мы будем судить прежде всего по тем конкретным знаниям, которые они продемонстрировали в результате проверки.

Самое горькое — это сознание того, что родителей наших учеников в большинстве случаев действительно волнует не тот след, который уроки литературы оставляют в юных душах, а тот, что останется в аттестате... Помню, как, приняв одиннадцатый класс, я не смог прийти на первое родительское собрание. На другой день спрашиваю классного руководителя, были ли какие-либо вопросы ко мне. «Только один: сумеете ли вы подготовить их к экзаменационному сочинению в школе и вузе».

Да и сами ученики нередко смотрят на литературу чисто утилитарно. Взволнованный только что прочитанным романом Айтматова «И дольше века длится день», я встретил во дворе дома, где живу, десятиклассницу и посоветовал ей прочесть роман. Прочитав, она спросила меня: «А он пойдет для активной жизненной позиции?» Перевожу для непосвященных: если на экзамене будет тема об активной жизненной позиции советского человека, можно ли использовать роман Айтматова?

Пирогов более ста лет назад говорил об «экзаменационном» и «классно-переводном обучении». Такая установка на внешнее, на благополучные показате-

ли как на самоцель десятилетия господствовала в нашей школе. А что, собственно, в этом отношении меняется сегодня?

Нередко ориентиры смещаются и в самой школе. Учительница литературы в свой выходной день едет с учениками в чеховское Мелихово и просит поэтому в субботу снять у них последние два урока. «Вам бы все гулять, — отвечает ей завуч, — вместо того, чтобы учить детей».

В июле 1992 года Верховный Совет России принял закон «Об образовании». В соответствии с ним создается государственная аттестационная служба, которая не подчиняется органам народного образования. Она осуществляет «объективный контроль качества подготовки выпускников по завершении каждого уровня образования» в соответствии с государственными стандартами. От результатов этого контроля, естественно, зависит аттестация самого учебного учреждения. Больше того. «Государство, — читаем мы в статье 49, — в лице уполномоченных на то государственных органов управления образованием в случае некачественной подготовки выпускников аккредитованным образовательным учреждением вправе предъявить этому образовательному учреждению иск по возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в других образовательных учреждениях».

Все это, в принципе, верно, конечно. Но я думаю о преподавании литературы. Я вспоминаю ту проверку, которая осуществлялась в нашей школе самым высоким педагогическим начальством. Вспоминаю и недавний свой разговор с руководителем одного из наиболее известных в Москве репетиторских кооперативов. Когда я сказал, что, на мой взгляд, повторить за три месяца весь курс литературы невозможно — одних текстов придется вновь пересмотреть целую уйму, этот руководитель посмотрел на меня, как на блаженного:

— А нам ваша литература не нужна, мы платим учителю за подготовку к экзаменам по литературе...

И я думаю сейчас: не ждет ли это и всех учителей-словесников?

Мне вспоминается также беседа с группой девятиклассников. В школе обсуждалась возможность открытия гуманитарного класса, скажем проще, класса с углубленным изучением литературы. Меня попросили поговорить с теми учениками, которые изъявили желание туда пойти. И вот каждому по отдельности я задаю один вопрос: почему ты хочешь пойти в этот класс?

— Для будущего пригодится. Мне литература нужна больше, чем математика.

— Мне математика не понадобится. А литература в будущем может пригодиться.

Только два человека сказали: «Нравится» и «Люблю читать.... стихи сочиняю...»

Много лет назад на день рождения ученики девятого класса подарили мне небольшой молоток, на ручке которого были написаны слова Чехова: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные...»

Я был тронут таким пониманием сути моей профессии.

А не так давно моя бывшая ученица принесла мне свое стихотворение. Позволю себе процитировать последнюю строфу:

Как окна в кабинете сияли на рассвете —
Три клетчатых близняшки на третьем этаже!
Тогда мы были дети, но помним окна эти
И замирает сердце...

Пятнадцать лет уже.

Нет, конечно, не замирает сердце сегодня у многих и многих, да и тогда все выглядело не так идеалистически. И все же я знал, что некоторым из моих питомцев эти уроки были нужны.

Сорок лет я знал, зачем шел на урок литературы.

Но зачем я иду на него сегодня?

Л. АЙЗЕРМАН.

Москва.

ЕЩЕ РАЗ О «СЕВЕРО-ВОСТОКЕ»

Уважаемая редакция!

Хочу выразить свою благодарность за отклик на «Северо-Восток» в № 3 «Нового мира» за этот год.

Позвольте высказать несколько своих суждений. Меня очень удивило утверждение — «редакция, возглавляемая И. Ю. Аристовым». Не знаю, кто вас уверил в этом, но возглавителя в нашем «триумвирате» как такового не было, положение трех редакторов было равноправным. То, что фамилия Аристова идет первой по алфавиту, еще не означает его главенства. Начавшееся во втором году издания расщепление интересов и задач редакторов, выраженное в четных и нечетных номерах с указанием в них ответственных за выпуск Аристова или Банина, можно отнести на счет никогда и нигде не исключаемых редакционных неурядиц. У них своя история.

То, что я считал нужным делать и делал, можно определить как «просвещенчество». В том-то и дело, что интересующемуся «Вестник РХД» здесь взять негде. О нем даже не знали. Сибирь в этом отношении почти глушь, сюда вообще мало что доходило, за исключением разве «Посева», активно распространявшегося всегда. Принципиальная важность такой ретрансляции, помимо прочтения впервые, выражена в названии рубрики «Голос «Вестника РХД» в Сибири». Высказывать же «судьбоносные» (простите за долю иронии) суждения подобно Аристову, выражавшему свое лублицистическое кредо, я в силу своих молодых лет не считал нужным — соблазн «педократии» (если вспомнить проблематику статьи Изгоева из «Вех») мне чужд.

Разрешите также в связи с перепечатками заметить, что републикации «Темплатоновской лекции» (1991, № 1), статей «По донскому разбору» (1992, № 3) и «Фильм о Рублеве» (1992, № 4) и «Предисловий» (1992, № 7) А. И. Солженицына в России состоялись впервые именно в «Северо-Востоке», с позволения автора, разумеется.

О поэтах: хотелось бы отметить публикацию стихов Юрия Галя, погибшего в сталинских лагерях (1992, № 1), о его даре писал Ю. Иваск в своей «Похвале российской поэзии», а также публикацию в № 7/92 поэзии Игоря Чиннова, не попавшую в ваш обзор.

О позициях «С-В». Речь скорее может идти о позициях лично И. Аристова, претерпевших трансформацию. Из-за несогласия с выплескиванием их на страницы издания, из-за обнажившегося поэтому противоречия между началами христианским и неоязыческим, клочущим в правых сферах под личиной «православности», из-за невозможности поэтому выражать дальше считаемое мною первенеобходимым — я ушел из «С-В». Наверное, вы уже видели первый, и пока единственный (возможно, уже и последний), номер «С-В» за этот год. Статья Евг. Маликова адекватно, по-моему, отражает то, к чему пришло издание. Россию могут спасти только черносотенные идеалы Символична и смена «ретранслируемого» — от «Вестника» к «Вече».

Все вышесказанное я счел нужным выразить не в силу каких-либо личных обид, как может показаться, но для уточнения немаловажных деталей и для заявления принципиальных расхождений с нынешней линией «С-В»

С уважением

М. В. КНЯЗЕВ.

2 апреля 1993 г. Томск.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

*

KAJTOCH W. *Bracia Strugaccy (zarys twórczości)*. Kraków. Universitas, 1993. 230 S. — КАЙТОХ В. Братья Стругацкие. Очерк творчества.

Предмет исследования Войцеха Кайтоха — не столько собственно филология, сколько история общественного сознания хрущевской и послехрущевской эпох; идейные взаимоотношения литератора с властью. Характерны названия центральных глав: «На службе у пропаганды». «Перелом», «Открытая борьба 1965 — 1968», «Перегруппировка» Такой подход — как один из многих — вполне правомочен, мало того, у нас он явно преобладает, едва речь заходит о шестидесятниках. Однако польскому автору легче выдержать дистанцию по отношению к объекту исследования; его книга свободна и от наивных восторгов, и от прокурорского пафоса, успевшего уже надоесть читателю российских газет и журналов. Это солидный и квалифицированный труд.

Далеко не частный интерес представляет первая половина монографии, где речь идет о коммунистическо-космической утопии хрущевского времени, о недолгом, но бурном романе советской фантастики с официальной идеологией, а затем о внутри- и внелитературных обстоятельствах перехода братьев Стругацких к социальному критицизму и новым жанровым формам. Вообще феномен возрождения коммунистической утопии во второй половине 50-х годов еще ожидает своего исследователя. Кайтох объясняет его довольно просто — таков, дескать, был заказ властей. Но почему этот заказ появился только в конце 50-х? Почему он проявился именно в этой форме (автор справедливо подчеркивает принципиальные различия между, условно говоря, ранней революционной утопией, «сталинской утопией» и «хрущевской утопией»)? Наконец, насколько официальная идеология сама испытывала влияние «духа времени»? И не были ли «официальный заказ» самым настоящим социальным заказом, без всяких кавычек? Напомню, что «Магелланово Облако» Лема (1955) и «Туманность Андромеды» Ефремова (1957) появились раньше хрущевской программы построения коммунизма (1961) и едва ли не предвосхитили ее.

Хрущевская программа, при всей ее фантастичности, уже испытала влияние «блуждающих ценностей», несовместимых с тоталитарным режимом (как только власти попробовали принять эти ценности всерьез, режим рухнул). Она не требовала нетанной, эсхатологической борьбы с классовыми врагами, эксплуататорами и прочей чистью. Она зывала не к ненависти, а к солидарности. Она рисовала картину земной, населенной Адамами, не ведающими греха.

Стругацкие не были поначалу еретиками. И если они ими стали, то как раз потому, что, как и большинство шестидесятников, веровали особенно искренне. Недаром же я ортодоксов и прагматиков, стоящих у власти, еретики опаснее иноверцев. Именно и дают самую пронзительную, самую личную (и потому самую действенную) крику ортодоксальной реальности.

Немало любопытного сказано Кайтохом о творчестве братьев Стругацких конца 50-х — 70-х годов (книги, опубликованные позднее, рассматриваются гораздо менее обстоятельно). Однако автор, пристально следя за «внутрифантастическими» полемиками, начинает терять из виду общий идейный фон послехрущевской эпохи. Почти незачтенным остается российское правое почвенничество; а ведь взаимоотношения с почвенниками для «зрелых» Стругацких ничуть не менее значимы, чем их противостояние стеме. (Тут можно сослаться на статьи Майи Каганской в израильском журнале «22» актически неизвестные у нас; неизвестны они и В. Кайтоху.)

Монография Кайтоха о братьях Стругацких — уже вторая на польском языке. Ума годами ранее в Кельцах вышла книга Терезы Дудек «Творчество Аркадия и Бориса Стругацких (до 1985 г.)». Тем заметнее отсутствие сколько-нибудь обстоятельного труда о наших «главных фантастах» на их родине — в России.

К. Душенко

Поправка

В № 3 за этот год на странице 253, в рубрике «Зарубежная книга о России» русский перевод названия книги Г. Пшебинды следует читать «Владимир Соловьев и история».

SUMMARY

Poetry section of the issue offers poems by Yury Kublanovsky, Dmitry Kochurov and Andrey Sergeev.

Ivan Oganov's «Autumnal Song of a Vine-Grover», based on Georgian mythology and folk-lore, continues (begun in this year's No. 1).

Short story genre is represented by Vladimir Bogomolov «In the Krieger» and Eugene Nosov's «Dark Water».

Lyudmila Petrushevskaya appears in the issue with a series of unusual «tales told for children», under the common title «Come on, Mother, come on».

In his essay «Fatal Train of Thought» published in our «Publicistics» section Alexey Kiva reflects upon the role of the intelligentsia in Russia's recent developments.

The «Diaries Memoirs» section contains several chapters from the memoirs of poet S. M. Solovyov, grandson of the famous historian, entitled «Childhood» (publication of N. S. Solovyova, A. M. Kuznetsov).

Polemical article by Oleg Semyonov «Can Our Century's Art Be Called Art?» continues series of publications «Preliminary results of the XX century».

Alexey Purin's (St.-Petersburg) essay about the works of the poet and prosaist Konstantin Vaginov is published in the «Publications and Reports» section.

In «Books Review» Victor Kamyranov reviews numerous Russian editions of the prose-writer Friedrich Gorenstein.

In «Editorial Mail» you will find L. Eiserman's «The Children of Glasnost» — materials about modern teenagers, and D. Sarabyanov's opinion about the annual «Relies of Culture».

◆

**КОМПЬЮТЕРНЫЙ ОРИГИНАЛ-МАКЕТ ЭТОГО НОМЕРА
ИЗГОТОВЛЕН В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АДАПТ»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. А. Филимонов** (за главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Коммерческий директор **А. О. Петров**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1996
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 15.04.93 г. Подписано к печати 28.06.93 г. Формат бумаги 70x108^{1/16}. Бумага кн.- журн.
Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.), 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 54.000 экз. Зак. 2369. Цена в России — 90 р., в странах СНГ — 200 р.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия Советов народных депутатов
Российской Федерации», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

24½ 60

Индекс 70636

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1993 ГОДА
И В 1994 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Литературный сопромат: христианство и словесность;
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, книга вторая);
АНДРЕЙ БИТОВ. Ожидание обезьян (продолжение книг «Птицы» и «Человек в пейзаже»);
В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
АЛЕКСАНДР БОРЩАГОВСКИЙ. Обвиняется кровь (фрагменты книги);
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Борьба с логосом (эссе);
ЭММА ГЕРШТЕЙН. Тогда, в тридцатые... (главы из воспоминаний);
БОРИС ЕКИМОВ. Набег (рассказ);
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Чаепитие в преддверии (рассказ);
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Заколдованный створ (роман);
ИЗ ДНЕВНИКА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА;
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новая повесть;
ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ. Эссе о литературе (из наследия);
ИГОРЬ КЛЕХ. Хутор во вселенной (повесть);
АНТОН КОЗЛОВ. Государство и коррупция;
МАРК КОСТРОВ. Как уцелеть в наше время? (советы болотного жителя);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Прохожий проспекта Мира (повесть);
АЛЛА ЛАТЫНИНА. На льдинах лавр не расцветет (о богатстве и бедности в русской литературе);
А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА. К истокам «Тихого Дона» (глава из книги);
АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Гоголь и современная проза;
ИВАН ОГАНОВ. Песнь виноградаря осенью (фрагменты книги);
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Новый роман;
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Ноев ковчег (пьеса, из наследия);
К. П. ПОВЕДОНОСЦЕВ. Из частной переписки;
И. РОДНЯНСКАЯ. О философической интоксикации в текущей словесности;
БОРИС САДОВСКОЙ. Пшеница и плевелы (повесть, из наследия);
ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН. Заметки из зала Конституционного суда;
СПОР О СВОБОДЕ СОВЕСТИ: ВЛАДИМИР СЕМЕНКО — РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА;
ИРИНА СУРАТ. Пушкин как религиозная проблема;
Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ. Письма к М. К. Морозовой;
БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Гаяне и Маргарита (рассказы);
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыкальные увеселения от Ромула до наших дней;
АСАР ЭППЕЛЬ. Aestas sacra (рассказ);
а также другие произведения.

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АНОНСАМИ!